Библиотека
всемирной литературы

Серия вторая ✲ ✲

Литература XIX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Трабарь-Пассек М. Е.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Рюриков Б. С.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

Н. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

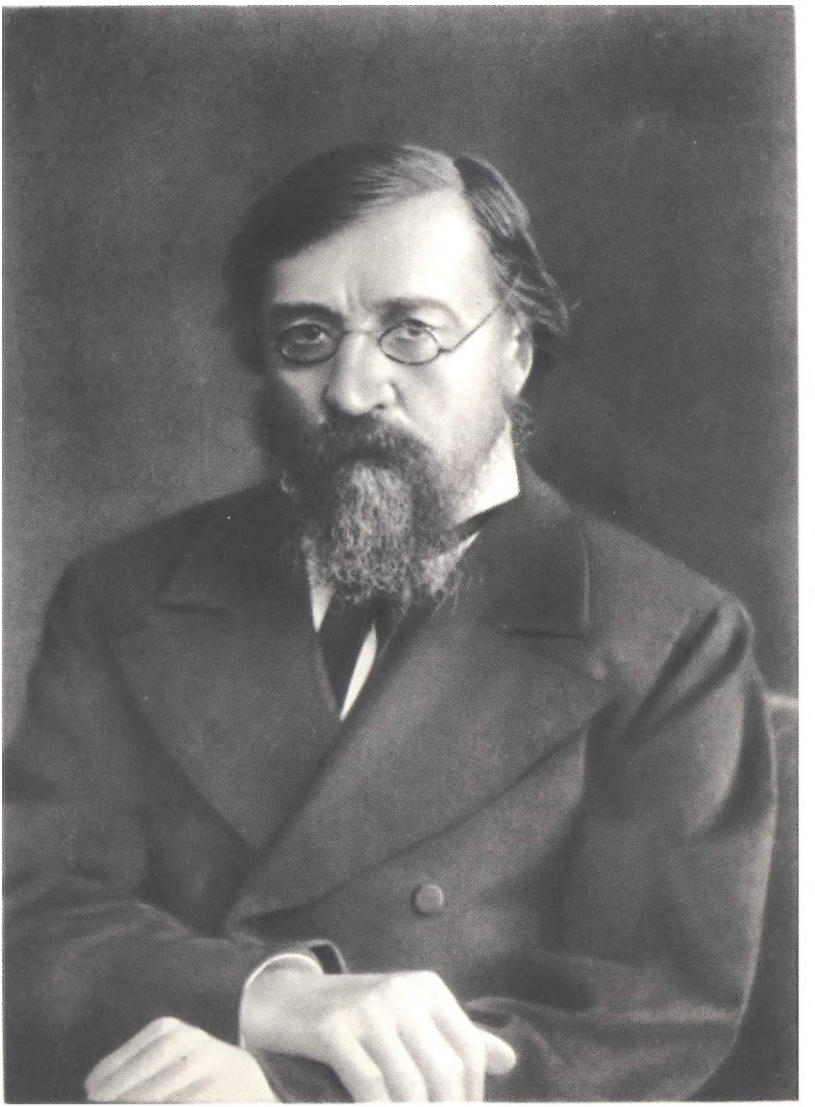
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1969

Вступительная статья и примечания
П. Николаева

Р 1
Ч 49

Иллюстрации
В. Минаева

7-3-1
подп. изд.



РЕВОЛЮЦИОННЫЙ РОМАН

Необыкновенные книги очень часто имеют необыкновенную судьбу.

Бедный чиновник, подобравший 8 февраля 1863 года на Литейном проспекте в Петербурге пакет, где оказалось начало какой-то рукописи со странным названием «Что делать?», даже отдаленно не представлял себе, какая находка волею случая попала ему в руки. Ожидая крупного вознаграждения, обещанного журналом «Современник» тому, кто найдет и доставит в редакцию рукопись, он, конечно, не мог вообразить, какова истинная ценность этой стопы исписанной бумаги.

Рукопись, подобранная чиновником, была необыкновенной, и необыкновенная судьба ее уже началась: это сочинение каким-то чудом проскочило цензуру, хотя никоим образом не должно было бы ее проскочить; сразу после опубликования книга была строжайше запрещена как опаснейшее для государственных устоев произведение; но, несмотря на это, она начала распространяться в списках, читаться взахлеб, учить людей бороться за новую, прекрасную жизнь, воспитывать революционеров, вдохновляя их на подвиг во имя народа. Книге было суждено вызвать такое великое брожение в умах, какого давно не производила ни одна русская книга; а через несколько лет, перешагнув пределы России, она начала завоевывать умы и сердца во многих других странах.

Эта рукопись родилась не в уютном кабинете, не в просторном зале публичной библиотеки, а в одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости, и автором ее был политический заключенный, не прерывавший работы над книгой даже во время девятидневной голодовки протеста,— такова была гражданская и челове-

ческая потребность, диктовавшая «государственному преступнику» Николаю Чернышевскому строки романа о «новых людях».

Да и трудно было заподозрить что-либо крамольное, бегло ознакомившись с рукописью, первая глава которой завлекательно называлась «Дурак» и, как бывает в завязках заправских авантюрных романов, рассказывала о загадочном самоубийстве на Литейном мосту, а вторая описывала семейную драму...

По всей вероятности, этот интригующий прием и сыграл роль первого шага в той последовательной и изобретательной тактике маскировки и «отвода глаз», которую проводил автор через весь роман, зная, как нелегко будет его книге пробиться к читателю через двойной кордон следственной комиссии и царской цензуры. Психологический ход Чернышевского был точен. «Многомудрые» представители власти, заседавшие в следственной комиссии по делу Чернышевского, были напуганы ростом революционного движения 60-х годов и, видя в своем узнике главного смутьяна, боялись его как огня. И, может быть, ждали от него именно «огня». А прочитав две главки странного сочинения то ли «семейного», то ли авантюрного толка, они и все остальное воспринимали в соответствующей тональности.

Такая нетрадиционная, не совсем привычная для русской прозы завязка (как и многие другие особенности романа) диктовалась не только цензурными соображениями, но и желанием обратиться к возможно более широкому читательскому кругу и, заинтриговав занимательностью сюжета, изложить важные и серьезные проблемы. И, как это всегда бывает с выдающимися произведениями, оказалось, что даже такого рода «уловки» обретают особый художественный смысл, участвуя в создании неповторимой специфики данного, именно этого произведения. И теперь уже не только нельзя, но и не хочется представить роман «Что делать?» без этой подчеркнуто занимательной завязки, без несколько мелодраматичной второй главки пролога, без третьей его главки, дерзко названной «Предисловием» и начинающейся словами: «Содержание повести — любовь, главное лицо — женщина,— это хорошо, хотя бы сама повесть и была плоха...» Без этого «Предисловия», полного ироничного пафоса, а стало быть, и без всего пролога был бы неполон и блистательный, написанный ярко, желчно и умно образ «проницательного читателя», олицетворяющего косность и бессмысленность старой российской жизни.

Когда перечитываешь роман «Что делать?», то, сознавая задним числом утопичность, может быть, даже наивность некоторых практических выводов и рекомендаций Чернышевского, не можешь все-таки не видеть, как у тебя на глазах растет, поражая воображение, величественное здание. Пусть не все его детали скрупулезно отделаны, пусть оно не ласкает взор классической плавностью линий, но оно

стройно и вполне выполняет ту высокую миссию, для которой предназначено,— оно возвышает дух и пробуждает гордость за Человека.

«Что делать?» принадлежит к тем произведениям, в которых видна характерная черта русской литературы — ее высокий социальный пафос, ее стремление самоотверженно и сознательно служить народу, прогрессу, делу улучшения жизни людей на земле. Здесь имеет место тот нечастый случай, когда художественное произведение являет собою вершину научной и общественной мысли своей страны и своего времени. Роман этот был в прямом смысле слова оружием в руках автора — революционера, ученого, писателя. Он и родился в пылу боя, и служить был призван борьбе.

Книга возникла в годы напряженнейшей обстановки в России. Поражение в Крымской войне стимулировало глубокий кризис царизма. В стране ширились крестьянские волнения, усугубляемые лицемерным характером крестьянской реформы 1861 года. Уже после нее произошли известные восстания крестьян в селе Кандеевке Пензенской губернии и в селе Бездна Казанской губернии. Восстание было жестоко подавлено, бездненская трагедия вошла в историю как одно из самых кровавых преступлений царизма. Росли студенческие беспорядки, расширялась сеть тайных революционных кружков и групп, по рукам ходили «подстрекательские» листовки и воззвания. Царское правительство было не на шутку испугано, а все честное и передовое в России в тревожном и радостном возбуждении ждало чего-то, что вот-вот должно было совершиться, ждало взрыва, ждало революции.

Николай Гаврилович Чернышевский родился 12(24) июля 1828 года в городе Саратове. В 1846 году он поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета. В 1850 году заканчивает его, а в 1851 возвращается в Саратов, где преподает литературу в гимназии. В мае 1853 года Чернышевский уезжает в Петербург, некоторое время преподает в Кадетском корпусе, работает над диссертацией и начинает свою публицистическую деятельность сначала в «Отечественных записках», а потом в «Современнике», где он занял ведущее положение.

Чернышевский превратил журнал в трибуну идейной борьбы. Вместе с Некрасовым и Добролюбовым он возглавил демократическое направление в русской литературе и публицистике, утверждавшее высокие идеалы правды и гуманизма. В своих литературно-критических статьях, печатавшихся в «Современнике», в своей знаменитой диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» Чернышевский утверждал: литература должна быть «учебником жизни», звать к революционному преобразованию действительности. Искусство становится полнокровным только в том случае, если оно проникнется интересами народа. Защите этих интересов и была посвящена вся

деятельность Чернышевского в «Современнике». Накануне реформы 1861 года, когда реакционеры настаивали на вечной принадлежности земли дворянам, Чернышевский соглашался с мыслью о том, что «наш крестьянин считает поле, которое обрабатывает на себя, своей собственностью...»[1], и утверждал полную справедливость такого крестьянского убеждения.

Статьи Чернышевского (как стихи Некрасова и статьи Добролюбова), по мнению царской цензуры, потрясали самые основы монархической власти.

Таким образом, царские жандармы были правы, когда видели в Чернышевском одного из самых опасных врагов самодержавия. За ним устанавливают слежку, его статьи запрещаются, цензура набрасывается на некрасовский «Современник», и в 1862 году журнал запрещается на восемь месяцев. В июле 1862 года Чернышевского арестовывают и заключают в Петропавловскую крепость.

В тяжких условиях одиночного заключения Чернышевскому приходится вести напряженную борьбу со следственной комиссией, разоблачая жульнические уловки жандармов, у которых не было формальных доказательств его виновности (это и заставило жандармов прибегнуть к услугам провокатора). Непостижимо, каким образом мог этот человек в таких условиях написать в общей сложности несколько десятков печатных листов — то есть свыше трех тысяч страниц печатного текста и в том числе роман «Что делать?».

Объяснить этот факт можно лишь одним: одержимостью сознательного и убежденного борца. Этим же в большой мере объясняется та сила, с какой воздействовал роман «Что делать?» на русское общественное мнение, на умы и сердца людей, на друзей и врагов. Последние с остервенением набросились на книгу, понося устно и печатно героев романа, его идеи, его художественные качества, самого автора, лишенного возможности защищаться. Но несмотря на официальное запрещение, книга продолжала жить.

«Кто не читал и не перечитывал этого знаменитого произведения? — писал Плеханов.— Кто не увлекался им, кто не становился под его благотворным влиянием чище, лучше, бодрее и смелее? Кого не поражала нравственная чистота главных действующих лиц? Кто после чтения этого романа не задумывался над собственною жизнью, не подвергал строгой проверке своих собственных стремлений и наклонностей? Все мы черпали из него и нравственную силу, и веру в лучшее будущее.

И доверенность великую
К бескорыстному труду...

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. V, М. 1950, стр. 75.

...пусть укажут нам хоть одно из самых замечательных, истинно художественных произведений русской литературы, которое по своему влиянию на нравственное и умственное развитие страны могло бы поспорить с романом «Что делать?»! Никто не укажет такого произведения...» [1]

Мы знаем случаи, когда книги, возникшие в гуще боя, служившие оружием в острой борьбе и игравшие в ней немаловажную роль, утрачивали свое непосредственное художественное значение по мере того, как пропадала их «утилитарная» необходимость; они оставались памятниками эпохи, ее документами, занимали должное место в истории литературы, но теряли свою живую силу. С романом «Что делать?» этого не случилось. Причина в том, что книга эта как произведение мыслителя заключает в себе непоколебимую истину, как произведение мужественного человека она пронизана гражданским пафосом и героическим творческим напряжением. Причина еще и в том, что она представляет собою оригинальное, новаторское художественное произведение.

Своеобразие «Что делать?» заключается в том, что книга эта органично и естественно сочетает строго продуманную и логичную революционно-философскую систему, стройное учение о социалистическом переустройстве общества, с глубоко личной, местами лирической интонацией рассказа о частных судьбах частных людей; она реализует в неповторимом художественном целом открытый публицистический пафос злободневности, пафос политического воззвания, революционной прокламации и высоту великих общечеловеческих идеалов, непреходящих нравственных ценностей человечества.

Это — случай необычайный и в истории литературы, и в истории освободительного движения.

Печатью необычайности отмечено в романе все.

Необычайна точная политическая нацеленность романа. Он содержит те основные черты, какие характерны для сочинения общественно-политического, в том числе для революционного манифеста, программы. Здесь есть анализ современного исторического положения, которое не может более устраивать честных людей,— это картины того мира, где обитают и хозяйничают Марьи Алексевны, Сторешниковы, Жаны, Сержи и другие, невидимые, стоящие за их спиной и над ними; это второй сон Веры Павловны, где реальный мир предстает в символическом образе поля. Здесь есть указание на тот экономический строй, посредством которого можно переродить этот мир в новый, достойный человека. Прообразом этого строя являются мастерские Веры Павловны, построенные на социалистических началах. Здесь дан тот идеал

[1] Г. В. Плеханов, Сочинения, т. V, ГИЗ, М., стр. 114.

общества, за который следует бороться,— это нарисованные рукой провидца вдохновенные картины будущего в четвертом сне Веры Павловны; это нравственный строй главных героев романа.

Социализм Чернышевского, как указывал Ленин, был утопическим. Писатель не знал закономерностей перехода от феодально-крепостнического общества к социалистическому — их открыл марксизм. Чернышевскому казалось, что старая русская полуфеодальная крестьянская община может служить формой перехода к социализму. Поэтому картины будущей счастливой жизни, нарисованные им в романе, выступают как олицетворение некоего весьма абстрактного идеала, а не как ясно видимые результаты исторического процесса.

Они прекрасны сами по себе. В них показано, как человек, освобожденный от эксплуатации, добивается невиданных успехов в развитии материальной и духовной жизни, как далеко проникает он в тайны природы. Эти картины, полные эмоциональности, красочности, оптимизма, романтики, поэзии духовного совершенствования людей, звучат гимном человеку, и поэтому при всей своей утопичности они оказали такое огромное воздействие на мысль современников. «Бурлило тайно все мыслящее,— писал Репин,— затаенно жило непримиримыми идеями будущего и верило свято в третий сон Веры Павловны («Что делать?»)» [1].

Но главное — в другом. Чернышевский отличался от социалистов-утопистов Западной Европы, мечтавших перейти мирным путем к социализму. «Чернышевский,— говорил Ленин,— был не только социалистом-утопистом. Он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе...» [2] Это в полной мере относится и к его роману «Что делать?».

В романе Чернышевский показывает, что мирный, чисто эволюционный путь к светлому будущему невозможен,— это демонстрирует судьба мастерских, вынужденных законсервироваться в реальных условиях самодержавной России. Наконец, здесь утверждается, что неизбежно, необходимо насильственное свержение старого порядка, революционная борьба против него (причем указываются даже некоторые практические средства, например, принципы конспирации), и содержится призыв к революции,— это образ профессионального революционера Рахметова и связанные с ним темы, разговоры, намеки; это последняя, шестая, глава «Перемена декораций», рисующая в зашифрованной форме победу революции.

Необычаен сюжет романа. Казалось бы, заурядная ситуация — неволя девушки в родительском доме — символизирует утверждение:

---

[1] И. Е. Репин, Далекое близкое, М. 1953, стр. 198.
[2] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 175.

вся нынешняя Россия — «подвал», где все люди — узники и рабы. Освобождение женщины из-под родительского ига и обретение личного счастья происходит в неслыханных доселе моральных и экономических формах и имеет символический социальный смысл. Классический «треугольник» оказывается вовсе не традиционной «семейной драмой», а своеобразной моделью новых отношений между людьми. В этом сюжете, наконец, как ни странно, сам сюжет не играет подчас ведущей роли и временами чуть ли не «исчезает» как таковой, о чем автор открыто оповещает: «Я не из тех художников, у которых в каждом слове скрывается какая-нибудь пружина, я пересказываю то, что думали и делали люди, и только; если какой-нибудь поступок, разговор, монолог в мыслях нужен для характеристики лица или положения, я рассказываю его, хотя бы он и не отозвался никакими последствиями в дальнейшем ходе моего романа». Таким образом, если перефразировать слова Чехова, можно сказать, что в романе «не все ружья стреляют».

Поэтому необычайна, «своевольна» и композиция книги: начало, вырванное из середины, продолжительные беседы автора, ласковые, задушевные, взволнованные — с героиней, иронически снисходительные — с Марьей Алексевной, углубленно-серьезные, подчас патетические — с «публикой», саркастически издевательские — с «проницательным читателем» (причем беседы эти — как, например, «Отступление о синих чулках» — могут прерывать повествование буквально на полуслове); наконец, сны Веры Павловны, четырежды вторгающиеся в действие. Автор все время присутствует на сцене, не прикрываясь никакой маской, во всей полноте своей личности, своих убеждений, пристрастий, вкусов, открыто произносит свои суждения о происходящем, объясняет, проповедует, раскрывает суть своих эстетических, общественных, этических взглядов.

Нельзя сказать, что новации все эти были беспрецедентны; напротив, они возникли на прочной базе традиций русской и мировой литературы. Так, например, если говорить об авторском «вмешательстве», то ближайшими по времени предшественниками тут были Пушкин с «Евгением Онегиным» (представляющим, кстати, замечательный пример «свободной» композиции вообще) и Гоголь с «Мертвыми душами». Только если у Пушкина и Гоголя авторские отступления диктовались как бы непосредственно лирической потребностью автора, то публицистически заостренные авторские монологи Чернышевского сознательно подчинены прежде всего логике и потребностям той сквозной *мысли,* которая проходит через все повествование и все подчиняет себе.

Да, именно мысль автора и является основным двигателем романа. Ход авторских размышлений образует сюжет, диктует компози-

цию, создает и вводит новых героев, объединяет в одно целое личности, судьбы и события.

И если рассматривать книгу с этой точки зрения, окажется, что все «ружья стреляют», и притом строго в одну цель.

Вначале перед нами — сугубо частная судьба девушки, задыхающейся в мирке, границы которого обозначены такими типами, как Марья Алексевна и Сторешников.

Эта судьба типична. Отсюда и вырастает тема освобождения тысяч таких же девушек — «сестер» Веры Павловны — из семейного рабства.

Но и это оказывается лишь одной из частных сторон общего, а именно — «женского» вопроса, проблемы эмансипации женщин.

В свою очередь, эта проблема упирается в еще более общий вопрос — вопрос об эмансипации человеческой личности вообще, об освобождении *человека* от угнетения. Решить вполне и до конца этот вопрос можно, только уничтожив старое общество и построив новое. Решить его можно только революционным путем.

Такова логика судьбы одной женщины.

Сходным образом, с той же целеустремленностью, развиваются и частные линии судьбы героини.

Для подлинного освобождения женщины недостаточно вырваться из-под родительской опеки, недостаточно обрести собственную семейную жизнь — нужна еще и экономическая независимость. Так возникает идея мастерской, а затем и сама мастерская.

Одновременно это средство экономического освобождения становится и средством помощи «сестрам», которые, подобно самой Вере Павловне, стремятся к независимости, превращается в общественный долг служения людям.

Однако в реальных условиях действительности «мирное» служение людям, «мирное» выполнение общественного долга оказывается невозможным. Встает вопрос о служении «немирном», о преобразовании революционном.

Такова логика общественной деятельности героини.

Полная свобода женщины немыслима без равноправных отношений в семье. Брак с Лопуховым, помогшим Вере Павловне обрести самостоятельность, кажется ей счастьем, но вскоре оборачивается драмой. Это брак без подлинной любви, что даже в лучшем случае предполагает несвободу — обоюдное самопожертвование, обоюдную моральную связанность. Наконец, конфликт разрешается: Лопухов «исчезает», Вера Навловна находит семейное счастье в браке с Кирсановым, основанном не только на дружбе, взаимном уважении и общности идеалов, но и на глубоком чувстве.

Однако и такая свобода оказывается не вполне совершенной. Между Кирсановым и Верой Павловной происходит знаменательный разговор по поводу традиционных представлений о «слабости» женского пола. Вера Павловна говорит: «Нужно иметь такое дело, от которого нельзя отказаться, которого нельзя отложить,— тогда человек несравненно тверже». В дальнейшем такое дело называется «неотступным» делом, «личным» делом, а в применении к Рахметову — образцу твердости — прозрачно именуется «общим делом» (вспомним, что у декабристов слова «общее дело» употреблялись как точный перевод латинского «res publica» и обозначали революционную деятельность). Не случайно в этом контексте возникает образ Рахметова — «орла», до которого трудно подняться «обыкновенным людям», даже таким, как Кирсанов и Вера Павловна; не случайно произнесены и слова «общее дело». *Идеал свободы*, таким образом, ассоциируется с образом революционера Рахметова, который достиг полного слияния «личного» дела с «общим» в борьбе за революционное переустройство жизни.

Такова логика рассуждений героев о свободе и личном счастье.

Да и в отдельных эпизодах и разговорах соблюдается все тот же единый прицел размышлений, все та же «центробежная» логическая композиция. В упомянутом — вполне невинном, на первый взгляд,— разговоре Кирсанов опровергает распространенное представление о душевной слабости женщин по сравнению с мужчинами: «Это — сила предубеждения, дурная привычка, фальшивое ожидание, фальшивая боязнь. Если человек думает «не могу»,— то и действительно не может. Женщинам натолковано: «вы слабы»,— вот они и чувствуют себя слабыми и действительно оказываются слабы... Но есть примеры, касающиеся *целых масс, народов, всего человечества* (курсив мой.— *П. П.*). Один из самых замечательных представляет военная история». И дальше Кирсанов приводит примеры, когда пехота одерживала блистательные победы над более сильной, по привычным представлениям, конницей. Однако можно с уверенностью сказать, что подлинная суть рассуждений Кирсанова отнюдь не ограничивается вопросом о женщинах, которым «натолковали» об их слабости, и что, не будь необходимости в маскировке, в шифре, герой Чернышевского вспомнил бы из «военной истории» не битвы при Кресси, Пуатье и Азенкуре, а победы Спартака и Пугачева. Ибо истинный смысл всего этого разговора о женщинах в том, что «падшие рабы» до тех пор слабы, пока не поверили в свою силу и не восстали. Вот почему в дальнейшем ходе беседы появляется тема «общего дела» и возникает образ Рахметова...

Выходит, с какого бы конца ни подойти к судьбам героев,— все пути ведут к революции, посредством которой должно всесторонне измениться человеческое бытие, а значит, и жизнь героев. От частного к общему — таков путь мысли автора. От проблем «частных»,

«семейных», лично близких каждому человеку, к проблемам, касающимся судеб всех людей,— такова логика революционной пропаганды Чернышевского-романиста, таков логически обоснованный на всех «уровнях» сюжета ответ на вопрос, поставленный в заглавии романа.

Однако не только в логике дело. Герои Чернышевского — не рупоры идей автора, не бездушные и плоские марионетки, не условные воплощения тезисов. Это живые и близкие писателю люди, которым он желает счастья, за судьбы которых болеет душой.

Это живые люди, но и они необычайны. Необычайны их поступки, мысли, взаимоотношения, быт. Необычайно то, что их внутренний мир освещается, как правило, не со стороны эмоций, а повернут к нам прежде всего стороной интеллектуальной. Они проявляют себя — помимо поступков — прежде всего в размышлениях, разговорах, спорах, направленных на большие общественные проблемы. Причем разговоры эти не схоластичны, не отвлеченны, а представляют всеобщий и животрепещущий интерес, в чем и заключается убедительность героев.

Необычаен их нравственный облик: они совершают благородные и самоотверженные поступки, нисколько не думая при этом о благородстве и самоотверженности; они утверждают, что поступают так для своей же пользы, из «разумного эгоизма». Можно говорить об ограниченности этой нравственной теории, но нельзя не видеть, что в ней есть свой особый и высокий смысл: нет для человека большего счастья, большей нравственной «пользы» — пусть это даже сопровождается болью и страданием,— чем сознание того, что поступил справедливо, разумно, нравственно.

И, наконец, еще одна, едва ли не главная из непривычных черт этих людей. Чернышевский не раз сам рассуждает о ней с полным сознанием того, что это принципиально новая черта, что возник — и в жизни, и под его собственным пером — тип нового человека. «Недавно зародился у нас этот тип. Прежде были только отдельные личности, предвещавшие его; они были исключениями и, как исключения, чувствовали себя одинокими, бессильными и от этого бездействовали, или унывали, или экзальтировались, романтизировали, фантазировали, то есть не могли иметь главной черты этого типа, не могли иметь хладнокровной практичности, ровной и расчетливой деятельности, деятельной рассудительности. То были люди, хоть и той же натуры, но еще не развившейся до этого типа...» Чернышевский сам указывает «нарушенную» им традицию положительного, но одинокого героя, человека, исполненного высоких чувств и помыслов, но лишенного возможности осуществить эти помыслы на деле, человека хорошего, но слабого либо не могущего реализовать свои силы. Таковы

герои писателей, о которых в начале романа думает Верочка: «Ведь вот Жорж Занд — такая добрая, благонравная,— а у ней все это только мечты! Или наши — нет, у наших уж вовсе ничего этого нет. Или у Диккенса — у него это есть, только он как будто этого не надеется; только желает, потому что добрый, а сам знает, что этому нельзя быть. Как же они не знают, что без этого нельзя, что это в самом деле надобно так сделать и что это непременно сделается, чтобы вовсе никто не был ни беден, ни несчастен».

У Чернышевского героев Жорж Занд и Диккенса, русского «лишнего человека» сменил *новый человек*. И если раньше в литературе спутниками добра и благородства оказывалась, как правило, слабость, а сила была привилегией зла, то этот новый человек — *силен*. И его сила не в одних только помыслах, а в трезвом разуме, в «хладнокровной практичности», в реализме, в стремлении понять законы жизни и общества. Сила этих людей в том, что они не «исключения», что они не одиноки: «Недавно родился этот тип и быстро распложается». Мысль эта подтверждается всем романом — и дело не только в том, что основную массу в нем составляют именно положительные герои, не только в том, что автор, где только можно, то отдельными штрихами, то целыми картинами рисует довольно многочисленное окружение главных героев, но и в самом построении сюжета и взаимоотношений персонажей. Кирсанов извлекает со «дна» общества Настю Крюкову, излечивает Катерину Полозову, готовя ее тем самым к новой, осмысленной жизни; Лопухов вызволяет из «подвала» Веру Павловну и помогает ей стать «новым человеком»; в свою очередь, Вера Павловна ведет по тому же пути Настю и вовлекает в общественную деятельность Полозову, которая становится женой Бьюмонта-Лопухова; Рахметов, в котором «особенного человека» пробудил в свое время Кирсанов, помогает в трудную минуту Вере Павловне и не дает ей поддаться слабости, бросить начатое дело... Так возникает непрерывная цепь добра и взаимопомощи, герои все время как бы воспроизводят сделанное им добро, отчего семья «новых людей» растет и ширится, «распложается».

Создание активного и сильного положительного героя — великая заслуга Чернышевского. Новые люди — прямая антитеза миру Марьи Алексевны, где «порядок тот, чтобы обирать да обманывать»; они не прекраснодушные добродеи, они способны вести суровую борьбу, они не только отвечают ударом на удар, но и ведут наступление на старые порядки, старые нормы жизни, они учатся хладнокровно взвешивать обстоятельства, чтобы дело не понесло ущерба.

В этой среде и возникает могучая фигура Рахметова — «особенного человека», «необыкновенного человека», «экземпляра... редкой породы», «высшей натуры». О нем много сказано в литературе

о романе Чернышевского, в частности, справедливо отмечено, что сама атмосфера таинственности, недосказанности, окружающая Рахметова, обусловленная причинами и внешними (цензура), и внутренними (Рахметов — конспиратор), сообщает особое поэтическое обаяние этому герою. Рахметов, действительно, почти не участвует в действии романа — и тем значительнее само его присутствие в романе. Не случайно автор так долго «ходит» вокруг своего героя, так насмешливо и дерзко предлагает «проницательному читателю» разгадать «загадку» появления этого образа, не случайно заявляет, что этот герой «выведен для исполнения главнейшего, самого коренного требования художественности», состоящего в том, чтобы читатель представлял предметы в «истинном их виде». Истина же заключается в том, что не Лопухов, Кирсанов или Вера Павловна, при всех их замечательных качествах, а именно такие люди, как Рахметов,— суть настоящие герои времени, «двигатели двигателей», «соль соли земли», что именно им суждено сдвинуть Россию с места, что именно на них устремлены полные надежды глаза автора. Иными словами, образ Рахметова является в романе неким эквивалентом революции, а пример его личности, его жизни, так заражающе подействовавший на поколения революционеров, есть, по существу, призыв к революционной борьбе.

«Я знаю о Рахметове больше, чем говорю»,— пишет автор. И тем не менее *личность* его обрисована достаточно полно и ярко, и догадываться можно о многом, в том числе и о том, что его «мрачность» и «грубость» есть лишь оболочка, сковывающая те самые горячие рыдания, которыми разразился Рахметов еще в юности, когда Кирсанов просвещал его. Рахметов относительно «пассивен» в сюжете потому, что его активность проявляется вне пределов *этого* сюжета; она «читается» и ощущается по-настоящему в широком идейно-художественном контексте романа и даже выходит за пределы книги в своем воздействии на читателей. Этот поразительный и оригинальный эффект — «недействующее» лицо оказывается главным — составляет одно из достижений Чернышевского-романиста, его новаторский шаг в литературе, продемонстрировавший широкие возможности публицистического, общественно-философского романа.

Необходимо отметить, что, при всем ригоризме, максимализме и прочих качествах, всегда приходящих на ум, когда вспоминаешь Рахметова, в этом образе заключено глубоко человечное содержание. Речь не только о высоких идеалах Рахметова, не только о том, что сам автор характеризует своего героя как человека с пламенной любовью к добру, что Вера Павловна за его мрачностью и грубостью увидела нежную и добрую душу. Речь еще и о самом содержании слов, которыми называют Рахметова другие герои и сам автор,—

«особенный человек», «необыкновенный человек», «высшая натура». Поверхностному взгляду может показаться, что это — поэтизация «сверхчеловеческого», обожествление «высших натур» за счет принижения «обыкновенных». Но дело обстоит совсем наоборот. Ничего сверхчеловеческого и подавляющего в Рахметове нет. Просто он сильнее других людей, как это и бывает в жизни. Человечность и реальный взгляд автора на вещи в том и состоят, что, хотя Рахметов — заразительный пример, но в его образе нет ничего императивного; автор не говорит читателю: «Будь непременно таким же, иначе ты ничтожество». Он призывает людей понять Рахметовых, уважать и любить их, идти за ними, но он не требует быть Рахметовым того, у кого на это недостает сил, не заставляет надрываться под непосильной ношей и делать из этого норму жизни. Перед Рахметовым мы преклоняемся, но уважение наше к Вере Павловне, Кирсанову, Лопухову не уменьшается от того, что они честно признают себя неровней «особенному человеку». Ведь Рахметов стал таким именно в среде «обыкновенных порядочных людей нового поколения», и к этому уровню «обыкновенных порядочных людей», на котором возникают люди «особенные», и призывает Чернышевский *всех* людей: «На той высоте, на которой они стоят, должны стоять, могут стоять все люди. Высшие натуры, за которыми не угнаться мне и вам, жалкие друзья мои, высшие натуры не таковы... А тем людям, которых я изображаю вполне, вы можете быть ровными, если захотите поработать над своим развитием. Кто ниже их, тот низок. Поднимайтесь из вашей трущобы, друзья мои, поднимайтесь, это не так трудно, выходите на вольный белый свет, славно жить на нем... Попробуйте: хорошо!»

Образ Рахметова, как бы недорисованный («легкий абрис»,— говорит о нем сам автор) и все же художественно завершенный, таинственный и вместе с тем предельно четкий, «бездейственный» в сюжете и одновременно главный в романе,— этот образ во всей своей необычности представляет яркий пример удивительной творческой свободы художника. Да и весь роман в целом, с его «странным» сюжетом, необычными героями и раскованной композицией есть свидетельство творческой свободы писателя. Другое дело, что свобода — не беззаконие. Нет необходимости доказывать, что Чернышевский следовал законам реализма,— принципы реалистической эстетики, сформулированные им самим в знаменитой диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», вошли, можно сказать, в плоть и кровь художника. Основным критерием художественности произведения Чернышевский считал жизненную правдивость, и этому критерию его роман соответствует вполне. «Все достоинства повести даны ей только ее истинностью»,— обоснованно заявляет он в предисловии. Причем дело не в скрупулезном воспроизведении всех решительно черт и чер-

точек, а в отражении наиболее существенных, характерных, типических, интересных явлений действительности, и это также соответствует важнейшему эстетическому положению Чернышевского: «Общеинтересное в жизни — вот содержание искусства» [1].

Именно в силу этого «общеинтересного» содержания роман и вызвал огромный общественный резонанс в 60-е годы. Для многих поколений русских революционеров роман был тем «учебником жизни», каким, по заявлению Чернышевского в его диссертации, должно быть всякое произведение искусства. От писателя, от его «учебника жизни» Чернышевский требовал объяснения изображаемых жизненных фактов, и это правило он выполняет в своем романе, прибегая к самым разнообразным приемам.

«Истинность», о которой говорит автор романа в предисловии,— не простое правдоподобие. Особенность романа заключается в том, что «новые люди», составляющие в реальной действительности еще меньшинство, представлены Чернышевским как явление типическое, определяющее тенденцию развития. Положительные идеалы, положительные герои, конечно, не выдуманы писателем. Они выражают «прекрасные» начала реальной действительности. Появление нового — это и есть процесс движения, это и есть самое «интересное» в общественном развитии, это и есть прекрасное в жизни. Новое может стать предметом художественного воплощения, предметом типизации и в том случае, когда оно еще не стало господствующим, основным началом, когда оно еще исключительно. Так в образе Рахметова была убедительно осуществлена типизация исключительного.

Враги романа «Что делать?», бессильные опорочить те идеалы, которые в нем проповедовались, пытались заходить с другого конца и заявлять, что роман-де слаб художественно. Этот прием свидетельствовал и о том, что некоторые критики романа слабо представляли себе ту самую специфику литературы, за которую на словах ратовали. Чернышевский прекрасно понимал, что специфика литературы — это, прежде всего конкретный, единичный, индивидуальный образ, и не только образ определенного героя, но образ в широком значении этого слова. Нечего и говорить, например, о том, какими яркими, сочными и язвительными красками, как живо и наглядно изображена в романе Марья Алексевна, как объемен и многозначен сатирический образ «проницательного читателя», какое огромное интеллектуальное и нравственное обаяние заключено в мастерски воплощенном авторском образе! Заслуживает отдельного разговора идейно-художественная функция юмора в романе; здесь достаточно привести лишь один при-

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. II, М. 1949, стр. 82.

мер, чтобы показать, какую подлинно художественную силу приобретает юмор под пером Чернышевского.

«— Данилыч, а, видно, жильцы-то наши из важных людей. Приезжали к ним генерал с генеральшею. Генеральша так одета, что и рассказать нельзя, а на генерале две звезды.

Каким образом Петровна видела звезды на Серже, который еще и не имел их, а если б и имел, то, вероятно, не носил бы при поездках на службе Жюли, это вещь изумительная; но что действительно она видела их, что не ошиблась и не хвастала, это не она свидетельствует, это я за нее также ручаюсь: она видела их. Это мы знаем, что на нем их не было; но у него был такой вид, что с точки зрения Петровны нельзя было не увидать на нем двух звезд,— она и увидела их; не шутя я вам говорю: увидела».

Здесь, всего в одном абзаце, скупыми средствами воссоздан не только очень конкретный характер, здесь увиден и воплощен образ мышления, тип миросозерцания, рожденный жизнью. В романе «Что делать?» Чернышевский проявил себя удивительным психологом: в показе эволюции некоторых героев, их духовного роста, развития их идей, в таких эпизодах, как третий сон Веры Павловны (когда ей раскрывается, что она не любит Лопухова), он проявляет себя тонким мастером психологического анализа.

Вместе с тем, говоря о достоинствах романа, нет никакой необходимости приписывать ему те качества, которых в нем нет и которые ему, по его специфике, попросту не нужны. Не надо, например, выискивать черты мелочной «индивидуализации» положительных героев. Черты «новых людей» крупны, монолитны, это черты определенного *типа,* который «недавно зародился у нас», и нет нужды дробить их на мелкие черточки, преследуя то самое «правдоподобие», которому противостоит вся суть романа — первого русского произведения, заключающего в себе характерные особенности социальной утопии. Задача Чернышевского состояла как раз в том, чтобы подчеркнуть *общее* в подобных людях; индивидуализация этого типа — прежде всего в воссоздании стиля его жизни и мышления. Надо сказать, что, когда сам автор отдает дань живописанию мелких привычек и отличий героев друг от друга, это нередко воспринимается как нечто необязательное в тех больших масштабах, которыми меряет автор этих героев.

Нет нужды в том, чтобы решительно всему в романе подыскивать тонкие психологические обоснования, аргументируя этим утверждение о художественном мастерстве Чернышевского,— например, подводить некую психологически бытовую основу под сны Веры Павловны, объясняя, какие события и разговоры наяву повлияли на образы того или иного сна. Сны — это откровенно условный прием, не нуж-

дающийся в подобных обоснованиях, зиждущийся на интеллектуальной основе романа, помогающий символически резюмировать размышления автора и героев и вполне естественный для художественно-философского произведения, где «бытовые» рамки подчас не могут вместить обобщений, гипотез и предвидений, подобных тем, которые составляют четвертый сон Веры Павловны. Не втискивать в натуралистические рамки следует эти сны, а восхищаться той художественной смелостью, с которой автор использует этот прием (как, впрочем, и собственно монологи) в системе реалистического романа. Ведь эта смелость, это творческое развитие принципов реализма и создает художественное обаяние книги. В именно таком художественном облике романа проявились и мастерство писателя, и искусство пропагандиста. В именно таком — смелом и лукавом, патетическом и лиричном — ее облике полно и ярко проявилась великая личность ее создателя, нравственная высота борца и человека.

Книга «Что делать?» как роман, как художественное произведение не существовала бы, если бы все в ней не было спаяно, сцементировано высокой нравственной идеей. Нравственный пафос составляет фундамент и вершину этого глубоко политического произведения как произведения художественного. В авторских отступлениях, в разговорах с «проницательным читателем» Чернышевский не раз жестоко потешается над либеральными обывателями, в глазах которых «материалист» — это человек «безнравственный», не имеющий «ничего святого». В контексте романа такие взгляды выглядят особенно нелепыми, ибо все, что проповедуется в книге, проповедуется не ради сытой бездуховности, а в первую очередь ради истинно человеческой, истинно нравственной, истинно духовной жизни людей.

Существует, и по сию пору иногда дает себя знать, некий странный взгляд на роман «Что делать?», заключающийся в том, что, связанный цензурными ограничениями, Чернышевский не мог во всю ширь развернуть повествование о революционерах, о социальной борьбе, и вот именно поэтому, мол, вынужден был высказать свои революционно-демократические взгляды в форме «семейного романа».

Такое понимание не только наивно — оно решительно, в самом корне, противоречит духу и строю романа, всей его идейно-художественной концепции. Своеобразие и нравственная сила романа неотрывны от этой «вынужденной» его формы, от его «семейного» сюжета. Ведь именно этот сюжет, как мы видели, дает автору возможность с разных концов, с разных сторон подходить к теме неизбежности и необходимости революции, уверенно утверждать, что именно революция, решив проблемы общественные, поможет решить и проблемы частной жизни людей. Именно «семейный» сюжет позволил Черны-

шевскому вести свою пропаганду логически убедительно, от частного к общему и снова — к частному.

Но не только в логике дело. Дело еще и в нравственной позиции автора-гуманиста, в самой интонации романа, каковой есть не ученый трактат теоретика, а взволнованная проповедь человека, провозглашающего «любви и правды чистые ученья».

Нет, не мог Чернышевский иначе «завязать» свой роман, иначе вести его сюжет, как «через семью», через самое близкое, что есть у человека. Ибо идею социализма он «принял к сердцу» и говорить хочет о социализме от сердца, «чисто по-человечески». В том-то и дело, что социализм для него — не только историческая необходимость, но и естественная, глубокая потребность настоящего человека, такая же естественная и человеческая, как потребность в любви, в счастье.

И если посмотреть на роман «Что делать?» в этом свете, то не такими уж несправедливыми и лукавыми покажутся слова «Предисловия»: «Содержание повести — любовь...» В этом свете окажется, что этот политический, общественно-философский роман, роман-воззвание — есть и в самом деле *книга о любви*. Не «любовный роман», а именно книга о любви, о том, что такое настоящая, истинная любовь и что нужно людям, чтобы все они могли и жить по-человечески, и любить по-человечески.

С любви к Лопухову начинается освобождение Верочки из «подвала». Любовь помогает Насте Крюковой начать достойную жизнь. Любовь Веры Павловны и Кирсанова озаряет новым светом их жизнь, помогает им жить и трудиться. Любовь связывает судьбы Лопухова и Полозовой. От любви отказывается «особенный человек» Рахметов — отказывается потому, что не удовлетворена еще его главная потребность, потребность в новой жизни для всех, не удовлетворена его главная любовь — «пламенная любовь к добру». Революции и любви — этим двум темам посвящены вдохновеннейшие страницы романа. Своей «невестой» называет революцию Лопухов. И в картинах будущего, в четвертом сне Веры Павловны, возникают символические образы разных эпох развития человечества — разных эпох любви — Астарта, Афродита, Непорочная и грядущая Светлая Красавица, символ всеобщей любви и братства людей в будущем коммунистическом обществе.

В конце романа возникает еще один женский образ — «дама в трауре». Литературоведы до сих пор спорят, кого разумеет автор — возлюбленную Рахметова или Ольгу Сократовну Чернышевскую. Но как бы там ни было, а главное заключается в том, что праздничный финал романа, рисующий победу революции, когда «дама в трауре» превратилась в «даму в розовом», тоже пронизан победной мелодией любви.

«Что делать?» — книга о революции и книга о любви. Она перекликается с некрасовскими строками: «Как женщину, ты родину любил» — и предвосхищает строки Маяковского:

Я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что нет мне
без него любви.

Эта книга — не для отдохновения и не для забавы. Эта книга — для зрелого и мыслящего читателя. Автор воспоминаний «Встречи с В. И. Лениным» Н. Валентинов, бывший меньшевик, воспроизвел страстную отповедь Ленина в ответ на пренебрежительный отзыв о романе Чернышевского: «...недопустимо называть примитивным и бездарным «Что делать?». Под его влиянием сотни людей делались революционерами. Могло ли это быть, если бы Чернышевский писал бездарно и примитивно? Он, например, увлек моего брата, он увлек и меня. *Он меня всего глубоко перепахал.* Когда вы читали «Что делать?»? Его бесполезно читать, если молоко на губах не обсохло. Роман Чернышевского слишком сложен, полон мыслей, чтобы его понять и оценить в раннем возрасте. Я сам попробовал его читать, кажется, в 14 лет. Это было никуда негодное, поверхностное чтение. А вот после казни брата, зная, что роман Чернышевского был одним из самых любимых его произведений, я взялся уже за настоящее чтение и просидел над ним не несколько дней, а недель. Только тогда я понял глубину. Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь» [1].

А. В. Луначарский приводил слова, сказанные ему Н. К. Крупской: «Вряд ли кого-нибудь Владимир Ильич так любил, как он любил Чернышевского. Это был человек, к которому он чувствовал какую-то непосредственную близость и уважал его в чрезвычайно высокой мере... Я думаю, что между Чернышевским и Владимиром Ильичем было очень много общего» [2].

Роман Чернышевского породил целое движение, названное в 60-е годы женским движением. Тысячи женщин организовывали артели по примеру мастерских Веры Павловны. Под влиянием романа была создана знаменитая коммуна писателя В. А. Слепцова, в течение двух лет существовала коммуна великого композитора М. П. Мусоргского, а также артель художников во главе с выдающимся живописцем И. Н. Крамским. Пусть бесплодны были эти попытки создать прочные социалистические организации в условиях полицейского режима — они сыграли свою благородную роль, революционизируя сознание людей.

[1] В. И. Ленин о литературе и искусстве, М. 1967, стр. 653.
[2] А. В. Луначарский, Собр. соч., т. 7, М. 1967, стр. 584.

Свою книгу «Что делать?» Ленин назвал под воздействием романа Чернышевского.

«Книга стала альфой и омегой русской молодежи, ее путеводной звездой, за которой следовало целое поколение, самое идейное, самое благородное поколение всех времен» [1],— писала Клара Цеткин. «...Не было ни одного литературного произведения, которое бы так сильно повлияло на мое революционное воспитание, как роман Чернышевского... и нет никакого сомнения, что именно это благотворное влияние в моей юности очень много помогло моему воспитанию как пролетарского революционера и находило свое выражение в дальнейшем в моей революционной борьбе в Болгарии и на Лейпцигском процессе» [2],— заявлял Георгий Димитров.

Из века в век деспоты и невежды гнали литературу, видя в ней немалую для себя опасность, старались унизить ее до положения развлекательного чтива или послушного рупора своих собственных идей. Но всегда существовали книги, которые воспитывали уважение к литературе, поднимали ее общественную роль, заставляли верить литературе, учиться у нее, учиться бороться и строить для человечества новую жизнь. В ряду таких книг достойное место занимает роман Чернышевского «Что делать?», книга — учебник жизни, книга-подвиг.

П. НИКОЛАЕВ

---

[1] К. Цеткин, Русские студентки.— Neue Zeit, 1888, № 8. Цитируется по журналу «Вопросы философии», 1957, № 6, стр. 56.

[2] Г. М. Димитров, Избранные произведения, т. I, М. 1957, стр. 485—486.

Посвящается
моему другу О. С. Ч.

I

ДУРАК

Поутру 11 июля 1856 года прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге. Накануне, в девятом часу вечера, приехал господин с чемоданом, занял нумер, отдал для прописки свой паспорт, спросил себе чаю и котлетку, сказал, чтоб его не тревожили вечером, потому что он устал и хочет спать, но чтобы завтра непременно разбудили в восемь часов, потому что у него есть спешные дела, запер дверь нумера и, пошумев ножом и вилкою, пошумев чайным прибором, скоро притих,— видно, заснул. Пришло утро; в восемь часов слуга постучался к вчерашнему приезжему — приезжий не подает голоса; слуга постучался сильнее, очень сильно — приезжий все не откликается. Видно, крепко устал. Слуга подождал четверть часа, опять стал будить, опять не добудился. Стал советоваться с другими слугами, с буфетчиком. «Уж не случилось ли с ним чего?» — «Надо выломать двери».— «Нет, так не годится: дверь ломать надо с полициею». Решили попытаться будить еще раз, посильнее; если и тут не проснется, послать за полициею. Сделали последнюю пробу; не добудились; послали за полициею и теперь ждут, что увидят с нею.

Часам к десяти утра пришел полицейский чиновник, постучался сам, велел слугам постучаться,— успех тот же, как и прежде. «Нечего делать, ломай дверь, ребята».

Дверь выломали. Комната пуста. «Загляните-ка под кровать» — и под кроватью нет проезжего. Полицейский чиновник

подошел к столу,— на столе лежал лист бумаги, а на нем крупными буквами было написано:

«Ухожу в 11 часов вечера и не возвращусь. Меня услышат на Литейном мосту, между 2 и 3 часами ночи. Подозрений ни на кого не иметь».

— Так вот оно, штука-то теперь и понятна, а то никак не могли сообразить,— сказал полицейский чиновник.

— Что же такое, Иван Афанасьевич? — спросил буфетчик.

— Давайте чаю, расскажу.

Рассказ полицейского чиновника долго служил предметом одушевленных пересказов и рассуждений в гостинице. История была вот какого рода.

В половине третьего часа ночи,— а ночь была облачная, темная,— на середине Литейного моста сверкнул огонь, и послышался пистолетный выстрел. Бросились на выстрел караульные служители, сбежались малочисленные прохожие,— никого и ничего не было на том месте, где раздался выстрел. Значит, не застрелил, а застрелился. Нашлись охотники нырять, притащили через несколько времени багры, притащили даже какую-то рыбацкую сеть, ныряли, нащупывали, ловили, поймали полсотни больших щеп, но тела не нашли и не поймали. Да и как найти? — ночь темная. Оно в эти два часа уж на взморье,— поди, ищи там. Поэтому возникли прогрессисты, отвергнувшие прежнее предположение: «А может быть, и не было никакого тела? может быть, пьяный или просто озорник, подурачился,— выстрелил, да и убежал,— а то, пожалуй, тут же стоит в хлопочущей толпе да подсмеивается над тревогою, какую наделал».

Но большинство, как всегда, когда рассуждает благоразумно, оказалось консервативно и защищало старое: «Какое подурачился — пустил себе пулю в лоб, да и все тут». Прогрессисты были побеждены. Но победившая партия, как всегда, разделилась тотчас после победы. Застрелился, так; но отчего? «Пьяный»,— было мнение одних консерваторов; «промотался»,— утверждали другие консерваторы. «Просто дурак»,— сказал кто-то. На этом «просто дурак» сошлись все, даже и те, которые отвергали, что он застрелился. Действительно, пьяный ли, промотавшийся ли застрелился, или озорник, вовсе не застрелился, а только выкинул штуку,— все равно, глупая, дурацкая штука.

На этом остановилось дело на мосту ночью. Поутру, в гостинице у Московской железной дороги, обнаружилось, что дурак не подурачился, а застрелился. Но остался в результате

истории элемент, с которым были согласны и побежденные, именно, что если и не пошалил, а застрелился, то все-таки дурак. Этот удовлетворительный для всех результат особенно прочен был именно потому, что восторжествовали консерваторы: в самом деле, если бы только пошалил выстрелом на мосту, то ведь, в сущности, было бы еще сомнительно, дурак ли, или только озорник. Но застрелился на мосту — кто же стреляется на мосту? как же это на мосту? зачем на мосту? глупо на мосту! — и потому, несомненно, дурак.

Опять явилось у некоторых сомнение: застрелился на мосту; на мосту не стреляются,— следовательно, не застрелился. Но к вечеру прислуга гостиницы была позвана в часть смотреть вытащенную из воды простреленную фуражку,— все признали, что фуражка та самая, которая была на проезжем. Итак, несомненно застрелился, и дух отрицания и прогресса побежден окончательно.

Все были согласны, что «дурак»,— и вдруг все заговорили: на мосту — ловкая штука! Это, чтобы, значит, не мучиться долго, коли не удастся хорошо выстрелить,— умно рассудил! от всякой раны свалится в воду и захлебнется, прежде чем опомнится,— да, на мосту... умно!

Теперь уж ровно ничего нельзя было разобрать,— и дурак, и умно.

II

ПЕРВОЕ СЛЕДСТВИЕ ДУРАЦКОГО ДЕЛА

В то же самое утро, часу в двенадцатом, молодая дама сидела в одной из трех комнат маленькой дачи на Каменном острову, шила и вполголоса напевала французскую песенку, бойкую, смелую.

«Мы бедны,— говорила песенка,— но мы рабочие люди, у нас здоровые руки. Мы темны, но мы не глупы и хотим света. Будем учиться — знание освободит нас; будем трудиться — труд обогатит нас,— это дело пойдет,— поживем, доживем —

Ça ira,
Qui vivra, verra.

Мы грубы, но от нашей грубости терпим мы же сами. Мы исполнены предрассудков, но ведь мы же сами страдаем от них, это чувствуется нами. Будем искать счастья, и найдем гу-

манность, и станем добры,— это дело пойдет,— поживем, доживем.

Труд без знания бесплоден, наше счастье невозможно без счастья других. Просветимся — и обогатимся; будем счастливы — и будем братья и сестры,— это дело пойдет,— поживем, доживем.

Будем учиться и трудиться, будем петь и любить, будет рай на земле. Будем же веселы жизнью,— это дело пойдет, оно скоро придет, все дождемся его,—

Donc, vivons,
Ça bien vite ira,
Ça viendra,
Nous tous le verrons!»

Смелая, бойкая была песенка, и ее мелодия была веселая,— было в ней две-три грустные ноты, но они покрывались общим светлым характером мотива, исчезали в рефрене, исчезали во всем заключительном куплете,— по крайней мере, должны были покрываться, исчезать,— исчезли бы, если бы дама была в другом расположении духа; но теперь у ней эти немногие грустные ноты звучали слышнее других, она как будто встрепенется, заметив это, понизит на них голос и сильнее начнет петь веселые звуки, их сменяющие, но вот она опять унесется мыслями от песни к своей думе, и опять грустные звуки берут верх. Видно, что молодая дама не любит поддаваться грусти; только видно, что грусть не хочет отстать от нее, как ни отталкивает она ее от себя. Но грустна ли веселая песня, становится ли опять весела, как ей следует быть, дама шьет очень усердно. Она хорошая швея.

В комнату вошла служанка, молоденькая девушка.

— Посмотрите, Маша, каково я шью? я уж почти кончила рукавчики, которые готовлю себе к вашей свадьбе.

— Ах, да на них меньше узора, чем на тех, которые вы мне вышили!

— Еще бы! Еще бы невеста не была наряднее всех на свадьбе!

— А я принесла вам письмо, Вера Павловна.

По лицу Веры Павловны пробежало недоумение, когда она стала распечатывать письмо: на конверте был штемпель городской почты. «Как же это? ведь он в Москве?» Она торопливо развернула письмо и побледнела; рука ее с письмом опустилась. «Нет, это не так, я не успела прочесть, в письме вовсе нет этого!» И она опять подняла руку с письмом. Все было де-

лом двух секунд. Но в этот второй раз ее глаза долго, неподвижно смотрели на немногие строки письма, и эти светлые глаза тускнели, тускнели, письмо выпало из ослабевших рук на швейный столик, она закрыла лицо руками, зарыдала. «Что я наделала! Что я наделала!» — и опять рыданье.

— Верочка, что с тобой? разве ты охотница плакать? когда ж это с тобой бывает? что ж это с тобой?

Молодой человек быстрыми, но легкими, осторожными шагами вошел в комнату.

— Прочти... оно на столе...

Она уже не рыдала, но сидела неподвижно, едва дыша.

Молодой человек взял письмо; и он побледнел, и у него задрожали руки, и он долго смотрел на письмо, хотя оно было невелико, всего-то слов десятка два:

«Я смущал ваше спокойствие. Я схожу со сцены. Не жалейте; я так люблю вас обоих, что очень счастлив своею решимостью. Прощайте».

Молодой человек долго стоял, потирая лоб, потом стал крутить усы, потом посмотрел на рукав своего пальто; наконец, он собрался с мыслями. Он сделал шаг вперед к молодой женщине, которая сидела по-прежнему неподвижно, едва дыша, будто в летаргии. Он взял ее руку:

— Верочка!

Но лишь коснулась его рука ее руки, она вскочила с криком ужаса, как поднятая электрическим ударом, стремительно отшатнулась от молодого человека, судорожно оттолкнула его:

— Прочь! Не прикасайся ко мне! Ты в крови! На тебе его кровь! Я не могу видеть тебя! я уйду от тебя! Я уйду! отойди от меня! — И она отталкивала, все отталкивала пустой воздух и вдруг пошатнулась, упала в кресло, закрыла лицо руками.

— И на мне его кровь! На мне! Ты не виноват — я одна... я одна! Что я наделала! Что я наделала!

Она задыхалась от рыдания.

— Верочка,— тихо и робко сказал он,— друг мой!..

Она тяжело перевела дух и спокойным и все еще дрожащим голосом проговорила, едва могла проговорить:

— Милый мой, оставь теперь меня! Через час войди опять,— я буду уже спокойна. Дай мне воды и уйди!

Он повиновался молча. Вошел в свою комнату, сел опять за свой письменный стол, у которого сидел такой спокойный, такой довольный за четверть часа перед тем, взял опять перо... «В такие-то минуты и надобно уметь владеть собою; у меня есть воля,— и все пройдет... пройдет...» А перо без его ведома

писало среди какой-то статьи: «Перенесет ли? — ужасно,— счастье погибло...»

— Милый мой! я готова, поговорим! — послышалось из соседней комнаты. Голос молодой женщины был глух, но тверд.

— Милый мой, мы должны расстаться. Я решилась. Это тяжело. Но еще тяжелее было бы нам видеть друг друга. Я его убийца. Я убила его для тебя.

— Верочка, чем же ты виновата?

— Не говори ничего, не оправдывай меня, или я возненавижу тебя. Я, я во всем виновата. Прости меня, мой милый, что я принимаю решение, очень мучительное для тебя,— и для меня, мой милый, тоже! Но я не могу поступить иначе, ты сам через несколько времени увидишь, что так следовало сделать. Это неизменно, мой друг. Слушай же. Я уезжаю из Петербурга. Легче будет вдали от мест, которые напоминали бы прошлое. Я продаю свои вещи; на эти деньги я могу прожить несколько времени,— где? в Твери, в Нижнем, я не знаю, все равно. Я буду искать уроков пения; вероятно, найду, потому что поселюсь где-нибудь в большом городе. Если не найду, пойду в гувернантки. Я думаю, что не буду нуждаться; но если буду, обращусь к тебе; позаботься же, чтоб у тебя на всякий случай было готово несколько денег для меня; ведь ты знаешь, у меня много надобностей, расходов, хоть я и скупа; я не могу обойтись без этого. Слышишь? я не отказываюсь от твоей помощи! пусть, мой друг, это доказывает тебе, что ты остаешься мил мне... А теперь простимся навсегда! Отправляйся в город... сейчас, сейчас! мне будет легче, когда я останусь одна. Завтра меня уже не будет здесь — тогда возвращайся. Я еду в Москву, там осмотрюсь, узнаю, в каком из провинциальных городов вернее можно рассчитывать на уроки. Запрещаю тебе быть на станции, чтобы провожать меня. Прощай же, мой милый, дай руку на прощанье, в последний раз пожму ее.

Он хотел обнять ее,— она предупредила его движение.

— Нет, не нужно, нельзя! Это было бы оскорблением ему. Дай руку. Жму ее — видишь, как крепко! Но прости!

Он не выпускал ее руки из своей.

— Довольно, иди.— Она отняла руку, он не смел противиться.— Прости же!

Она взглянула на него так нежно, но твердыми шагами ушла в свою комнату и ни разу не оглянулась на него уходя.

Он долго не мог отыскать свою шляпу; хоть раз пять брал ее в руки, но не видел, что берет ее. Он был как пьяный; наконец понял, что это под рукою у него именно шляпа, которую

он ищет, вышел в переднюю, надел пальто; вот он уже подходит к воротам: «Кто это бежит за мною? — верно, Маша... верно, с нею дурно!» Он обернулся — Вера Павловна бросилась ему на шею, обняла, крепко поцеловала.

— Нет, не утерпела, мой милый! Теперь прости навсегда!

Она убежала, бросилась в постель и залилась слезами, которые так долго сдерживала.

III

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Содержание повести — любовь, главное лицо — женщина,— это хорошо, хотя бы сама повесть и была плоха»,— говорит читательница.

— Это правда,— говорю я.

Читатель не ограничивается такими легкими заключениями,— ведь у мужчины мыслительная способность и от природы сильнее, да и развита гораздо больше, чем у женщины; он говорит,— читательница тоже, вероятно, думает это, но не считает нужным говорить, и потому я не имею основания спорить с нею,— читатель говорит: «Я знаю, что этот застрелившийся господин не застрелился». Я хватаюсь за слово «знаю» и говорю: ты этого не знаешь, потому что этого тебе еще не сказано, а ты знаешь только то, что тебе скажут; сам ты ничего не знаешь, не знаешь даже того, что тем, как я начал повесть, я оскорбил, унизил тебя. Ведь ты не знал этого, правда? — ну, так знай же.

Да, первые страницы рассказа обнаруживают, что я очень плохо думаю о публике. Я употребил обыкновенную хитрость романистов: начал повесть эффектными сценами, вырванными из средины или конца ее, прикрыл их туманом. Ты, публика, добра, очень добра, а потому ты неразборчива и недогадлива. На тебя нельзя положиться, что ты с первых страниц можешь различить, будет ли содержание повести стоить того, чтобы прочесть ее, у тебя плохое чутье, оно нуждается в пособии, а пособий этих два: или имя автора, или эффектность манеры. Я рассказываю тебе еще первую свою повесть, ты еще не приобрела себе суждения, одарен ли автор художественным талантом (ведь у тебя так много писателей, которым ты присвоила художественный талант), моя подпись еще не заманила бы тебя, и я должен был забросить тебе удочку с приманкой эффектности. Не осуждай меня за то,— ты сама виновата: твоя

простодушная наивность принудила меня унизиться до этой пошлости. Но теперь ты уже попалась в мои руки, и я могу продолжать рассказ, как, по-моему, следует, без всяких уловок. Дальше не будет таинственности, ты всегда будешь за двадцать страниц вперед видеть развязку каждого положения, а на первый случай я скажу тебе и развязку всей повести: дело кончится весело, с бокалами, песнью; не будет ни эффектности, никаких прикрас. Автору не до прикрас, добрая публика, потому что он все думает о том, какой сумбур у тебя в голове, сколько лишних, лишних страданий делает каждому человеку дикая путаница твоих понятий. Мне жалко и смешно смотреть на тебя: ты так немощна и так зла от чрезмерного количества чепухи в твоей голове.

Я сердит на тебя за то, что ты так зла к людям, а ведь люди — это ты: что же ты так зла к самой себе? Потому я и браню тебя. Но ты зла от умственной немощности, и потому, браня тебя, я обязан помогать тебе. С чего начать оказывание помощи? да хоть с того, о чем ты теперь думаешь: что это за писатель, так нагло говорящий со мною? — Я скажу тебе, какой я писатель.

У меня нет ни тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо. Но это все-таки ничего: читай, добрейшая публика! прочтешь не без пользы. Истина — хорошая вещь: она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей. Поэтому я скажу тебе: если б я не предупредил тебя, тебе, пожалуй, показалось бы, что повесть написана художественно, что у автора много поэтического таланта. Но я предупредил тебя, что таланта у меня нет,— ты и будешь знать теперь, что все достоинства повести даны ей только ее истинностью.

Впрочем, моя добрейшая публика, толкуя с тобою, надобно договаривать все до конца; ведь ты хоть и охотница, но не мастерица отгадывать недосказанное. Когда я говорю, что у меня нет ни тени художественного таланта и что моя повесть очень слаба по исполнению, ты не вздумай заключить, будто я объясняю тебе, что я хуже тех твоих повествователей, которых ты считаешь великими, а мой роман хуже их сочинений. Я говорю не то. Я говорю, что мой рассказ очень слаб по исполнению сравнительно с произведениями людей, действительно одаренных талантом; с прославленными же сочинениями твоих знаменитых писателей ты смело ставь наряду мой рассказ по достоинству исполнения, ставь даже выше их — не ошибешься! В нем все-таки больше художественности, чем в них; можешь быть спокойна на этот счет.

Поблагодари же меня; ведь ты охотница кланяться тем, которые пренебрегают тобою,— поклонись же и мне.

Но есть в тебе, публика, некоторая доля людей,— теперь уже довольно значительная доля,— которых я уважаю. С тобою, с огромным большинством, я нагл,— но только с ним, и только с ним я говорил до сих пор. С людьми, о которых я теперь упомянул, я говорил бы скромно, даже робко. Но с ними мне не нужно было объясняться. Их мнениями я дорожу, но я вперед знаю, что оно за меня. Добрые и сильные, честные и умеющие, недавно вы начали возникать между нами, но вас уже не мало и быстро становится все больше. Если бы вы были публика, мне уже не нужно было бы писать; если бы вас еще не было, мне еще не было бы можно писать. Но вы еще не публика, а уже вы есть между публикою,— потому мне еще нужно и уже можно писать.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЖИЗНЬ ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ В РОДИТЕЛЬСКОМ СЕМЕЙСТВЕ

I

Воспитание Веры Павловны было очень обыкновенное. Жизнь ее до знакомства с медицинским студентом Лопуховым представляла кое-что замечательное, но не особенное. А в поступках ее уже и тогда было кое-что особенное.

Вера Павловна выросла в многоэтажном доме на Гороховой, между Садовой и Семеновским мостом. Теперь этот дом отмечен каким ему следует нумером, а в 1852 году, когда еще не было таких нумеров, на нем была надпись: «Дом действительного статского советника Ивана Захаровича Сторешникова». Так говорила надпись; но Иван Захарыч Сторешников умер еще в 1837 году, и с той поры хозяин дома был сын его, Михаил Иванович,— так говорили документы. Но жильцы дома знали, что Михаил Иванович — хозяйкин сын, а хозяйка дома — Анна Петровна.

Дом и тогда был, как теперь, большой, с двумя воротами и четырьмя подъездами по улице, с тремя дворами в глубину. На самой парадной из лестниц на улицу, в бельэтаже, жила в 1852 году, как и теперь живет, хозяйка с сыном. Анна Петровна и теперь осталась, как тогда была, дама видная. Михаил Иванович теперь видный офицер и тогда был видный и красивый офицер.

Кто теперь живет на самой грязной из бесчисленных черных лестниц первого двора, в четвертом этаже, в квартире направо, я не знаю; а в 1852 году жил тут управляющий домом, Павел Константиныч Розальский, плотный, тоже видный мужчина, с женою Марьею Алексевною, худощавою, крепкою, высокого роста дамою, с дочерью, взрослою девицею — она-то и есть Вера Павловна — и с девятилетним сыном Федею.

Павел Константиныч, кроме того, что управлял домом, служил помощником столоначальника в каком-то департаменте. По должности он не имел доходов; по дому — имел, но умеренные: другой получал бы гораздо больше, а Павел Константиныч, как сам говорил, знал совесть; зато хозяйка была очень довольна им, и в четырнадцать лет управления он скопил тысяч до десяти капиталу. Но из хозяйкина кармана было тут тысячи три, не больше; остальные наросли к ним от оборотов не в ущерб хозяйке: Павел Константиныч давал деньги под ручной залог.

У Марьи Алексевны тоже был капиталец — тысяч пять, как она говорила кумушкам,— на самом деле побольше. Основание капиталу было положено лет пятнадцать тому назад продажею енотовой шубы, платьишка и мебелишки, доставшихся Марье Алексевне после брата-чиновника. Выручив рублей полтораста, она тоже чустила их в оборот под залоги, действовала гораздо рискованнее мужа и несколько раз попадалась на удочку; какой-то плут взял у нее пять рублей под залог паспорта,— паспорт вышел краденый, и Марье Алексевне пришлось приложить еще рублей пятнадцать, чтобы выпутаться из дела; другой мошенник заложил за двадцать рублей золотые часы,— часы оказались снятыми с убитого, и Марье Алексевне пришлось поплатиться порядком, чтобы выпутаться из дела. Но если она терпела потери, которых избегал муж, разборчивый в приеме залогов, зато и прибыль у нее шла быстрее. Подыскивались и особенные случаи получать деньги. Однажды,— Вера Павловна была еще тогда маленькая: при взрослой дочери Марья Алексевна не стала бы делать этого, а тогда почему было не сделать? — ребенок ведь не понимает! — и точно, сама Верочка не поняла бы, да, спасибо, кухарка растолковала очень вразумительно; да и кухарка не стала бы толковать, потому что дитяти этого знать не следует, но так уже случилось, что душа не стерпела после одной из сильных потасовок от Марьи Алексевны за гульбу с любовником (впрочем, глаз у Матрены был всегда подбитый, не от Марьи Алексевны, а от любовника,— а это и хорошо, потому что кухарка с подбитым глазом

дешевле!). Так вот, однажды приехала к Марье Алексеевне невиданная знакомая дама, нарядная, пышная, красивая, приехала и осталась погостить. Неделю гостила смирно, только все ездил к ней какой-то статский, тоже красивый, и дарил Верочке конфеты, и надарил ей хороших кукол, и подарил две книжки, обе с картинками; в одной книжке были хорошие картинки — звери, города; а другую книжку Марья Алексевна отняла у Верочки, как уехал гость, так что только раз она и видела эти картинки, при нем: он сам показывал. Так с неделю гостила знакомая, и все было тихо в доме: Марья Алексевна всю неделю не подходила к шкапчику (где стоял графин с водкой), ключ от которого никому не давала, и не била Матрену, и не била Верочку, и не ругалась громко. Потом одну ночь Верочку беспрестанно будили страшные вскрикиванья гостьи, и ходьба, и суетня в доме. Утром Марья Алексевна подошла к шкапчику и дольше обыкновенного стояла у него и все говорила: «Слава богу, счастливо было, слава богу!», даже подозвала к шкапчику Матрену и сказала: «На здоровье, Матренушка, ведь и ты много потрудилась», и после не то чтобы драться да ругаться, как бывало в другие времена после шкапчика, а легла спать, поцеловавши Верочку. Потом опять неделю было смирно в доме, и гостья не кричала, а только не выходила из комнаты и потом уехала. А через два дня после того, как она уехала, приходил статский, только уже другой статский, и приводил с собою полицию, и много ругал Марью Алексевну; но Марья Алексевна сама ни в одном слове не уступала ему и все твердила: «Я никаких ваших делов не знаю. Справьтесь по домовым книгам, кто у меня гостил! — псковская купчиха Савастьянова, моя знакомая, вот вам и весь сказ!» Наконец, поругавшись, поругавшись, статский ушел и больше не показывался. Это видела Верочка, когда ей было восемь лет, а когда ей было девять лет, Матрена ей растолковала, какой это был случай. Впрочем, такой случай только один и был; а другие бывали разные, но не так много.

Когда Верочке было десять лет, девочка, шедшая с матерью на Толкучий рынок, получила при повороте из Гороховой в Садовую неожиданный подзатыльник, с замечанием: «Глазеешь на церковь, дура, а лба-то что не перекрестишь? Чать, видишь, все добрые люди крестятся!»

Когда Верочке было двенадцать лет, она стала ходить в пансион, а к ней стал ходить фортепьянный учитель — пьяный, но очень добрый немец и очень хороший учитель, но, по своему пьянству, очень дешевый.

Когда ей был четырнадцатый год, она обшивала всю семью, впрочем, ведь и семья-то была невелика.

Когда Верочке подошел шестнадцатый год, мать стала кричать на нее так: «Отмывай рожу-то,— что она у тебя, как у цыганки! Да не отмоешь, такая чучела уродилась, не знаю в кого». Много доставалось Верочке за смуглый цвет лица, и она привыкла считать себя дурнушкой. Прежде мать водила ее чуть ли не в лохмотьях, а теперь стала наряжать. А Верочка, наряженная, идет с матерью в церковь да думает: «К другой шли бы эти наряды, а на меня что ни надень, все цыганка — чучело как в ситцевом платье, так и в шелковом. А хорошо быть хорошенькою. Как бы мне хотелось быть хорошенькою!»

Когда Верочке исполнилось шестнадцать лет, она перестала учиться у фортепьянного учителя и в пансионе, а сама стала давать уроки в том же пансионе; потом мать нашла ей и другие уроки.

Через полгода мать перестала называть Верочку цыганкою и чучелою, а стала наряжать лучше прежнего, а Матрена,— это уж была третья Матрена после той: у той был всегда подбит левый глаз, а у этой разбита левая скула, но не всегда,— сказала Верочке, что собирается сватать ее начальник Павла Константиныча и какой-то важный начальник, с орденом на шее. Действительно, мелкие чиновники в департаменте говорили, что начальник отделения, у которого служит Павел Константиныч, стал благосклонен к нему, а начальник отделения между своими ровными стал выражать такое мнение, что ему нужно жену хоть бесприданницу, но красавицу, и еще такое мнение, что Павел Константиныч хороший чиновник.

Чем бы это кончилось, неизвестно; но начальник отделения собирался долго, благоразумно, а тут подвернулся другой случай.

Хозяйкин сын зашел к управляющему сказать, что матушка просит Павла Константиныча взять образцы разных обоев, потому что матушка хочет заново отделывать квартиру, в которой живет. А прежде подобные приказания отдавались через дворецкого. Конечно, дело понятное и не для таких бывалых людей, как Марья Алексевна с мужем. Хозяйкин сын, зашедши, просидел больше получаса и удостоил выкушать чаю (цветочного). Марья Алексевна на другой же день подарила дочери фермуар, оставшийся невыкупленным в закладе, и заказала дочери два новых платья, очень хороших,— одна материя стоила: на одно платье сорок рублей, на другое пятьдесят два рубля, а с оборками да лентами да фасоном оба платья обошлись сто семьдесят четыре рубля, по крайней мере, так ска-

зала Марья Алексевна мужу, а Верочка знала, что всех денег вышло на них меньше ста рублей,— ведь покупки тоже делались при ней,— но ведь и на сто рублей можно сделать два очень хорошие платья. Верочка радовалась платьям, радовалась фермуару, но больше всего радовалась тому, что мать наконец согласилась покупать ботинки ей у Королева: ведь на Толкучем рынке ботинки такие безобразные, а королевские так удивительно сидят на ноге.

Платья не пропали даром: хозяйкин сын повадился ходить к управляющему и, разумеется, больше говорил с дочерью, чем с управляющим и управляющихой, которые тоже, разумеется, носили его на руках. Ну, и мать делала наставления дочери, все как следует,— этого нечего и описывать, дело известное.

Однажды, после обеда, мать сказала:

— Верочка, одевайся, да получше. Я тебе приготовила суприз — поедем в оперу, я во втором ярусе взяла билет, где все генеральши бывают. Все для тебя, дурочка. Последних денег не жалею. У отца-то, от расходов на тебя, уж все животы подвело. В один пансион мадаме сколько переплатили, а фортепьянщику-то сколько! Ты этого ничего не чувствуешь, неблагодарная, нет, видно, души-то в тебе, бесчувственная ты этакая!

Только и сказала Марья Алексевна, больше не бранила дочь, а это какая же брань? Марья Алексевна только вот уж так и говорила с Верочкою, а браниться на нее давно перестала, и бить ни разу не била с той поры, как прошел слух про начальника отделения.

Поехали в оперу. После первого акта вошел в ложу хозяйкин сын, и с ним двое приятелей — один статский, сухощавый и очень изящный, другой военный, полный и попроще. Сели, и уселись, и много шептались между собою, все больше хозяйкин сын со статским, а военный говорил мало. Марья Алексевна вслушивалась, разбирала почти каждое слово, да мало могла понять, потому что они говорили все по-французски. Слов пяток из их разговора она знала: belle, charmante, amour, bonheur,— да что толку в этих словах? Belle, charmante — Марья Алексевна и так уже давно слышит, что ее цыганка belle и charmante; amour — Марья Алексевна и сама видит, что он по уши врюхался в amour; а коли amour, то уж, разумеется, и bonheur,— что толку от этих слов? Но только что же, сватать-то скоро ли будет?

— Верочка, ты неблагодарная, как есть неблагодарная,— шепчет Марья Алексевна дочери,— что рыло-то воротишь от них? Обидели они тебя, что вошли? Честь тебе, дуре, делают.

А свадьба-то по-французски — марьяж, что ли, Верочка? А как жених с невестою, а венчаться как по-французски?

Верочка сказала.

— Нет, таких слов что-то не слышно... Вера, да ты мне, видно, слова-то не так сказала? Смотри у меня!

— Нет, так; только этих слов вы от них не услышите. Поедемте, я не могу оставаться здесь дольше.

— Что? что ты сказала, мерзавка? — Глаза у Марьи Алексевны налились кровью.

— Поедемте. Делайте потом со мною, что хотите, а я не останусь. Я вам скажу после почему.— Маменька,— это уж было сказано вслух,— у меня очень разболелась голова. Я не могу сидеть здесь. Прошу вас!

Верочка встала.

Кавалеры засуетились.

— Это пройдет, Верочка,— строго, но чинно сказала Марья Алексевна,— походи по коридору с Михайлом Иванычем, и пройдет голова.

— Нет, не пройдет; я чувствую себя очень дурно. Скорее, маменька.

Кавалеры отворили дверь, хотели вести Верочку под руки,— отказалась, мерзкая девчонка! Сами подали салопы, сами пошли сажать в карету. Марья Алексевна гордо посматривала на лакеев: «Глядите, хамы, каковы кавалеры, а вот этот моим зятем будет! Сама таких хамов заведу. А ты у меня ломайся, ломайся, мерзавка,— я те поломаю!» — Но стой, стой,— что-то говорит зятек ее скверной девчонке, сажая мерзкую гордячку в карету? Santé — это, кажется, здоровье, savoir — узнаю, visite — и по-нашему то же, permettez — прошу позволения. Не уменьшилась злоба Марьи Алексевны от этих слов; но надо принять их в соображение. Карета двинулась.

— Что он тебе сказал, когда сажал?

— Он сказал, что завтра поутру зайдет узнать о моем здоровье.

— Не врешь, что завтра?

Верочка молчала.

— Счастлив твой бог! — однако не утерпела Марья Алексевна, рванула дочь за волосы,— только раз, и то слегка.— Ну, пальцем не трону, только завтра чтоб была весела! Ночь спи, дура! Не вздумай плакать. Смотри, если увижу завтра, что бледна или глаза заплаканы! Спущала до сих пор... не спущу. Не пожалею смазливой-то рожи, уж заодно пропадать будет, так хоть дам себя знать!

— Я уж давно перестала плакать, вы знаете.

— То-то же, да будь с ним поразговорчивее.

— Да, я завтра буду с ним говорить.

— То-то, пора за ум взяться. Побойся бога да пожалей мать, страмница!

Прошло минут десять.

— Верочка, ты на меня не сердись. Я из любви к тебе бранюсь, тебе же добра хочу. Ты не знаешь, каковы дети милы матерям. Девять месяцев тебя в утробе носила! Верочка, отблагодари, будь послушна, сама увидишь, что к твоей пользе. Веди себя, как я учу,— завтра же предложенье сделает!

— Маменька, вы ошибаетесь. Он вовсе не думает делать предложения. Маменька! что они говорили!

— Знаю; коли не о свадьбе, так известно о чем. Да не на таковских напал. Мы его в бараний рог согнем. В мешке в церковь привезу, за виски вокруг налоя обведу, да еще рад будет. Ну, да нечего с тобой много говорить, и так лишнее наговорила: девушкам не следует этого знать, это материно дело. А девушка должна слушаться, она еще ничего не понимает. Так будешь с ним говорить, как я тебе велю?

— Да, буду с ним говорить.

— А вы, Павел Константиныч, что сидите, как пень? Скажите и вы от себя, что и вы, как отец, ей приказываете слушаться матери, что мать не станет учить ее дурному.

— Марья Алексевна, ты умная женщина, только дело-то опасное: не слишком ли круто хочешь вести!

— Дурак! вот брякнул,— при Верочке-то! Не рада, что и расшевелила! правду пословица говорит: не тронь дерьма, не воняет! Эко бухнул! Ты не рассуждай, а скажи: должна дочь слушаться матери?

— Конечно, должна; что говорить, Марья Алексевна!

— Ну, так и приказывай, как отец.

— Верочка, слушайся во всем матери. Твоя мать умная женщина, опытная женщина. Она не станет тебя учить дурному. Я тебе, как отец, приказываю.

Карета остановилась у ворот.

— Довольно, маменька. Я вам сказала, что буду говорить с ним. Я очень устала. Мне надобно отдохнуть.

— Ложись, спи. Не потревожу. Это нужно к завтрему. Хорошенько выспись.

Действительно, все время, как они всходили по лестнице, Марья Алексевна молчала,— а чего ей это стоило! и опять, чего

ей стоило, когда Верочка пошла прямо в свою комнату, сказавши, что не хочет пить чаю,— чего стоило Марье Алексевне ласковым голосом сказать:

— Верочка, подойди ко мне! — Дочь подошла.— Хочу тебя благословить на сон грядущий, Верочка. Нагни головку! — Дочь нагнулась.— Бог тебя благословит, Верочка, как я тебя благословляю.

Она три раза благословила дочь и подала ей поцеловать свою руку.

— Нет, маменька. Я уж давно сказала вам, что не буду целовать вашей руки. А теперь отпустите меня. Я в самом деле чувствую себя дурно.

Ах, как было опять вспыхнули глаза Марьи Алексевны. Но пересилила себя и кротко сказала:

— Ступай отдохни.

Едва Верочка разделась и убрала платье,— впрочем, на это ушло много времени, потому что она все задумывалась: сняла браслет и долго сидела с ним в руке, вынула серьгу — и опять забылась, и много времени прошло, пока она вспомнила, что ведь она страшно устала, что ведь она даже не могла стоять перед зеркалом, а опустилась в изнеможении на стул, как добрела до своей комнаты, что надобно же поскорее раздеться и лечь,— едва Верочка легла в постель, в комнату вошла Марья Алексевна с подносом, на котором была большая отцовская чашка и лежала целая груда сухарей.

— Кушай, Верочка! Вот, кушай на здоровье! Сама тебе принесла: видишь, мать помнит о тебе! Сижу, да и думаю: как же это Верочка легла спать без чаю? сама пью, а сама все думаю. Вот и принесла. Кушай, моя дочка милая!

Странен показался Верочке голос матери: он в самом деле был мягок и добр,— этого никогда не бывало. Она с недоумением посмотрела на мать. Щеки Марьи Алексевны пылали и глаза несколько блуждали.

— Кушай, я посижу, посмотрю на тебя. Выкушаешь, принесу другую чашку.

Чай, наполовину налитый густыми, вкусными сливками, разбудил аппетит. Верочка приподнялась на локоть и стала пить. «Как вкусен чай, когда он свежий, густой и когда в нем много сахару и сливок! Чрезвычайно вкусен! Вовсе не похож на тот спитой, с одним кусочком сахару, который даже противен. Когда у меня будут свои деньги, я всегда буду пить такой чай, как этот».

— Благодарю вас, маменька.

— Не спи, принесу другую.— Она вернулась с другою чашкою такого же прекрасного чаю.— Кушай, а я опять посижу.

С минуту она молчала, потом вдруг заговорила как-то особенно, то самою быстрою скороговоркою, то растягивая слова.

— Вот, Верочка, ты меня поблагодарила. Давно я не слышала от тебя благодарности. Ты думаешь, я злая. Да, я злая, только нельзя не быть злой! А слаба я стала, Верочка! от трех пуншей ослабела, а какие еще мои лета! Да и ты меня расстроила, Верочка, очень огорчила! Я и ослабела. А тяжелая моя жизнь, Верочка. Я не хочу, чтобы ты так жила. Богато живи. Я сколько мученья приняла, Верочка, и-и-и, и-и-и, сколько! Ты не помнишь, как мы с твоим отцом жили, когда он еще не был управляющим! Бедно, и-и-и, как бедно жили,— а я тогда была честная, Верочка! Теперь я нечестная,— нет, не возьму греха на душу, не солгу перед тобою, не скажу, что я теперь честная! Где уж,— то время давно прошло. Ты, Верочка, ученая, а я неученая, да я знаю все, что у вас в книгах написано; там и то написано, что не надо так делать, как со мною сделали. «Ты, говорят, нечестная!» Вот и отец твой,— тебе-то он отец, это Наденьке не он был отец,— голый дурак, а тоже колет мне глаза, надругается! Ну, меня и взяла злость: а когда, говорю, по-вашему, я нечестная, так я и буду такая! Наденька родилась. Ну так что ж, что родилась? Меня этому кто научил? Кто должность-то получил? Тут моего греха меньше было, чем его. А они у меня ее отняли, в воспитательный дом отдали,— и узнать-то было нельзя, где она,— так и не видала ее, и не знаю, жива ли она... чать, уж где быть в живых! Ну, в теперешнюю пору мне бы мало горя, а тогда не так легко было,— меня пуще злость взяла! Ну, и стала злая. Тогда и пошло все хорошо. Твоему отцу, дураку, должность доставил кто? — я доставила. А в управляющие кто его произвел? — я произвела. Вот и стали жить хорошо. А почему? — потому что я стала нечестная да злая. Это, я знаю, у вас в книгах написано, Верочка, что только нечестным да злым и хорошо жить на свете. А это правда, Верочка! Вот теперь и у отца твоего деньги есть,— я предоставила; и у меня есть, может, и побольше, чем у него,— все сама достала, на старость кусок хлеба приготовила. И отец твой, дурак, меня уважать стал, по струнке стал у меня ходить, я его вышколила! А то гнал меня, надругался надо мною. А за что? Тогда было не за что,— а за то, Верочка, что не была злая. А у вас в книгах, Верочка, написа-

но, что не годится так жить,— а ты думаешь, я этого не знаю? Да в книгах-то у вас написано, что коли не так жить, так надо все по-новому завести, а по нынешнему заведенью нельзя так жить, как они велят,— так что ж они по новому-то порядку не заводят? Эх, Верочка, ты думаешь, я не знаю, какие у вас в книгах новые порядки расписаны? — знаю: хорошие. Только мы с тобой до них не доживем, больно глуп народ,— где с таким народом хорошие-то порядки завести! Так станем жить по старым. И ты по ним живи. А старый порядок какой? У вас в книгах написано: старый порядок тот, чтобы обирать да обманывать. А это правда, Верочка. Значит, когда нового-то порядку нет, по старому и живи: обирай да обманывай; по любви тебе говор — хрр...

Марья Алексевна захрапела и повалилась.

II

Марья Алексевна знала, что говорилось в театре, но еще не знала, что выходило из этого разговора.

В то время как она, расстроенная огорчением от дочери и в расстройстве налившая много рому в свой пунш, уже давно храпела, Михаил Иваныч Сторешников ужинал в каком-то моднейшем ресторане с другими кавалерами, приходившими в ложу. В компании было еще четвертое лицо — француженка, приехавшая с офицером. Ужин приближался к концу.

— Мсье Сторешник! — Сторешников возликовал: француженка обращалась к нему в третий раз во время ужина.— Мсье Сторешник! вы позвольте мне так называть вас, это приятнее звучит и легче выговаривается,— я не думала, что я буду одна дама в вашем обществе; я надеялась увидеть здесь Адель,— это было бы приятно, я ее так редко вижу.

— Адель поссорилась со мною, к несчастью.

Офицер хотел сказать что-то, но промолчал.

— Не верьте ему, m-lle Жюли,— сказал статский,— он боится открыть вам истину, думает, что вы рассердитесь, когда узнаете, что он бросил француженку для русской.

— Я не знаю, зачем и мы-то сюда поехали! — сказал офицер.

— Нет, Серж, отчего же, когда Жан просил! и мне было очень приятно познакомиться с мсье Сторешником. Но, мсье Сторешник, фи, какой у вас дурной вкус! Я бы ничего не имела возразить, если бы вы покинули Адель для этой грузинки, в

ложе которой были с ними обоими; но променять француженку на русскую... воображаю! бесцветные глаза, бесцветные жиденькие волосы, бессмысленное бесцветное лицо... виновата, не бесцветное, а, как вы говорите, кровь со сливками, то есть кушанье, которое могут брать в рот только ваши эскимосы! Жан, подайте пепельницу грешнику против граций, пусть он посыплет пеплом свою преступную голову!

— Ты наговорила столько вздора, Жюли, что не ему, а тебе надобно посыпать пеплом голову,— сказал офицер,— ведь та, которую ты назвала грузинкою,— это она и есть русская-то.

— Ты смеешься надо мною?

— Чистейшая русская,— сказал офицер.

— Невозможно!

— Ты напрасно думаешь, милая Жюли, что в нашей нации один тип красоты, как в вашей. Да и у вас много блондинок. А мы, Жюли, смесь племен, от беловолосых, как финны («Да, да, финны»,— заметила для себя француженка), до черных, гораздо чернее итальянцев,— это татары, монголы («Да, монголы, знаю»,— заметила для себя француженка),— они все дали много своей крови в нашу! У нас блондинки, которых ты ненавидишь, только один из местных типов,— самый распространенный, но не господствующий.

— Это удивительно! но она великолепна! Почему она не поступит на сцену? Впрочем, господа, я говорю только о том, что я видела. Остается вопрос, очень важный: ее нога? Ваш великий поэт Карасен, говорили мне, сказал, в целой России нет пяти пар маленьких и стройных ног.

— Жюли, это сказал не Карасен,— и лучше зови его: Карамзин,— Карамзин был историк, да и то не русский, а татарский,— вот тебе новое доказательство разнообразия наших типов. О ножках сказал Пушкин,— его стихи были хороши для своего времени, но теперь потеряли большую часть своей цены. Кстати, эскимосы живут в Америке, а наши дикари, которые пьют оленью кровь, называются самоеды.

— Благодарю, Серж. Карамзин — историк; Пушкин — знаю; эскимосы в Америке; русские — самоеды; да, самоеды,— но это звучит очень мило: са-мо-е-ды! Теперь буду помнить. Я, господа, велю Сержу все это говорить мне, когда мы одни или не в нашем обществе. Это очень полезно для разговора. Притом, науки — моя страсть; я родилась быть m-me Сталь, господа. Но это посторонний эпизод. Возвращаемся к вопросу: ее нога?

— Если вы позволите мне завтра явиться к вам, m-lle Жюли, я буду иметь честь привезти к вам ее башмак.

— Привозите, я примерю. Это затрогивает мое любопытство.

Сторешников был в восторге: как же? — он едва цеплялся за хвост Жана, Жан едва цеплялся за хвост Сержа, Жюли — одна из первых француженок между француженками общества Сержа,— честь, великая честь!

— Нога удовлетворительна,— подтвердил Жан,— но я, как человек положительный, интересуюсь более существенным. Я рассматривал ее бюст.

— Бюст очень хорош,— сказал Сторешников, ободрявшийся выгодными отзывами о предмете его вкуса и уже замысливший, что может говорить комплименты Жюли, чего до сих пор не смел,— ее бюст очарователен, хотя, конечно, хвалить бюст другой женщины здесь — святотатство.

— Ха, ха, ха! Этот господин хочет сказать комплимент моему бюсту! Я не ипокритка и не обманщица, мсье Сторешник: я не хвалюсь и не терплю, чтобы другие хвалили меня за то, что у меня плохо. Слава богу, у меня еще довольно осталось, чем я могу хвалиться по правде. Но мой бюст — ха, ха, ха! Жан, вы видели мой бюст — скажите ему! Вы молчите, Жан? Вашу руку, мсье Сторешник,— она схватила его за руку,— чувствуете, что это не тело? Попробуйте еще здесь, и здесь,— теперь знаете? Я ношу накладной бюст, как ношу платье, юбку, рубашку, не потому, чтоб это мне нравилось,— по-моему, было бы лучше без этих ипокритств,— а потому, что это так принято в обществе. Но женщина, которая столько жила, как я,— и как жила, мсье Сторешник! — я теперь святая, схимница перед тем, что была,— такая женщина не может сохранить бюста! — И вдруг она заплакала: — Мой бюст! мой бюст! моя чистота! о боже, затем ли я родилась?

— Вы лжете, господа,— закричала она, вскочила и ударила кулаком по столу,— вы клевещете! Вы низкие люди! она не любовница его! он хочет купить ее! Я видела, как она отворачивалась от него, горела негодованьем и ненавистью. Это гнусно!

— Да,— сказал статский, лениво потягиваясь,— ты прихвастнул, Сторешников; у вас дело еще не кончено, а ты уж наговорил, что живешь с нею, даже разошелся с Аделью для лучшего заверения нас. Да, ты описывал нам очень хорошо, но описывал то, чего еще не видал; впрочем, это ничего: не за неделю до нынешнего дня, так через неделю после нынешнего дня,— это все равно. И ты не разочаруешься в описаниях, кото-

рые делал по воображению; найдешь даже лучше, чем думаешь. Я рассматривал: останешься доволен.

Сторешников был вне себя от ярости:

— Нет, m-lle Жюли, вы обманулись, смею вас уверить, в вашем заключении; простите, что осмеливаюсь противоречить вам, но она — моя любовница. Это была обыкновенная любовная ссора от ревности; она видела, что я первый акт сидел в ложе m-lle Матильды,— только и всего!

— Врешь, мой милый, врешь,— сказал Жан и зевнул.

— А не вру, не вру.

— Докажи. Я человек положительный и без доказательств не верю.

— Какие же доказательства я могу тебе представить?

— Ну, вот и пятишься, и уличаешь себя, что врешь. Какие доказательства? Будто трудно найти? Да вот тебе: завтра мы собираемся ужинать опять здесь. M-lle Жюли будет так добра, что привезет Сержа, я привезу свою миленькую Берту, ты привезешь ее. Если привезешь — я проиграл, ужин на мой счет; не привезешь — изгоняешься со стыдом из нашего круга! — Жан дернул сонетку; вошел слуга.— Simon, будьте так добры: завтра ужин на шесть персон, точно такой, как был, когда я венчался у вас с Бертою,— помните, пред рождеством? — и в той же комнате.

— Как не помнить такого ужина, мсье! Будет исполнено.

Слуга вышел.

— Гнусные люди! гадкие люди! я была два года уличною женщиной в Париже, я полгода жила в доме, где собирались воры, я и там не встречала троих таких низких людей вместе! Боже мой, с кем я принуждена жить в обществе! За что такой позор мне, о боже? — Она упала на колени.— Боже! я слабая женщина! Голод я умела переносить, но в Париже так холодно зимой! Холод был так силен, обольщения так хитры! Я хотела жить, я хотела любить,— боже! ведь это не грех,— за что же ты так наказываешь меня? Вырви меня из этого круга, вырви меня из этой грязи! Дай мне силу сделаться опять уличной женщиной в Париже, я не прошу у тебя ничего другого, я недостойна ничего другого, но освободи меня от этих людей, от этих гнусных людей! — Она вскочила и подбежала к офицеру.— Серж, и ты такой же? Нет, ты лучше их! («Лучше»,— флегматически заметил офицер.) Разве это не гнусно?

— Гнусно, Жюли.

— И ты молчишь? допускаешь? соглашаешься? участвуешь?

— Садись ко мне на колени, моя милая Жюли.— Он стал

ласкать ее, она успокоилась.— Как я люблю тебя в такие минуты! Ты славная женщина. Ну, что ты не соглашаешься повенчаться со мною? Сколько раз я просил тебя об этом! Согласись.

— Брак? ярмо? предрассудок? Никогда! я запретила тебе говорить мне такие глупости. Не сердн меня. Но... Серж, милый Серж! запрети ему! Он тебя боится,— спаси ее!

— Жюли, будь хладнокровнее. Это невозможно. Не он, так другой, все равно. Да вот, посмотри, Жан уже думает отбить ее у него, а таких Жанов тысячи, ты знаешь. От всех не убережешь, когда мать хочет торговать дочерью. Лбом стену не прошибешь, говорим мы, русские. Мы умный народ, Жюли. Видишь, как спокойно я живу, приняв этот наш русский принцип.

— Никогда! Ты раб, француженка свободна. Француженка борется,— она падает, но она борется! Я не допущу! Кто она? Где она живет? Ты знаешь?

— Знаю.

— Едем к ней. Я предупрежу ее.

— В первом-то часу ночи? Поедем-ка лучше спать. До свиданья, Жан. До свиданья, Сторешников. Разумеется, вы не будете ждать Жюли и меня на ваш завтрашний ужин: вы видите, как она раздражена. Да и мне, сказать по правде, эта история не нравится. Конечно, вам нет дела до моего мнения. До свиданья.

— Экая бешеная француженка,— сказал статский, потягиваясь и зевая, когда офицер и Жюли ушли.— Очень пикантная женщина, но это уж чересчур. Очень приятно видеть, когда хорошенькая женщина будирует, но с нею я не ужился бы четыре часа, не то что четыре года. Конечно, Сторешников, наш ужин не расстраивается от ее каприза. Я привезу Поля с Матильдою вместо них. А теперь пора по домам. Мне еще нужно заехать к Берте и потом к маленькой Лотхен, которая очень мила.

III

— Ну, Вера, хорошо. Глаза не заплаканы. Видно, поняла, что мать говорит правду, а то все на дыбы подымалась,— Верочка сделала нетерпеливое движение,— ну, хорошо, не стану говорить, не расстраивайся. А я вчера так и заснула у тебя в комнате, может, наговорила чего лишнего. Я вчера не в своем виде была. Ты не верь тому, что я с пьяных-то глаз наговорила, слышишь? не верь.

Верочка опять видела прежнюю Марью Алексевну. Вчера ей казалось, что из-под зверской оболочки проглядывают человеческие черты, теперь опять зверь, и только. Верочка усиливалась победить в себе отвращение, но не могла. Прежде она только ненавидела мать, вчера думалось ей, что она перестает ее ненавидеть, будет только жалеть,— теперь опять она чувствовала ненависть, но и жалость осталась в ней.

— Одевайся, Верочка! чать, скоро придет.— Она очень заботливо осмотрела наряд дочери.— Если ловко поведешь себя, подарю серьги с большими-то изумрудами,— они старого фасона, но если переделать, выйдет хорошая брошка. В залоге остались за сто пятьдесят рублей, с процентами двести пятьдесят, а стоят больше четырехсот. Слышишь, подарю.

Явился Сторешников. Он вчера долго не знал, как ему справиться с задачею, которую накликал на себя; он шел пешком из ресторана домой и все думал. Но пришел домой уже спокойный,— придумал, пока шел,— и теперь был доволен собой.

Он справился о здоровье Веры Павловны — «я здорова»; он сказал, что очень рад, и навел речь на то, что здоровьем надобно пользоваться,— «конечно, надобно», а по мнению Марьи Алексевны, «и молодостью также»; он совершенно с этим согласен и думает, что хорошо было бы воспользоваться нынешним вечером для поездки за город: день морозный, дорога чудесная.— С кем же он думает ехать? «Только втроем: вы, Марья Алексевна, Вера Павловна и я». В таком случае Марья Алексевна совершенно согласна; но теперь она пойдет готовить кофе и закуску, а Верочка споет что-нибудь. «Верочка, ты споешь что-нибудь?» — прибавляет она тоном, не допускающим возражений. «Спою».

Верочка села к фортепьяно и запела «Тройку» — тогда эта песня была только что положена на музыку; по мнению, питаемому Марьей Алексевною за дверью, эта песня очень хороша: девушка засмотрелась на офицера,— Верка-то, когда захочет, ведь умная, шельма! — Скоро Верочка остановилась: и это все так; Марья Алексевна так и велела: немножко пропой, а потом заговори.— Вот Верочка и говорит, только, к досаде Марьи Алексевны, по-французски,— «экая дура я какая, забыла сказать, чтобы по-русски»; — но Вера говорит тихо... улыбнулась,— ну, значит, ничего, хорошо. Только что ж он-то выпучил глаза? впрочем, дурак, так дурак и есть, он только и умеет хлопать глазами. А нам таких-то и надо. Вот подала ему руку — умна стала Верка, хвалю.

— Мсье Сторешников, я должна говорить с вами серьезно. Вчера вы взяли ложу, чтобы выставить меня вашим приятелям как вашу любовницу. Я не буду говорить вам, что это бесчестно: если бы вы были способны понять это, вы не сделали бы так. Но я предупреждаю вас: если вы осмелитесь подойти ко мне в театре, на улице, где-нибудь,— я даю вам пощечину. Мать замучит меня (вот тут-то Верочка улыбнулась), но пусть будет со мною, что будет, все равно! Нынче вечером вы получите от моей матери записку, что катанье наше расстроилось, потому что я больна.

Он стоял и хлопал глазами, как уже и заметила Марья Алексевна.

— Я говорю с вами, как с человеком, в котором нет ни искры чести. Но, может быть, вы еще не до конца испорчены. Если так, я прошу вас: перестаньте бывать у нас. Тогда я прощу вам вашу клевету. Если вы согласны, дайте вашу руку,— она протянула ему руку; он взял ее, сам не понимая, что делает.

— Благодарю вас. Уйдите же. Скажите, что вам надобно торопиться приготовить лошадей для поездки.

Он опять похлопал глазами. Она уже обернулась к нотам и продолжала «Тройку». Жаль, что не было знатоков; любопытно было послушать: верно, не часто им случалось слушать пение с таким чувством; даже уж слишком много было чувства, не артистично.

Через минуту Марья Алексевна вошла, и кухарка втащила поднос с кофе и закускою. Михаил Иваныч, вместо того чтобы сесть за кофе, пятился к дверям.

— Куда же вы, Михаил Иваныч?

— Я тороплюсь, Марья Алексевна, распорядиться лошадьми.

— Да еще успеете, Михаил Иваныч.— Но Михаил Иваныч был уже за дверями.

Марья Алексевна бросилась из передней в зал с поднятыми кулаками.

— Что ты сделала, Верка проклятая? А? — Но проклятой Верки уже не было в зале; мать бросилась к ней в комнату, но дверь Верочкиной комнаты была заперта; мать надвинула всем корпусом на дверь, чтобы выломать ее, но дверь не подавалась, а проклятая Верка сказала:

— Если вы будете выламывать дверь, я разобью окно и стану звать на помощь. А вам не дамся в руки живая.

Марья Алексевна долго бесновалась, но двери не ломала; наконец устала кричать. Тогда Верочка сказала:

— Маменька, прежде я только не любила вас; а со вчерашнего вечера мне стало вас и жалко. У вас было много горя, и оттого вы стали такая. Я прежде не говорила с вами, а теперь хочу говорить, только когда вы не будете сердиться. Поговорим тогда хорошенько, как прежде не говорили.

Конечно, не очень-то приняла к сердцу эти слова Марья Алексевна; но утомленные нервы просят отдыха, и у Марьи Алексевны стало рождаться раздумье: не лучше ли вступить в переговоры с дочерью, когда она, мерзавка, уж совсем отбивается от рук? Ведь без нее ничего нельзя сделать, ведь не женишь же без ней на ней Мишку-дурака! Да ведь еще и неизвестно, что она ему сказала,— ведь они руки пожали друг другу,— что ж это значит?

Так и сидела усталая Марья Алексевна, раздумывая между свирепством и хитростью, когда раздался звонок. Это были Жюли с Сержем.

IV

— Серж, говорит по-французски ее мать? — было первое слово Жюли, когда она проснулась.

— Не знаю; а ты еще не выкинула из головы этой мысли?

Нет, не выкинула. И когда, сообразивши все приметы в театре, решили, что, должно быть, мать этой девушки не говорит по-французски, Жюли взяла с собою Сержа переводчиком. Впрочем, уж такая была его судьба, что пришлось бы ему ехать, хотя бы матерью Верочки был кардинал Меццофанти; и он не роптал на судьбу, а ездил повсюду при Жюли, вроде наперсницы корнелевской героини. Жюли проснулась поздно, по дороге заезжала к Вихман, потом, уж не по дороге, а по надобности, еще в четыре магазина. Таким образом, Михаил Иваныч успел объясниться, Марья Алексевна успела набеситься и насидеться, пока Жюли и Серж доехали с Литейной на Гороховую.

— А под каким же предлогом мы приехали? Фи, какая гадкая лестница! Таких я и в Париже не знала.

— Все равно, что вздумается. Мать дает деньги в залог, сними брошку. Или вот еще лучше: она дает уроки на фортепьяно. Скажем, что у тебя есть племянница.

Матрена в первый раз в жизни устыдилась своей разбитой скулы, узрев мундир Сержа и в особенности великолепие Жюли: такой важной дамы она еще никогда не видывала лицом к лицу.

В такое же благоговение и неописанное изумление пришла Марья Алексевна, когда Матрена объявила, что изволили пожаловать полковник NN с супругою. Особенно это «с супругой»! Тот круг, сплетни о котором спускались до Марьи Алексевны, возвышался лишь до действительно статского слоя общества, а сплетни об настоящих аристократах уже замирали в пространстве на половине пути до Марьи Алексевны; потому она так и поняла в полном законном смысле имена «муж и жена», которые давали друг другу Серж и Жюли по парижскому обычаю. Марья Алексевна оправилась наскоро и выбежала.

Серж сказал, что очень рад вчерашнему случаю и проч., что у его жены есть племянница и проч., что его жена не говорит по-русски и потому он переводчик.

— Да, могу благодарить моего создателя,— сказала Марья Алексевна,— у Верочки большой талант учить на фортепьянах, и я за счастье почту, что она вхожа будет в такой дом; только учительница-то моя не совсем здорова,— Марья Алексевна говорила особенно громко, чтобы Верочка услышала и поняла появление перемирия, а сама, при всем благоговении, так и впилась глазами в гостей,— не знаю, в силах ли будет выйти и показать вам пробу свою на фортепьянах.— Верочка, друг мой, можешь ты выйти или нет?

Какие-то посторонние люди — сцены не будет,— почему ж не выйти? Верочка отперла дверь, взглянула на Сержа и вспыхнула от стыда и гнева.

Этого не могли бы не заметить и плохие глаза, а у Жюли были глаза чуть ли не позорче, чем у самой Марьи Алексевны. Француженка начала прямо:

— Милое дитя мое, вы удивляетесь и смущаетесь, видя человека, при котором были вчера так оскорбляемы, который, вероятно, и сам участвовал в оскорблениях. Мой муж легкомыслен, но он все-таки лучше других повес. Вы его извините для меня, я приехала к вам с добрыми намерениями. Уроки моей племяннице — только предлог; но надобно поддержать его. Вы сыграете что-нибудь — покороче,— мы пойдем в вашу комнату и переговорим. Слушайтесь меня, дитя мое.

Та ли это Жюли, которую знает вся аристократическая молодежь Петербурга? Та ли это Жюли, которая отпускает штуки, заставляющие краснеть иных повес? Нет, это княгиня, до ушей которой никогда не доносилось ни одно грубоватое слово.

Верочка села делать свою пробу на фортепьяно. Жюли стала подле нее, Серж занимался разговором с Марьей Алексев-

ною, чтобы выведать, каковы именно ее дела с Сторешниковым. Через несколько минут Жюли остановила Верочку, взяла ее за талью, прошлась с нею по залу, потом увела ее в ее комнату. Серж пояснил, что его жена довольна игрою Верочки, но хочет потолковать с нею, потому что нужно знать и характер учительницы и т. д., и продолжал наводить разговор на Сторешникова. Все это было прекрасно, но Марья Алексевна смотрела все зорче и подозрительнее.

— Милое дитя мое,— сказала Жюли, вошедши в комнату Верочки,— ваша мать очень дурная женщина. Но чтобы мне знать, как говорить с вами, прошу вас, расскажите, как и зачем вы были вчера в театре? Я уже знаю все это от мужа, но из вашего рассказа я узнаю ваш характер. Не опасайтесь меня.— Выслушавши Верочку, она сказала: — Да, с вами можно говорить, вы имеете характер,— и в самых осторожных, деликатных выражениях рассказала ей о вчерашнем пари; на это Верочка отвечала рассказом о предложении кататься.

— Что ж, он хотел обмануть вашу мать, или они оба были в заговоре против вас? — Верочка горячо стала говорить, что ее мать уж не такая же дурная женщина, чтобы быть в заговоре.— Я сейчас это увижу,— сказала Жюли.— Вы оставайтесь здесь, вы там лишняя.— Жюли вернулась в залу.

— Серж, он уже звал эту женщину и ее дочь кататься нынче вечером. Расскажи ей о вчерашнем ужине.

— Ваша дочь нравится моей жене, теперь надобно только условиться в цене, и, вероятно, мы не разойдемся из-за этого. Но позвольте мне докончить наш разговор о нашем общем знакомом. Вы его очень хвалите. А известно ли вам, что он говорит о своих отношениях к вашему семейству,— например, с какою целью он приглашал нас вчера в вашу ложу?

В глазах Марьи Алексевны вместо выпытывающего взгляда блеснул смысл: «так и есть».

— Я не сплетница,— отвечала она с неудовольствием,— сама не разношу вестей и мало их слушаю! — Это было сказано не без колкости, при всем ее благоговении к посетителю.— Мало ли что болтают молодые люди между собою; этим нечего заниматься.

— Хорошо-с; ну, а вот это вы назовете сплетнями? — Он стал рассказывать историю ужина. Марья Алексевна не дала ему докончить: как только произнес он первое слово о пари, она вскочила и с бешенством закричала, совершенно забывши важность гостей:

— Так вот они, штуки-то какие! Ах он, разбойник! Ах он, мерзавец! Так вот зачем он кататься-то звал! он хотел меня за городом-то на тот свет отправить, чтобы беззащитную девушку обесчестить! Ах он, сквернавец! — и так далее. Потом она стала благодарить гостя за спасение жизни ее и чести ее дочери.— То-то, батюшка, я уж и сначала догадывалась, что вы что-нибудь неспросту приехали, что уроки-то уроками, а цель у вас другая, да я не то полагала; я думала, у вас ему другая невеста приготовлена, вы его у нас отбить хотите,— погрешила на вас, окаянная, простите великодушно. Вот, можно сказать, по гроб жизни облагодетельствовали,— и т. д. Ругательства, благодарности, извинения долго лились беспорядочным потоком.

Жюли недолго слушала эту бесконечную речь, смысл которой был ясен для нее из тона голосов и жестов; с первых слов Марьи Алексевны француженка встала и вернулась в комнату Верочки.

— Да, ваша мать не была его сообщницею и теперь очень раздражена против него. Но я хорошо знаю таких людей, как ваша мать. У них никакие чувства не удержатся долго против денежных расчетов; она скоро опять примется ловить жениха, и чем это может кончиться, бог знает; во всяком случае, вам будет очень тяжело. На первое время она оставит вас в покое; но я вам говорю, что это будет ненадолго. Что вам теперь делать? Есть у вас родные в Петербурге?

— Нет.

— Это жаль. У вас есть любовник? — Верочка не знала, как и отвечать на это, она только странно раскрыла глаза.— Простите, простите, это видно, но тем хуже. Значит, у вас нет приюта. Как же быть? Ну, слушайте. Я не то, чем вам показалась. Я не жена ему, я у него на содержанье. Я известна всему Петербургу как самая дурная женщина. Но я честная женщина. Прийти ко мне — для вас значит потерять репутацию; довольно опасно для вас и то, что я уже один раз была в этой квартире, а приехать к вам во второй раз было бы наверное губить вас. Между тем надобно увидеться еще с вами, быть может, и не раз — то есть если вы доверяете мне. Да? — Так когда вы завтра можете располагать собою?

— Часов в двенадцать,— сказала Верочка. Это для Жюли немного рано, но все равно, она велит разбудить себя и встретится с Верочкою в той линии Гостиного двора, которая противоположна Невскому; она короче всех, там легко найти друг друга, и там никто не знает Жюли.

— Да, вот еще счастливая мысль: дайте мне бумаги, я напишу этому негодяю письмо, чтобы взять его в руки.— Жюли написала: «Мсье Сторешников, вы теперь, вероятно, в большом затруднении; если хотите избавиться от него, будьте у меня в 7 часов. М. ле Теллье».— Теперь прощайте!

Жюли протянула руку, но Верочка бросилась к ней на шею, и целовала, и плакала, и опять целовала. А Жюли и подавно не выдержала,— ведь она не была так воздержана на слезы, как Верочка, да и очень ей трогательна была радость и гордость, что она делает благородное дело; она пришла в экстаз, говорила, говорила, все со слезами и поцелуями, и заключила восклицанием:

— Друг мой, милое мое дитя! о, не дай тебе бог никогда узнать, что чувствую я теперь, когда после многих лет в первый раз прикасаются к моим губам чистые губы. Умри, но не давай поцелуя без любви!

V

План Сторешникова был не так человекоубийствен, как предположила Марья Алексевна: она, по своей манере, дала делу слишком грубую форму, но сущность дела отгадала. Сторешников думал попозже вечером завезти своих дам в ресторан, где собирался ужин; разумеется, они все замерзли и проголодались, надобно погреться и выпить чаю; он всыплет опиуму в чашку или рюмку Марье Алексевне; Верочка растеряется, увидев мать без чувств; он заведет Верочку в комнату, где ужин,— вот уже пари и выиграно; что дальше — как случится. Может быть, Верочка в своем смятении ничего не поймет и согласится посидеть в незнакомой компании, а если и сейчас уйдет — ничего, это извинят, потому что она только вступила на поприще авантюристки и, натурально, совестится на первых порах. Потом он уладится деньгами с Марьей Алексевною,— ведь ей уж нечего будет делать.

Но теперь как ему быть? Он проклинал свою хвастливость перед приятелями, свою ненаходчивость при внезапном крутом сопротивлении Верочки, желал себе провалиться сквозь землю. И в этаком-то расстройстве и сокрушении духа — письмо от Жюли, целительный бальзам на рану, луч спасения в непроглядном мраке, столбовая дорога под ногою тонувшего в бездонном болоте. О, она поможет, она умнейшая женщина, она может все придумать! благороднейшая женщина! — Минут за десять

до семи часов он был уже перед ее дверью.— «Изволят ждать и приказали принять».

Как величественно сидит она, как строго смотрит! Едва наклонила голову в ответ на его поклон. «Очень рада вас видеть, прошу садиться».— Ни один мускул не пошевелился в ее лице. Будет сильная головомойка,— ничего, ругай, только спаси.

— Мсье Сторешник,— начала она холодным, медленным тоном,— вам известно мое мнение о деле, по которому мы видимся теперь и которое, стало быть, мне не нужно вновь характеризовать. Я видела ту молодую особу, о которой был вчера разговор, слышала о вашем нынешнем визите к ним, следовательно, знаю все и очень рада, что это избавляет меня от тяжелой необходимости расспрашивать вас о чем-либо. Ваше положение с одинаковою определенностью ясно и мне и вам. («Господи, лучше бы ругалась!» — думает подсудимый.) Мне кажется, что вы не можете выйти из него без посторонней помощи и не можете ждать успешной помощи ни от кого, кроме меня. Если вы имеете возразить что-нибудь, я жду.— Итак (после паузы), вы, подобно мне, полагаете, что никто другой не в состоянии помочь вам,— выслушайте же, что я могу и хочу сделать для вас; если предлагаемое мною пособие покажется вам достаточно, я выскажу условия, на которых согласна оказать его.

И тем же длинным, длинным манером официального изложения она сказала, что может послать Жану письмо, в котором скажет, что после вчерашней вспышки передумала, хочет участвовать в ужине, но что нынешний вечер у нее уже занят, что поэтому она просит Жана уговорить Сторешникова отложить ужин,— о времени его она после условится с Жаном. Она прочла это письмо,— в письме слышалась уверенность, что Сторешников выиграет пари, что ему досадно будет отсрочивать свое торжество. Достаточно ли будет этого письма? — Конечно.— В таком случае,— продолжает Жюли все тем же длинным, длинным тоном официальных записок,— она отправит письмо на двух условиях — «вы можете принять или не принять их,— вы принимаете их,— я отправляю письмо; вы отвергаете их,— я жгу письмо», и т. д., все в этой же бесконечной манере, вытягивающей душу из спасаемого. Наконец и условия. Их два: «Первое: вы прекращаете всякие преследования молодой особы, о которой мы говорим; второе: вы перестаете упоминать ее имя в ваших разговорах».— «Только-то! — думает спасаемый.— Я думал, уж она черт знает чего потребует, и уж черт знает на что не был бы готов». Он согласен, и на его лице восторг

от легкости условий, но Жюли не смягчается ничем, и все тянет, и все объясняет... «первое — нужно для нее, второе — также для нее, но еще более для вас: я отложу ужин на неделю, потом еще на неделю, и дело забудется, но вы поймете, что другие забудут его только в том случае, когда вы не будете напоминать о нем каким бы то ни было словом о молодой особе, о которой» и т. д. И все объясняется, все доказывается, даже то, что письмо будет получено Жаном еще вовремя.— «Я справлялась, он обедает у Берты» и т. д., — «он поедет к вам, когда докурит свою сигару» и т. д., и все в таком роде и, например, в таком: «Итак, письмо отправляется, я очень рада. Потрудитесь перечесть его,— я не имею и не требую доверия. Вы прочли,— потрудитесь сам запечатать его,— вот конверт.— Я звоню.— Полина, вы потрудитесь передать это письмо», и т. д. «Полина, я не виделась нынче с мсье Сторешником, он не был здесь,— вы понимаете?» — Около часа тянулось это мучительное спасение. Наконец, письмо отправлено, и спасенный дышит свободнее, но пот льет с него градом, и Жюли продолжает:

— Через четверть часа вы должны будете спешить домой, чтобы Жан застал вас. Но четвертью часа вы еще можете располагать, и я воспользуюсь ею, чтобы сказать вам несколько слов; вы последуете или не последуете совету, в них заключающемуся, но вы зрело обдумаете его. Я не буду говорить об обязанностях честного человека относительно девушки, имя которой он компрометировал: я слишком хорошо знаю нашу светскую молодежь, чтобы ждать пользы от рассмотрения этой стороны вопроса. Но я нахожу, что женитьба на молодой особе, о которой мы говорим, была бы выгодна для вас. Как женщина прямая, я изложу вам основания такого моего мнения с полною ясностью, хотя некоторые из них и щекотливы для вашего слуха,— впрочем, малейшего вашего слова будет достаточно, чтобы я остановилась. Вы человек слабого характера и рискуете попасться в руки дурной женщины, которая будет мучить вас и играть вами. Она добра и благородна, потому не стала бы обижать вас. Женитьба на ней, несмотря на низкость ее происхождения и, сравнительно с вами, бедность, очень много двинула бы вперед вашу карьеру: она, будучи введена в большой свет, при ваших денежных средствах, при своей красоте, уме и силе характера, заняла бы в нем блестящее место; выгоды от этого для всякого мужа понятны. Но, кроме тех выгод, которые получил бы всякий другой муж от такой жены, вы, по особенностям вашей натуры, более, чем кто-либо, нуждаетесь в содействии,—

скажу прямее: в руководстве. Каждое мое слово было взвешено; каждое — основано на наблюдении над нею. Я не требую доверия, но рекомендую вам обдумать мой совет. Я сильно сомневаюсь, чтобы она приняла вашу руку; но если бы она приняла ее, это было бы очень выгодно для вас. Я не удерживаю вас более, вам надобно спешить домой.

VI

Марья Алексевна, конечно, уже не претендовала на отказ Верочки от катанья, когда увидела, что Мишка-дурак вовсе не такой дурак, а чуть было даже не поддел ее. Верочка была оставлена в покое и на другое утро без всякой помехи отправилась в Гостиный двор.

— Здесь морозно, я не люблю холода,— сказала Жюли,— надобно куда-нибудь отправиться. Куда бы? Погодите, я сейчас вернусь из этого магазина.— Она купила густой вуаль для Верочки.— Наденьте, тогда можете ехать ко мне безопасно. Только не подымайте вуаля, пока мы не останемся одни. Полина очень скромна, но я не хочу, чтоб и она вас видела. Я слишком берегу вас, дитя мое! — Действительно, она сама была в салопе и шляпе своей горничной и под густым вуалем. Когда Жюли отогрелась, выслушала все, что имела нового Верочка, она рассказала про свое свиданье с Сторешниковым.

— Теперь, милое дитя мое, нет никакого сомнения, что он сделает вам предложение. Эти люди влюбляются по уши, когда их волокитство отвергается. Знаете ли вы, дитя мое, что вы поступили с ним, как опытная кокетка? Кокетство,— я говорю про настоящее кокетство, а не про глупые, бездарные подделки под него: они отвратительны, как всякая плохая подделка под хорошую вещь,— кокетство — это ум и такт в применении к делам женщины с мужчиною. Потому совершенно наивные девушки без намерения действуют как опытные кокетки, если имеют ум и такт. Может быть, и мои доводы отчасти подействуют на него, но главное — ваша твердость. Как бы то ни было, он сделает вам предложение, я советую вам принять его.

— Вы, которая вчера сказали мне: лучше умереть, чем дать поцелуй без любви?

— Милое дитя мое, это было сказано в увлечении; в минуты увлечения оно верно и хорошо! Но жизнь — проза и расчет.

— Нет, никогда, никогда! Он гадок, это отвратительно! Я не унижусь, пусть меня съедят, я брошусь из окна, я пойду

собирать милостыню... но отдать руку гадкому, низкому человеку — нет, лучше умереть.

Жюли стала объяснять выгоды: «Вы избавитесь от преследований матери, вам грозит опасность быть проданной, он не зол, а только недалек, недалекий и незлой муж лучше всякого другого для умной женщины с характером, вы будете госпожою в доме». Она в ярких красках описывала положение актрис, танцовщиц, которые не подчиняются мужчинам в любви, а господствуют над ними: «Это самое лучшее положение в свете для женщины, кроме того положения, когда к такой же независимости и власти еще присоединяется со стороны общества формальное признание законности такого положения, то есть когда муж относится к жене, как поклонник актрисы к актрисе». Она говорила много, Верочка говорила много, обе разгорячились, Верочка наконец дошла до пафоса.

— Вы называете меня фантазеркою, спрашиваете, чего же я хочу от жизни? Я не хочу ни властвовать, ни подчиняться, я не хочу ни обманывать, ни притворяться, я не хочу смотреть на мнение других, добиваться того, что рекомендуют мне другие, когда мне самой этого не нужно. Я не привыкла к богатству,— мне самой оно не нужно,— зачем же я стану искать его только потому, что другие думают, что оно всякому приятно и, стало быть, должно быть приятно мне? Я не была в обществе, не испытывала, что значит блистать, и у меня еще нет влечения к этому,— зачем же я стану жертвовать чем-нибудь для блестящего положения только потому, что, по мнению других, оно приятно? Для того, что не нужно мне самой, я не пожертвую ничем,— не только собой, даже малейшим капризом не пожертвую. Я хочу быть независима и жить по-своему; что нужно мне самой, на то я готова; чего мне не нужно, того не хочу и не хочу. Что нужно мне будет, я не знаю; вы говорите: я молода, неопытна, со временем переменюсь,— ну что ж, когда переменюсь, тогда и переменюсь, а теперь не хочу, не хочу, не хочу ничего, чего не хочу! А чего я хочу теперь, вы спрашиваете? — Ну да, я этого не знаю. Хочу ли я любить мужчину? — Я не знаю,— ведь я вчера поутру, когда вставала, не знала, что мне захочется полюбить вас; за несколько часов до того, как полюбила вас, не знала, что полюблю, и не знала, как это я буду чувствовать, когда полюблю вас. Так теперь я не знаю, что я буду чувствовать, если я полюблю мужчину, я знаю только то, что не хочу никому поддаваться, хочу быть свободна, не хочу никому быть обязана

ничем, чтобы никто не смел сказать мне: ты обязана делать для меня что-нибудь! Я хочу делать только то, чего буду хотеть, и пусть другие делают так же; я не хочу ни от кого требовать ничего, я хочу не стеснять ничьей свободы и сама хочу быть свободна.

Жюли слушала и задумывалась, задумывалась и краснела и,— ведь она не могла не вспыхивать, когда подле был огонь,— вскочила и прерывающимся голосом заговорила:

— Так, дитя мое, так! Я и сама бы так чувствовала, если б не была развращена. Не тем я развращена, за что называют женщину погибшей, не тем, что было со мною, что я терпела, от чего страдала, не тем я развращена, что тело мое было предано поруганью, а тем, что я привыкла к праздности, к роскоши, не в силах жить сама собою, нуждаюсь в других, угождаю, делаю то, чего не хочу,— вот это разврат! Не слушай того, что я тебе говорила, дитя мое: я развращала тебя — вот мученье! Я не могу прикасаться к чистому, не оскверняя; беги меня, дитя мое, я гадкая женщина,— не думай о свете! Там все гадкие, хуже меня: где праздность, там гнусность, где роскошь, там гнусность! Беги, беги!

VII

Сторешников чаще и чаще начал думать: а что, как я в самом деле возьму да женюсь на ней? С ним произошел случай, очень обыкновенный в жизни не только людей несамостоятельных в его роде, а даже и людей с независимым характером. Даже в истории народов: этими случаями наполнены томы Юма и Гиббона, Ранке и Тьерри; люди толкаются, толкаются в одну сторону только потому, что не слышат слова: «а попробуйте-ка, братцы, толкнуться в другую»,— услышат, и начнут поворачиваться направо кругом, и пошли толкаться в другую сторону. Сторешников слышал и видел, что богатые молодые люди приобретают себе хорошеньких небогатых девушек в любовницы,— ну, он и добивался сделать Верочку своею любовницею: другого слова не приходило ему в голову; услышал он другое слово: «можно жениться»,— ну, и стал думать на тему «жена», как прежде думал на тему «любовница».

Это общая черта, по которой Сторешников очень удовлетворительно изображал в своей особе девять десятых долей истории рода человеческого. Но историки и психологи говорят, что в каждом частном факте общая причина «индивидуализируется»

(по их выражению) местными, временными, племенными и личными элементами и будто бы они-то, особенные-то элементы, и важны,— то есть что все ложки хотя и ложки, но каждый хлебает суп или щи тою ложкою, которая у него, именно вот у него в руке, и что именно вот эту-то ложку надобно рассматривать. Почему не рассмотреть.

Главное уже сказала Жюли (точно читала она русские романы, которые все об этом упоминают!): сопротивление разжигает охоту. Сторешников привык мечтать, как он будет «обладать» Верочкою. Подобно Жюли, я люблю называть грубые вещи прямыми именами грубого и пошлого языка, на котором почти все мы почти постоянно думаем и говорим. Сторешников уже несколько недель занимался тем, что воображал себе Верочку в разных позах, и хотелось ему, чтобы эти картины осуществились. Оказалось, что она не осуществит их в звании любовницы,— ну, пусть осуществляет в звании жены; это все равно: главное дело не звание, а позы, то есть обладание. О грязь! о грязь! — «обладать» — кто смеет обладать человеком? Обладают халатом, туфлями.— Пустяки: почти каждый из нас, мужчин, обладает кем-нибудь из вас, наши сестры; опять пустяки: какие вы нам сестры? — вы наши лакейки! Иные из вас — многие — господствуют над нами,— это ничего: ведь и многие лакеи властвуют над своими барами.

Мысли о позах разыгрались в Сторешникове после театра с такою силою, как еще никогда. Показавши приятелям любовницу своей фантазии, он увидел, что любовница гораздо лучше, чем он думал. Ведь красоту, все равно что ум, что всякое другое достоинство, большинство людей оценивает с точностью только по общему отзыву. Всякий видит, что красивое лицо красиво, а до какой именно степени оно красиво, как это разберешь, пока ранг не определен дипломом? Верочку в галерее или в последних рядах кресел, конечно, не замечали; но когда она явилась в ложе 2-го яруса, на нее было наведено очень много биноклей; а сколько похвал ей слышал Сторешников, когда, проводив ее, отправился в фойе! а Серж? о, это человек с самым тонким вкусом! а Жюли? — ну нет, когда наклевывается такое счастье, тут нечего разбирать, под каким званием «обладать» им.

Самолюбие было раздражено вместе с сладострастием. Но оно было затронуто и с другой стороны: «она едва ли пойдет за вас» — как? не пойдет за него, при таком мундире и доме? нет, врешь, француженка, пойдет! вот пойдет же, пойдет!

Была и еще одна причина в том же роде: мать Сторешникова, конечно, станет противиться женитьбе,— мать в этом случае представительница света,— а Сторешников до сих пор трусил матери и, конечно, тяготился своею зависимостью от нее. Для людей бесхарактерных очень завлекательна мысль: «Я не боюсь, у меня есть характер».

Конечно, было и желание подвинуться в своей светской карьере через жену.

А ко всему этому прибавлялось, что ведь Сторешников не смел показаться к Верочке в прежней роли, а между тем так и тянет посмотреть на нее.

Словом, Сторешников с каждым днем все тверже думал жениться, и через неделю, когда Марья Алексевна, в воскресенье, вернувшись от поздней обедни, сидела и обдумывала, как ловить его, он сам явился с предложением. Верочка не выходила из своей комнаты, он мог говорить только с Марьею Алексевною. Марья Алексевна, конечно, сказала, что она, с своей стороны, считает себе за большую честь, но, как любящая мать, должна узнать мнение дочери и просит пожаловать за ответом завтра поутру.

— Ну, молодец девка моя Вера,— говорила мужу Марья Алексевна, удивленная таким быстрым оборотом дела,— глядико, как она забрала молодца-то в руки! А я думала, думала, не знала, как и ум приложить! думала, много хлопот мне будет опять его заманить, думала, испорчено все дело, а она, моя голубушка, не портила, а к доброму концу вела,— знала, как надо поступать. Ну, хитра, нечего сказать.

— Господь умудряет младенцы,— произнес Павел Константиныч.

Он редко играл роль в домашней жизни. Но Марья Алексевна была строгая хранительница добрых преданий, и в таком парадном случае, как объявление дочери о предложении, она назначила мужу ту почетную роль, какая по праву принадлежит главе семейства и владыке. Павел Константиныч и Марья Алексевна уселись на диване, как на торжественнейшем месте, и послали Матрену просить барышню пожаловать к ним.

— Вера,— начал Павел Константиныч,— Михаил Иваныч делает нам честь, просит твоей руки. Мы отвечали, как любящие тебя родители, что принуждать тебя не будем, но что, с одной стороны, рады. Ты, как добрая, послушная дочь, какою мы тебя всегда видели, положишься на нашу опытность, что мы не смели от бога молить такого жениха. Согласна, Вера?

— Нет,— сказала Верочка.

— Что ты говоришь, Вера? — закричал Павел Константиныч: дело было так ясно, что и он мог кричать, не осведомившись у жены, как ему поступать.

— С ума ты сошла, дура? Смей повторить, мерзавка-ослушница! — закричала Марья Алексевна, подымаясь с кулаками на дочь.

— Позвольте, маменька,— сказала Вера, вставая,— если вы до меня дотронетесь, я уйду из дому, запрете — брошусь из окна. Я знала, как вы примете мой отказ, и обдумала, что мне делать. Сядьте и сидите, или я уйду.

Марья Алексевна опять уселась. «Экая глупость сделана, передняя-то дверь не заперта на ключ! задвижку-то в одну секунду отодвинет — не поймаешь, уйдет! Ведь бешеная!»

— Я не пойду за него. Без моего согласия не станут венчать.

— Вера, ты с ума сошла,— говорила Марья Алексевна задыхающимся голосом.

— Как же это можно? Что же мы ему скажем завтра? — говорил отец.

— Вы не виноваты перед ним, что я не согласна.

Часа два продолжалась сцена. Марья Алексевна бесилась, двадцать раз начинала кричать и сжимала кулаки, но Верочка говорила: «Не вставайте, или я уйду». Бились, бились, ничего не могли сделать. Покончилось тем, что вошла Матрена и спросила, подавать ли обед — пирог уже перестоялся.

— Подумай до вечера, Вера, одумайся, дура! — сказала Марья Алексевна и шепнула что-то Матрене.

— Маменька, вы что-то хотите сделать надо мною, вынуть ключ из двери моей комнаты или что-нибудь такое. Не делайте ничего: хуже будет.

Марья Алексевна сказала кухарке: «Не надо».— «Экой зверь какой, Верка-то! Как бы не за рожу ее он ее брал, в кровь бы ее всю избить, а теперь как тронуть? Изуродует себя, проклятая!»

Пошли обедать. Обедали молча. После обеда Верочка ушла в свою комнату. Павел Константиныч прилег, по обыкновению, соснуть. Но это не удалось ему: только что стал он дремать, вошла Матрена и сказала, что хозяйский человек пришел; хозяйка просит Павла Константиныча сейчас же пожаловать к ней. Матрена вся дрожала как осиновый лист; ей-то какое дело дрожать?

VIII

А как же прикажете ей не дрожать, когда через нее сочинилась вся эта беда? Как только она позвала Верочку к папеньке и маменьке, тотчас же побежала сказать жене хозяйкина повара, что «ваш барин сосватал нашу барышню»; призвали младшую горничную хозяйки, стали упрекать, что она не по-приятельски себя ведет, ничего им до сих пор не сказала; младшая горничная не могла взять в толк, за какую скрытность порицают ее,— она никогда ничего не скрывала; ей сказали — «я сама ничего не слышала»,— перед нею извинились, что напрасно ее поклепали в скрытности; она побежала сообщить новость старшей горничной, старшая горничная сказала: «значит, это он сделал потихоньку от матери, коли я ничего не слыхала, уж я все то должна знать, что Анна Петровна знает», и пошла сообщить барыне. Вот какую историю наделала Матрена! «Язычок мой проклятый, много он меня губил! — думала она.— Ведь доследует Марья Алексевна, через кого вышло наружу». Но дело пошло так, что Марья Алексевна забыла доследовать, через кого оно вышло.

Анна Петровна ахала, охала, два раза упала в обморок — наедине со старшею горничною: значит, сильно была огорчена, и послала за сыном. Сын явился.

— Мишель, справедливо ли то, что я слышу? (Тоном гневного страдания.)

— Что вы слышали, maman?

— То, что ты сделал предложение этой... этой... этой... дочери нашего управляющего?

— Сделал, maman.

— Не спросив мнения матери?

— Я хотел спросить вашего согласия, когда получу ее.

— Я полагаю, что в ее согласии ты мог быть более уверен, чем в моем.

— Maman, так нынче принято, что прежде узнают о согласии девушки, потом уже говорят родственникам.

— Это, по-твоему, принято? быть может, по-твоему, также принято: сыновьям хороших фамилий жениться бог знает на ком, а матерям соглашаться на это?

— Она, maman, не бог знает кто; когда вы узнаете ее, вы одобрите мой выбор.

— «Когда я узнаю ее»! — я никогда не узнаю ее! «Одобрю твой выбор»! — я запрещаю тебе всякую мысль об этом выборе! слышишь, запрещаю!

— Maman, это не принято нынче; я не маленький мальчик, чтоб вам нужно было водить меня за руку. Я сам знаю, куда иду.

— Ах! — Анна Петровна закрыла глаза.

Перед Марьею Алексевной, Жюли, Верочкою Михаил Иваныч пасовал, но ведь они были женщины с умом и характером; а тут по части ума бой был ровный, и если по характеру был небольшой перевес на стороне матери, то у сына была под ногами надежная почва; он до сих пор боялся матери по привычке, но они оба твердо помнили, что ведь по-настоящему-то хозяйка-то не хозяйка, а хозяинова мать, не больше, что хозяйкин сын не хозяйкин сын, а хозяин. Потому-то хозяйка и медлила решительным словом «запрещаю», тянула разговор, надеясь сбить и утомить сына прежде, чем дойдет до настоящей схватки. Но сын зашел уже так далеко, что нельзя было вернуться, и он по необходимости должен был держаться.

— Maman, уверяю вас, что лучшей дочери вы не могли бы иметь.

— Изверг! Убийца матери!

— Maman, будемте рассуждать хладнокровно. Раньше или позже жениться надобно, а женатому человеку нужно больше расходов, чем холостому. Я бы мог, пожалуй, жениться на такой, что все доходы с дома понадобились бы на мое хозяйство. А она будет почтительною дочерью, и мы могли бы жить с вами, как до сих пор.

— Изверг! Убийца мой! Уйди с моих глаз!

— Maman, не сердитесь: я ничем не виноват.

— Женится на какой-то дряни, и не виноват.

— Ну, теперь, maman, я сам уйду. Я не хочу, чтобы при мне называли ее такими именами.

— Убийца мой! — Анна Петровна упала в обморок, а Мишель ушел, довольный тем, что бодро выдержал первую сцену, которая важнее всего.

Видя, что сын ушел, Анна Петровна прекратила обморок. Сын решительно отбивается от рук! В ответ на «запрещаю!» он объясняет, что дом принадлежит ему! — Анна Петровна подумала, подумала, излила свою скорбь старшей горничной, которая в этом случае совершенно разделяла чувства хозяйки по презрению к дочери управляющего, посоветовалась с нею и послала за управляющим.

— Я была до сих пор очень довольна вами, Павел Константиныч; но теперь интриги, в которых вы, может быть, и не участвовали, могут заставить меня поссориться с вами.

— Ваше превосходительство, я ни в чем тут не виноват, бог свидетель.

— Мне давно было известно, что Мишель волочится за вашей дочерью. Я не мешала этому, потому что молодому человеку нельзя же жить без развлечений. Я снисходительна к шалостям молодых людей. Но я не потерплю унижения своей фамилии. Как ваша дочь осмелилась забрать себе в голову такие виды?

— Ваше превосходительство, она не осмеливалась иметь таких видов. Она почтительная девушка, мы ее воспитали в уважении.

— То есть что это значит?

— Она, ваше превосходительство, против вашей воли никогда не посмеет.

Анна Петровна ушам своим не верила. Неужели в самом деле такое благополучие?

— Вам должна быть известна моя воля... Я не могу согласиться на такой странный, можно сказать неприличный, брак.

— Мы это чувствуем, ваше превосходительство, и Верочка чувствует. Она так и сказала: я не смею, говорит, прогневать их превосходительство.

— Как же это было?

— Так было, ваше превосходительство, что Михаил Иванович выразили свое намерение моей жене, а жена сказала им, что я вам, Михаил Иванович, ничего не скажу до завтрего утра, а мы с женою были намерены, ваше превосходительство, явиться к вам и доложить обо всем, потому что как в теперешнее позднее время не осмеливались тревожить ваше превосходительство. А когда Михаил Иванович ушли, мы сказали Верочке, и она говорит: я с вами, папенька и маменька, совершенно согласна, что нам об этом думать не следует.

— Так она благоразумная и честная девушка?

— Как же, ваше превосходительство, почтительная девушка!

— Ну, я этому очень рада, что мы можем остаться с вами в дружбе. Я награжу вас за это. Теперь же готова наградить. По парадной лестнице, где живет портной, квартира во втором этаже ведь свободна?

— Через три дня освободится, ваше превосходительство.

— Возьмите ее себе. Можете израсходовать до ста рублей на отделку. Прибавлю вам и жалованья двести сорок рублей в год.

— Позвольте попросить ручку у вашего превосходительства!

— Хорошо, хорошо. Татьяна! — Вошла старшая горничная.— Найди мое синее бархатное пальто. Это я дарю вашей жене. Оно стоит сто пятьдесят рублей (восемьдесят пять рублей), я его только два раза (гораздо более двадцати) надевала. Это я дарю вашей дочери,— Анна Петровна подала управляющему очень маленькие дамские часы,— я за них заплатила триста рублей (сто двадцать рублей). Я умею награждать и вперед не забуду. Я снисходительна к шалостям молодых людей.

Отпустив управляющего, Анна Петровна опять кликнула Татьяну.

— Попросить ко мне Михаила Иваныча,— или нет, лучше я сама пойду к нему.— Она побоялась, что посланница передаст лакею сына, а лакей сыну содержание известий, сообщенных управляющим, и букет выдохнется, не так шибнет сыну в нос от ее слов.

Михаил Иваныч лежал и не без некоторого довольства покручивал усы. «Это еще зачем пожаловала сюда-то? Ведь у меня нет нюхательных спиртов от обмороков»,— думал он, вставая при появлении матери. Но он увидел на ее лице презрительное торжество.

Она села, сказала:

— Садитесь, Михаил Иваныч, и мы поговорим,— и долго смотрела на него с улыбкою; наконец произнесла: — Я очень довольна, Михаил Иваныч; отгадайте, чем я довольна?

— Я не знаю, что и подумать, maman; вы так странно...

— Вы увидите, что нисколько не странно; подумайте, может быть, и отгадаете.

Опять долгое молчание. Он теряется в недоумениях, она наслаждается торжеством.

— Вы не можете отгадать,— я вам скажу. Это очень просто и натурально; если бы в вас была искра благородного чувства, вы отгадали бы. Ваша любовница,— в прежнем разговоре Анна Петровна лавировала, теперь уж нечего было лавировать: у неприятеля отнято средство победить ее,— ваша любовница,— не возражайте, Михаил Иваныч, вы сами повсюду разглашали, что она ваша любовница,— это существо низкого происхождения, низкого воспитания, низкого поведения, даже это презренное существо...

— Maman, я не хочу слушать таких выражений о девушке, которая будет моею женою.

— Я и не употребляла б их, если бы полагала, что она будет вашею женою. Но я и начала с тою целью, чтобы объяснить вам, что этого не будет и почему не будет. Дайте же мне до-

кончить. Тогда вы можете свободно порицать меня за те выражения, которые тогда останутся неуместны, по вашему мнению, но теперь дайте мне докончить. Я хочу сказать, что ваша любовница, это существо без имени, без воспитания, без поведения, без чувства,— даже она пристыдила вас, даже она поняла все неприличие вашего намерения...

— Что? Что такое, maman? говорите же!

— Вы сами задерживаете меня. Я хотела сказать, что даже она,— понимаете ли, даже она! — умела понять и оценить мои чувства, даже она, узнавши от матери о вашем предложении, прислала своего отца сказать мне, что не восстанет против моей воли и не обесчестит нашей фамилии своим замаранным именем.

— Maman, вы обманываете?

— К моему и вашему счастью, нет. Она говорит, что...

Но Михаила Иваныча уже не было в комнате, он уже накидывал шинель.

— Держи его, Петр, держи его! — закричала Анна Петровна. Петр разинул рот от такого чрезвычайного распоряжения, а Михаил Иваныч уже сбегал по лестнице.

IX

— Ну что? — спросила Марья Алексевна входящего мужа.

— Отлично, матушка; она уж узнала и говорит: как вы осмеливаетесь? а я говорю: мы не осмеливаемся, ваше превосходительство, и Верочка уже отказала.

— Что? что? Ты так сдуру-то и бухнул, осел?

— Марья Алексевна...

— Осел! подлец! убил! зарезал! Вот же тебе! — муж получил пощечину.— Вот же тебе! — другая пощечина.— Вот как тебя надобно учить, дурака! — Она схватила его за волоса и начала таскать. Урок продолжался немало времени, потому что Сторешников, после длинных пауз и назиданий матери вбежавший в комнату, застал Марью Алексевну еще в полном жару преподавания.

— Осел, и дверь-то не запер,— в каком виде чужие люди застают! стыдился бы, свинья ты этакая! — только и нашлась сказать Марья Алексевна.

— Где Вера Павловна? Мне нужно видеть Веру Павловну, сейчас же! Неужели она отказывает?

Обстоятельства были так трудны, что Марья Алексевна только махнула рукою. То же самое случилось и с Наполеоном после Ватерлооской битвы, когда маршал Груши оказался глуп, как Павел Константиныч, а Лафайет стал буянить, как Верочка: Наполеон тоже бился, бился, совершал чудеса искусства — и остался ни при чем и мог только махнуть рукой и сказать: отрекаюсь от всего, делай, кто хочет, что хочет, и с собою и со мною.

— Вера Павловна! Вы отказываете мне?

— Судите сами, могу ли не отказать вам!

— Вера Павловна! Я жестоко оскорбил вас, я виноват, достоин казни, но не могу перенести вашего отказа...— и так дальше, и так дальше.

Верочка слушала его несколько минут; наконец пора же прекратить — это тяжело.

— Нет, Михаил Иваныч, довольно; перестаньте. Я не могу согласиться.

— Но если так, я прошу у вас одной пощады: вы теперь еще слишком живо чувствуете, как я оскорбил вас... не давайте мне теперь ответа, оставьте мне время заслужить ваше прощение! Я кажусь вам низок, подл, но посмотрите, быть может, я исправлюсь, я употреблю все силы на то, чтоб исправиться! Помогите мне, не отталкивайте меня теперь, дайте мне время, я буду во всем слушаться вас! Вы увидите, как я покорен; быть может, вы увидите во мне и что-нибудь хорошее, дайте мне время.

— Мне жаль вас,— сказала Верочка,— я вижу искренность вашей любви (Верочка, это еще вовсе не любовь, это смесь разной гадости с разной дрянью,— любовь не то; не всякий тот любит женщину, кому неприятно получить от нее отказ,— любовь вовсе не то,— но Верочка еще не знает этого и растрогана),— вы хотите, чтобы я не давала вам ответа — извольте. Но предупреждаю вас, что отсрочка ни к чему не поведет: я никогда не дам вам другого ответа, кроме того, какой дала нынче.

— Я заслужу, заслужу другой ответ, вы спасаете меня! — Он схватил ее руку и стал целовать.

Марья Алексевна вошла в комнату и в порыве чувства хотела благословить милых детей без формальности, то есть без Павла Константиныча, потом позвать его и благословить парадно. Сторешников разбил половину ее радости, объяснив ей с поцелуями, что Вера Павловна, хотя и не согласилась, но и не отказала, а отложила ответ. Плохо, но все-таки хорошо сравнительно с тем, что было.

Сторешников возвратился домой с победою. Опять явился на сцену дом, и опять Анне Петровне приходилось только падать в обмороки.

Марья Алексевна решительно не знала, что и думать о Верочке. Дочь и говорила, и как будто бы поступала решительно против ее намерений. Но выходило то, что дочь победила все трудности, с которыми не могла сладить Марья Алексевна. Если судить по ходу дела, то оказывалось: Верочка хочет того же, чего и она, Марья Алексевна, только, как ученая и тонкая штука, обрабатывает свою материю другим манером. Но если так, зачем же она не скажет Марье Алексевне: матушка, я хочу одного с вами, будьте спокойны! Или уж она так озлоблена на мать, что и то самое дело, в котором обе должны бы действовать заодно, она хочет вести без матери? Что она медлит ответом, это понятно для Марьи Алексевны: она хочет совершенно вышколить жениха, так, чтоб он без нее дохнуть не смел, и вынудить покорность у Анны Петровны. Очевидно, она хитрее самой Марьи Алексевны. Когда Марья Алексевна размышляла, размышления приводили ее именно к такому взгляду. Но глаза и уши постоянно свидетельствовали против него. А между тем как же быть, если он и ошибочен, если дочь действительно не хочет идти за Сторешникова? Она такой зверь, что неизвестно, как ее укротить. По всей вероятности, негодная Верка не хочет выходить замуж,— это даже несомненно,— здравый смысл был слишком силен в Марье Алексевне, чтобы обольститься хитрыми ее же собственными раздумьями о Верочке как о тонкой интриганке; но эта девчонка устраивает все так, что если выйдет (а черт ее знает, что у ней на уме, может быть, и это!), то действительно уже будет полной госпожой и над мужем, и над его матерью, и над домом,— что ж остается? Ждать и смотреть — больше ничего нельзя. Теперь Верка еще не хочет, а попривыкнет, шутя и захочет,— ну, и припугнуть можно будет... только вовремя! а теперь надо только ждать, когда придет это время. Марья Алексевна и ждала. Но соблазнительна была для нее мысль, осуждаемая ее здравым смыслом, что Верка ведет дело к свадьбе. Все, кроме слов и поступков Верочки, подтверждало эту мысль: жених был шелковый. Мать жениха боролась недели три, но сын побивал ее домом, и она стала смиряться. Выразила желание познакомиться с Верочкой,— Верочка не отправилась к ней. В первую минуту Марья Алексевна подумала, что, если б она была на месте Верочки, она поступила бы умнее, отправилась бы, но, подумав, поняла, что не отправляться — гораздо умнее.

О, это хитрая штука! — и точно: недели через две Анна Петровна зашла сама, под предлогом посмотреть новую отделку новой квартиры, была холодна, язвительно любезна; Верочка после двух-трех ее колких фраз ушла в свою комнату; пока она не ушла, Марья Алексевна не думала, что нужно уйти, думала, что нужно отвечать колкостями на колкости, но когда Верочка ушла, Марья Алексевна сейчас поняла: да, уйти лучше всего,— пусть ее допекает сын, это лучше! Недели через две Анна Петровна опять зашла и уже не выставляла предлогов для посещения, сказала просто, что зашла навестить, и при Верочке не говорила колкостей.

Так шло время. Жених делал подарки Верочке: они делались через Марью Алексевну и, конечно, оставались у ней, подобно часам Анны Петровны, впрочем, не все; иные, которые подешевле, Марья Алексевна отдавала Верочке под именем вещей, оставшихся невыкупленными в залоге: надобно же было, чтобы жених видел хоть некоторые из своих вещей на невесте. Он видел и убеждался, что Верочка решилась согласиться — иначе не принимала бы его подарков; почему ж она медлит? Он сам понимал, и Марья Алексевна указывала почему: она ждет, пока совершенно объездится Анна Петровна... И он с удвоенным усердием гонял на корде свою родительницу,— занятие, доставлявшее ему немало удовольствия.

Таким образом, Верочку оставляли в покое, смотрели ей в глаза. Эта собачья угодливость была ей гадка, она старалась как можно меньше быть с матерью. Мать перестала осмеливаться входить в ее комнату, и когда Верочка сидела там, то есть почти круглый день, ее не тревожили. Михаилу Иванычу дозволяла она иногда заходить и в ее комнату. Он был с нею послушен, как ребенок; она велела ему читать — он читал усердно, будто готовился к экзамену; толку из чтения извлекал мало, но все-таки кое-какой толк извлекал; она старалась помогать ему разговорами — разговоры были ему понятнее книг, и он делал кое-какие успехи, медленные, очень маленькие, но все-таки делал. Он уж начал несколько приличнее прежнего обращаться с матерью, стал предпочитать гонянью на корде простое держанье в узде.

Так прошло три-четыре месяца. Было перемирие, было спокойствие, но с каждым днем могла разразиться гроза, и у Верочки замирало сердце от тяжелого ожидания — не нынче, так завтра или Михаил Иваныч, или Марья Алексевна приступят с требованием согласия,— ведь не век же они будут тер-

петь. Если бы я хотел сочинять эффектные столкновения, я б и дал этому положению трескучую развязку; но ее не было на деле; если б я хотел заманивать неизвестностью, я бы не стал говорить теперь же, что ничего подобного не произошло; но я пишу без уловок и потому вперед говорю: трескучего столкновения не будет, положение развяжется без бурь, без громов и молний.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ И ЗАКОННЫЙ БРАК

I

Известно, как в прежние времена оканчивались подобные положения: отличная девушка в гадком семействе, насильно навязываемый жених — пошлый человек, который ей не нравится, который сам по себе был дрянноватым человеком и становился бы чем дальше, тем дряннее, но, насильно держась подле нее, подчиняется ей и понемногу становится похож на человека так себе, не хорошего, но и не дурного. Девушка начинала тем, что не пойдет за него; но постепенно привыкала иметь его под своею командою и, убеждаясь, что из двух зол — такого мужа и такого семейства, как ее родное,— муж зло меньшее, осчастливливала своего поклонника; сначала было ей гадко, когда она узнавала, что такое значит осчастливливать без любви; но муж был послушен; стерпится — слюбится, и она обращалась в обыкновенную хорошую даму, то есть женщину, которая сама-то по себе и хороша, но примирилась с пошлостью и, живя на земле, только коптит небо. Так бывало прежде с отличными девушками, так бывало прежде и с отличными юношами, которые все обращались в хороших людей, живущих на земле тоже только затем, чтобы коптить небо. Так бывало прежде, потому что порядочных людей было слишком мало: такие, видно, были урожаи на них в прежние времена, что рос «колос от колоса, не слыхать и голоса». А век не проживешь ни одинокою, ни одиноким, не зачахнувши,— вот они и чахли или примирялись с пошлостью.

Но теперь чаще и чаще стали другие случаи: порядочные люди стали встречаться между собою. Да и как же не случать-

ся этому все чаще и чаще, когда число порядочных людей растет с каждым новым годом? А со временем это будет самым обыкновенным случаем, а еще со временем и не будет бывать других случаев, потому что все люди будут порядочные люди. Тогда будет очень хорошо.

Верочке и теперь хорошо. Я потому и рассказываю (с ее согласия) ее жизнь, что, сколько я знаю, она одна из первых женщин, жизнь которых устроилась хорошо. Первые случаи имеют исторический интерес. Первая ласточка очень интересует северных жителей.

Случай, с которого стала устраиваться ее жизнь хорошо, был такого рода. Надобно стало готовить в гимназию маленького брата Верочки. Отец стал спрашивать у сослуживцев дешевого учителя. Один из сослуживцев рекомендовал ему медицинского студента Лопухова.

Раз пять или шесть Лопухов был на своем новом уроке, прежде чем Верочка и он увидели друг друга. Он сидел с Федею в одном конце квартиры, она в другом конце, в своей комнате. Но дело подходило к экзаменам в академии; он перенес уроки с утра на вечер, потому что по утрам ему нужно заниматься, и когда пришел вечером, то застал все семейство за чаем.

На диване сидели лица знакомые: отец, мать ученика, подле матери, на стуле, ученик, а несколько поодаль лицо незнакомое — высокая стройная девушка, довольно смуглая, с черными волосами — «густые, хорошие волоса», с черными глазами — «глаза хорошие, даже очень хорошие», с южным типом лица,— «как будто из Малороссии; пожалуй, скорее даже кавказский тип; ничего, очень красивое лицо, только очень холодное, это уж не по-южному; здоровье хорошее: нас, медиков, поубавилось бы, если бы такой был народ! Да, румянец здоровый и грудь широкая,— не познакомится со стетоскопом. Когда войдет в свет, будет производить эффект. А впрочем, не интересуюсь».

И она посмотрела на вошедшего учителя. Студент был уже не юноша, человек среднего роста или несколько повыше среднего, с темными каштановыми волосами, с правильными, даже красивыми чертами лица, с гордым и смелым видом — «недурен и, должно быть, добр, только слишком серьезен».

Она не прибавила в мыслях: «а впрочем, не интересуюсь», потому что и вопроса не было, станет ли она им интересоваться. Разве Федя не говорил ей столько, что скучно стало и слушать? «Он, сестрица, добрый, только неразговорчивый. А я

ему, сестрица, сказал, что вы у нас красавица, а он, сестрица, сказал: «ну, так что же?», а я, сестрица, сказал: да ведь красавиц все любят, а он сказал: «все глупые любят», а я сказал: а разве вы их не любите? а он сказал: «мне некогда». А я ему, сестрица, сказал: так вы с Верочкою не хотите познакомиться? а он сказал: «у меня и без нее много знакомых».— Это все наболтал Федя вскоре после первого же урока и потом болтал все в том же роде, с разными такими прибавлениями: а я ему, сестрица, нынче сказал, что на вас все смотрят, когда вы где бываете, а он, сестрица, сказал: «ну и прекрасно», а я ему сказал: а вы на нее не хотите посмотреть? а он сказал: «еще увижу».— Или, потом: а я ему, сестрица, сказал, какие у вас ручки маленькие, а он, сестрица, сказал: «вам болтать хочется, так разве не о чем другом, полюбопытнее?»

И учитель узнал от Феди все, что требовалось узнать о сестрице; он останавливал Федю от болтовни о семейных делах; да как вы помешаете девятилетнему ребенку выболтать вам все, если не запугаете его? На пятом слове вы успеваете перервать его, но уж поздно,— ведь дети начинают без приступа, прямо с сущности дела; и вперемежку с другими объяснениями всяких других семейных дел учитель слышал такие начала речей: «А у сестрицы жених-то богатый! А маменька говорит: жених-то глупый!», «А уж маменька как за женихом-то ухаживает!», «А маменька говорит: сестрица ловко жениха поймала!», «А маменька говорит: я хитра, а Верочка хитрее меня!», «А маменька говорит: мы женихову-то мать из дому выгоним», и так дальше.

Натурально, что при таких сведениях друг о друге молодые люди имели мало охоты знакомиться. Впрочем, мы знаем пока только, что это было натурально со стороны Верочки: она не стояла на той степени развития, чтобы стараться «побеждать дикарей» и «сделать этого медведя ручным»,— да и не до того ей было: она рада была, что ее оставляют в покое; она была разбитый, измученный человек, которому как-то посчастливилось прилечь так, что сломанная рука затихла и боль в боку не слышна, и который боится пошевельнуться, чтоб не возобновилась прежняя ломота во всех суставах. Куда уж ей пускаться в новые знакомства, да еще с молодыми людьми?

Да, Верочка так; ну, а он? Дикарь он, судя по словам Феди, и голова его набита книгами да анатомическими препаратами, составляющими самую милую приятность, самую сладостнейшую пищу души для хорошего медицинского студента. Или Федя наврал на него?

II

Нет, Федя не наврал на него; Лопухов точно был такой студент, у которого голова набита книгами,— какими, это мы увидим из библиографических исследований Марьи Алексевны,— и анатомическими препаратами: не набивши голову препаратами, нельзя быть профессором, а Лопухов рассчитывал на это. Но так как мы видим, что из сведений, сообщенных Федею о Верочке, Лопухов не слишком-то хорошо узнал ее, следовательно, и сведения, которые сообщены Федею об учителе, надобно пополнить, чтобы хорошо узнать Лопухова.

По денежным своим делам Лопухов принадлежал к тому очень малому меньшинству медицинских вольнослушающих, то есть не живущих на казенном содержании, студентов, которое не голодает и не холодает. Как и чем живет огромное большинство их — это богу, конечно, известно, а людям непостижимо. Но наш рассказ не хочет заниматься людьми, нуждающимися в съестном продовольствии, потому он упомянет лишь в двух-трех словах о времени, когда Лопухов находился в таком неприличном состоянии.

Да и находился-то он в нем недолго,— года три, даже меньше. До Медицинской академии питался он в изобилии. Отец его, рязанский мещанин, жил, по мещанскому званию, достаточно, то есть его семейство имело щи с мясом не по одним воскресеньям и даже пило чай каждый день. Содержать сына в гимназии он кое-как мог; впрочем, с пятнадцати лет сын сам облегчал это кое-какими уроками. Для содержания сына в Петербурге ресурсы отца были неудовлетворительны; впрочем, в первые два года Лопухов получал из дому рублей по тридцать пять в год да еще почти столько же доставал перепискою бумаг по вольному найму в одном из кварталов Выборгской части,— только вот в это-то время он и нуждался. Да и то был сам виноват: его было приняли на казенное содержание, но он завел какую-то ссору и должен был удалиться на подножный корм. Когда он был в третьем курсе, дела его стали поправляться: помощник квартального надзирателя предложил ему уроки, потом стали находиться другие уроки, и вот уже два года перестал нуждаться и больше года жил на одной квартире, но не в одной, а в двух разных комнатах — значит, не бедно — с другим таким же счастливцем, Кирсановым. Они были величайшие друзья. Оба рано привыкли пробивать себе дорогу своей грудью, не имея никакой поддержки; да и вообще между ними было много сходства, так что

если бы их встречать только порознь, то оба они казались бы людьми одного характера. А когда вы видели их вместе, то замечали, что хоть оба они люди очень солидные и очень открытые, но Лопухов несколько сдержаннее, его товарищ — несколько экспансивнее. Мы теперь видим только Лопухова, Кирсанов явится гораздо позднее, а врознь от Кирсанова о Лопухове можно заметить только то, что надобно было бы повторять и о Кирсанове. Например, Лопухов больше всего был теперь занят тем, как устроить свою жизнь по окончании курса, до которого осталось ему лишь несколько месяцев, как и Кирсанову, а план будущности был у них обоих одинаковый.

Лопухов положительно знал, что будет ординатором (врачом) в одном из петербургских военных госпиталей — это считается большим счастьем — и скоро получит кафедру в Академии. Практикой он не хотел заниматься. Это черта любопытная; в последние лет десять стала являться между некоторыми лучшими из медицинских студентов решимость не заниматься по окончании курса практикою, которая одна дает медику средства для достаточной жизни, и при первой возможности бросить медицину для какой-нибудь из ее вспомогательных наук — для физиологии, химии, чего-нибудь подобного. А ведь каждый из этих людей знает, что, занявшись практикою, он имел бы в тридцать лет громкую репутацию, в тридцать пять лет — обеспечение на всю жизнь, в сорок пять — богатство. Но они рассуждают иначе: видите ли, медицина находится теперь в таком младенчествующем состоянии, что нужно еще не лечить, а только подготовлять будущим врачам материалы для уменья лечить. И вот они, для пользы любимой науки,— они ужасные охотники бранить медицину, только посвящают все свои силы ее пользе,— они отказываются от богатства, даже от довольства, и сидят в госпиталях, делая, видите ли, интересные для науки наблюдения, режут лягушек, вскрывают сотни трупов ежегодно и при первой возможности обзаводятся химическими лабораториями. С какою степенью строгости исполняют они эту высокую решимость, зависит, конечно, от того, как устраивается их домашняя жизнь: если не нужно для близких им, они так и не начинают заниматься практикою, то есть оставляют себя почти в нищете; но если заставляет семейная необходимость, то обзаводятся практикою настолько, насколько нужно для семейства, то есть в очень небольшом размере, и лечат лишь людей, которые действительно больны и которых действительно можно лечить при нынешнем еще жалком положении науки, то есть больных вовсе не

выгодных. Вот к этим-то людям принадлежали Лопухов и Кирсанов. Они должны были в том году кончить курс и объявили, что будут держать (или, как говорится в Академии: сдавать) экзамен прямо на степень доктора медицины; теперь они оба работали для докторских диссертаций и уничтожали громадное количество лягушек; оба они выбрали своею специальностью нервную систему и, собственно говоря, работали вместе; но для диссертационной формы работа была разделена: один вписывал в материалы для своей диссертации факты, замечаемые обоими по одному вопросу, другой по другому.

Однако пора же, наконец, говорить об одном Лопухове. Было время, он порядком кутил; это было, когда он сидел без чаю, иной раз без сапог. Такое время очень благоприятно для кутежа не только со стороны готовности, но и со стороны возможности: пить дешевле, чем есть и одеваться. Но кутеж был следствием тоски от невыносимой нищеты, не больше. Теперь давно уж не было человека, который вел бы более строгую жизнь,— и не в отношении к одному вину. В старину у Лопухова было довольно много любовных приключений. Однажды, например, произошла такая история, что он влюбился в заезжую танцовщицу. Как тут быть? Он подумал, подумал, да и отправился к ней на квартиру. «Что вам угодно?» — «Прислан от графа такого-то с письмом».— Студенческий мундир был без затруднения принят слугою за писарский или какой-нибудь особенный денщицкий.— «Давайте письмо. Ответа будете ждать?» — «Граф приказал ждать». Слуга возвратился в удивлении. «Велела вас позвать к себе».— «Так вот он, вот он! Кричит мне всегда так, что даже из уборной различаю его голос. Много раз отводили вас в полицию за неистовства в мою честь?» — «Два раза».— «Мало. Ну, зачем вы здесь?» — «Видеть вас».— «Прекрасно. А что дальше?» — «Не знаю. Что хотите».— «Ну, я знаю, что хочу. Я хочу завтракать. Видите, прибор на столе. Садитесь и вы». Подали другой прибор. Она смеялась над ним, он смеялся над собою. Он молод, недурен собою, неглуп,— да и оригинально,— почему не подурачиться с ним? Дурачилась с ним недели две, потом сказала: «Убирайтесь!» — «Да я уж и сам хотел, да неловко было!» — «Значит, расстаемся друзьями?» Обнялись еще раз, и отлично. Но это было давно, года три назад, а теперь, года два уж, он бросил всякие шалости.

Кроме товарищей да двух-трех профессоров, предвидевших в нем хорошего деятеля науки, он виделся только с се-

мействами, в которых давал уроки. Но с этими семействами он только виделся: он как огня боялся фамильярности и держал себя очень сухо, холодно со всеми лицами в них, кроме своих маленьких учеников и учениц.

III

Итак, Лопухов вошел в комнату, увидел общество, сидевшее за чайным столом, в том числе и Верочку; ну, конечно, и общество увидело, в том числе и Верочка увидела, что в комнату вошел учитель.

— Прошу садиться,— сказала Марья Алексевна.— Матрена, дай еще стакан.

— Если это для меня, то благодарю вас: я не буду пить.

— Матрена, не нужно стакана. (Благовоспитанный молодой человек!) Почему же не будете? Выкушали бы.

Он смотрел на Марью Алексевну, но тут, как нарочно, взглянул на Верочку,— а может быть, и в самом деле нарочно? Может быть, он заметил, что она слегка пожала плечами? «А ведь он увидел, что я покраснела».

— Благодарю вас; я пью чай только дома.

«Однако ж он вовсе не такой дикарь, он вошел и поклонился легко, свободно»,— замечается про себя на одной стороне стола. «Однако ж, если она и испорченная девушка, то, по крайней мере, стыдится пошлостей матери»,— замечается на другой стороне стола.

Но Федя скоро кончил чай и отправился учиться. Таким образом, важнейший результат вечера был только тот, что Марья Алексевна составила себе выгодное мнение об учителе, видя, что ее сахарница, вероятно, не будет терпеть большого ущерба от перенесения уроков с утра на вечер.

Через два дня учитель опять нашел семейство за чаем и опять отказался от чаю и тем окончательно успокоил Марью Алексевну. Но в этот раз он увидел за столом еще новое лицо — офицера, перед которым лебезила Марья Алексевна. «А, жених!»

А жених, сообразно своему мундиру и дому, почел нужным не просто увидеть учителя, а, увидев, смерить его с головы до ног небрежным, медленным взглядом, принятым в хорошем обществе. Но едва он начал снимать мерку, как почувствовал, что учитель — не то чтобы снимает тоже с него самого мерку, а даже хуже: смотрит ему прямо в глаза, да так прилежно, что вместо продолжения мерки жених сказал:

— А трудная ваша часть, мсье Лопухов,— я говорю, докторская часть.

— Да, трудная.— И все продолжает смотреть прямо в глаза.

Жених почувствовал, что левою рукою, неизвестно зачем, перебирает вторую и третью сверху пуговицы своего вицмундира; ну, если дело дошло до пуговиц, значит, уже нет иного спасения, как поскорее допивать стакан, чтобы спросить у Марьи Алексевны другой.

— На вас, если не ошибаюсь, мундир такого-то полка?

— Да, я служу в таком-то полку,— отвечает Михаил Иваныч.

— И давно служите?

— Девять лет.

— Прямо поступили на службу в этот полк?

— Прямо.

— Имеете роту или еще нет?

— Нет, еще не имею. (Да он меня допрашивает, точно я к нему ординарцем явился.)

— Скоро надеетесь получить?

— Нет еще.

— Гм.— Учитель почел достаточным и прекратил допрос, еще раз пристально посмотревши в глаза воображаемому ординарцу.

«Однако же — однако же»,— думает Верочка,— что такое «однако же»? — Наконец нашла, что такое это «однако же». «Однако же он держит себя так, как держал бы Серж, который тогда приезжал с доброю Жюли. Какой же он дикарь? Но почему же он так странно говорит о девушках, о том, что красавиц любят глупые и — и,— что такое «и» — нашла, что такое «и»,— и почему же он не хотел ничего слушать обо мне, сказал, что это не любопытно?»

— Верочка, ты сыграла бы что-нибудь на фортепьянах, мы с Михаилом Иванычем послушали бы! — говорит Марья Алексевна, когда Верочка ставит на стол вторую чашку.

— Пожалуй.

— И если бы вы спели что-нибудь, Вера Павловна,— прибавляет заискивающим тоном Михаил Иваныч.

— Пожалуй.

Однако ж это «пожалуй» звучит похоже на то, что «я готова, чтобы только отвязаться»,— думает учитель. И ведь вот уже минут пять он сидит тут и хоть на нее не смотрел, но знает, что она ни разу не взглянула на жениха, кроме того, ко-

гда теперь вот отвечала ему. А тут посмотрела на него точно так, как смотрела на мать и на отца,— холодно и вовсе не любезно. Тут что-то не так, как рассказывал Федя. Впрочем, скорее всего, действительно девушка гордая, холодная, которая хочет войти в большой свет, чтобы господствовать и блистать; ей неприятно, что не нашелся для этого жених получше; но, презирая жениха, она принимает его руку, потому что нет другой руки, которая ввела бы ее туда, куда хочется войти. А впрочем, это несколько интересно.

— Федя, а ты допивай поскорее,— заметила мать.

— Не торопите его, Марья Алексевна, я хочу послушать, если Вера Павловна позволит.

Верочка взяла первые ноты, какие попались, даже не посмотрев, что это такое, раскрыла тетрадь, опять где попалось, и стала играть машинально,— все равно, что бы ни сыграть, лишь бы поскорее отделаться. Но пьеса попалась со смыслом, что-то из какой-то порядочной оперы, и скоро игра девушки одушевилась. Кончив, она хотела встать.

— Но вы обещались спеть, Вера Павловна; если бы я смел, я попросил бы вас пропеть из Риголетто (в ту зиму la donna é mobile была модною ариею).

— Извольте.— Верочка пропела la donna é mobile, встала и ушла в свою комнату.

«Нет, она не холодная девушка без души. Это интересно».

— Не правда ли, хорошо? — сказал Михаил Иваныч учителю уже простым голосом и без снимания мерки; ведь не нужно быть в дурных отношениях с такими людьми, которые допрашивают ординарцев,— почему же не заговорить без претензий с учителем, чтобы он не сердился?

— Да, хорошо.

— А вы знаток в музыке?

— Так себе.

— И сами музыкант?

— Несколько.

У Марьи Алексевны, слушавшей разговор, блеснула счастливая мысль.

— А на чем вы играете, Дмитрий Сергеич? — спросила она.

— На фортепьяно.

— Можно ли попросить вас доставить нам удовольствие?

— Очень рад.

Он сыграл какую-то пьесу. Играл он не бог знает как, но так себе, пожалуй, и недурно.

Когда он оканчивал урок, Марья Алексевна подошла к нему и сказала, что завтра у них маленький вечер — день рожденья дочери, и что она просит его пожаловать.

Понятно, в кавалерах недостаток, по обычаю всех таких вечеров; но ничего, он посмотрит поближе на эту девушку,— в ней или с ней есть что-то интересное. «Очень благодарен, буду». Но учитель ошибся: Марья Алексевна имела цель гораздо более важную для нее, чем для танцующих девиц.

Читатель, ты, конечно, знаешь вперед, что на этом вечере будет объяснение, что Верочка и Лопухов полюбят друг друга? — Разумеется, так.

IV

Марья Алексевна хотела сделать большой вечер в день рождения Верочки, а Верочка упрашивала, чтобы не звали никаких гостей; одной хотелось устроить выставку жениха, другой выставка была тяжела. Поладили на том, чтоб сделать самый маленький вечер, пригласить лишь несколько человек близких знакомых. Позвали сослуживцев (конечно, постарше чинами и повыше должностями) Павла Константиныча, двух приятельниц Марьи Алексевны, трех девушек, которые были короче других с Верочкой.

Осматривая собравшихся гостей, Лопухов увидел, что в кавалерах нет недостатка: при каждой из девиц находился молодой человек, кандидат в женихи или и вовсе жених. Стало быть, Лопухова пригласили не в качестве кавалера; зачем же? Подумавши, он вспомнил, что приглашению предшествовало испытание его игры на фортепьяно. Стало быть, он позван для сокращения расходов, чтобы не брать тапёра. «Хорошо,— подумал он,— извините, Марья Алексевна»,— и подошел к Павлу Константинычу.

— А что, Павел Константиныч, пора бы устроить вист: видите, старички-то скучают?

— А вы по какой играете?

— По всякой.

Тотчас же составилась партия, и Лопухов уселся играть. Академия на Выборгской стороне — классическое учреждение по части карт. Там не редкость, что в каком-нибудь нумере (то есть в комнате казенных студентов) играют полтора суток сряду. Надобно признаться, что суммы, находящиеся в обороте на карточных столах, там гораздо меньше, чем в Английском

клубе, но уровень искусства игроков выше. Сильно игрывал в свое — то есть в безденежное — время и Лопухов.

— Mesdames, как же быть? — играть поочередно, это так; но ведь нас остается только семь; будет недоставать кавалера или дамы для кадрили.

Первый роббер оканчивался, когда одна из девиц, самая бойкая, подлетела к Лопухову.

— Мсье Лопухов, вы должны танцевать.

— С одним условием,— сказал он, вставая и кланяясь.

— Каким?

— Я прошу у вас первую кадриль.

— Ах, боже мой, я на первую ангажирована; вторую — извольте.

Лопухов снова сделал глубокий поклон. Двое из кавалеров поочередно играли. На третью кадриль Лопухов просил Верочку,— первую она танцевала с Михайлом Иванычем, вторую — он с бойкой девицею.

Лопухов наблюдал Верочку и окончательно убедился в ошибочности своего прежнего понятия о ней как о бездушной девушке, холодно выходящей по расчету за человека, которого презирает: он видел перед собою обыкновенную молоденькую девушку, которая от души танцует, хохочет: да, к стыду Верочки, надобно сказать, что она была обыкновенная девушка, любившая танцевать. Она настаивала, чтобы вечера вовсе не было, но вечер устроился, маленький, без выставки, стало быть, неотяготительный для нее, и она — чего никак не ожидала — забыла свое горе: в эти годы горевать так не хочется, бегать, хохотать и веселиться так хочется, что малейшая возможность забыть заставляет забыть на время горе. Лопухов был расположен теперь в ее пользу, но ему все еще было непонятно многое.

Он был заинтересован странностью положения Верочки.

— Мсье Лопухов, я никак не ожидала видеть вас танцующим,— начала она.

— Почему же? разве это так трудно, танцевать?

— Вообще — конечно, нет; для вас — разумеется, да.

— Почему ж для меня?

— Потому что я знаю вашу тайну,— вашу и Федину: вы пренебрегаете женщинами.

— Федя не совсем верно понял мою тайну: я не пренебрегаю женщинами, но я избегаю их,— и знаете почему? у меня есть невеста, очень ревнивая, которая, чтоб заставить меня избегать их, рассказала мне их тайну.

— У вас есть невеста?

— Да.

— Вот неожиданность! студент — и уж обручен! Она хороша собою, вы влюблены в нее?

— Да, она красавица, и я очень люблю ее.

— Она брюнетка или блондинка?

— Этого я не могу вам сказать. Это тайна.

— Ну, бог с нею, когда тайна. Но какую же тайну женщин она открыла вам, чтобы заставить вас избегать их общества?

— Она заметила, что я не люблю быть в дурном расположении духа, и шепнула мне такую их тайну, что я не могу видеть женщину без того, чтобы не прийти в дурное расположение духа,— и потому я избегаю женщин.

— Вы не можете видеть женщину без того, чтобы не прийти в дурное расположение духа? Однако вы не мастер говорить комплименты.

— Как же сказать иначе? Жалеть — значит быть в дурном расположении духа.

— Разве мы так жалки?

— Да разве вы не женщина? Мне стоит только сказать вам самое задушевное ваше желание — и вы согласитесь со мною. Это общее желание всех женщин.

— Скажите, скажите.

— Вот оно: «Ах, как бы мне хотелось быть мужчиною!» Я не встречал женщины, у которой бы нельзя было найти эту задушевную тайну. А большею частью нечего и доискиваться ее — она прямо высказывается, даже без всякого вызова, как только женщина чем-нибудь расстроена,— тотчас же слышишь что-нибудь такое: «Бедные мы существа, женщины!», или: «Мужчина совсем не то, что женщина», или даже и так, прямыми словами: «Ах, зачем я не мужчина!»

Верочка улыбнулась: правда, это можно слышать от всякой женщины.

— Вот видите, как жалки женщины, что если бы исполнилось задушевное желание каждой из них, то на свете не осталось бы ни одной женщины.

— Да, кажется, так,— сказала Верочка.

— Все равно как не осталось бы на свете ни одного бедного, если б исполнилось задушевное желание каждого бедного. Видите, как же не жалки женщины! Столько же жалки, как и бедные. Кому приятно видеть бедных? Вот точно так же неприятно мне видеть женщин с той поры, как я узнал их тайну. А она была мне открыта моею ревнивою невестою в

самый день обручения. До той поры я очень любил бывать в обществе женщин; после того — как рукою сняло. Невеста вылечила.

— Добрая и умная девушка ваша невеста; да, мы, женщины,— жалкие существа, бедные мы! — сказала Верочка.— Только кто же ваша невеста? вы говорите так загадочно.

— Это моя тайна, которой Федя не расскажет вам. Я совершенно разделяю желание бедных, чтоб их не было, и когда-нибудь это желание исполнится: ведь раньше или позже мы сумеем же устроить жизнь так, что не будет бедных; но...

— Не будет? — перебила Верочка.— Я сама думала, что их не будет; но как их не будет, этого я не умела придумать,— скажите, как?

— Этого я один не умею сказать; это умеет рассказывать только моя невеста; я здесь один, без нее, могу сказать только: она заботится об этом, а она очень сильная, она сильнее всех на свете. Но мы говорим не об ней, а об женщинах. Я совершенно согласен с желанием бедных, чтоб их не было на свете, потому что это и сделает моя невеста. Но я не согласен с желанием женщин, чтобы женщин не было на свете, потому что этому желанию нельзя исполниться: с тем, чему быть нельзя, я не соглашаюсь. Но у меня есть другое желание: мне хотелось бы, чтобы женщины подружились с моею невестою,— она и о них заботится, как заботится о многом, обо всем. Если бы они подружились с нею, и у меня не было бы причины жалеть их, и у них исчезло бы желание: «Ах, зачем я не родилась мужчиною!» При знакомстве с нею и женщинам было бы не хуже, чем мужчинам.

— Мсье Лопухов! еще одну кадриль! непременно!

— Похвалю вас за это! — Он пожал ее руку, да так спокойно и серьезно, как будто он ее подруга или она его товарищ.— Которую же?

— Последнюю.

— Хорошо.

Марья Алексевна несколько раз шмыгала мимо них во время этой кадрили.

Что подумала Марья Алексевна о таком разговоре, если подслушала его? Мы, слышавшие его весь, с начала до конца, все скажем, что такой разговор во время кадрили — очень странен.

Пришла последняя кадриль.

— Мы всё говорили обо мне,— начал Лопухов,— а ведь это очень нелюбезно с моей стороны, что я все говорил о себе.

Теперь я хочу быть любезным,— говорить о вас, Вера Павловна. Знаете, я был о вас еще гораздо худшего мнения, чем вы обо мне. А теперь... ну, да это после. Но все-таки я не умею отвечать себе на одно. Отвечайте вы мне. Скоро будет ваша свадьба?

— Никогда.

— Я так и думал,— в последние три часа, с той поры как вышел сюда из-за карточного стола. Но зачем же он считается женихом?

— Зачем он считается женихом? — зачем! — одного я не могу сказать вам, мне тяжело. А другое могу сказать: мне жаль его. Он так любит меня. Вы скажете: надобно высказать ему прямо, что я думаю о нашей свадьбе,— я говорила; он отвечает: не говорите, это убивает меня, молчите.

— Это вторая причина, а первую, которую вы не можете сказать мне, я могу сказать вам: ваше положение в семействе ужасно.

— Теперь оно сносно. Теперь меня никто не мучит,— ждут и оставляют или почти оставляют одну.

— Но ведь это не может так продолжаться много времени. К вам начнут приставать. Что тогда?

— Ничего. Я думала об этом и решилась. Я тогда не останусь здесь. Я могу быть актрисою. Какая это завидная жизнь! Независимость! Независимость!

— И аплодисменты.

— Да, и это приятно. Но главное — независимость! Делать, что хочу, жить, как хочу, никого не спрашиваясь, ничего ни от кого не требовать, ни в ком, ни в ком не нуждаться! Я так хочу жить!

— Это так, это хорошо! Теперь у меня к вам просьба: я узнаю, как это сделать, к кому надобно обратиться,— да?

— Благодарю.— Верочка пожала ему руку.— Делайте это скорее: мне так хочется поскорее вырваться из этого гадкого, несносного, унизительного положения! Я говорю: «Я спокойна, мне сносно»,— разве это в самом деле так? Разве я не вижу, что делается моим именем? Разве я не знаю, как думают обо мне все, кто здесь есть? Интриганка, хитрит, хочет быть богата, хочет войти в светское общество, блистать, будет держать мужа под башмаком, вертеть им, обманывать его,— разве я не знаю, что все обо мне так думают? Не хочу так жить, не хочу! — Вдруг она задумалась.— Не смейтесь тому, что я скажу: ведь мне жаль его,— он так меня любит!

— Он вас любит? Так он на вас смотрит, как вот я, или нет? Такой у него взгляд?

— Вы смотрите прямо, просто. Нет, ваш взгляд меня не обижает.

— Видите, Вера Павловна, это оттого... Но все равно. А он так смотрит?

Верочка покраснела и молчала.

— Значит, он вас не любит. Это не любовь, Вера Павловна.

— Но...— Верочка не договорила и остановилась.

— Вы хотели сказать: но что ж это, если не любовь? Это пусть будет все равно. Но что это не любовь, вы сами скажете. Кого вы больше всех любите? — я говорю не про эту любовь,— но из родных, из подруг?

— Кажется, никого особенно. Из них никого сильно. Но нет, недавно мне встретилась одна очень странная женщина. Она очень дурно говорила мне о себе, запретила мне продолжать знакомство с нею,— мы виделись по совершенно особенному случаю,— сказала, что когда мне будет крайность, но такая, что оставалось бы только умереть, чтобы тогда я обратилась к ней, но иначе — никак. Ее я очень полюбила.

— Вы желаете, чтоб она сделала для вас что-нибудь такое, что ей неприятно или вредно?

Верочка улыбнулась.

— Как же это можно?

— Но нет, представьте, что вам очень, очень нужно было бы, чтоб она сделала для вас что-нибудь, и она сказала бы вам: «Если я это сделаю, это будет мучить меня»,— повторили бы вы ваше требование, стали ли бы настаивать?

— Скорее умерла бы.

— Вот вы сами говорите, что это — любовь. Только эта любовь — просто чувство, а не страсть. А что же такое любовь — страсть? Чем отличается страсть от простого чувства? Силою. Значит, если при простом чувстве, слабом, слишком слабом перед страстью, любовь ставит вас в такое отношение к человеку, что вы говорите: «Лучше умереть, чем быть причиною мученья для него»; если простое чувство так говорит, что же скажет страсть, которая в тысячу раз сильнее? Она скажет: «Скорее умру, чем — не то что потребую, не то что попрошу,— а скорее, чем допущу, чтобы этот человек сделал для меня что-нибудь, кроме того, что ему самому приятно; умру скорее, чем допущу, чтобы он для меня стал к чему-нибудь принуждать себя, в чем-нибудь стеснять себя». Вот такая страсть, которая говорит так, это — любовь. А если страсть не такая, то она

страсть, но вовсе не любовь. Я сейчас ухожу отсюда. Я все сказал, Вера Павловна.

Верочка пожала ему руку.

— До свиданья.— Что ж вы не поздравите меня? Ведь нынче день моего рожденья.

Лопухов посмотрел на нее.

— Может быть... может быть! Если вы не ошиблись, хорошо для меня.

V

«Как это так скоро, как это так неожиданно,— думает Верочка, одна в своей комнате, по окончании вечера,— в первый раз говорили и стали так близки! за полчаса вовсе не знать друг друга и через час видеть, что стали так близки! как это странно!»

Нет, это вовсе не странно, Верочка. У этих людей, как Лопухов, есть магические слова, привлекающие к ним всякое огорченное, обижаемое существо. Это их невеста подсказывает им такие слова. А вот что в самом деле странно, Верочка,— только не нам с тобою,— что ты так спокойна. Ведь думают, что любовь — тревожное чувство. А ты заснешь так тихо, как ребенок, и не будут ни смущать, ни волновать тебя никакие сны,— разве приснятся веселые детские игры, фанты, горелки или, может быть, танцы, только тоже веселые, беззаботные. Это другим странно, а ты не знаешь, что это странно, а я знаю, что это не странно. Тревога в любви — не самая любовь,— тревога в ней что-нибудь не так, как следует быть, а сама она весела и беззаботна.

«Как это странно,— думает Верочка,— ведь я сама все это передумала, перечувствовала, что он говорит и о бедных, и о женщинах, и о том, как надобно любить,— откуда я это взяла? Или это было в книгах, которые я читала? Нет, там не то: там все это или с сомнениями, или с такими оговорками, и все это как будто что-то необыкновенное, невероятное. Как будто мечты, которые хороши, да только не сбудутся! А мне казалось, что это просто, проще всего, что это самое обыкновенное, без чего нельзя быть, что это верно все так будет, что это вернее всего! А ведь я думала, что это самые лучшие книги! Ведь вот Жорж Занд — такая добрая, благонравная,— а у ней все это только мечты! Или наши — нет, у наших уж вовсе ничего этого нет. Или у Диккенса — у него это есть, только он как будто

этого не надеется; только желает, потому что добрый, а сам знает, что этому нельзя быть. Как же они не знают, что без этого нельзя, что это в самом деле надобно так сделать и что это непременно сделается, чтобы вовсе никто не был ни беден, ни несчастен. Да разве они этого не говорят? Нет, им только жалко, а они думают, что в самом деле так и останется, как теперь,— немного получше будет, а все так же. А того они не говорят, что я думала. Если бы они *это* говорили, я бы знала, что умные и добрые люди так думают; а то ведь мне все казалось, что это только я так думаю, потому что я глупенькая девочка, что, кроме меня, глупенькой, никто так не думает, никто этого в самом деле не ждет. А вот он говорит, что его невеста растолковала всем, кто ее любит, что это именно все так будет, как мне казалось, и растолковала так понятно, что все они стали заботиться, чтоб это поскорее так было. Какая его невеста умная! Только кто ж это она? Я узнаю, непременно узнаю. Да, вот хорошо будет, когда бедных не будет, никто никого принуждать не будет, все будут веселые, добрые, счастливые...»

И с этим Верочка заснула, и спала крепко, и ничего не видела во сне.

Нет, Верочка, это не странно, что передумала и приняла к сердцу все это ты, простенькая девочка, не слышавшая и фамилий-то тех людей, которые стали этому учить и доказали, что этому так надо быть, что это непременно так будет, что этого не может не быть; не странно, что ты поняла и приняла к сердцу эти мысли, которых не могли тебе ясно представить твои книги: твои книги писаны людьми, которые учились этим мыслям, когда они были еще мыслями; эти мысли казались удивительны, восхитительны,— и только. Теперь, Верочка, эти мысли уж ясно видны в жизни, и написаны другие книги, другими людьми, которые находят, что эти мысли хороши, но удивительного нет в них ничего, и теперь, Верочка, эти мысли носятся в воздухе, как аромат в полях, когда приходит пора цветов; они повсюду проникают, ты их слышала даже от твоей пьяной матери, говорившей тебе, что надобно жить и почему надобно жить обманом и обиранием; она хотела говорить против твоих мыслей, а сама развивала твои же мысли; ты их слышала от наглой, испорченной француженки, которая таскает за собою своего любовника, будто горничную, делает из него все, что хочет, и все-таки, лишь опомнится, находит, что она не имеет своей воли, должна угождать, принуждать себя, что это очень тяжело,— уж ей ли, кажется, не жить с ее Сергеем, и

добрым, и деликатным, и мягким,— а она говорит все-таки: «и даже мне, такой дурной, такие отношения дурны». Теперь, Верочка, нетрудно набраться таких мыслей, какие у тебя. Но другие не принимают их к сердцу, а ты приняла — это хорошо, но тоже не странно: что ж странного, что тебе хочется быть вольным и счастливым человеком! Ведь это желание — не бог знает какое головоломное открытие, не бог знает какой подвиг геройства.

А вот что странно, Верочка, что есть такие же люди, у которых нет этого желания, у которых совсем другие желания, и им, пожалуй, покажется странно, с какими мыслями ты, мой друг, засыпаешь в первый вечер твоей любви, что от мысли о себе, о своем милом, о своей любви ты перешла к мыслям, что всем людям надобно быть счастливыми и что надобно помогать этому скорее прийти. А ты не знаешь, что это странно, а я знаю, что это не странно, что это одно и натурально, одно и по-человечески, просто по-человечески; «я чувствую радость и счастье» — значит «мне хочется, чтобы все люди стали радостны и счастливы» — по-человечески, Верочка, эти обе мысли — одно. Ты добрая девушка; ты не глупая девушка; но ты меня извини, я ничего удивительного не нахожу в тебе; может быть, половина девушек, которых я знал и знаю, а может быть, и больше чем половина,— я не считал, да и много их, что считать-то,— не хуже тебя, а иные и лучше, ты меня прости.

Лопухову кажется, что ты удивительная девушка, это так; но это не удивительно, что это ему кажется,— ведь он полюбил тебя! И тут нет ничего удивительного, что полюбил: тебя можно полюбить; а если полюбил, так ему так и должно казаться.

VI

Марья Алексевна шмыгала мимо дочери и учителя во время первой их кадрили; но во время второй она не показывалась подле них и вся была погружена в хлопоты хозяйки по приготовлению закуски вроде ужина. Кончив эти заботы, она справилась об учителе,— учителя уже не было.

Через два дня учитель пришел на урок. Подали самовар,— это всегда приходилось во время урока. Марья Алексевна вышла в комнату, где учитель занимался с Федею; прежде звала Федю Матрена; учитель хотел остаться на своем месте, потому что ведь он не пьет чаю и просмотрит в это время Федину тетрадь, но Марья Алексевна просила его пожаловать поси-

деть с ними, ей нужно поговорить с ним. Он пошел. сел за чайный стол.

Марья Алексевна начала расспрашивать его о способностях Феди, о том, какая гимназия лучше, не лучше ли будет поместить мальчика в гимназический пансион,— расспросы очень натуральные, только не рано ли немножко делаются? Во время этого разговора она так усердно и любезно просила учителя выкушать чаю, что Лопухов согласился отступить от своего правила, взял стакан. Верочка долго не выходила,— вышла; она и учитель обменялись поклонами, будто ничего между ними не было, а Марья Алексевна все еще продолжала беседовать о Феде. Потом вдруг круто поворотила разговор на самого учителя и стала расспрашивать, кто он, что он, какие у него родственники, имеют ли состояние, как он живет, как думает жить; учитель отвечал коротко и неопределенно, что родственники есть, живут в провинции, люди небогатые, он сам живет уроками, останется медиком в Петербурге; словом сказать, из всего этого не выходило ничего. Видя такое упорство, Марья Алексевна приступила к делу прямее:

— Вот вы говорите, что останетесь здесь доктором; а здешним докторам, слава богу, можно жить; еще не думаете о семейной жизни или имеете девушку на примете?

Что это? учитель уж и позабыл было про свою фантастическую невесту, хотел было сказать: «не имею на примете», но вспомнил: «Ах, да ведь она подслушивала!» Ему стало смешно,— ведь какую глупость тогда придумал! Как это я сочинил такую аллегорию, да и вовсе не нужно было! Ну вот, подите же, говорят, пропаганда вредна — вон как на нее подействовала пропаганда, когда у ней сердце чисто и не расположено к вредному; ну, подслушала и поняла, так мне какое дело?

— Как же, имею,— сказал Лопухов.

— И помолвлены или нет еще?

— Помолвлен.

— И формально помолвлены или только так, между собою говорили?

— Формально помолвлен.

Бедная Марья Алексевна! Она слышала слова «моя невеста» — «ваша невеста» — «я ее очень люблю» — «она красавица»,— и успокоилась насчет волокитства со стороны учителя, и вторую кадриль уже могла вполне отдать хлопотам о закуске вроде ужина. Но ей хотелось пообстоятельнее и поосновательнее узнать эту успокоительную историю. Она продолжала расспросы; ведь каждому приятны успокоительные разговоры,

да и во всяком случае любопытно,— ведь все любопытно. Учитель отвечал основательно, хотя, по своему правилу, кратко.— Хороша ли его невеста? — Необыкновенно.— Есть ли приданое? — Теперь нет, но получает большое наследство.— Большое? — Очень большое.— Как велико? — Очень велико.— Тысяч до ста? — Гораздо больше.— А сколько же? — Да что об этом говорить, довольно того, что очень много.— В деньгах? — Есть и в деньгах.— Может быть, и в поместьях? — Да, есть и в поместьях.— Скоро? — Скоро.— А свадьба скоро ли? — Скоро.— Так и следует, Дмитрий Сергеич, покуда еще не получила наследства, а то ведь от женихов отбою не будет.— Совершенная правда.— Да как это бог послал ему такое счастье, да как это не перехватили другие.— Да так; почти еще никто не знает, что она должна получить наследство.— А он проведал? — Проведал.— Да как же? — Да он, признаться сказать, давно проведывал, ну, нашел.— И верно разузнал? — Еще бы, документы сам проверял.— Сам? — Сам. С того и начал.— С того и начал? — Разумеется, кто в своем уме, без документов шагу не делает.— Правда, Дмитрий Сергеич, не делает. Какое счастье-то! Верно, за молитвы родительские! — Вероятно.

Учитель и прежде понравился Марье Алексевне тем, что не пьет чаю; по всему было видно, что он человек солидный, основательный; говорил он мало — тем лучше, не вертопрах; но что говорил, то говорил хорошо — особенно о деньгах; но с вечера третьего дня она увидела, что учитель даже очень хорошая находка, по совершенному препятствию к волокитству за девушками в семействах, где дает уроки: такое полное препятствие редко бывает у таких молодых людей. А теперь она была в полном удовольствии от него. В самом деле, какой солидный человек! И ведь не хвастался, что у него богатая невеста: каждое слово из него надобно было клещами вытягивать. И как пронюхивал-то,— видно, давно уж думал подыскать богатую невесту,— и, поди, чать, как примазывался-то к ней! Ну, этот, можно сказать, умеет свои дела вести. И с документов прямо так и начал, да и говорит-то как! «Без этого, говорит, нельзя, кто в своем уме» — редкой основательности молодой человек!

Верочка сначала едва удерживалась от слишком заметной улыбки, но постепенно ей стало казаться,— как это ей стало казаться? — нет, это не так, нет, это так! — что Лопухов хоть отвечал Марье Алексевне, но говорит не с Марьей Алексевною, а с нею, Верочкою, что над Марьей Алексевною он подшучи-

вает, серьезно же и правду, и только правду говорит одной ей, Верочке.

Казалось ли только так Верочке, или в самом деле так было, кто знает? Он знал, и она узнала; а нам, пожалуй, и не нужно знать; нам нужны только факты. А факт был тот, что Верочка, слушавшая Лопухова сначала улыбаясь, потом серьезно, думала, что он говорит не с Марьей Алексевною, а с нею, и не шутя, а правду, а Марья Алексевна, с самого начала слушавшая Лопухова серьезно, обратилась к Верочке и сказала: «Друг мой, Верочка, что ты все такой букой сидишь? Ты теперь с Дмитрием Сергеичем знакома, попросила бы его сыграть тебе в аккомпанемент, а сама бы спела!», и смысл этих слов был: «Мы вас очень уважаем, Дмитрий Сергеич, и желаем, чтобы вы были близким знакомым нашего семейства; а ты, Верочка, не дичись Дмитрия Сергеича, я скажу Михаилу Иванычу, что уж у него есть невеста, и Михаил Иваныч тебя к нему не будет ревновать».— Это было для Верочки и для Дмитрия Сергеича,— он теперь уж и в мыслях Марьи Алексевны был не «учитель», а «Дмитрий Сергеич»,— а для самой Марьи Алексевны слова ее имели третий, самый натуральный и настоящий смысл: «Надо его приласкать; знакомство может впоследствии пригодиться, когда будет богат, шельма»; это был общий смысл слов Марьи Алексевны для Марьи Алексевны, а кроме общего, был в них для нее и частный смысл: «приласкавши, стану ему говорить, что мы люди небогатые, что нам тяжело платить по целковому за урок». Вот сколько смыслов имели слова Марьи Алексевны. Дмитрий Сергеич сказал, что теперь он кончит урок, а потом с удовольствием поиграет на фортепьяно.

VII

Много смыслов имели слова Марьи Алексевны и не меньше того имели они результатов. Со стороны частного смысла их для нее самой, то есть сбережения платы за уроки, Марья Алексевна достигла большего успеха, чем сама рассчитывала; когда через два урока она повела дело о том, что они люди небогатые, Дмитрий Сергеич стал торговаться, сильно торговался, долго не уступал, долго держался на трехрублевом (тогда еще были трехрублевые, то есть, если помните, монета в семьдесят пять копеек); Марья Алексевна и сама не надеялась спустить ниже, но, сверх чаяния, успела сбить на шестьдесят

копеек за урок. По-видимому, частный смысл ее слов — надежда сбить плату — противоречил ее же мнению о Дмитрии Сергеиче (не о Лопухове, а о Дмитрии Сергеиче) как об алчном пройдохе; с какой стати корыстолюбец будет поступаться в деньгах для нашей бедности? А если Дмитрий Сергеич поступился, то, по-настоящему, следовало бы ей разочароваться в нем, увидеть в нем человека легкомысленного и, следовательно, вредного. Конечно, этак она и рассудила бы в чужом деле. Но уж так устроен человек, что трудно ему судить о своих делах по общему правилу: охотник он делать исключения в свою пользу. Когда коллежский секретарь Иванов уверяет коллежского советника Ивана Иваныча, что предан ему душою и телом, Иван Иваныч знает по себе, что преданности душою и телом нельзя ждать ни от кого, а тем больше знает, что, в частности, Иванов пять раз продал отца родного за весьма сходную цену и тем даже превзошел его самого, Ивана Иваныча, который успел продать своего отца только три раза, а все-таки Иван Иваныч верит, что Иванов предан ему, то есть и не верит ему, а благоволит к нему за это, и хоть не верит, а дает ему дурачить себя,— значит, все-таки верит, хоть и не верит. Что прикажете делать с этим свойством человеческого сердца? Оно дурно, оно вредно; но Марья Алексевна не была, к сожалению, изъята от этого недостатка, которым страдают почти все корыстолюбцы, хитрецы и дрянные люди. От него есть избавленье только в двух крайних сортах нравственного достоинства: или в том, когда человек уже трансцендентальный негодяй, восьмое чудо света плутовской виртуозности, вроде Али-паши Янинского, Джеззар-паши Сирийского, Мегемет-Али Египетского, которые проводили европейских дипломатов и (Джеззар) самого Наполеона Великого так легко, как детей, когда мошенничество наросло на человеке такою абсолютно прочною бронею, сквозь которую нельзя пробраться ни до какой человеческой слабости: ни до амбиции, ни до честолюбия, ни до властолюбия, ни до самолюбия, ни до чего; но таких героев мошенничества чрезвычайно мало, почти что не попадается в европейских землях, где виртуозность негодяйства уже портится многими человеческими слабостями. Потому, если вам укажут хитреца и скажут: «Вот этого человека никто не проведет»,— смело ставьте десять рублей против одного рубля, что вы, хоть вы человек и не хитрый, проведете этого хитреца, если только захотите, а еще смелее ставьте сто рублей против одного рубля, что он сам себя на чем-нибудь водит за нос, ибо это обыкновеннейшая, всеобщая черта в характере у хитрецов,

на чем-нибудь водить себя за нос. Уж на что, кажется, искусники были Луи-Филипп и Меттерних, а ведь как отлично вывели сами себя за нос из Парижа и Вены в места злачные и спокойные буколически наслаждаться картиною того, как там, в этих местах, Макар телят гоняет. А Наполеон I как был хитр,— гораздо хитрее их обоих, да еще при этакой-то хитрости имел, говорят, гениальный ум,— а как мастерски провел себя за нос на Эльбу, да еще мало показалось, захотел подальше, и удалось, удалось так, что дотащил себя за нос до св. Елены! А ведь как трудно-то было,— почти невозможно,— а сумел преодолеть все препятствия к достижению острова св. Елены! Прочтите-ко «Историю кампании 1815 г.» Шарраса,— даже умилительно то усердие и искусство, с каким он тащил тут себя за нос! Увы, и Марья Алексевна не была изъята от этой вредной наклонности.

Мало людей, которым бронею против обольщения служит законченная доскональность в обманывании других. Но зато многочисленны люди, которым надежно в этом отношении служит простая честность сердца. По свидетельству всех Видоков и Ванек Каинов, нет ничего труднее, как надуть честного, бесхитростного человека, если он имеет хоть несколько рассудка и житейского опыта. Неглупые честные люди в одиночку не обольщаются. Но у них есть другой, такой же вредный вид этой слабости: они подвержены повальному обольщению. Плут не может взять ни одного из них за нос; но носы всех их, как одной компании, постоянно готовы к услугам. А плуты, в одиночку слабые насчет независимости своих носов, компанионально не проводятся за нос. В этом вся тайна всемирной истории.

Но забираться нам во всемирную историю будет уж лишнее: занимаешься рассказом, так занимайся рассказом.

Первым результатом слов Марьи Алексевны было удешевление уроков. Другим результатом — то, что от удешевления учителя (то есть уже не учителя, а Дмитрия Сергеича) Марья Алексевна еще больше утвердилась в хорошем мнении о нем как о человеке основательном, дошла даже до убеждения, что разговоры с ним будут полезны для Верочки, склонят Верочку на венчанье с Михаилом Иванычем,— этот вывод был уже очень блистателен, и Марья Алексевна своим умом не дошла бы до него, но встретилось ей такое ясное доказательство, что нельзя было не заметить этой пользы для Верочки от влияния Дмитрия Сергеича. Как встретилось это доказательство, мы сейчас увидим.

Третий результат слов Марьи Алексевны был, разумеется,

тот, что Верочка и Дмитрий Сергеич стали, с ее разрешения и поощрения, проводить вместе довольно много времени. Кончив урок часов в восемь, Лопухов оставался у Розальских еще часа два-три: игрывал в карты с матерью семейства, отцом семейства и женихом; говорил с ними; играл на фортепьяно, а Верочка пела, или Верочка играла, а он слушал; иногда и разговаривал с Верочкою, и Марья Алексевна не мешала, не косилась, хотя, конечно, не оставляла без надзора.

О, разумеется, не оставляла, потому что хотя Дмитрий Сергеич и очень хороший молодой человек, но все же недаром говорится пословица: не клади плохо, не вводи вора в грех. А что Дмитрий Сергеич вор,— не в порицательном, а в похвальном смысле,— нет никакого сомнения: иначе за что ж бы его и уважать и делать хорошим знакомым? Неужели с дураками знакомиться? Конечно, следует и с дураками, когда от них можно попользоваться. Но у Дмитрия Сергеича пока еще нет ничего; стало быть, с ним можно водить дружбу только за его достоинства, то есть за ум, то есть за основательность, расчетливость, уменье вести свои дела. А если у всякого человека черт знает что на уме, то у такого умного человека и подавно. Стало быть, за Дмитрием Сергеичем надобно смотреть да смотреть. Марья Алексевна и смотрела очень прилежно. Но все наблюдения только подтверждали основательность и благонамеренность Дмитрия Сергеича. Например, по чему сейчас можно заметить амурные шашни? По заглядыванию за корсет. Вот Верочка играет, Дмитрий Сергеич стоит и слушает, а Марья Алексевна смотрит, не запускает ли он глаз за корсет,— нет, и не думает запускать! или иной раз вовсе не глядит на Верочку, а так куда-нибудь глядит, куда случится, или иной раз глядит на нее, так просто в лицо ей глядит, да так бесчувственно, что сейчас видно: смотрит на нее только из учтивости, а сам думает о невестином приданом,— глаза у него не разгораются, как у Михаила Иваныча. Опять, в чем еще замечаются амурные дела? — в любовных словах; никаких любовных слов не слышно; да и говорят-то они между собою мало,— он больше говорит с Марьей Алексевною. Или вот: стал он приносить книги Верочке. Раз Верочка ушла к подруге, и Михаил Иваныч тут сидел. Вот Марья Алексевна взяла книги, принесла Михаилу Иванычу.

— Посмотрите-ко, Михаил Иваныч, французскую-то я сама почти что разобрала: «Гостиная» — значит, самоучитель светского обращения, а немецкую-то не пойму.

— Нет, Марья Алексевна, это не «Гостиная», это Destinée — судьба.

— Какая же это судьба? роман, что ли, так называется, или оракул, толкование снов?

— А вот сейчас увидим, Марья Алексевна, из самой книги.— Михаил Иваныч перевернул несколько листов.— Тут все о сериях больше говорится, Марья Алексевна,— ученая книга.

— О сериях? Это хорошо; значит, как денежные обороты вести.

— Да, все об этом, Марья Алексевна.

— Ну, а немецкая-то?

Михаил Иваныч медленно прочел: «О религии, сочинение Людвига» — Людовика Четырнадцатого, Марья Алексевна, сочинение Людовика Четырнадцатого; это был, Марья Алексевна, французский король, отец тому королю, на место которого нынешний Наполеон сел.

— Значит, о божественном?

— О божественном, Марья Алексевна.

— Это хорошо, Михаил Иваныч; то-то я и знаю, что Дмитрий Сергеич солидный молодой человек, а все-таки нужен глаз да глаз за всяким человеком!

— Конечно, у него не то на уме, Марья Алексевна, а я все-таки очень вам благодарен, Марья Алексевна, за ваше наблюдение.

— Нельзя, наблюдаю, Михаил Иваныч; такая уж обязанность матери, чтобы дочь в чистоте сохранить, и могу вам поручиться насчет Верочки. Только вот что я думаю, Михаил Иваныч: король-то французский какой был веры?

— Католик, натурально.

— Так он там не в папскую ли веру обращает?

— Не думаю, Марья Алексевна. Если бы католический архиерей писал, он, точно, стал бы обращать в папскую веру. А король не станет этим заниматься: он, как мудрый правитель и политик, просто будет внушать благочестие.

Кажется, чего еще? Марья Алексевна не могла не видеть, что Михаил Иваныч, при всем своем ограниченном уме, рассудил очень основательно; но все-таки вывела дело уже совершенно начистоту. Дня через два, через три она вдруг сказала Лопухову, играя с ним и Михаилом Иванычем в преферанс:

— А что, Дмитрий Сергеич, я хочу у вас спросить: прошлого французского короля отец, того короля, на место которого нынешний Наполеон сел, велел в папскую веру креститься?

— Нет, не велел, Марья Алексевна.

— А хороша папская вера, Дмитрий Сергеич?

— Нет, Марья Алексевна, не хороша. А я семь в бубнах сыграю.

— Это я так, по любопытству спросила, Дмитрий Сергеич, как я женщина неученая, а знать интересно. А много вы ремизов-то списали, Дмитрий Сергеич!

— Нельзя, Марья Алексевна, тому нас в Академии учат. Медику нельзя не уметь играть.

Для Лопухова до сих пор остается загадкою, зачем Марье Алексевне понадобилось знать, велел ли Филипп Эгалите креститься в папскую веру.

Ну как после всего этого не было бы извинительно Марье Алексевне перестать утомлять себя неослабным надзором? И глаз не запускает за корсет, и лицо бесчувственное, и божественные книги дает читать,— кажется, довольно бы. Но нет, Марья Алексевна не удовлетворилась надзором, а устроила даже пробу, будто учила «логику», которую и я учил наизусть, говорящую: «Наблюдение явлений, каковые происходят сами собою, должно быть поверяемо опытами, производимыми по обдуманному плану, для глубочайшего проникновения в тайны таковых отношений»,— и устроила она эту пробу так, будто читала Саксона Грамматика, рассказывающего, как испытывали Гамлета в лесу девицею.

VIII

ГАМЛЕТОВСКОЕ ИСПЫТАНИЕ

Однажды Марья Алексевна сказала за чаем, что у нее разболелась голова; разлив чай и заперев сахарницу, ушла и улеглась. Вера и Лопухов остались сидеть в чайной комнате, подле спальной, куда ушла Марья Алексевна. Через несколько минут больная кликнула Федю. «Скажи сестре, что их разговор не дает мне уснуть; пусть уйдут куда подальше, чтоб не мешали. Да скажи хорошенько, чтобы не обидеть Дмитрия Сергеича: видишь, он какой заботливый о тебе». Федя пошел и сказал, что маменька просит вот о чем. «Пойдемте в мою комнату, Дмитрий Сергеич,— она далеко от спальной, там не будем мешать». Этого, разумеется, и ждала Марья Алексевна. Через четверть часа она в одних чулках, без башмаков, подкра-

лась к двери Верочкиной комнаты. Дверь была полуотворена; между дверью и косяком была такая славная щель,— Марья Алексевна приложила к ней глаз и навострила уши.

Увидела она следующее:

В Верочкиной комнате было два окна, между окон стоял письменный стол. У одного окна, с одного конца стола, сидела Верочка и вязала шерстяной нагрудник отцу, свято исполняя заказ Марьи Алексевны; у другого окна, с другого конца стола, сидел Лопухов; локтем одной руки оперся на стол, и в этой руке была сигара, а другая рука у него была засунута в карман; расстояние между ним и Верочкою было аршина два, если не больше. Верочка больше смотрела на свое вязанье; Лопухов больше смотрел на сигару. Диспозиция успокоительная.

Услышала она следующее:

— ...Надобно так смотреть на жизнь? — с этих слов начала слышать Марья Алексевна.

— Да, Вера Павловна, так надобно.

— Стало быть, правду говорят холодные практические люди, что человеком управляет только расчет выгоды?

— Они говорят правду. То, что называют возвышенными чувствами, идеальными стремлениями,— все это в общем ходе жизни совершенно ничтожно перед стремлением каждого к своей пользе, и в корне само состоит из того же стремления к пользе.

— Да вы, например, разве вы таков?

— А каков же, Вера Павловна? Вы послушайте, в чем существенная пружина всей моей жизни. Сущность моей жизни состояла до сих пор в том, что я учился, я готовился быть медиком. Прекрасно. Зачем отдал меня отец в гимназию? Он твердил мне: «Учись, Митя: выучишься — чиновник будешь, нас с матерью кормить будешь, да и самому будет хорошо». Вот почему я учился; без этого расчета отец не отдал бы меня учиться: ведь семейству нужен был работник. Да и я сам, хотя полюбил ученье, стал ли бы тратить время на него, если бы не думал, что трата вознаградится с процентами? Я стал оканчивать курс в гимназии; убедил отца отпустить меня в Медицинскую академию, вместо того чтобы определять в чиновники. Как это произошло? Мы с отцом видели, что медики живут гораздо лучше канцелярских чиновников и столоначальников, выше которых не подняться бы мне. Вот вам причина, по которой я очутился и оставался в Академии,— хороший кусок хлеба. Без этого расчета я не поступил бы в Академию и не оставался бы в ней.

— Но ведь вы любили учиться в гимназии, ведь вы полюбили потом медицинские науки?

— Да. Это украшение; оно и полезно для успеха дела; но дело обыкновенно бывает и без этого украшения, а без расчета не бывает. Любовь к науке была только результатом, возникавшим из дела, а не причиною его; причина была одна — выгода.

— Положим, вы правы,— да, вы правы. Все поступки, которые я могу разобрать, объясняются выгодою. Но ведь эта теория холодна.

— Теория должна быть сама по себе холодна. Ум должен судить о вещах холодно.

— Но она беспощадна.

— К фантазиям, которые пусты и вредны.

— Но она прозаична.

— Для науки не годится стихотворная форма.

— Итак, эта теория, которой я не могу не допустить, обрекает людей на жизнь холодную, безжалостную, прозаичную?..

— Нет, Вера Павловна: эта теория холодна, но учит человека добывать тепло. Спичка холодна, стена коробочки, о которую трется она,— холодна, дрова — холодны, но от них огонь, который готовит теплую пищу человеку и греет его самого. Эта теория безжалостна, но, следуя ей, люди не будут жалким предметом праздного сострадания. Ланцет не должен гнуться — иначе надобно будет жалеть о пациенте, которому не будет легче от нашего сожаления. Эта теория прозаична, но она раскрывает истинные мотивы жизни, а поэзия в правде жизни. Почему Шекспир величайший поэт? Потому, что в нем больше правды жизни, меньше обольщения, чем у других поэтов.

— Так буду и я беспощадна, Дмитрий Сергеич,— сказала Верочка улыбаясь,— вы не обольщайтесь мыслью, что имели во мне упорную противницу вашей теории расчета выгод и приобрели ей новую последовательницу. Я сама давно думала в том роде, как прочла в вашей книге и услышала от вас. Но я думала, что это мои личные мысли, что умные и ученые люди думают иначе, оттого и было колебанье. Все, что читаешь, бывало,— все написано в противоположном духе, наполнено порицаниями, сарказмами против того, что замечаешь в себе и других. Природа, жизнь, рассудок ведут в одну сторону, книги тянут в другую, говорят: это дурно, низко. Знаете, мне самой были отчасти смешны те возражения, которые я вам делала!

— Да, они смешны, Вера Павловна.

— Однако,— сказала она смеясь,— мы делаем друг другу удивительные комплименты. Я вам: вы, Дмитрий Сергеич, пожалуйста, не слишком-то поднимайте нос; вы мне: вы смешны с вашими сомнениями, Вера Павловна!

— Что ж,— сказал он, тоже улыбнувшись,— нам нет расчета любезничать, потому мы не любезничаем.

— Хорошо, Дмитрий Сергеич; люди — эгоисты, так ведь? Вот вы говорили о себе,— и я хочу поговорить о себе.

— Так и следует; каждый думает всего больше о себе.

— Хорошо. Посмотрим, не поймаю ли я вас на вопросах о себе.

— Посмотрим.

— У меня есть богатый жених. Он мне не нравится. Должна ли я принять его предложение?

— Рассчитывайте, что для вас полезнее.

— Что для меня полезнее! Вы знаете, я очень небогата. С одной стороны — нерасположение к человеку; с другой — господство над ним, завидное положение в обществе, деньги, толпа поклонников.

— Взвесьте все; что полезнее для вас, то и выбирайте.

— И если я выберу — богатство мужа и толпу поклонников?

— Я скажу, что вы выбрали то, что вам казалось сообразнее с вашим интересом.

— И что надобно будет сказать обо мне?

— Если вы поступили хладнокровно, рассудительно обдумав, то надобно будет сказать, что вы поступили обдуманно и, вероятно, не будете жалеть о том.

— Но будет мой выбор заслуживать порицания?

— Люди, говорящие разные пустяки, могут говорить о нем, как им угодно; люди, имеющие правильный взгляд на жизнь, скажут, что вы поступили так, как следовало вам поступить; если вы так сделали, значит, такова была ваша личность, что нельзя вам было поступить иначе при таких обстоятельствах; они скажут, что вы поступили по необходимости вещей, что, собственно говоря, вам и не было другого выбора.

— И никакого порицания моему поступку?

— Кто имеет право порицать выводы из факта, когда существует факт? Ваша личность в данной обстановке — факт; ваши поступки — необходимые выводы из этого факта, делаемые природою вещей. Вы за них не отвечаете, а порицать их — глупо.

— Однако вы не отступаете от своей теории. Так я не заслужу ваше порицание, если приму предложение моего жениха?

— Я был бы глуп, если бы стал порицать.

— Итак, разрешение,— быть может, даже одобрение,— быть может, даже прямой совет поступить так, как я говорю?

— Совет всегда один: рассчитывайте, что для вас полезно; как скоро вы следуете этому совету — одобрение.

— Благодарю вас. Теперь мое личное дело разрешено. Вернемся к первому, общему вопросу. Мы начали с того, что человек действует по необходимости, его действия определяются влияниями, под которыми происходят; более сильные влияния берут верх над другими; тут мы и оставили рассуждение, что, когда поступок имеет житейскую важность, эти побуждения называются выгодами, игра их в человеке — соображением выгод, что поэтому человек всегда действует по расчету выгод. Так я передаю связь мыслей?

— Так.

— Видите, какая я хорошая ученица. Теперь этот частный вопрос о поступках, имеющих житейскую важность, кончен. Но в общем вопросе остаются затруднения. Ваша книга говорит: человек действует по необходимости. Но ведь есть случаи, когда кажется, что от моего произвола зависит поступить так или иначе. Например: я играю и перевертываю страницы нот; я перевертываю их иногда левою рукою, иногда правою. Положим, теперь я перевернула правою: разве я не могла перевернуть левою? не зависит ли это от моего произвола?

— Нет, Вера Павловна; если вы перевертываете, не думая ничего о том, какою рукою перевернуть, вы перевертываете тою рукою, которою удобнее, произвола нет; если вы подумали: «Дай переверну правою рукою»,— вы перевернете под влиянием этой мысли, но эта мысль явилась не от вашего произвола; она необходимо родилась от других...

Но на этом слове Марья Алексевна уже прекратила свое слушание: «Ну, теперь занялись ученостью,— не по моей части, да и не нужно. Какой умный, основательный, можно сказать благородный, молодой человек! Какие благоразумные правила внушает Верочке! И что значит ученый человек: ведь вот я то же самое стану говорить ей — не слушает, обижается: не могу на нее потрафить, потому что не умею по-ученому говорить. А вот как он по-ученому-то говорит, она и слушает, и видит, что правда, и соглашается. Да, недаром говорится: ученье — свет, неученье — тьма. Как бы я-то воспитанная женщи-

на была, разве бы то было, что теперь? Мужа бы в генералы произвела, по провиантской бы части место ему достала или по другой по какой по такой же. Ну, конечно, дела бы за него сама вела с подрядчиками-то: ему где — плох! Дом-то бы не такой состроила, как этот. Не одну бы тысячу душ купила. А теперь не могу. Тут надо прежде в генеральском обществе себя зарекомендовать,— а я как зарекомендую? — ни по-французски, ни по-каковски по-ихнему не умею. Скажут: манер не имеет, только на Сенной ругаться годится. Вот и не гожусь. Неученье — тьма. Подлинно: ученье — свет, неученье — тьма».

Вот именно этот подслушанный разговор и привел Марью Алексевну к убеждению, что беседы с Дмитрием Сергеичем не только не опасны для Верочки,— это она и прежде думала,— а даже принесут ей пользу, помогут ее заботам, чтобы Верочка бросила глупые неопытные девические мысли и поскорее покончила венчаньем дело с Михаилом Иванычем.

IX

Отношения Марьи Алексевны к Лопухову походят на фарс, сама Марья Алексевна выставляется через них в смешном виде. То и другое решительно против моей воли. Если бы я хотел заботиться о том, что называется у нас художественностью, я скрыл бы отношения Марьи Алексевны к Лопухову, рассказ о которых придает этой части романа водевильный характер. Скрыть их было бы легко. Существенный ход дела мог быть объяснен и без них. Что удивительного было бы, что учитель и без дружбы с Марьею Алексевною имел бы случаи говорить иногда, хоть изредка, по нескольку слов с девушкою, в семействе которой дает уроки? Разве много нужно слов, чтоб росла любовь? В содействии Марьи Алексевны вовсе не было нужды для той развязки, какую получила встреча Верочки с Лопуховым. Но я рассказываю дело не так, как нужно для доставления мне художнической репутации, а как оно было. Я как романист очень огорчен тем, что написал несколько страниц, унижающихся до водевильности.

Мое намерение выставлять дело, как оно было, а не так, как мне удобнее было бы рассказывать его, делает мне и другую неприятность: я очень недоволен тем, что Марья Алексевна представляется в смешном виде с размышлениями своими о невесте, которую сочинила Лопухову, с такими же фантастическими отгадываниями содержания книг, которые

давал Лопухов Верочке, с рассуждениями о том, не обращал ли людей в папскую веру Филипп Эгалите и какие сочинения писал Людовик XIV. Ошибаться может каждый, ошибки могут быть нелепы, если человек судит о вещах, чуждых его понятиям; но было бы несправедливо выводить из нелепых промахов Марьи Алексевны, что ее расположение к Лопухову основывалось лишь на этих вздорах: нет, никакие фантазии о богатой невесте и благочестии Филиппа Эгалите ни на минуту не затмили бы ее здравого смысла, если бы в действительных поступках и словах Лопухова было заметно для нее хотя что-нибудь подозрительное. Но он действительно держал себя так, как, по мнению Марьи Алексевны, мог держать себя только человек в ее собственном роде; ведь он, молодой, бойкий человек, не запускал глаз за корсет очень хорошенькой девушки, не таскался за нею по следам, играл с Марьею Алексевною в карты без отговорок, не отзывался, что «лучше я посижу с Верою Павловною», рассуждал о вещах в духе, который казался Марье Алексевне ее собственным духом; подобно ей, он говорил, что все на свете делается для выгоды, что, когда плут плутует, нечего тут приходить в азарт и вопиять о принципах чести, которые следовало бы соблюдать этому плуту, что и сам плут вовсе не напрасно плут, а таким ему и надобно быть по его обстоятельствам, что не быть ему плутом — не говоря уж о том, что это невозможно,— было бы нелепо, просто сказать глупо, с его стороны. Да, Марья Алексевна была права, находя много родственного себе в Лопухове.

Я понимаю, как сильно компрометируется Лопухов в глазах просвещенной публики сочувствием Марьи Алексевны к его образу мыслей. Но я не хочу давать поблажки никому и не прячу этого обстоятельства, столь вредного для репутации Лопухова, хоть и доказал, что мог утаить такую дурную сторону отношений Лопухова в семействе Розальских; я делаю даже больше: я сам принимаюсь объяснять, что он именно заслуживал благосклонность Марьи Алексевны.

Действительно, из разговора Лопухова с Верочкою обнаруживается, что образ его мыслей гораздо легче мог показаться хорош людям вроде Марьи Алексевны, чем красноречивым партизанам разных прекрасных идей. Лопухов видел вещи в тех самых чертах, в каких представляются они всей массе рода человеческого, кроме партизанов прекрасных идей. Если Марья Алексевна могла повторить с удовольствием от своего лица его внушения Верочке по вопросу о предложении Сторешникова, то и он мог бы с удовольствием подписать «прав-

да» под ее пьяною исповедью Верочке. Сходство их понятий было так велико, что просвещенные и благородные романисты, журналисты и другие поучатели нашей публики давно провозгласили: «Эти люди вроде Лопухова ничем не разнятся от людей вроде Марьи Алексевны». Если столь просвещенные и благородные писатели так поняли людей вроде Лопухова, то неужели мы будем осуждать Марью Алексевну за то, что она не рассмотрела в Лопухове ничего, кроме того, что поняли в людях его разряда лучшие наши писатели, мыслители и назидатели?

Конечно, если бы Марья Алексевна знала хотя половину того, что знают эти писатели, у ней достало бы ума сообразить, что Лопухов плохая компания для нее. Но, кроме того, что она была женщина неученая, она имеет и другое извинение своей ошибке: Лопухов не договаривался с нею до конца. Он был пропагандист, но не такой, как любители прекрасных идей, которые постоянно хлопочут о внушении Марьям Алексевнам благородных понятий, какими восхищены сами в себе. Он имел столько рассудительности, чтобы не выпрямлять пятидесятилетнего дерева. Он и она понимали факты одинаково и толковали о них. Как человек, теоретически образованный, он мог делать из фактов выводы, которых не умели делать люди, подобные Марье Алексевне, не знающие ничего, кроме обыденных личных забот да ходячих афоризмов простонародной общечеловеческой мудрости: пословиц, поговорок и тому подобных старых и старинных, древних и ветхих изречений. Но до выводов у них дело не доходило. Если бы, например, он стал объяснять, что такое «выгода», о которой он толкует с Верочкою, быть может, Марья Алексевна поморщилась бы, увидев, что выгода этой выгоды не совсем сходна с ее выгодою, но Лопухов не объяснял этого Марье Алексевне, а в разговоре с Верочкою также не было такого объяснения, потому что Верочка знала, каков смысл этого слова в тех книгах, по поводу которых они вели свой разговор. Конечно, и то правда, что, подписывая на пьяной исповеди Марьи Алексевны «правда», Лопухов прибавил бы: «А так как, по вашему собственному признанию, Марья Алексевна, новые порядки лучше прежних, то я и не запрещаю хлопотать о их заведении тем людям, которые находят себе в том удовольствие; что же касается до глупости народа, которую вы считаете помехою заведению новых порядков, то действительно она помеха делу; но вы сами не будете спорить, Марья Алексевна, что люди довольно скоро умнеют, когда замечают, что им выгодно

стало поумнеть, в чем прежде не замечалась ими надобность; вы согласитесь также, что прежде и не было им возможности научиться уму-разуму, а доставьте им эту возможность, то, пожалуй, ведь они и воспользуются ею». Но до этого он не договаривался с Марьею Алексевною, и даже не по осторожности, хотя был осторожен, а просто по тому же внушению здравого смысла и приличия, по которому не говорил с нею на латинском языке и не утруждал ее слуха очень интересными для него самого рассуждениями о новейших успехах медицины: он имел настолько рассудка и деликатности, чтобы не мучить человека декламациями, непонятными для этого человека.

Но все это я говорю только в оправдание недосмотра Марьи Алексевны, не успевшей вовремя раскусить, что за человек Лопухов, а никак не в оправдание самому Лопухову. Лопухова оправдывать было бы нехорошо, а почему нехорошо, узришь ниже. Люди, которые, не оправдывая его, захотели бы, по человеколюбию своему, извинить его, не могли бы извинить. Например, они сказали бы в извинение ему, что он был медик и занимался естественными науками, а это располагает к материалистическому взгляду. Но такое извинение очень плохо. Мало ли какие науки располагают к такому же взгляду? — и математические, и исторические, и общественные, да и всякие другие. Но разве все геометры, астрономы, все историки, политико-экономы, юристы, публицисты и всякие другие ученые так уж и материалисты? Далеко нет. Стало быть, Лопухов не избавляется от своей вины. Сострадательные люди, не оправдывающие его, могли бы также сказать ему в извинение, что он не совершенно лишен некоторых похвальных признаков: сознательно и твердо решился отказаться от всяких житейских выгод и почетов для работы на пользу другим, находя, что наслаждение такою работою — лучшая выгода для него; на девушку, которая была так хороша, что он влюбился в нее, он смотрел таким чистым взглядом, каким не всякий брат глядит на сестру; но против этого извинения его материализму надобно сказать, что ведь и вообще нет ни одного человека, который был бы совершенно без всяких признаков чего-нибудь хорошего, и что материалисты, каковы бы там они ни были, все-таки материалисты, а этим самым уже решено и доказано, что они люди низкие и безнравственные, которых извинять нельзя, потому что извинять их значило бы потворствовать материализму. Итак, не оправдывая Лопухова, извинить его нельзя. А оправдать его тоже

не годится, потому что любители прекрасных идей и защитники возвышенных стремлений, объявившие материалистов людьми низкими и безнравственными, в последнее время так отлично зарекомендовали себя со стороны ума, да и со стороны характера, в глазах всех порядочных людей, материалистов ли, или не материалистов, что защищать кого-нибудь от их порицаний стало делом излишним, а обращать внимание на их слова стало делом неприличным.

X

Разумеется, главным содержанием разговоров Верочки с Лопуховым было не то, какой образ мыслей надобно считать справедливым, но вообще они говорили между собою довольно мало, и длинные разговоры у них, бывавшие редко, шли только о предметах посторонних, вроде образа мыслей и тому подобных сюжетов. Ведь они знали, что за ними следят два очень зоркие глаза. Потому о главном предмете, их занимавшем, они обменивались лишь несколькими словами — обыкновенно в то время, как перебирали ноты для игры и пения. А этот главный предмет, занимавший так мало места в их не слишком частых длинных разговорах и даже в коротких разговорах занимавший тоже лишь незаметное место, этот предмет был не их чувство друг к другу,— нет, о чувстве они не говорили ни слова после первых неопределенных слов в первом их разговоре на праздничном вечере: им некогда было об этом толковать; в две-три минуты, которые выбирались на обмен мыслями без боязни подслушивания, едва успевали они переговорить о другом предмете, который не оставлял им ни времени, ни охоты для объяснений в чувствах,— это были хлопоты и раздумья о том, когда и как удастся Верочке избавиться от ее страшного положения.

На следующее же утро после первого разговора с нею Лопухов уже разузнавал о том, как надобно приняться за дело о ее поступлении в актрисы. Он знал, что девушке представляется много неприятных опасностей на пути к сцене, но полагал, что при твердом характере может она пробиться прямою дорогою. Оказалось не так. Пришедши через два дня на урок, он должен был сказать Верочке: «Советую вам оставить мысль о том, чтобы сделаться актрисою».— «Почему?» — «Потому, что уж лучше было бы вам идти за вашего жениха». На том разговор и прекратился. Это было сказано, когда он и Верочка брали

ноты, он — чтобы играть, она — чтобы петь. Верочка повесила было голову и несколько раз сбивалась с такта, хотя пела пьесу очень знакомую. Когда пьеса кончилась и они стали говорить о том, какую выбрать теперь другую, Верочка уже сказала: «А это мне казалось самое лучшее. Тяжело было услышать, что это невозможно. Ну — труднее будет жить, а все-таки можно будет жить. Пойду в гувернантки».

Когда он опять был через два дня у них, она сказала:

— Я не могла найти, через кого бы мне искать места гувернантки. Похлопочите, Дмитрий Сергеич: кроме вас, некому.

— Жаль, у меня мало знакомых, которые могли бы тут быть полезны. Семейства, в которых я даю или давал уроки, всё люди небогатые, и их знакомые почти всё такие же, но попробуем.

— Друг мой, я отнимаю у вас время, но как же быть.

— Вера Павловна, нечего говорить о моем времени, когда я ваш друг.

Верочка и улыбнулась и покраснела: она сама не заметила, как имя «Дмитрий Сергеич» заменилось у ней именем «друга».

Лопухов тоже улыбнулся.

— Вы не хотели этого сказать, Вера Павловна,— отнимите у меня это имя, если жалеете, что дали его.

Верочка улыбнулась:

— Поздно,— и покраснела,— и не жалею,— и покраснела еще больше.

— Если будет надобно, то увидите, что верный друг.

Они пожали друг другу руки.

Вот вам и все первые два разговора после того вечера.

Через два дня в «Полицейских ведомостях» было напечатано объявление, что «благородная девица, говорящая по-французски и по-немецки и проч., ищет место гувернантки и что спросить о ней можно у чиновника такого-то, в Коломне, в NN улице, в доме NN».

Теперь Лопухову пришлось действительно тратить много времени по делу Верочки. Каждое утро он отправлялся, большею частью пешком, с Выборгской стороны в Коломну к своему знакомому, адрес которого был выставлен в объявлении. Путешествие было далекое; но другого такого знакомого, поближе к Выборгской стороне, не нашлось; ведь надобно было, чтобы в знакомом соединялось много условий: порядочная квартира, хорошие семейные обстоятельства, почтенный вид. Бедная квартира поведет к предложению невыгодных условий гувернантке; без почтенности и видимой хорошей семейной жизни рекомен-

дующего лица не будут иметь выгодного мнения о рекомендуемой девушке. А своего адреса уж, конечно, никак не мог Лопухов выставить в объявлении: что подумали бы о девушке, о которой некому позаботиться, кроме как студенту! Таким образом, Лопухов и делал порядочный моцион. Забрав у чиновника адресы являющихся искать гувернантку, он пускался продолжать путешествие: чиновник говорил, что он дальний родственник девушки и только посредник, а есть у ней племянник, который завтра сам приедет переговорить пообстоятельнее. Племянник, вместо того чтобы приезжать, приходил, всматривался в людей и, разумеется, большею частию оставался недоволен обстановкою: в одном семействе слишком надменны; в другом — мать семейства хороша, отец дурак, в третьем наоборот, и т. д., в иных и можно бы жить, да условия невозможные для Верочки: или надобно говорить по-английски,— она не говорит; или хотят иметь, собственно, не гувернантку, а няньку, или люди всем хороши, кроме того, что сами бедны и в квартире нет помещения для гувернантки, кроме детской с двумя большими детьми, двумя малютками, нянькою и кормилицею. Но объявления продолжали являться в «Полицейских ведомостях», продолжали являться и ищущие гувернантки, и Лопухов не терял надежды.

В этих поисках прошло недели две. На пятый день поисков, когда Лопухов, возвратившись из хождений по Петербургу, лежал на своей кушетке, Кирсанов сказал:

— Дмитрий, ты стал плохим товарищем мне в работе. Пропадаешь каждый день на целое утро и на половину дней пропадаешь по вечерам. Нахватался уроков, что ли? Так время ли теперь набирать их? Я хочу бросить и те, которые у меня есть. У меня есть рублей сорок — достанет на три месяца до окончания курса. А у тебя было больше денег в запасе, кажется рублей до сотни?

— Больше, до полутораста. Да у меня не уроки: я их бросил все, кроме одного. У меня дело. Кончу его — не будешь на меня жаловаться, что отстаю от тебя в работе.

— Какое же?

— Видишь, на том уроке, которого я не бросил, семейство дрянное, а в нем есть порядочная девушка. Хочет быть гувернанткой, чтоб уйти от семейства. Вот я ищу для нее места.

— Хорошая девушка?

— Хорошая.

— Ну, это хорошо. Ищи.— Тем разговор и кончился.

Эх, господа Кирсанов и Лопухов, ученые вы люди, а не догадались, что особенно-то хорошо! Положим, и то хорошо, о чем вы говорили. Кирсанов и не подумал спросить, хороша ли собою девушка, Лопухов и не подумал упомянуть об этом. Кирсанов и не подумал сказать: «Да ты, брат, не влюбился ли, что больно усердно хлопочешь», Лопухов и не подумал сказать: «А я, брат, очень ею заинтересовался», или если не хотел говорить этого, то и не подумал заметить в предотвращение такой догадки: «Ты не подумай, Александр, что я влюбился». Им, видите ли, обоим думалось, что когда дело идет об избавлении человека от дурного положения, то нимало не относится к делу, красиво ли лицо у этого человека, хотя бы он даже был и молодая девушка, а о влюбленности или невлюбленности тут нет и речи. Они даже и не подумали того, что думают это; а вот это-то и есть самое лучшее, что они и не замечали, что думают это.

А впрочем, не показывает ли это проницательному сорту читателей (большинству записных литературных людей показывает — ведь оно состоит из проницательнейших господ), не показывает ли это, говорю я, что Кирсанов и Лопухов были люди сухие, без эстетической жилки? Это было еще недавно модным выражением у эстетических литераторов с возвышенными стремлениями: «эстетическая жилка», может быть, и теперь остается модным у них движением,— не знаю, я давно их не видал. Натурально ли, чтобы молодые люди, если в них есть капля вкуса и хоть маленький кусочек сердца, не поинтересовались вопросом о лице, говоря про девушку? Конечно, это люди без художественного чувства (эстетической жилки). А по мнению других, изучавших натуру человека, в кругах, еще более богатых эстетическим чувством, чем компания наших эстетических литераторов, молодые люди в таких случаях непременно потолкуют о женщине даже с самой пластической стороны. Оно так и было, да не теперь, господа; но и теперь так бывает, да не в той части молодежи, которая одна и называется нынешней молодежью. Это, господа, странная молодежь.

XI

— Что, мой друг, все еще нет места?

— Нет еще, Вера Павловна; но не унывайте, найдется. Каждый день я бываю в двух, в трех семействах. Нельзя же, чтобы не нашлось наконец порядочное, в котором можно жить.

— Ах, но если бы вы знали, мой друг, как тяжело, тяжело мне оставаться здесь. Когда мне не представлялось близко воз-

можности избавиться от этого унижения, этой гадости, я насильно держала себя в каком-то мертвом бесчувствии. Но теперь, мой друг, слишком душно в этом гнилом, гадком воздухе.

— Терпение, терпение, Вера Павловна, найдем!

В этом роде были разговоры с неделю.— Вторник:

— Терпение, терпение, Вера Павловна, найдем.

— Друг мой, сколько хлопот вам, сколько потери времени! Чем я вознагражу вас?

— Вы вознаградите меня, мой друг, если не рассердитесь.

Лопухов сказал и смутился. Верочка посмотрела на него — нет, он не то что не договорил, он не думал продолжать, он ждет от нее ответа.

— Да за что же, мой друг, что вы сделали?

Лопухов еще больше смутился и как будто опечалился.

— Что с вами, мой друг?

— Да, вы и не заметили,— он сказал это так грустно и потом засмеялся так весело.— Ах, боже мой, как я глуп, как я глуп! Простите меня, мой друг!

— Ну, что такое?

— Ничего. Вы уж наградили меня.

— Ах, вот что! Какой же вы чудак! — Ну, хорошо, зовите так.

В четверг было гамлетовское испытание по Саксону Грамматику. После того на несколько дней Марья Алексевна дает себе некоторый (небольшой) отдых в надзоре.

Суббота. После чаю Марья Алексевна уходит считать белье, принесенное прачкою.

— Мой друг, дело, кажется, устроится.

— Да? — Если так... ах, боже мой... ах, боже мой, скорее! Я, кажется, умру, если это еще продлится. Когда же и как?

— Решится завтра. Почти, почти несомненная надежда.

— Что же, как же?

— Держите себя смирно, мой друг: заметят! Вы чуть не прыгаете от радости. Ведь Марья Алексевна может сейчас войти за чем-нибудь.

— А сам хорош. Вошел, сияет, так что маменька долго смотрела на вас.

— Что ж, я ей сказал, отчего я весел, я заметил, что надобно было ей сказать, я так и сказал: «Я нашел отличное место».

— Несносный, несносный! Вы занимаетесь предостережениями мне и до сих пор ничего не сказали. Что же, говорите наконец.

— Нынче поутру Кирсанов,— вы знаете, мой друг, фамилия моего товарища Кирсанов...

— Знаю, несносный, несносный, знаю! Говорите же скорее, без этих глупостей.

— Сами мешаете, мой друг!

— Ах, боже мой! И всё замечания, вместо того чтобы говорить дело. Я не знаю, что я с вами сделала бы — я вас на колени поставлю: здесь нельзя,— велю вам стать на колени на вашей квартире, когда вы вернетесь домой, и чтобы ваш Кирсанов смотрел и прислал мне записку, что вы стояли на коленях,— слышите, что я с вами сделаю?

— Хорошо, я буду стоять на коленях. А теперь молчу. Когда исполню наказание, буду прощен, тогда и буду говорить.

— Прощаю, только говорите, несносный.

— Благодарю вас. Вы прощаете, Вера Павловна, когда сами виноваты. Сами все перебивали.

— Вера Павловна? Это что? А ваш друг где же?

— Да, это был выговор, мой друг. Я человек обидчивый и суровый.

— Выговоры? Вы смеете давать мне выговоры? Я не хочу вас слушать.

— Не хотите?

— Конечно, не хочу! Что мне еще слушать? Ведь вы уж все сказали; что почти кончено, что завтра оно решится,— видите, мой друг, ведь вы сами еще ничего не знаете нынче. Что же слушать? До свиданья, мой друг!

— Да послушайте, мой друг... Друг мой, послушайте же!

— Не слушаю и ухожу.— Вернулась.— Говорите скорее, не буду перебивать. Ах, боже мой, если б вы знали, как вы меня обрадовали! Дайте вашу руку. Видите, как крепко, крепко жму.

— А слезы на глазах зачем?

— Благодарю вас, благодарю вас.

— Нынче поутру Кирсанов дал мне адрес дамы, которая назначила мне завтра быть у нее. Я лично незнаком с нею, но очень много слышал о ней от нашего общего знакомого, который и был посредником. Мужа ее знаю я сам,— мы виделись у этого моего знакомого много раз. Судя по всему этому, я уверен, что в ее семействе можно жить. А она, когда давала адрес моему знакомому для передачи мне, сказала, что уверена, что сойдется со мною в условиях. Стало быть, мой друг, дело можно считать почти совершенно конченным.

— Ах, как это будет хорошо! Какая радость! — твердила Верочка.— Но я хочу знать это скорее, как можно скорее. Вы от нее проедете прямо к нам?

— Нет, мой друг, это возбудит подозрения. Ведь я бываю у вас только для уроков. Мы сделаем вот что. Я пришлю по городской почте письмо к Марье Алексевне, что не могу быть на уроке во вторник и переношу его на среду. Если будет написано: на среду утро — значит, дело состоялось; на среду вечер — неудача. Но почти несомненно «на утро». Марья Алексевна это расскажет и Феде, и вам, и Павлу Константинычу.

— Когда же придет письмо?

— Вечером.

— Так долго! Нет, у меня недостанет терпенья. И что ж я узнаю из письма? Только «да» — и потом ждать до среды! Это мученье! Если «да», я как можно скорее уеду к этой даме. Я хочу знать тотчас же. Как же это сделать? Я сделаю вот что: я буду ждать вас на улице, когда вы пойдете от этой дамы.

— Друг мой, да это было бы еще неосторожнее, чем мне приехать к вам. Нет, уж лучше я приеду.

— Нет, здесь, может быть, нельзя было б и говорить. И во всяком случае маменька стала бы подозревать. Нет, лучше так, как я вздумала. У меня есть такой густой вуаль, что никто не узнает.

— А что же, и в самом деле, кажется, это можно. Дайте подумать.

— Некогда думать. Маменька может войти каждую минуту. Где живет эта дама?

— В Галерной, подле моста.

— Во сколько часов вы будете у нее?

— Она назначила в двенадцать.

— С двенадцати я буду сидеть на Конногвардейском бульваре, на последней скамье того конца, который ближе к мосту. Я сказала, что на мне будет густой вуаль. Но вот вам примета: я буду держать в руке сверток нот. Если меня еще не будет, значит, меня задержали... Но вы садитесь на эту скамью и ждите. Я могу опоздать, но буду непременно. Как я хорошо придумала! Как я вам благодарна! Как я буду счастлива! Что ваша невеста, Дмитрий Сергеич? Вы уж разжалованы из друзей в Дмитрия Сергеича. Как я рада, как я рада! — Верочка побежала к фортепьяно и начала играть.

— Друг мой, какое унижение искусства! Какая порча вашего вкуса! Оперы брошены для галопов.

— Брошены, брошены!

Через несколько минут вошла Марья Алексевна. Дмитрий Сергеич поиграл с нею в преферанс вдвоем, сначала выигрывал, потом дал отыграться, даже проиграл тридцать пять копеек,— это в первый раз снабдил он ее торжеством и, уходя, оставил ее очень довольною,— не деньгами, а собственно торжеством: есть чисто идеальные радости у самых погрязших в материализме сердец, чем и доказывается, что материалистическое объяснение жизни неудовлетворительно.

XII

ПЕРВЫЙ СОН ВЕРОЧКИ

И снится Верочке сон.

Снится ей, что она заперта в сыром, темном подвале. И вдруг дверь растворилась, и Верочка очутилась в поле, бегает, резвится и думает: «Как же это я могла не умереть в подвале? Это потому, что я не видала поля; если бы я видала его, я бы умерла в подвале»,— и опять бегает, резвится. Снится ей, что она разбита параличом, и она думает: «Как же это я разбита параличом? Это бывают разбиты старики, старухи, а молодые девушки не бывают».— «Бывают, часто бывают,— говорит чей-то незнакомый голос,— а ты теперь будешь здорова, вот только я коснусь твоей руки,— видишь, ты уж и здорова, вставай же».— Кто ж это говорит? — А как стало легко! — вся болезнь прошла,— и Верочка встала, идет, бежит, и опять на поле, и опять резвится, бегает, и опять думает: «Как же это я могла переносить паралич? Это потому, что я родилась в параличе, не знала, как ходят и бегают; а если б знала, не перенесла бы»,— и бегает, резвится. А вот идет по полю девушка,— как странно! — и лицо и походка, все меняется, беспрестанно меняется в ней; вот она англичанка, француженка, вот она уже немка, полячка; вот стала и русская, опять англичанка, опять немка, опять русская — как же это у ней все одно лицо? Ведь англичанка не похожа на француженку, немка на русскую, а у ней и меняется лицо, и все одно лицо,— какая странная! И выражение лица беспрестанно меняется: какая кроткая! какая сердитая! вот печальная, вот веселая,— все меняется! а все добрая,— как же это, и когда сердится, все добрая? но только какая же она красавица! как ни меняется лицо, с каждою переменою все лучше, все лучше. Подходит к Верочке. «Ты кто?» — «Он прежде звал меня: Вера Павловна, а теперь зовет: мой друг».— «А, так это ты та Верочка, которая меня полюбила?» — «Да, я

вас очень люблю. Только кто же вы?» — «Я невеста твоего жениха».— «Какого жениха?» — «Я не знаю. Я не знаю своих женихов. Они меня знают, а мне нельзя их знать: у меня их много. Ты кого-нибудь из них выбери себе в женихи, только из них, из моих женихов».— «Я выбрала...» — «Имени мне не нужно, я их не знаю. Но только выбирай из них, из моих женихов. Я хочу, чтоб мои сестры и женихи выбирали только друг друга. Ты была заперта в подвале? Была разбита параличом?» — «Была».— «Теперь избавилась?» — «Да».— «Это я тебя выпустила, я тебя вылечила. Помни же, что еще много невыпущенных, много невылеченных. Выпускай, лечи. Будешь?» — «Буду. Только как же вас зовут? мне так хочется знать».— «У меня много имен. У меня разные имена. Кому как надобно меня звать, такое имя я ему и сказываю. Ты меня зови любовью к людям. Это и есть мое настоящее имя. Меня немногие так зовут. А ты зови так».— И Верочка идет по городу: вот подвал,— в подвале заперты девушки. Верочка притронулась к замку,— замок слетел: «Идите» — они выходят. Вот комната,— в комнате лежат девушки, разбитые параличом: «Вставайте» — они встают, идут, и все они опять на поле, бегают, резвятся,— ах, как весело! с ними вместе гораздо веселее, чем одной! Ах, как весело!

XIII

В последнее время Лопухову некогда было видеться с своими академическими знакомыми. Кирсанов, продолжавший видеться с ними, на вопросы о Лопухове отвечал, что у него, между прочим, вот какая забота, и один из их общих приятелей, как мы знаем, дал ему адрес дамы, к которой теперь отправлялся Лопухов.

«Как отлично устроится, если это будет так,— думал Лопухов по дороге к ней,— через два, много через два с половиною года я буду иметь кафедру. Тогда можно будет жить. А пока она проживет спокойно у Б.,— если только Б. действительно хорошая женщина,— да в этом нельзя и сомневаться».

Действительно, Лопухов нашел в г-же Б. женщину умную, добрую, без претензий, хотя по службе мужа, по своему состоянию, родству она могла бы иметь большие претензии. Ее условия были хороши, семейная обстановка для Верочки очень покойна — все оказалось отлично, как и ждал Лопухов. Г-жа Б. также находила удовлетворительными ответы Лопухова о характере Верочки; дело быстро шло на лад, и, потолковав полчаса,

г-жа Б. сказала, что «если ваша молоденькая тетушка будет согласна на мои условия, прошу ее переселяться ко мне, и чем скорее, тем приятнее для меня».

— Она согласна; она уполномочила меня согласиться за нее. Но теперь, когда мы решили, я должен сказать вам то, о чем напрасно было бы говорить прежде, чем сошлись мы. Эта девушка мне не родственница. Она дочь чиновника, у которого я даю уроки. Кроме меня, она не имела человека, которому могла бы поручить хлопоты. Но я совершенно посторонний человек ей.

— Я это знала, мсье Лопухов. Вы, профессор N (она назвала фамилию знакомого, через которого получен был адрес) и ваш товарищ, говоривший с ним о вашем деле, знаете друг друга за людей достаточно чистых, чтобы вам можно было говорить между собою о дружбе одного из вас с молодою девушкою, не компрометируя эту девушку во мнении других двух. А N такого же мнения обо мне, и, зная, что я ищу гувернантку, он почел себя вправе сказать мне, что эта девушка не родственница вам. Не порицайте его за нескромность,— он очень хорошо знает меня. Я тоже честный человек, мсье Лопухов, и поверьте, я понимаю, кого можно уважать. Я верю N столько же, как сама себе, а N вам столько же, как сам себе. Но N не знал ее имени, теперь, кажется, я могу уже спросить его, ведь мы кончили, и нынче-завтра она войдет в наше семейство.

— Ее зовут Вера Павловна Розальская.

— Теперь еще объяснение с моей стороны. Вам может казаться странным, что я, при своей заботливости о детях, решилась кончить дело с вами, не видев ту, которая будет иметь такое близкое отношение к моим детям. Но я очень, очень хорошо знаю, из каких людей состоит ваш кружок. Я знаю, что если один из вас принимает такое дружеское участие в человеке, то этот человек должен быть редкой находкой для матери, желающей видеть свою дочь действительно хорошим человеком. Потому осмотр мне казался совершенно излишнею неделикатностью. Я говорю комплимент не вам, а себе.

— Я очень рад теперь за m-lle Розальскую. Ее домашняя жизнь была так тяжела, что она чувствовала бы себя очень счастливою во всяком сносном семействе. Но я не мечтал, чтобы нашлась для нее такая действительно хорошая жизнь, какую она будет иметь у вас.

— Да, N говорил мне, что ей было дурно жить в семействе.

— Очень дурно.— Лопухов стал рассказывать то, что нужно было знать г-же Б., чтобы в разговорах с Верою избегать

предметов, которые напоминали бы девушке ее прошлые неприятности. Г-жа Б. слушала с участием, наконец пожала руку Лопухову:

— Нет, довольно, мсье Лопухов, или я расчувствуюсь, а в мои лета — ведь мне под сорок — было бы смешно показать, что я до сих пор не могу равнодушно слушать о семейном тиранстве, от которого сама терпела в молодости.

— Позвольте же сказать еще только одно; это так не важно для вас, что, может быть, и не было бы надобности говорить. Но все-таки лучше предупредить. Теперь она бежит от жениха, которого ей навязывает мать.

Г-жа Б. задумалась. Лопухов смотрел, смотрел на нее и тоже задумался.

— Если не ошибаюсь, это обстоятельство не кажется для вас таким маловажным, каким представлялось мне?

Г-жа Б. казалась совершенно расстроенною.

— Простите меня,— продолжал он, видя, что она совершенно растерялась,— простите меня, но я вижу, что это вас затрудняет.

— Да, это дело очень серьезное, мсье Лопухов. Уехать из дома против воли родных — это, конечно, уже значит вызывать сильную ссору. Но это, как я вам говорила, было бы еще ничего. Если бы она бежала только от грубости и тиранства их, с ними было бы можно уладить так или иначе,— в крайнем случае, несколько лишних денег, и они удовлетворены. Это ничего. Но... такая мать навязывает ей жениха; значит, жених богатый, очень выгодный.

— Конечно,— сказал Лопухов совершенно унылым тоном.

— Конечно, мсье Лопухов, конечно, богатый; вот это-то меня и смутило. Ведь в таком случае мать не может быть примирена ничем. А вы знаете права родителей! В этом случае они воспользуются ими вполне. Они начнут процесс и поведут его до конца.

Лопухов встал.

— Итак, мне остается просить вас, чтобы то, что было говорено мною, было забыто вами.

— Нет, останьтесь. Дайте же мне хоть сколько-нибудь оправдаться перед вами. Боже мой, как дурна должна я казаться в ваших глазах! То, что должно заставлять каждого порядочного человека сочувствовать, защищать,— это самое останавливает меня. О, какие мы жалкие люди!

На нее в самом деле было жалко смотреть: она не прикидывалась. Ей было в самом деле больно. Довольно долго ее сло-

ва были бессвязны,— так она была сконфужена за себя; потом мысли ее пришли в порядок, но и бессвязные, и в порядке они уже не говорили Лопухову ничего нового. Да и сам он был также расстроен. Он был так занят открытием, которое она сделала ему, что не мог заниматься ее объяснениями по случаю этого открытия. Давши ей наговориться вволю, он сказал:

— Все, что вы говорили в свое извинение, было напрасно. Я обязан был оставаться, чтобы не быть грубым, не заставить вас подумать, что я виню или сержусь. Но, признаюсь вам, я не слушал вас. О, если бы я не знал, что вы правы! Да, как это было бы хорошо, если б вы не были правы. Я сказал бы ей, что мы не сошлись в условиях или что вы не понравились мне! — и только, и мы с нею стали бы надеяться встретить другой случай избавления. А теперь, что я ей скажу?

Г-жа Б. плакала.

— Что я ей скажу? — повторял Лопухов, сходя с лестницы.— Как же это ей быть? Как же это ей быть? — думал он, выходя из Галерной в улицу, которая ведет на Конногвардейский бульвар.

Разумеется, г-жа Б. не была права в том безусловном смысле, в каком правы люди, доказывающие ребятишкам, что месяца нельзя достать рукою. При ее положении в обществе, при довольно важных должностных связях ее мужа очень вероятно, даже несомненно, что если бы она уж непременно захотела, чтобы Верочка жила у нее, то Марья Алексевна не могла бы ни вырвать Верочку из ее рук, ни сделать серьезных неприятностей ни ей, ни ее мужу, который был бы официальным ответчиком по процессу и за которого она боялась. Но все-таки г-же Б. пришлось бы иметь довольно хлопот, быть может, и некоторые неприятные разговоры; надобно было бы одолжаться по чужому делу людьми, услуги которых лучше приберечь для своих дел. Кто обязан и какой благоразумный человек захочет поступать не так, как г-жа Б.? Мы нисколько не вправе осуждать ее; да и Лопухов не был неправ, отчаявшись за избавление Верочки.

XIV

А Верочка давно, давно сидела на условленной скамье, и сколько раз начинало быстро, быстро биться ее сердце, когда из-за угла показывалась военная фуражка.— Наконец-то! он! друг! — Она вскочила, побежала навстречу.

Быть может, он и прибодрился бы, подходя к скамье, но, застигнутый врасплох, раньше чем ждал показать ей свою фигуру, он был застигнут с пасмурным лицом.

— Неудача?

— Неудача, мой друг.

— Да ведь это было так верно? Как же неудача? Отчего же, мой друг?

— Пойдемте домой, мой друг, я вас провожу. Поговорим. Я через несколько минут скажу, в чем неудача. А теперь дайте подумать. Я все еще не собрался с мыслями. Надобно придумать что-нибудь новое. Не будем унывать, придумаем.— Он уже прибодрился на последних словах, но очень плохо.

— Скажите сейчас, ведь ждать невыносимо. Вы говорите: придумать что-нибудь новое — значит, то, что мы прежде придумали, вовсе не годится? Мне нельзя быть гувернанткою? Бедная я, несчастная я!

— Что вас обманывать? Да, нельзя. Я это хотел сказать вам. Но — терпение, терпение, мой друг! Будьте тверды! Кто тверд, добьется удачи.

— Ах, мой друг, я тверда, но как тяжело.

Они шли несколько минут молча.

Что это? да, она что-то несет в руке под пальто.

— Друг мой, вы несете что-то,— дайте я возьму.

— Нет, нет, не нужно. Это не тяжело. Ничего.

Опять идут молча. Долго идут.

— А ведь я до двух часов не спала от радости, мой друг. А когда я уснула, какой сон видела! Будто я освобождаюсь от душного подвала, будто я была в параличе и выздоровела, и выбежала в поле, и со мной выбежало много подруг, тоже, как я, вырвавшихся из подвалов, выздоровевших от паралича, и нам было так весело, так весело бегать по просторному полю! Не сбылся сон! А я думала, что уж не ворочусь домой.

— Друг мой, дайте же, я возьму ваш узелок, ведь теперь он уж не секрет.

Опять идут молча. Долго идут и молчат.

— Друг мой, видите, до чего мы договорились с этой дамой: вам нельзя уйти из дому без воли Марьи Алексевны. Это нельзя — нет, нет, пойдем под руку, а то я боюсь за вас.

— Нет, ничего, только мне душно под этим вуалем.

Она отбросила вуаль.— Теперь ничего, хорошо.

— («Как бледна!») Нет, мой друг, вы не думайте того, что я сказал. Я не так сказал. Все устроим как-нибудь.

— Как устроим, мой милый? это вы говорите, чтобы утешить меня. Ничего нельзя сделать.

Он молчит. Опять идут молча.

— («Как бледна! как бледна!») Мой друг, есть одно средство.

— Какое, мой милый?

— Я вам скажу, мой друг, но только когда вы несколько успокоитесь. Об этом надобно будет вам рассудить хладнокровно.

— Говорите сейчас! Я не успокоюсь, пока не услышу.

— Нет, теперь вы слишком взволнованы, мой друг. Теперь вы не можете принимать важных решений. Через несколько времени. Скоро. Вот подъезд. До свиданья, мой друг. Как только увижу, что вы будете отвечать хладнокровно, я вам скажу.

— Когда же?

— Послезавтра на уроке.

— Слишком долго!

— Нарочно буду завтра.

— Нет, скорее!

— Нынче вечером.

— Нет, я вас не отпущу. Идите со мною. Я не спокойна, вы говорите; я не могу судить, вы говорите,— хорошо, обедайте у нас. Вы увидите, что я буду спокойна. После обеда маменька спит, и мы можем говорить.

— Но как же я войду к вам? Если мы войдем вместе, ваша маменька будет опять подозревать.

— Подозревать! — Что мне! Нет, мой друг, и для этого вам лучше уж войти. Ведь я шла с поднятым вуалем, нас могли видеть.

— Ваша правда.

XV

Марья Алексевна очень удивилась, увидев дочь и Лопухова входящими вместе. Самыми пристальными глазами принялась она всматриваться в них.

— Я зашел к вам, Марья Алексевна, сказать, что послезавтра вечер у меня занят, и я вместо того приду на урок завтра. Позвольте мне сесть. Я очень устал и расстроен. Мне хочется отдохнуть.

— В самом деле, что с вами, Дмитрий Сергеич? Вы ужасно пасмурны.

С амурных дел они или так встретились? Как бы с амурных дел, он бы был веселый. А ежели бы в амурных делах они поссорились, по ее несоответствию на его желание, тогда бы, точно, он был сердитый, только тогда они ведь поссорились бы,— не стал бы он ее провожать. И опять, она прошла прямо в свою комнату и на него не поглядела, а ссоры незаметно,— нет, видно, так встретились. А черт их знает, надо глядеть в оба.

— Я-то ничего особенного, Марья Алексевна, а вот Вера Павловна как будто бледна,— или мне так показалось?

— Верочка-то? С ней бывает.

— А может быть, мне только так показалось. У меня, признаюсь вам, от всех мыслей голова кругом идет.

— Да что же такое, Дмитрий Сергеич? Уж не с невестой ли какая размолвка?

— Нет, Марья Алексевна, невестой я доволен. А вот с родными хочу ссориться.

— Что это вы, батюшка? Дмитрий Сергеич, как это можно с родными ссориться? Я об вас, батюшка, не так думала.

— Да нельзя, Марья Алексевна, такое семейство-то. Требуют от человека бог знает чего, чего он не в силах сделать.

— Это другое дело, Дмитрий Сергеич,— всех не наградишь, надо меру знать, это точно. Ежели так, то есть по деньгам ссора, не могу вас осуждать.

— Позвольте мне быть невеждою, Марья Алексевна: я так расстроен, что надобно мне отдохнуть в приятном и уважаемом мною обществе; а такого общества я нигде не нахожу, кроме как в вашем доме. Позвольте мне напроситься обедать у вас нынче и позвольте сделать некоторые поручения вашей Матрене. Кажется, тут есть недалеко погреб Денкера, у него вино не бог знает какое, но хорошее.

Лицо Марьи Алексевны, сильно разъярившееся при первом слове про обед, сложило с себя решительный гнев при упоминании о Матрене и приняло выжидающий вид: «Посмотрим, голубчик, что-то приложишь от себя к обеду? — у Денкера,— видно, что-нибудь хорошее!» Но голубчик, вовсе не смотря на ее лицо, уже вынул портсигар, оторвал клочок бумаги от завалявшегося в нем письма, вынул карандаш и писал.

— Если смею спросить, Марья Алексевна, вы какое вино кушаете?

— Я, батюшка Дмитрий Сергеич, признаться вам сказать, мало знаю толку в вине, почти что и не пью: не женское дело.

«Оно и по роже с первого взгляда было видно, что не пьешь».

— Конечно, так, Марья Алексевна, но мараскин пьют даже девицы. Мне позвольте написать?

— Это что такое, Дмитрий Сергеич?

— Просто не вино даже, можно сказать, а сироп.— Он вынул красненькую бумажку.— Кажется, будет довольно? — Он повел глазами по записке.— На всякий случай дам еще пять рублей.

Доход за три недели, содержание на месяц. Но нельзя иначе, надо хорошую взятку Марье Алексевне.

У Марьи Алексевны глаза покрылись влагою, и лицом неудержимо овладела сладостнейшая улыбка.

— У вас есть и кондитерская недалеко? Не знаю, найдется ли готовый пирог из грецких орехов,— на мой вкус, это самый лучший пирог, Марья Алексевна; но если нет такого,— какой есть, не взыщите.

Он отправился в кухню и послал Матрену делать покупки.

— Кутнем нынче, Марья Алексевна. Хочу пропить ссору с родными. Почему не кутнуть, Марья Алексевна? Дело с невестой на лад идет. Тогда не так заживем,— весело заживем,— правда, Марья Алексевна?

— Правда, батюшка Дмитрий Сергеич. То-то, я смотрю, что-то уж вы деньгами-то больно сорите, чего я от вас не ждала, как от человека основательного. Видно, от невесты задаточек получили?

— Задаточка не получил, Марья Алексевна, а если деньги завелись, то кутнуть можно. Что задаточек? Тут не в задаточке дело. Что задаточками-то пробавляться? Дело надо начистоту вести, а то еще подозренье будет. Да и неблагородно, Марья Алексевна.

— Неблагородно, Дмитрий Сергеич, точно, неблагородно. По-моему, надо во всем благородство соблюдать.

— Правда ваша, Марья Алексевна.

С полчаса или с три четверти часа, оставшиеся до обеда, шел самый любезный разговор в этом роде о всяких благородных предметах. Тут Дмитрий Сергеич, между прочим, высказал в порыве откровенности, что его женитьба сильно приблизилась в это время.— А как свадьба Веры Павловны? — Марья Алексевна ничего не может сказать, потому что не принуждает дочь.— Конечно; но, по его замечанию, Вера Павловна скоро решится на замужество; она ему ничего не говорила, только

ведь у него глаза-то есть.— Ведь мы с вами, Марья Алексевна, старые воробьи, нас на мякине не проведешь. Мне хоть лет немного, а я тоже старый воробей, тертый калач, так ли, Марья Алексевна?

— Так, батюшка, тертый калач, тертый калач!

Словом сказать, приятная беседа по душе с Марьею Алексевною так оживила Дмитрия Сергеича, что куда девалась его грусть! он был такой веселый, каким его Марья Алексевна еще никогда не видывала.— Тонкая бестия, шельма этакий! схапал у невесты уж не одну тысячу,— а родные-то проведали, что он карман-то понабил, да и приступили; а он им: нет, батюшка и матушка, как сын, я вас готов уважать, а денег у меня для вас нет. Экая шельма-то какая! Приятно беседовать с таким человеком, особенно когда, услышав, что Матрена вернулась, сбегаешь на кухню, сказав, что идешь в свою спальню за носовым платком, и увидишь, что вина куплено на двенадцать рублей пятьдесят копеек,— ведь только третью долю выпьем за обедом,— и кондитерский пирог в один рубль пятьдесят копеек,— ну, это, можно сказать, брошенные деньги, на пирог-то! Но все же останется и пирог: можно будет кумам подать вместо варенья, все же не в убыток, а в сбереженье.

XVI

А Верочка сидит в своей комнате.

«Хорошо ли я сделала, что заставила его зайти? Маменька смотрела так пристально.

И в какое трудное положение поставила я его! Как остаться обедать?

Боже мой, что со мной, бедной, будет?

Есть одно средство,— говорит он,— нет, мой милый, нет никакого средства!

Нет, есть средство,— вот оно: окно. Когда будет уже слишком тяжело, брошусь из него.

Какая я смешная: «когда будет слишком тяжело»,— а теперь-то?

А когда бросишься в окно, как быстро, быстро полетишь,— будто не падаешь, а в самом деле летишь,— это, должно быть, очень приятно. Только потом ударишься о тротуар — ах, как жестко! и больно? нет, я думаю, боли не успеешь почувствовать,— а только очень жестко! Да ведь это один, самый коротенький миг; а зато перед этим — воздух будто самая мяг-

кая перина, расступается так легко, нежно... Нет, это хорошо...

Да, а потом? Будут все смотреть — голова разбитая, лицо разбитое, в крови, в грязи... Нет, если бы можно было на это место посыпать чистого песку,— здесь и песок-то все грязный... нет, самого белого, самого чистого... вот бы хорошо было. И лицо бы осталось не разбитое, чистое, не пугало бы никого.

А в Париже бедные девушки задушаются чадом. Вот это хорошо; это очень, очень хорошо. А бросаться из окна нехорошо. А это хорошо.

Как они громко там говорят. Что они говорят? — Нет, ничего не слышно.

И я бы оставила ему записку, в которой бы все написала. Ведь я ему тогда сказала: «Нынче день моего рождения». Какая смелая тогда я была. Как это я была такая? Да ведь я тогда была глупенькая, ведь я тогда не понимала.

Да, какие умные в Париже бедные девушки! А что же, разве я не буду умной? Вот как смешно будет: входят в комнату — ничего не видно, только угарно, и воздух зеленый; испугались: что такое? где Верочка? маменька кричит на папеньку: что ты стоишь, выбей окно! — выбили окно, и видят: я сижу у туалета и опустила голову на туалет, а лицо закрыла руками. «Верочка, ты угорела?» — а я молчу. «Верочка, что ты молчишь?» — «Ах, да она удушилась!» Начинают кричать, плакать. Ах, как это будет смешно, что они будут плакать, и маменька станет рассказывать, как она меня любила.

Да, а ведь он будет жалеть.— Что ж, я ему оставлю записку.

Да, посмотрю, посмотрю, да и сделаю, как бедные парижские девушки. Ведь если я скажу, так сделаю. Я не боюсь.

Да и чего тут бояться? Ведь это так хорошо! Только вот подожду, какое это средство, про которое он говорит. Да нет, никакого нет. Это только так, он успокаивал меня.

Зачем это люди успокаивают? Вовсе не нужно успокаивать. Разве можно успокаивать, когда нельзя помочь? Ведь вот он умный, а тоже так сделал. Зачем это он сделал? Это не нужно.

Что ж это он так говорит? Будто ему весело, такой веселый голос!

Неужели он в самом деле придумал средство?

Да нет, средства никакого нет.

А если б он не придумал, разве бы он был веселый?

Что ж это он придумал?»

XVII

— Верочка, иди обедать! — крикнула Марья Алексевна.

В самом деле, Павел Константиныч возвратился, пирог давно готов,— не кондитерский, а у Матрены, с начинкою из говядины от вчерашнего супа.

— Марья Алексевна, вы не пробовали никогда перед обедом рюмку водки? Это очень полезно, особенно вот этой, горькой померанцевой. Я вам говорю как медик. Пожалуйста, попробуйте. Нет, нет, непременно попробуйте. Я как медик предписываю попробовать.

— Разве только медика надобно слушать, и то полрюмочки.

— Нет, Марья Алексевна, полрюмочки не принесет пользы.

— А сами-то что же, Дмитрий Сергеич?

— Стар стал, остепенился, Марья Алексевна. Зарок дал.

— В самом деле, согревает как будто бы!

— В том и польза, Марья Алексевна, что согревает.

«Какой он веселый, в самом деле! Неужели в самом деле есть средство? И как это он с нею так подружился? А на меня и не смотрит,— ах, какой хитрый!»

Сели за стол.

— А вот мы с Павлом Константинычем этого выпьем, так выпьем. Эль — это все равно что пиво,— не больше как пиво. Попробуйте, Марья Алексевна.

— Если вы говорите, что пиво, позвольте,— пива почему не выпить!

(«Господи, сколько бутылок! Ах, какая я глупенькая! Так вот она, дружба-то!»)

(«Экая шельма какой! Сам-то не пьет. Только губы приложил к своей ели-то. А славная эта ель,— и будто кваском припахивает, и сила есть, хорошая сила есть. Когда Мишку с нею окручу, водку брошу, все эту ель стану пить.— Ну, этот ума не пропьет! Хоть бы приложился, каналья! Ну, да мне же лучше. А поди, чай, ежели бы захотел пить, здоров пить».)

— Да вы бы сами выкушали хоть что-нибудь, Дмитрий Сергеич.

— Э, на моем веку много выпито, Марья Алексевна,— в запас выпито, надолго станет! Не было дела, не было денег — пил; есть дело, есть деньги — не нужно вина, и без него весело.

И таким образом идет весь обед. Подают кондитерский пирог.

— Милая Матрена Степановна, а что к этому следует?

— Сейчас, Дмитрий Сергеич, сейчас.— Матрена возвращается с бутылкою шампанского.

— Вера Павловна, вы не пили, и я не пил. Теперь выпьем и мы. Здоровье моей невесты и вашего жениха!

«Что это?» — «Неужели это?» — думает Верочка.

— Дай бог вашей невесте и Верочкину жениху счастья,— говорит Марья Алексевна,— а нам, старикам, дай бог поскорее Верочкиной свадьбы дождаться.

— Ничего, скоро дождетесь, Марья Алексевна. Да, Вера Павловна? Да!

«Неужели он в самом деле это говорит?» — думает Верочка.

— Да, Вера Павловна, разумеется, да. Говорите же «да».

— Да,— говорит Верочка.

— Так, Вера Павловна, что понапрасну маменьку вводить в сомнение. «Да», и только. Так теперь надобно второй тост. За скорую свадьбу Веры Павловны! Пейте, Вера Павловна! Ничего, хорошо будет. Чокнемтесь. За вашу скорую свадьбу!

Чокаются.

— Дай бог, дай бог! Благодарю тебя, Верочка, утешаешь ты меня, Верочка, на старости лет! — говорит Марья Алексевна и утирает слезы. Английская ель и мараскин привели ее в чувствительное настроение духа.

— Дай бог, дай бог,— повторяет Павел Константиныч.

— Как мы довольны вами, Дмитрий Сергеич,— говорит Марья Алексевна по окончании обеда,— уж как довольны! у нас же да нас же угостили; вот уж, можно сказать, праздник сделали! — Глаза ее смотрят уже более приятно, нежели бодро.

Не все-то так хитро делается, как хитро выходит. Лопухов не рассчитывал на этот результат, когда покупал вино: он хотел только дать взятку Марье Алексевне, чтоб не потерять ее благосклонности, назвавшись на обед. Станет ли она напиваться при постороннем человеке, которому хоть и сочувствует во всем, но не доверяет, потому что кому же она может доверять? Да и сама она не ждала от себя такого быстрого образа действий: она располагала отложить основательное наслаждение до после-чаю. Но слаб каждый человек. Против водки и других знакомых вкусов она устояла бы, но эль и тому подобные прелести соблазнили ее неопытность.

Обед вышел совершенно парадный и барский, и потому Марья Алексевна распорядилась, чтобы Матрена поставила самовар, как следует после барского обеда. Но этою деликатностью воспользовались только она да Лопухов. Верочка сказала, что не хочет чаю, и ушла в свою комнату. Павел Константиныч,

человек необразованный, тотчас после последнего блюда пошел прилечь, как всегда. Дмитрий Сергеич пил медленно; выпив чашку, спросил другую. Тут Марья Алексевна уже изнемогла, извинилась тем, что чувствует себя нехорошо с самого утра,— гость просил не церемониться и остался один. Выпил вторую чашку, выпил третью и задремал в креслах, должно быть, тоже нализался, как наше-то золото, по рассуждению Матрены. А золото уже храпело; должно быть, этот храп и разбудил Дмитрия Сергеича, когда Матрена окончательно ушла в кухню, убрав самовар и чашки.

XVIII

— Простите меня, Вера Павловна,— сказал Лопухов, входя в ее комнату,— как тихо он говорит, и голос дрожит, а за обедом кричал,— и не «друг мой», а «Вера Павловна»,— простите меня, что я был дерзок. Вы знаете, что я говорил: да, жену и мужа не могут разлучить. Тогда вы свободны.

— Милый мой! ты видел, я плакала, когда ты вошел,— это от радости.

Он взял и поцеловал ее руку.

— Милый мой, ты видел, я плакала, когда ты вошел,— это от радости.

Лопухов поцеловал ее руку, и много раз поцеловал ее руку.

— Вот, мой милый, ты меня выпускаешь на волю из подвала: какой ты умный и добрый. Как ты это вздумал?

— Да как танцевали мы с тобою тогда, так и вздумал.

— Милый мой, и я тогда же подумала, что ты добрый. Выпускаешь меня на волю, мой милый. Теперь я готова терпеть; теперь я знаю, что уйду из подвала, теперь мне будет не так душно в нем, теперь ведь я уж знаю, что выйду из него. А как же я уйду из него, мой милый?

— А вот как, Верочка. Теперь уж конец апреля. В начале июля кончатся мои работы по Академии,— их надо кончить, чтобы можно было нам жить. Тогда ты и уйдешь из подвала. Только месяца три потерпи еще, даже меньше. Ты уйдешь. Я получу должность врача. Жалованье небольшое; но так и быть, буду иметь несколько практики,— насколько будет необходимо,— и будем жить.

— Ах, мой милый, нам будет очень, очень мало нужно. Но только я не хочу так: я не хочу жить на твои деньги. Ведь я и теперь имею уроки. Я их потеряю тогда — ведь маменька всем расскажет, что я злодейка. Но найдутся другие уроки.

Я стану жить. Да, ведь так надобно? Ведь мне не должно жить на твои деньги?

— Кто это тебе сказал, мой милый друг Верочка?

— Ах, еще спрашивает, кто сказал. Да не ты ли сам толковал все об этом? А в твоих книгах? в них целая половина об этом написана.

— В книгах? Я говорил тебе это? Да когда же, Верочка?

— Ах, когда! А кто говорил, что все основано на деньгах? Кто это говорил, Дмитрий Сергеич?

— Ну, так что же?

— А ты думаешь, я уж такая глупенькая, что не могу, как выражаются ваши книги, вывесть заключение из посылок?

— Да какое же заключение? Ты бог знает что говоришь, мой милый друг Верочка.

— Ах, хитрец! Он хочет быть деспотом, хочет, чтоб я была его рабой! Нет-с, этого не будет, Дмитрий Сергеич,— понимаете?

— Да ты скажи, я и пойму.

— Все основано на деньгах, говорите вы, Дмитрий Сергеич; у кого деньги, у того власть и право, говорят ваши книги; значит, пока женщина живет на счет мужчины, она в зависимости от него,— так-с, Дмитрий Сергеич? Вы полагали, что я этого не понимаю, что я буду вашей рабой,— нет, Дмитрий Сергеич, я не дозволю вам быть деспотом надо мною, вы хотите быть добрым, благодетельным деспотом, а я этого не хочу, Дмитрий Сергеич! Ну, мой миленький, а еще как будем жить? Ты будешь резать руки и ноги людям, поить их гадкими микстурами, а я буду давать уроки на фортепьяно. А еще как мы будем жить?

— Так, так, Верочка. Всякий пусть охраняет свою независимость всеми силами от всякого, как бы ни любил его, как бы ни верил ему. Удастся тебе то, что ты говоришь, или нет, не знаю, но это почти все равно. Кто решился на это, тот уже почти оградил себя; он уже чувствует, что может обойтись сам собою, отказаться от чужой опоры, если нужно, и этого чувства уже почти довольно. А ведь какие мы смешные люди, Верочка! ты говоришь: «Не хочу жить на твой счет», а я тебя хвалю за это. Кто же так говорит, Верочка?

— Смешные, так смешные, мой миленький,— что нам за дело? Мы станем жить по-своему, как нам лучше. Как же мы будем жить еще, мой миленький?

— Вера Павловна, я вам предложил свои мысли об одной стороне нашей жизни,— вы изволили совершенно ниспровергнуть их вашим планом, назвали меня тираном, поработителем,— извольте же придумывать сами, как будут устроены другие сто-

роны наших отношений! Я считаю напрасным предлагать свои соображения, чтоб они были точно так же изломаны вами. Друг мой, Верочка, да ты сама скажи, как ты думаешь жить; наверное, мне останется только сказать: моя милая! как она умно думает обо всем!

— Это что? Вы изволите говорить комплименты? Вы хотите быть любезным? Но я слишком хорошо знаю: льстят затем, чтобы господствовать под видом покорности. Прошу вас вперед говорить проще! Милый мой, ты захвалишь меня! Мне стыдно, мой милый,— нет, не хвали меня, чтоб я не стала слишком горда.

— Хорошо, Вера Павловна, я начну говорить вам грубости, если вам это приятнее. В вашей натуре, Вера Павловна, так мало женственности, что, вероятно, вы выскажете совершенно мужские мысли.

— Ах, мой милый, скажи: что это значит эта «женственность»? Я понимаю, что женщина говорит контральтом, мужчина — баритоном, так что ж из этого? Стоит ли толковать из-за того, чтоб мы говорили контральтом? Стоит ли упрашивать нас об этом? Зачем же все так толкуют нам, чтобы мы оставались женственны? Ведь это глупость, мой милый?

— Глупость, Верочка, и очень большая пошлость.

— Так я, мой милый, уж и не буду заботиться о женственности; извольте, Дмитрий Сергеич, я буду говорить вам совершенно мужские мысли о том, как мы будем жить. Мы будем друзьями. Только я хочу быть первым твоим другом. Ах, я еще тебе не говорила, как я ненавижу этого твоего милого Кирсанова!

— Не следует, Верочка: он очень хороший человек.

— А я его ненавижу. Я запрещаю тебе видеться с ним.

— Прекрасное начало. Так запугана моим деспотизмом, что хочет сделать мужа куклою. И как же нам с ним не видеться, когда мы живем вместе.

— Да, и все сидите обнявшись.

— Конечно. За чаем и за обедом. Только руки заняты, трудно обняться-то.

— И целые дни неразлучны.

— Вероятно. Он с своею комнатою, я — с своею почти неразлучны.

— А если так, почему ж тебе и не перестать с ним видеться вовсе?

— Да ведь мы дружны, иногда хочется поговорить, и говорим, пока не в тягость друг другу.

— Всё сидят вместе, обнимаются и ссорятся, обнимаются и ссорятся. Ненавижу его.

— Да с чего ты это взяла, Верочка? Ссориться мы ни разу не ссорились. Живем почти врозь, дружны, это правда, но что ж из этого?

— Ах, мой милый, как я тебя обманула, как я тебя славно обманула! Ты не хотел мне сказать, как мы с тобой будем жить, а сам все рассказал! Как я тебя обманула! Слушай же, как мы будем жить,— по твоим же рассказам. Во-первых, у нас будут две комнаты, твоя и моя, и третья, в которой мы будем пить чай, обедать, принимать гостей, которые бывают у нас обоих, а не у тебя одного, не у меня одной. Во-вторых, я в твою комнату не смею входить, чтоб не надоедать тебе; ведь Кирсанов не смеет,— потому-то вы и не ссоритесь. Ты в мою также. Это второе. Теперь третье,— ах, мой милый, я и забыла спросить об этом: Кирсанов вмешивается в твои дела или ты в его? Вы имеете право спрашивать друг друга о чем-нибудь?

— Э, да ведь теперь уж я знаю, к чему этот Кирсанов! Не скажу.

— Нет, я его все-таки ненавижу. И не сказывай, не нужно. Я сама знаю: не имеете права ни о чем спрашивать друг друга. Итак, в-третьих: я не имею права ни о чем спрашивать тебя, мой милый. Если тебе хочется или надобно сказать мне что-нибудь о твоих делах, ты сам мне скажешь. И точно то же наоборот. Вот три правила. Что еще?

— Верочка, второе правило требует объяснений. Мы видимся с тобою в нейтральной комнате за чаем и за обедом. Теперь представь себе такой случай. Мы напились чаю поутру, я сижу в своей комнате и не смею носа показать в твою, значит, не увижу тебя до обеда,— так ведь?

— Конечно.

— Прекрасно. Приходит ко мне знакомый и говорит, что в два часа будет у меня другой знакомый; а я в час ухожу по делам; я могу попросить тебя передать этому знакомому, который зайдет в два часа, ответ, какой ему нужен,— могу я просить тебя об этом, если ты думаешь оставаться дома?

— Конечно, можешь. Возьмусь ли я за это,— другой вопрос. Если я отказываюсь, ты не можешь претендовать, не можешь и спрашивать, почему я отказываюсь. Но спросить, не соглашусь ли я оказать тебе эту услугу,— спросить об этом ты можешь.

— Прекрасно. Но ведь за чаем я еще не знал этого, а войти в твою комнату не могу. Как же я спрошу?

— О боже, как он прост, это маленькое дитя! Какое недоумение, скажите пожалуйста! Вы делаете вот как, Дмитрий Сергеич. Вы выходите в нейтральную комнату и говорите: «Вера Павловна!» Я отвечаю из своей комнаты: «Что вам угодно, Дмитрий Сергеич?» Вы говорите: «Я ухожу; без меня зайдет ко мне господин А. (вы называете фамилию вашего знакомого). У меня есть некоторые сведения для передачи ему. Могу ли я просить вас, Вера Павловна, передать их ему?» Если я отвечаю «нет», наш разговор кончен. Если я отвечаю «да», я выхожу в нейтральную комнату, и вы сообщаете мне, что я должна передать вашему знакомому. Теперь вы знаете, маленькое дитя, как надобно поступать?

— Да, милая Верочка, шутки шутками, а ведь в самом деле лучше всего жить, как ты говоришь. Только откуда ты набралась таких мыслей? Я-то их знаю, да, я помню, откуда я их вычитал. А ведь до ваших рук эти книги не доходят. В тех, которые я тебе давал, таких частностей не было. Слышать? — не от кого было. Ведь едва ли не первого меня ты встретила из порядочных людей.

— Ах, мой милый, да разве трудно до этого додуматься? Ведь я видала семейную жизнь,— я говорю не про свою семью: она такая особенная,— но ведь у меня есть же подруги, я же бывала в их семействах; боже мой, сколько неприятностей между мужьями и женами,— ты не можешь себе вообразить, мой милый!

— Ну, я-то, Верочка, воображаю.

— Знаешь ли, что мне кажется, мой милый? Так не следует жить людям, как они живут: все вместе, все вместе. Надобно видеться между собою или только по делам, или когда собираются вместе отдохнуть, повеселиться. Я всегда смотрю и думаю: отчего с посторонними людьми каждый так деликатен? отчего при чужих людях все стараются казаться лучше, чем в своем семействе? — и в самом деле, при посторонних людях бывают лучше,— отчего это? Отчего с своими хуже, хоть их и больше любят, чем с чужими? Знаешь, мой милый, об чем бы я тебя просила: обращайся со мною всегда так, как обращался до сих пор; ведь это не мешало же тебе любить меня, ведь все-таки мы с тобою были друг другу ближе всех. Как ты до сих пор держал себя? Отвечал ли неучтиво, делал ли выговоры? — нет! Говорят, как это можно быть неучтивым с посторонней женщиною или девушкой, как можно делать ей выговоры? Хорошо, мой милый: вот я твоя невеста, буду твоя жена, а ты все-таки обращайся со мною, как велят обращаться с посторон-

ней: это, мой друг, мне кажется, лучше для того, чтобы было прочное согласие, чтобы поддерживалась любовь. Так, мой милый?

— Я не знаю, Верочка, что мне и думать о тебе. Да ты меня и прежде удивляла.

— Миленький мой, ты хочешь захвалить меня! Нет, мой друг, это понять не так трудно, как тебе кажется. Такие мысли не у меня одной, мой милый: они у многих девушек и молоденьких женщин, таких же простеньких, как я. Только им нельзя сказать своим женихам или мужьям того, что они думают; они знают, что за это про них подумают: ты безнравственная. Я за то тебя и полюбила, мой милый, что ты не так думаешь. Знаешь, когда я тебя полюбила? когда мы в первый раз разговаривали на мое рожденье; как ты стал говорить, что женщины бедные, что их жалко: вот я тебя и полюбила.

— А я когда тебя полюбил? в тот же день, это уж я говорил, только когда?

— Какой ты смешной, миленький! Ты сказал, что нельзя не угадать; а угадаю, опять станешь хвалить.

— А ты все-таки угадай.

— Ну, конечно, когда: когда я спросила, правда ли, что можно сделать, чтобы людям хорошо было жить.

— За это надобно опять поцеловать твою ручку, Верочка.

— Полно, мой милый, это мне не нравится, когда у женщин целуют руки.

— Почему же, Верочка?

— Ах, мой милый, ты сам знаешь почему,— зачем же у меня спрашиваешь? Не спрашивай так, мой миленький.

— Да, мой друг, это правда: не следует так спрашивать. Это дурно. Я стану спрашивать только тогда, когда в самом деле не знаю, что ты хочешь сказать. А ты хотела сказать, что ни у кого не следует целовать руки.

Верочка захохотала.

— Вот теперь я тебя прощаю, потому что самой удалось над тобою посмеяться. Видишь, хотел меня экзаменовать, а сам не знал главной причины, почему это нехорошо. Ни у кого не следует целовать руки, это правда, но ведь я не об этом говорила, не вообще, а только о том, что не надобно мужчинам целовать рук у женщин. Это, мой милый, должно бы быть очень обидно для женщин; это значит, что их не считают такими же людьми, думают, что мужчина не может унизить своего достоинства перед женщиною, что она настолько ниже его, что, сколько он ни унижайся перед нею, он все не ровный ей, а гораздо

ыше ее. А ведь ты не так думаешь, мой миленький, так зачем же тебе целовать у меня руку? А послушай, что мне показалось, мой миленький: как будто мы с тобою не жених с невестой?

— Да, это правда, Верочка, мало похожего; только что же такое — мы с тобою?

— Бог знает что, мой миленький,— или вот что: будто мы давно, давно повенчаны.

— Да что же, мой друг: ведь это и правда. Старые друзья, ничего не переменилось.

— Только одно переменилось, мой миленький: что я теперь знаю, что из подвала на волю выхожу.

XIX

Так они поговорили, —странноватый разговор для первого разговора между женихом и невестой,— и пожали друг другу руки, и пошел себе Лопухов домой, и Верочка заперла за ним дверь сама, потому что Матрена засиделась в полпивной, надеясь на то, что ее золото еще долго прохрапит. И действительно ее золото еще долго храпело.

Возвратившись домой часу в седьмом, Лопухов хотел приняться за работу, но долго не мог приняться. Голова была занята не тем, а все тем же, чем всю длинную дорогу от соседства Семеновского моста до Выборгской. Конечно, любовными мечтами. Да, ими, только не совсем любовными и не совсем мечтами. Жизнь человека необеспеченного имеет свои прозаические интересы, о них-то Лопухов и размышлял. Понятное дело: материалист, все только думает о выгодах. Он и действительно думал все о выгодах, вместо высоких поэтических и пластических мечтаний он занимался такими любовными мечтами, которые приличны грубому материалисту.

«Жертва — ведь этого почти никак нельзя будет выбить из ее головы. А это дурно. Когда думаешь, что чем-нибудь особенным обязан человеку, отношения к нему уже несколько натянуты. А ведь узнает. Приятели объяснят, что вот какая предстояла карьера. Да хоть и не объясняли бы, сама сообразит: «Ты, мой друг, для меня вот от чего отказался, от карьеры, которой ждал»,— ну, положим, не денег,— этого не взведут на меня ни приятели, ни она сама,— ну, хоть и то хорошо, что не будет думать, что «он для меня остался в бедности, когда без меня был бы богат». Этого не будет думать. Но узнает, что я желал ученой известности и получил бы. Вот и будет сокру-

шаться: «Ах, какую он для меня принес жертву!» И не думал жертвовать. Не был до сих пор так глуп, чтобы приносить жертвы,— надеюсь, и никогда не буду. Как для меня лучше, так и сделал. Не такой человек, чтобы приносить жертвы. Да их и не бывает, никто и не приносит; это фальшивое понятие: жертва = сапоги всмятку. Как приятнее, так и поступаешь. Так вот поди ты, растолкуй это. В теории-то оно понятно; а как видит перед собою факт, человек-то и умиляется: вы, говорит, мой благодетель. И ведь уж показался всход этой будущей жатвы: «Ты, говорит, меня из подвала выпустил,— какой ты для меня добрый». Очень нужно было бы мне выпускать тебя, если бы самому это не нравилось. Это я тебя выпускаю, ты думаешь? — стал бы заботиться, как же, жди, как бы это не доставляло мне самому удовольствия! Может быть, я самого себя выпустил. Да, разумеется, себя: самому жить хочется, любить хочется, понимаешь? — самому, для себя все делаю. Как бы это сделать, чтобы не развилось в ней это вредное чувство признательности, которое стало бы тяготить ее. Ну, да как-нибудь сделаем,— она же умная, поймет, что это пустяки. Конечно, я не так располагал сделать. Думал, что если она успеет уйти из семейства, то отложить дело года на два; в это время успел бы стать профессором, денежные дела были бы удовлетворительны. Вышло, что отсрочить нельзя. Ну, так мне-то какой убыток? Разве я о себе, что ли, думал, когда соображал, что прежде надобно устроить денежные дела? Мужчине что? Мужчине ничего. Недостаток денег отзывается на женщине. Сапоги есть, локти не продраны, щи есть, в комнате тепло — какого рожна горячего мне еще нужно? А это у меня будет. Стало быть, какой же мне убыток? Но женщине, молоденькой, хорошенькой, этого мало. Ей нужны удовольствия, нужен успех в обществе. А на это у ней не будет денег. Конечно, она не будет думать, что этого недостает ей; она умная, честная девушка; будет думать себе: это пустяки, это дрянь, которую я презираю,— и будет презирать. Да разве помогает то, что человек не знает, чего ему недостает, или даже уверен, что оно ему не нужно? Это иллюзия, фантазия. Натура заглушена рассудком, обстоятельствами, гордостью — и молчит, и не дает о себе голоса сознанию, а молча все-таки работает и подтачивает жизнь. Не так следует жить молоденькой, не так следует жить красавице; это не годится, когда она и одета не так хорошо, как другие, и не блестит, по недостатку средств. Жаль тебя, бедненькая: я думал, что все-таки несколько получше для тебя устроится. А мне что? Я в выигрыше,— еще не-

известно, пошла ли бы она за меня через два года; а теперь идет...»

— Дмитрий, иди чай пить.

— Иду.— Лопухов отправился в комнату Кирсанова и на дороге успел думать: «А ведь как верно, что *Я* всегда на первом плане — и начал с себя и кончил собою. И с чего начал: «жертва» — какое плутовство; будто я от ученой известности отказываюсь и от кафедры — какой вздор! Не все ли равно, буду так же работать, и так же получу кафедру, и так же послужу медицине. Приятно человеку, как теоретику, замечать, как играет эгоизм его мыслями на практике».

Я обо всем предупреждаю читателя, потому скажу ему, чтоб он не предполагал этот монолог Лопухова заключающим в себе таинственный намек автора на какой-нибудь важный мотив дальнейшего хода отношений между Лопуховым и Верою Павловною; жизнь Веры Павловны не будет подтачиваться недостатком возможности блистать в обществе и богато наряжаться, и ее отношения к Лопухову не будут портиться «вредным чувством» признательности. Я не из тех художников, у которых в каждом слове скрывается какая-нибудь пружина, я пересказываю то, что думали и делали люди, и только; если какой-нибудь поступок, разговор, монолог в мыслях нужен для характеристики лица или положения, я рассказываю его, хотя бы он и не отозвался никакими последствиями в дальнейшем ходе моего романа.

— Теперь, Александр, не будешь на меня жаловаться, что отстаю от тебя в работе. Наверстаю.

— Что, кончил хлопоты по делу этой девушки?

— Кончил.

— Поступает в гувернантки к Б.?

— Нет, в гувернантки не поступает. Уладилось иначе. Ей теперь можно будет вести пока сносную жизнь в ее семействе.

— Что ж, это хорошо. В гувернантках ведь тяжело. А я, брат, теперь с зрительным нервом покончил и принимаюсь за следующую пару. А ты на чем остановился?

— Да мне еще надобно будет кончить работу над...

И пошли анатомические и физиологические термины.

XX

«Теперь 28 апреля. Он сказал, что его дела устроятся в начале июля,— положим, 10-го: ведь это уж не начало. 10-е число можно взять. Или, для верности, возьму 15-е; нет, луч-

ше 10-е,— сколько же остается дней? Нынешнего числа уж нечего считать,— остается только пять часов его; в апреле остается 2 дня; май — 31 да 2, 33; июнь — 30 да 33, 63; из июля 10 дней,— всего только 73 дня,— много ли это, только 73 дня? и тогда свободна! Выйду из этого подвала! Ах, как я счастлива! Миленький мой, как он умно это вздумал! Как я счастлива!»

Это было в воскресенье вечером. В понедельник — урок, перенесенный со вторника.

— Друг мой, миленький мой, как я рада, что опять с тобою; хоть на минуточку! Знаешь, сколько мне осталось сидеть в этом подвале? Твои дела когда кончатся? к десятому июля кончатся?

— Кончатся, Верочка.

— Так теперь мне осталось сидеть в подвале только семьдесят два дня да нынешний вечер. Я один день уж вычеркнула,— ведь я сделала табличку, как делают пансионерки и школьники, и вычеркиваю дни. Как весело вычеркивать!

— Миленькая моя Верочка, миленькая моя! Да, уж недолго тебе тосковать здесь, два с половиною месяца пройдут скоро, и будешь свободна.

— Ах, как весело будет! Только ты, мой миленький, теперь вовсе не говори со мною и не гляди на меня, и на фортепьяно не каждый раз будем играть. И не каждый раз буду выходить при тебе из своей комнаты. Нет, не утерплю, выйду всегда, только на одну минуточку, и так холодно буду смотреть на тебя, неласково. И теперь сейчас уйду в свою комнату. До свиданья, мой милый. Когда?

— В четверг.

— Три дня! Как долго! А тогда уж только шестьдесят восемь дней останется.

— Считай меньше: около седьмого числа тебе можно будет вырваться отсюда.

— Седьмого? Так уж теперь только шестьдесят девять дней? Как ты меня обрадовал! До свиданья, мой миленький!

Четверг.

— Мой миленький, только шестьдесят шесть дней мне здесь сидеть.

— Да, Верочка, время идет скоро.

— Скоро? Нет, мой милый. Ах, какие долгие стали дни! В другое время, кажется, успел бы целый месяц пройти, пока шли эти три дня. До свиданья, мой миленький, нам ведь не

надобно долго говорить,— ведь мы хитрые,— да? — До свиданья. Ах, еще шестьдесят шесть дней мне осталось сидеть в подвале!

(«Гм, гм. Мне, разумеется, незаметно — за работою время летит. Да ведь и не я в подвале-то. Гм, гм! Да».)

Суббота.

— Ах, мой миленький, еще шестьдесят четыре дня осталось! Ах, какая тоска здесь! Эти два дня шли дольше тех трех дней. Ах, какая тоска! Гадость какая здесь, если бы ты знал, мой миленький. До свиданья, мой милый, голубчик мой,— до вторника; а эти три дня будут дольше всех пяти дней. До свиданья, мой милый.

(«Гм, гм! Да! Гм! — Глаза не хороши. Она плакать не любит. Это нехорошо. Гм! Да!»)

Вторник.

— Ах, мой миленький, я уж и дни считать перестала. Не проходят, вовсе не проходят.

— Верочка, мой дружочек, у меня есть просьба к тебе. Нам надобно поговорить хорошенько. Ты очень тоскуешь по воле. Ну, дай себе немножко воли, ведь нам надобно поговорить?

— Надобно, мой миленький, надобно.

— Так вот о чем я тебя прошу. Завтра, когда тебе будет удобнее,— в какое время, все равно, только скажи,— будь опять на той скамье на Конногвардейском бульваре. Будешь?

— Буду, мой миленький, непременно буду. В одиннадцать часов,— так?

— Хорошо. Благодарю тебя, дружочек.

— До свиданья, мой миленький. Ах, как я рада, что ты это вздумал! как это я сама, глупенькая, не вздумала. До свиданья. Поговорим; все-таки я вздохну вольным воздухом. До свиданья, миленький. В одиннадцать часов непременно.

Пятница.

— Верочка, ты куда это собираешься?

— Я, маменька? — Верочка покраснела.— К Невскому проспекту, маменька.

— Так и я с тобою пойду, Верочка, мне в Гостиный двор нужно. Да что это, Верочка, говоришь, идешь на Невский, а такое платье надела! Надобно получше, когда на Невский,— там люди.

— Мне это платье нравится. Подождите одну секунду, маменька: я только возьму в своей комнате одну вещь.

Отправляются. Идут. Дошли до Гостиного двора, идут по той линии, которая вдоль Садовой, уж недалеко до угла Невского,— вот и лавка Рузанова.

— Маменька, я вам два слова скажу.

— Что с тобою, Верочка?

— До свиданья, маменька; не знаю, скоро ли; если не будете сердиться, до завтра.

— Что, Верочка? я что-то не разберу.

— До свиданья, маменька. Я теперь к мужу. Мы с Дмитрием Сергеичем третьего дня повенчались.— Поезжай в Караванную, извозчик.

— Четвертачок, сударыня.

— Хорошо, поезжай поскорее. Он к вам нынче вечером зайдет, маменька. А вы не сердитесь на меня, маменька.

Эти слова уж едва долетели до Марьи Алексевны.

— Да ты не в Караванную, я только так сказала, чтобы ты не думал долго, чтобы мне поскорее от этой дамы уехать. Налево, по Невскому. Мне гораздо дальше Караванной — на Васильевский остров, в Пятую линию, за Средним проспектом. Поезжай хорошенько, прибавлю.

— Ах, сударыня, обмануть меня изволили! Надо уж будет полтинничек положить.

— Если хорошо поедешь.

XXI

Свадьба устроилась не очень многосложным, хоть и не совсем обыкновенным образом.

Два дня после разговора о том, что они жених и невеста, Верочка радовалась близкому освобождению; на третий день уже вдвое несноснее прежнего стал казаться ей «подвал», как она выражалась, на четвертый день она уж поплакала, чего очень не любила, но поплакала немножко, на пятый побольше, на шестой уже не плакала, а только не могла заснуть от тоски.

Лопухов посмотрел,— когда произнес монолог «гм, гм»,— посмотрел в другой раз, и произнес монолог «гм, гм! Да! гм!». Первым монологом он предположил что-то, только что именно предположил, сам не знал, а во втором монологе объяснил себе, какое именно в первом сделал предположение. «Не годится, показавши волю, оставлять человека в неволе»,— и после этого

думал два часа: полтора часа по дороге от Семеновского моста на Выборгскую и полчаса на своей кушетке; первую четверть часа думал, не нахмуривая лба, остальные час и три четверти думал, нахмурив лоб; по прошествии же двух часов ударил себя по лбу и, сказавши «хуже гоголевского почтмейстера, телятина!» — посмотрел на часы.— «Десять, еще можно» — и пошел с квартиры.

Первую четверть часа, не хмуря лба, он думал так: «Все это вздор, зачем нужно кончать курс? И без диплома не пропаду, да и не нужно его. Уроками, переводами достану не меньше,— пожалуй, больше, чем получал бы от своего докторства. Пустяки».

Стало быть, тут нечего было хмурить лба, сказать правду; задача оказалась не головоломна отчасти и потому, что еще с прошлого урока предчувствовалось ему нечто вроде такого размышления. Это он понял теперь. А если бы ему напомнить размышление, начинавшееся на тему «жертва» и кончавшееся мыслями о нарядах, то можно бы его уличить, что предчувствовалось уж и с той самой поры нечто вроде этого обстоятельства, потому что иначе незачем было бы и являться тогда в нем мысли: «Отказываюсь от ученой карьеры». Тогда ему представлялось, что не отказывается, а инстинкт уже говорил: «Откажешься, отсрочки не будет». И если бы уличить Лопухова, как практического мыслителя, в тогдашней его неосновательности «не отказываюсь», он восторжествовал бы как теоретик и сказал бы: «Вот вам новый пример, как эгоизм управляет нашими мыслями! — ведь я должен бы был видеть, но не видел, потому что хотелось видеть не то — и нашими поступками, потому что зачем же заставил девушку сидеть в подвале лишнюю неделю, когда следовало предвидеть и все устроить тогда же!»

Но ничего этого не вспомнилось и не подумалось ему, потому что надобно было нахмурить лоб и, нахмурив его, думать час и три четверти над словами: «Кто повенчает?» — и все был один ответ: «Никто не повенчает!» И вдруг вместо «никто не повенчает» — явилась у него в голове фамилия «Мерцалов»; тогда он ударил себя по лбу и выбранил справедливо: как было с самого же начала не вспомнить о Мерцалове? А отчасти и несправедливо: ведь непривычно было думать о Мерцалове как о человеке венчающем.

В Медицинской академии есть много людей всяких сортов, есть, между прочим, и семинаристы; они имеют знакомства в Духовной академии,— через них были в ней знакомства и

у Лопухова. Один из знакомых ему студентов Духовной академии — не близкий, но хороший знакомый — кончил курс год тому назад и был священником в каком-то здании с бесконечными коридорами на Васильевском острове. Вот к нему-то и отправился Лопухов, и по экстренности случая и позднему времени даже на извозчике.

Мерцалов, сидевший дома один, читал какое-то новое сочинение — то ли Людовика XIV, то ли кого другого из той же династии.

— Вот какое и вот какое дело, Алексей Петрович! знаю, что для вас это очень серьезный риск; хорошо, если мы помиримся с родными, а если они начнут дело? вам может быть беда, да и наверное будет; но...— Никакого «но» не мог отыскать в своей голове Лопухов: как в самом деле убеждать человека, чтобы он за нас клал шею в петлю!

Мерцалов долго думал, тоже искал «но» для уполномочения себя на такой риск и тоже не мог придумать никакого «но».

— Как же с этим быть? Ведь хотелось бы... то, что вы теперь делаете, сделал и я год назад, да стал неволен в себе, как и вы будете. А совестно: надо бы помочь вам. Да, когда есть жена, оно и страшновато идти без оглядки.

— Здравствуй, Алеша. Мои все тебе кланяются, здравствуйте, Лопухов; давно мы с вами не виделись. Что вы тут говорите про жену? Всё у вас жены виноваты,— сказала возвратившаяся от родных дама лет семнадцати, хорошенькая и бойкая блондинка.

Мерцалов пересказал жене дело. У молодой дамы засверкали глазки.

— Алеша, ведь не съедят же тебя!

— Есть риск, Наташа.

— Очень большой риск,— подтвердил Лопухов.

— Ну, что делать, рискни, Алеша,— я тебя прошу.

— Когда ты меня не станешь осуждать, Наташа, что я забыл про тебя, идя на опасность, так разговор кончен. Когда хотите венчаться, Дмитрий Сергеевич?

Следовательно, препятствий не оставалось.

В понедельник поутру Лопухов сказал Кирсанову:

— Знаешь ли что, Александр? уж, верно, подарить тебе ту половину нашей работы, которая была моей долей. Бери мои бумаги и препараты, я бросаю. Выхожу из Академии, вот и просьба. Женюсь.

Лопухов рассказал историю в двух словах.

— Если бы ты был глуп или бы я был глуп, сказал бы я тебе, Дмитрий, что этак делают сумасшедшие. А теперь не скажу. Все возражения ты, верно, постарательнее моего обдумал. А и не обдумывал, так ведь все равно. Глупо ли ты поступаешь, умно ли — не знаю; но, по крайней мере, сам не стану делать той глупости, чтобы пытаться отговаривать, когда знаю, что не отговорить. Я тебе тут нужен на что-нибудь или нет?

— Нужно квартиру приискать где-нибудь в дешевой местности, три комнаты. Мне надобно хлопотать в Академии, чтобы поскорее выдали бумаги, чтобы завтра же. Так поищи квартиру ты.

Во вторник Лопухов получил свои бумаги, отправился к Мерцалову, сказал, что свадьба завтра.

— В какое время для вас удобнее, Алексей Петрович? — Алексею Петровичу все равно, он завтра весь день дома.— Я думаю, впрочем, что успею прислать Кирсанова предупредить вас.

В среду в 11 часов, пришедши на бульвар, Лопухов довольно долго ждал Верочку и начинал уже тревожиться; но вот и она, так спешит.

— Верочка, друг мой, не случилось ли чего с тобой?

— Нет, миленький, ничего, я опоздала только оттого, что проспала.

— Это значит, ты во сколько же часов уснула?

— Миленький, я не хотела тебе сказать; в семь часов, миленький, а то все думала; нет, раньше, в шесть.

— Вот о чем я хотел тебя просить, моя милая Верочка: нам надобно поскорее посоветоваться, чтоб обоим быть спокойными.

— Да, миленький, надобно. Поскорее надобно.

— Так дня через четыре, через три...

— Ах, если бы так, миленький, вот бы ты был умник.

— Через три, верно, уж найду квартиру, закуплю, что нужно по хозяйству, тогда нам и можно будет поселиться с тобою вместе?

— Можно, мой голубчик, можно.

— Но ведь прежде надобно повенчаться.

— Ах, я и забыла, миленький, надо повенчаться прежде.

— Так венчаться и нынче можно,— об этом я и хотел просить тебя.

— Пойдем, миленький, повенчаемся; да как же ты все это устроил? какой ты умненький, миленький!

— А вот на дороге все расскажу, поедем.

Приехали, прошли по длинным коридорам к церкви, отыскали сторожа, послали к Мерцалову; Мерцалов жил в том же доме с бесконечными коридорами.

— Теперь, Верочка, у меня к тебе еще просьба. Ведь ты знаешь, в церкви заставляют молодых целоваться?

— Да, мой миленький; только как это стыдно!

— Так вот, чтобы не было тогда слишком стыдно, поцелуемся теперь.

— Так и быть, мой миленький, поцелуемся, да разве нельзя без этого?

— Да ведь в церкви же нельзя без этого, так приготовимся.

Они поцеловались.

— Миленький, хорошо, что успели приготовиться, вон уж сторож идет, теперь в церкви не так стыдно будет.

Но пришел не сторож,— сторож побежал за дьячком,— вошел Кирсанов, дожидавшийся их у Мерцалова.

— Верочка, вот это и есть Александр Матвеич Кирсанов, которого ты ненавидишь и с которым хочешь запретить мне видеться.

— Вера Павловна, за что же вы хотите разлучать наши нежные сердца?

— За то, что они нежные,— сказала Верочка, подавая руку Кирсанову, и, все еще продолжая улыбаться, задумалась,— а сумею ли я любить его, как вы? Ведь вы его очень любите?

— Я? я никого, кроме себя, не люблю, Вера Павловна.

— И его не любите?

— Жили — не ссорились, и того довольно.

— И он вас не любил?

— Не замечал что-то. Впрочем, спросим у него: ты любил, что ли, меня, Дмитрий?

— Особенной ненависти к тебе не имел.

— Ну, когда так, Александр Матвеич, я не буду запрещать ему видеться с вами и сама буду любить вас.

— Вот это гораздо лучше, Вера Павловна.

— А вот и я готов,— подошел Алексей Петрович,— пойдемте в церковь.— Алексей Петрович был весел, шутил; но когда начал венчанье, голос его несколько задрожал — а если начнется дело? Наташа, ступай к отцу, муж не кормилец, а плохое житье от живого мужа на отцовских хлебах! — впрочем, после нескольких слов он опять совершенно овладел собою.

В половине службы пришла Наталья Андревна, или Наташа, как звал ее Алексей Петрович; по окончании свадьбы попросила молодых зайти к ней; у ней был приготовлен маленький завтрак; зашли, посмеялись, даже протанцевали две кадрили в две пары, даже вальсировали; Алексей Петрович, не умевший танцевать, играл им на скрипке; часа полтора пролетели легко и незаметно. Свадьба была веселая.

— Меня, я думаю, дома ждут обедать,— сказала Верочка,— пора. Теперь, мой миленький, я и три и четыре дня проживу в своем подвале без тоски, пожалуй, и больше проживу,— стану я теперь тосковать! ведь мне теперь нечего бояться — нет, ты меня не провожай: я поеду одна, чтобы не увидали как-нибудь.

— Ничего, не съедят меня, не совеститесь, господа! — говорил Алексей Петрович, провожая Лопухова и Кирсанова, которые оставались еще несколько минут, чтобы дать отъехать Верочке,— я теперь очень рад, что Наташа ободрила меня.

На другой день, после четырехдневных поисков, нашлась хорошая квартира, в дальнем конце 5-й линии Васильевского острова. Имея всего рублей сто шестьдесят в запасе, Лопухов рассудил с своим приятелем, что невозможно ему с Верочкою думать теперь же обзаводиться своим хозяйством, мебелью, посудою; потому и наняли три комнаты с мебелью, посудой и столом от жильцов-мещан: старика, мирно проводившего дни свои с лотком пуговиц, лент, булавок и прочего у забора на Среднем проспекте между 1-ю и 2-ю линиею, а вечера в разговорах со своею старухою, проводившею дни свои в штопанье сотен и тысяч всякого старья, приносимого к ней охапками с толкучего рынка. Прислуга тоже была от хозяев, то есть сами хозяева. Все это стоило тридцать рублей в месяц. Тогда — лет десять тому назад — были в Петербурге времена, еще дешевые по петербургскому масштабу. При таком устройстве были в готовности средства к жизни на три, пожалуй, даже на четыре месяца; ведь на чай десять рублей в месяц довольно? а в четыре месяца Лопухов надеялся найти уроки, какую-нибудь литературную работу, занятия в какой-нибудь купеческой конторе — все равно. В тот же день, как была приискана квартира,— и действительно квартира отличная: для того-то и искали долго, зато и нашли,—Лопухов, бывши на уроке в четверг по обыкновению, сказал Верочке:

— Завтра переезжай, мой друг; вот адрес. Больше теперь говорить не стану, чтоб не заметили.

— Миленький мой, ты спас меня!

Теперь как уйти из дому? Сказать? Верочка и подумала было, но мать бросится драться, может запереть. Верочка рассудила оставить письмо в своей комнате. Когда Марья Алексевна, услышав, что дочь отправляется по дороге к Невскому, сказала, что идет вместе с нею, Верочка вернулась в свою комнату и взяла письмо: ей показалось, что лучше, честнее будет, если она сама в лицо скажет матери — ведь драться на улице мать не станет же? только надобно, когда будешь говорить, несколько подальше от нее остановиться, поскорее садиться на извозчика и ехать, чтоб она не успела схватить за рукав.

Таким-то манером и произошла эффектная сцена у лавки Рузанова.

XXII

Но мы видели только еще половину этой сцены.

С минуту,— нет, несколько поменьше,— Марья Алексевна, не подозревавшая ничего подобного, стояла ошеломленная, стараясь понять и все не понимая, что ж это говорит дочь, что ж это значит и как же это? но только с минуту или поменьше... Она встрепенулась, вскрикнула какое-то ругательство, но дочь уже выезжала на Невский; Марья Алексевна пробежала несколько шагов в ту сторону,— надобно извозчика,— бросилась на тротуар — «Извозчик!» — «Куда прикажете, сударыня?» — куда она прикажет? Послышалось, что дочь сказала «в Караванную», но повернула дочь налево по Невскому. Куда же прикажет она? «Догонять ту мерзавку!» — «Догонять, сударыня? Да вы скажите толком, куда; а то как же без ряды ехать, а какой конец, неизвестно». Марья Алексевна совершенно вышла из себя, ругнулась на извозчика. «Пьяна ты, барыня, я вижу, вот что»,— сказал извозчик и отошел. Марья Алексевна и ругала его вдогонку, и кричала других извозчиков, и бросалась в разные стороны на несколько шагов, и махала руками, и окончательно установилась опять под колоннадой, и топала, и бесилась; а вокруг нее уже стояло человек пять парней, продающих разную разность у колонн Гостиного двора; парни любовались на нее, обменивались между собою замечаниями более или менее неуважительного свойства, обращались к ней с похвалами остроумного и советами благонамеренного свойства: «Ай да барыня, в кою пору успела нализаться, хват, барыня!» — «Барыня, а барыня, купи пяток лимонов-то у меня, ими хорошо закусывать, для тебя дешево отдам!» — «Барыня,

а барыня, не слушай его, лимон не поможет, а ты поди опохмелись!» — «Барыня, а барыня, здорова ты ругаться: давай об заклад ругаться, кто кого переругает!» Марья Алексевна, сама не помня, что делает, хватила по уху ближайшего из собеседников — парня лет семнадцати, не без грации высовывавшего ей язык: шапка слетела, а волосы тут, как раз под рукой; Марья Алексевна вцепилась в них. Это привело остальных собеседников в неописанный энтузиазм: «Ай да барыня! — Валяй его, барыня!» Некоторые замечали: «Федька, а ты дай-ка ей сдачи»,— но большинство собеседников было решительно на стороне Марьи Алексевны: «Куда Федьке против барыни! — Валяй, барыня, валяй Федьку, так ему, подлецу, и надо». Было уже много зрителей, кроме собеседников: и извозчики, и сидельцы из лавок, и прохожие. Марья Алексевна как будто опомнилась и, последним машинальным движением далеко отшатнув Федькину голову, зашагала через улицу. Восторженные похвалы собеседников провожали ее.

Она увидела, что идет домой, когда прошла уже ворота Пажеского корпуса, взяла извозчика и приехала счастливо, побила у двери отворившего ей Федю, бросилась к шкапчику, побила высунувшуюся на шум Матрену, бросилась опять к шкапчику, бросилась в комнату Верочки, через минуту выбежала к шкапчику, побежала опять в комнату Верочки, долго оставалась там, потом пошла по комнатам, ругаясь, но бить было уже некого: Федя бежал на грязную лестницу, Матрена, подсматривая в щель Верочкиной комнаты, бежала опрометью, увидев, что Марья Алексевна поднимается, в кухню не попала, а очутилась в спальной под кроватью Марьи Алексевны, где и пробыла благополучно до мирного востребования.

Долго ли, коротко ли Марья Алексевна ругалась и кричала, ходя по пустым комнатам, определить она не могла, но, должно быть, долго, потому что вот и Павел Константиныч явился из должности,— досталось и ему, идеально и материально досталось. Но как всему бывает конец, то Марья Алексевна закричала: «Матрена, подавай обедать!» Матрена увидела, что штурм кончился, вылезла из-под кровати и подала обедать.

За обедом Марья Алексевна действительно уже не ругалась, а только рычала и уже без всяких наступательных намерений, а так только, для собственного употребления; потом лечь не легла, но села и сидела одна, и молчала, и ворчала, потом и ворчать перестала, а все молчала, наконец крикнула:

— Матрена! разбуди барина, вели ко мне прийти.

Матрена, в ожидании распоряжений не смевшая уйти ни в полпивную, ни куда, исполнила приказ, Павел Константиныч явился.

— Ступай к хозяйке, скажи, что дочь по твоей воле вышла за этого черта. Скажи: я против жены был. Скажи: вам в угоду сделал, потому что видел, не было вашего желания. Скажи: моя жена была одна виновата, я вашу волю исполнял. Скажи: я сам их и свел. Понял, что ли?

— Понял, Марья Алексевна; это ты очень умно рассуждаешь.

— Ну, ступай же! Хоть обедает, все равно вызови, подними от стола. Покуда не знает.

Справедливость слов Павла Константиныча была так осязательна, что хозяйка поверила бы им, если б он и не обладал даром убедительной благоговейности изложения. А убедительность этого дара была так велика, что хозяйка простила бы Павла Константиныча, если б и не было осязательных доказательств, что он постоянно действовал против жены и нарочно свел Верочку с Лопуховым, чтобы отвратить неблагородную женитьбу Михаила Иваныча.— Как же они повенчались? — Павел Константиныч не пожалел приданого; дал пять тысяч Лопухову деньгами, свадьбу и обзаведенье сделал все на свой счет. Через него они и записочками передавались; у его сослуживца на квартире, у столоначальника Филантьева,— женатого человека, ваше превосходительство, потому что хоть я и маленький человек, но девическая честь дочери, ваше превосходительство, мне дорога, имели при мне свиданья, и хоть наши деньги не такие, чтобы мальчишке в таких летах учителей брать, но якобы предлог дал, ваше превосходительство,— и т. д. Неблагонамеренность жены Павел Константиныч изобличал в самых черных порицаниях.

Как было не убедиться и не помиловать Павла Константиныча? А главное — великая, неожиданная радость! Радость смягчает сердце. Хозяйка начала свою отпустительную речь очень длинным пояснением гнусности мыслей и поступков Марьи Алексевны и сначала требовала, чтобы Павел Константиныч прогнал жену от себя, но он умолял, да и она сама сказала это больше для блезиру, чем для дела; наконец резолюция вышла такая, что Павел Константиныч остается управляющим, квартира на улицу отнимается, и переводится он на задний двор, с тем, чтобы жена его не смела и показываться в тех местах первого двора, на которые может упасть взгляд хозяйки, и обязана выходить на улицу не иначе как воротами, даль-

ними от хозяйкиных окон. Из двадцати рублей в месяц прибавки к жалованью пятнадцать рублей отнимаются, а пять рублей оставляются в вознаграждение как усердия управляющего к воле хозяйки, так и его расходов по свадьбе дочери.

XXIII

У Марьи Алексевны было в мыслях несколько проектов о том, как поступить с Лопуховым, когда он явится вечером. Самый чувствительный состоял в том, чтобы спрятать на кухне двух дворников,— они бросятся на Лопухова по данному сигналу и исколотят его. Самый патетический состоял в том, чтобы торжественно провозгласить устами своими и Павла Константиныча родительское проклятие ослушной дочери и ему, разбойнику, с объяснением, что оно сильно,— даже земля, как известно, не принимает праха проклятых родителями. Но это были точно такие же мечты, как у хозяйки мысль развести Павла Константиныча с женою; такие проекты, как всякая поэзия, служат собственно не для практики, а для отрады сердцу, ложась основанием для бесконечных размышлений наедине и для иных изъяснений в беседах будущности, что, дескать, я вот что могла (или, смотря по полу лица: мог) сделать и хотела (хотел), да по своей доброте пожалела (пожалел).

Проекты побить Лопухова и проклясть дочь были идеальною стороною мыслей и чувств Марьи Алексевны. Реальная сторона ее ума и души имела направление не столь возвышенное и более практическое — разница, неизбежная по слабости всякого человеческого существа. Когда Марья Алексевна опомнилась у ворот Пажеского корпуса, постигла, что дочь действительно исчезла, вышла замуж и ушла от нее, этот факт явился ее сознанию в форме следующего мысленного восклицания: «Обокрала!» И всю дорогу она продолжала восклицать мысленно, а иногда и вслух: «Обокрала!» Поэтому, задержавшись лишь на несколько минут сообщением скорби своей Феде и Матрене по человеческой слабости,— всякий человек увлекается выражением чувств до того, что забывает в порыве души житейские интересы минуты,— Марья Алексевна пробежала в комнату Верочки, бросилась в ящики туалета, в гардероб, окинула все торопливым взглядом — нет, кажется, все цело! — и потом принялась поверять это успокоительное впечатление подробным пересмотром. Оказалось, что, действительно, все вещи и платья остались у нее, кроме пары простеньких золотых серег, да старого кисейного платья, да старого пальто,

в которых Верочка пошла из дому. По этому вопросу реального направления Марья Алексевна ждала, что Верочка даст Лопухову список своих вещей, чтобы требовать их, и твердо решилась из золотых и других таких вещей не давать ничего, из платьев дать четыре, которые попроще, и дать несколько белья, которое побольше изношено: ничего не дать нельзя, благородное приличие не дозволяет, а Марья Алексевна всегда строго соблюдала благородное приличие.

Другой вопрос реальной жизни был: отношения к хозяйке; мы уже видели, что Марье Алексевне удалось разрешить его удачно.

Теперь третий вопрос: что делать с мерзавкою и подлецом: с дочерью и непрошеным зятем? Проклясть? — это не трудно, но годится только как десерт к чему-нибудь существенному. Существенное возможно только одно: подать просьбу, начать дело, отдать под суд. Сначала, в волнении чувств, Марья Алексевна смотрела на это решение вопроса идеально, и с идеальной точки зрения оно представлялось очень привлекательным. Но по мере того как успокоивалась кровь от утомления бурею, дело стало обнаруживаться в другом виде. Никто не знал лучше Марьи Алексевны, что дела ведутся деньгами и деньгами, а такие дела, как обольщавшие ее своею идеальною прелестью, ведутся большими и большими деньгами и тянутся очень долго и, вытянув много денег, кончаются совершенно ничем.

Что же делать? В конце концов выходило, что предстоят только два занятия: поругаться с Лопуховым до последней степени удовольствия и отстоять от его требований Верочкины вещи, а средством к тому употребить угрозу подачею жалобы. Но поругаться надобно очень сильно, в полную сласть.

Не удалось и поругаться. Пришел Лопухов и начал в том слоге, что мы с Верочкою просим вас, Марья Алексевна и Павел Константиныч, извинить нас, что без вашего согласия...

Марья Алексевна на этом слове закричала: «Я прокляну ее, негодницу!»

Но вместо слова «негодницу» успело выговориться только «него...», потому что Лопухов сказал очень громко: «Вашей брани я слушать не стану, я пришел говорить о деле. Вы сердитесь и не можете говорить спокойно, так мы поговорим одни, с Павлом Константинычем, а вы, Марья Алексевна, пришлите Федю или Матрену позвать нас, когда успокоитесь»,— и, говоря это, уже вел Павла Константиныча из залы в его кабинет, а говорил так громко, что перекричать его не было возможности, а потому и пришлось остановиться в своей речи.

Довел он Павла Константиныча до дверей зала, тут остановился, обернулся и сказал:

— А то, Марья Алексевна, теперь же и с вами буду говорить; только ведь о деле надобно говорить спокойно.

Она было опять готовилась закричать, но он опять перебил:

— Ну, не можете говорить спокойно, так мы уходим.

— Да ты зачем уходишь, дурак? — прокричала Марья Алексевна.

— Да он меня ведет.

— А если Павлу Константинычу было бы тоже неугодно говорить хладнокровно, так и я уйду, пожалуй,— мне все равно. Только зачем же вы, Павел Константиныч, позволяете называть себя такими именами? Марья Алексевна дел не знает, она, верно, думает, что с нами можно бог знает что сделать, а вы чиновник, вы деловой порядок должны знать. Вы скажите ей, что теперь она с Верочкой ничего не сделает, а со мной и того меньше.

«Знает, подлец, что с ним ничего не сделаешь»,— подумала Марья Алексевна и сказала Лопухову, что в первую минуту она погорячилась, как мать, а теперь может говорить хладнокровно.

Лопухов возвратился с Павлом Константинычем,— сели; Лопухов попросил ее слушать, пока он доскажет то, что начнет, а ее речь будет впереди, и начал говорить, сильно возвышая голос, когда она пробовала перебивать его, и благополучно довел до конца свою речь, которая состояла в том, что развенчать их нельзя, потому дело со Сторешниковым — дело пропащее, как вы сами знаете, стало быть, и утруждать себя вам будет напрасно, а впрочем, как хотите: коли лишние деньги есть, то даже советую попробовать: да что, и огорчаться-то не из чего, потому что ведь Верочка никогда не хотела идти за Сторешникова, стало быть, это дело всегда было несбыточное, как вы и сами видели, Марья Алексевна, а девушку во всяком случае надобно отдавать замуж, а это дело вообще убыточное для родителей: надобно приданое, да и свадьба сама по себе много денег стоит, а главное, приданое; стало быть, еще надобно вам, Марья Алексевна и Павел Константиныч, благодарить дочь, что она вышла замуж без всяких убытков для вас! Вот он так говорил, и прочее в этом роде, и говорил он обстоятельно битых полчаса.

Когда он кончил, то Марья Алексевна видела, что с таким разбойником нечего говорить, и потому прямо стала говорить о чувствах, что она была огорчена, собственно, тем, что Верочка вышла замуж, не испросивши согласия родительского, потому что это для материнского сердца очень больно; ну, а когда

дело пошло о материнских чувствах и огорчениях, то, натурально, разговор стал представлять для обеих сторон более только тот интерес, что, дескать, нельзя же не говорить и об этом, так приличие требует; удовлетворили приличию, поговорили,— Марья Алексевна, что она, как любящая мать, была огорчена,— Лопухов, что она, как любящая мать, может и не огорчаться; когда же исполнили меру приличия надлежащею длиною рассуждений о чувствах, перешли к другому пункту, требуемому приличием, что мы всегда желали своей дочери счастья,— с одной стороны, а с другой стороны отвечалось, что это, конечно, вещь несомненная; когда разговор был доведен до приличной длины и по этому пункту, стали прощаться, тоже с объяснениями такой длины, какая требуется благородным приличием, и результатом всего оказалось, что Лопухов, понимая расстройство материнского сердца, не просит Марью Алексевну теперь же дать дочери позволения видеться с нею, потому что теперь это, быть может, было бы еще тяжело для материнского сердца, а что вот Марья Алексевна будет слышать, что Верочка живет счастливо, в чем, конечно, всегда и состояло единственное желание Марьи Алексевны, и тогда материнское сердце ее совершенно успокоится, стало быть, тогда она будет в состоянии видеться с дочерью не огорчаясь.

Так на том и порешили и расстались миролюбиво.

— Ну, разбойник! — сказала Марья Алексевна, проводив зятя.

Ночью даже приснился ей сон такого рода, что сидит она под окном и видит: по улице едет карета, самая отличная, и останавливается эта карета, и выходит из кареты пышная дама, и мужчина с дамой, и входят они к ней в комнату, и дама говорит: «Посмотрите, мамаша, как меня муж наряжает!» — и дама эта — Верочка. И смотрит Марья Алексевна, материя на платье у Верочки самая дорогая, и Верочка говорит: «Одна материя пятьсот целковых стоит, и это для нас, мамаша, пустяки: у меня таких платьев целая дюжина; а вот, мамаша, это дороже стоит,— вот, на пальцы посмотрите!» Смотрит Марья Алексевна на пальцы Верочки, а на пальцах перстни с крупными брильянтами! «Этот перстень, мамаша, стоит две тысячи рублей, а этот, мамаша, дороже — четыре тысячи рублей, а вот на грудь посмотрите, мамаша, эта брошка еще дороже: она стоит десять тысяч рублей!» А мужчина говорит, и этот мужчина Дмитрий Сергеич: «Это все для нас еще пустяки, милая маменька, Марья Алексевна! а настоящая-то важность вот у меня в кармане: вот, милая маменька, посмот-

рите бумажник, какой толстый и набит все одними сторублевыми бумажками, и этот бумажник я вам, мамаша, дарю, потому что и это для нас пустяки! а вот этого бумажника, который еще толще, милая маменька, я вам не подарю, потому что в нем бумажек нет, а в нем все банковые билеты да векселя, и каждый билет и вексель дороже стоит, чем весь бумажник, который я вам подарил, милая маменька, Марья Алексевна!» — Умели вы, милый сын, Дмитрий Сергеич, составить счастье моей дочери и всего нашего семейства; только откуда же, милый сын, вы такое богатство получили? «Я, милая мамаша, пошел по откупной части!»

И, проснувшись, Марья Алексевна думает про себя: «Истинно, ему бы по откупной части идти».

XXIV

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО МАРЬЕ АЛЕКСЕВНЕ

Вы перестаете быть важным действующим лицом в жизни Верочки, Марья Алексевна, и, расставаясь с вами, автор этого рассказа просит вас не сетовать на то, что вы отпускаетесь со сцены с развязкою, несколько невыгодной для вас. Не думайте, что вы через то лишились уважения. Вы остались одураченною, но это нисколько не роняет нашего мнения о вашем уме, Марья Алексевна: ваша ошибка не свидетельствует против вас. Вы встретились с людьми, которых не привыкли встречать прежде, и не грех вам было обмануться в них, судя по прежним вашим опытам. Вся ваша прежняя жизнь привела вас к заключению, что люди делятся на два разряда — дураков и плутов: «Кто не дурак, тот плут, непременно плут,— думали вы,— а не плутом может быть только дурак». Этот взгляд был очень верен, Марья Алексевна, до недавнего времени был совершенно верен, Марья Алексевна. Вы встречали, Марья Алексевна, людей, которые говорили очень хорошо, и вы видели, что все эти люди, без исключения,— или хитрецы, морочащие людей хорошими словами, или взрослые глупые ребята, не знающие жизни и не умеющие ни за что приняться. Потому вы, Марья Алексевна, не верили хорошим словам, считали их за глупость или обман, и вы были правы, Марья Алексевна. Ваш взгляд на людей уже совершенно сформировался, когда вы встретили первую женщину, которая не была глупа и не была плутовка; вам простительно было смутиться, остановиться в раздумье, не знать, как ду-

мать о ней, как обращаться с нею. Ваш взгляд на людей уже совершенно сформировался, когда вы встретили первого благородного человека, который не был простодушным, жалким ребенком, знал жизнь не хуже вас, судил о ней не менее верно, чем вы, умел делать дело не менее основательно, чем вы; вам простительно было ошибиться и принять его за такого же пройдоху, как вы. Эти ошибки, Марья Алексевна, не уменьшают моего уважения к вам как женщине умной и дельной. Вы вывели вашего мужа из ничтожества, приобрели себе обеспечение на старость лет,— это вещи хорошие, и для вас были вещами очень трудными. Ваши средства были дурны, но ваша обстановка не давала вам других средств. Ваши средства принадлежат вашей обстановке, а не вашей личности, за них бесчестье не вам,— но честь вашему уму и силе вашего характера.

Довольны ли вы, Марья Алексевна, признанием этих ваших достоинств? Конечно, вы остались бы довольны и этим, потому что вы и не думали никогда претендовать на то, что вы мила или добра; в минуту невольной откровенности вы сами признавали, что вы человек злой и нечестный, и не считали злобы и нечестности своей бесчестьем для себя, доказывая, что иною вы не могли быть при обстоятельствах вашей жизни. Стало быть, вы не станете много интересоваться тем, что к похвале вашему уму и силе вашего характера не прибавлено похвалы вашим добродетелям, вы и не считаете себя имеющею их, и не считаете достоинством, а скорее считаете принадлежностью глупости иметь их. Стало быть, вы не стали бы требовать еще другой похвалы, кроме той, прежней. Но я могу сказать в вашу честь еще одно: из всех людей, которых я не люблю и с которыми не желал бы иметь дела, я все-таки охотнее буду иметь дело с вами, чем с другими. Конечно, вы беспощадна там, где это нужно для вашей выгоды. Но если вам нет выгоды делать кому-нибудь вред, вы не станете делать его из каких-нибудь глупых страстишек; вы рассчитываете, что не стоит вам терять время, труд, деньги без пользы. Вы, разумеется, рады были бы изжарить на медленном огне вашу дочь и ее мужа, но вы умели обуздать мстительное влечение, чтобы холодно рассудить о деле, и поняли, что изжарить их не удалось бы вам; а ведь это великое достоинство, Марья Алексевна, уметь понимать невозможность! Поняв ее, вы и не стали начинать процесса, который не погубил бы людей, раздражившихвас; вы разочли, что те мелкие неприятности, которые наделали бы им хлопотами по процессу, подвергали бы саму вас гораздо бо́льшим хлопотам и убыткам, и потому вы не начали

процесса. Если нельзя победить врага, если нанесением ему мелочного урона сам делаешь себе больше урона, то незачем начинать борьбы; поняв это, вы имеете здравый смысл и мужество покоряться невозможности без напрасного деланья вреда себе и другим,— это также великое достоинство, Марья Алексевна. Да, Марья Алексевна, с вами еще можно иметь дело, потому что вы не хотите зла для зла в убыток себе самой,— это очень редкое, очень великое достоинство, Марья Алексевна! Миллионы людей, Марья Алексевна, вреднее вас и себе и другим, хотя не имеют того ужасного вида, какой имеете вы. Из тех, кто не хорош, вы еще лучше других, именно потому что вы не безрассудны и не тупоумны. Я рад был бы стереть вас с лица земли, но я уважаю вас: вы не портите никакого дела; теперь вы занимаетесь дурными делами, потому что так требует ваша обстановка, но дать вам другую обстановку; и вы с удовольствием станете безвредны, даже полезны, потому что без денежного расчета вы не хотите делать зла, а если вам выгодно, то можете делать что угодно,— стало быть, даже и действовать честно и благородно, если так будет нужно. Вы способны к этому, Марья Алексевна, не вы виноваты в том, что эта способность бездействует в вас, что вместо нее действуют противоположные способности, но она есть в вас, а этого нельзя сказать о всех. Дрянные люди не способны ни к чему; вы только дурной человек, а не дрянной человек. Вы выше многих и по нравственному масштабу.

— Довольны ли вы, Марья Алексевна?

— Что, батюшка мой, мне быть довольной-то? Обстоятельства-то мои плоховаты?

— Это и прекрасно, Марья Алексевна.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЗАМУЖЕСТВО И ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ

I

Прошло три месяца после того, как Верочка вырвалась из подвала. Дела Лопуховых шли хорошо. Он уже имел порядочные уроки, достал работу у какого-то книгопродавца — перевод учебника географии. Вера Павловна также имела два урока, хотя незавидных, но и не очень плохих. Вдвоем они получили уже рублей восемьдесят в месяц; на эти деньги нельзя жить

иначе, как очень небогато, но все-таки испытать им нужды не досталось, средства их понемногу увеличивались, и они рассчитывали, что месяца еще через четыре или даже скорее они могут уже обзавестись своим хозяйством (оно так и было потом).

Порядок их жизни устроился, конечно, не совсем в том виде, как полушутя, полусерьезно устраивала его Вера Павловна в день своей фантастической помолвки, но все-таки очень похоже на то. Старик и старуха, у которых они поселились, много толковали между собою о том, как странно живут молодые,— будто вовсе и не молодые,— даже не муж и жена, а так, точно не знаю кто.

— Значит, как сам вижу и ты, Петровна, рассказываешь, на то похоже, как бы сказать, она ему сестра была али он ей брат.

— Нашел чему приравнять! между братом да сестрой никакой церемонности нет; а у них как? он встанет, пальто наденет и сидит, ждет, покуда самовар принесешь. Сделает чай, кликнет ее, она тоже уж одета выходит. Какие тут брат с сестрой? А ты так скажи: вот бывает тоже, что небогатые люди, по бедности, живут два семейства в одной квартире,— вот этому можно приравнять.

— И как это, Петровна, чтобы муж к жене войти не мог: значит, не одета, нельзя. Это на что похоже?

— А ты то лучше скажи, как они вечером-то расходятся. Говорит: прощай, миленький, спокойной ночи! Разойдутся, оба по своим комнатам сидят, книжки читают, он тоже пишет. Ты слушай, что раз было. Легла она спать, лежит, читает книжку; только слышу через перегородку-то — на меня тоже что-то сна не было,— слышу, встает. Только, что же ты думаешь? Слышу, перед зеркалом стала, значит, волоса пригладить. Ну, вот как есть, точно к гостям выйти собирается. Слышу, пошла. Ну, и я в коридор вышла, стала на стул, гляжу в его-то комнату через стекло. Слышу, подошла. «Можно войти, миленький?» А он: «Сейчас, Верочка, минутку погоди». Лежал тоже. Платьишко натянул, пальто: ну, думаю, галстук подвязывать станет: нет, галстука не подвязал, оправился, говорит: «Теперь можно, Верочка».— «Я, говорит, вот в этой книжке не понимаю, ты растолкуй». Он сказал. «Ну, говорит, извини, миленький, что я тебя побеспокоила». А он говорит: «Ничего, Верочка, я так лежал, ты не помешала». Ну, она и ушла.

— Так и ушла?

— Так и ушла.

— И он ничего?

— И он ничего. Да ты не тому дивись, что ушла, а ты тому дивись: оделась, пошла; он говорит: погоди; оделся, тогда говорит: войди. Ты про это говори: какое это заведенье?

— А вот что, Петровна: это секта такая, значит; потому что есть всякие секты.

— Оно похоже на то. Смотри, что верно твое слово.

Другой разговор.

— Данилыч, а ведь я ее спросила про ихнее заведенье. Вы, говорю, не рассердитесь, что я вас спрошу: вы какой веры будете? — Обыкновенно какой, русской, говорит.— А супружник ваш? — Тоже, говорит, русской.— А секты никакой не изволите содержать? — Никакой, говорит; а вам почему так вздумалось? — Да вот почему, сударыня, барыней ли, барышней ли, не знаю, как вас назвать: вы с муженьком-то живете ли? — засмеялась; живем, говорит.

— Засмеялась?

— Засмеялась: живем, говорит. Так отчего же у вас заведенье такое, что вы неодетая не видите его, точно вы с ним не живете? — Да это, говорит, для того, что зачем же растрепанной показываться? А секты тут никакой нет.— Так что же такое? говорю.— А для того, говорит, что так-то любви больше и размолвок нет.

— А это точно, Петровна, что на правду похоже. Значит, всегда в своем виде.

— Да она еще какое слово сказала: ежели, говорит, я не хочу, чтобы другие меня в безобразии видели, так мужа-то я больше люблю, значит, к нему-то и вовсе не приходится, не умывшись, на глаза лезть.

— А и это на правду похоже, Петровна: отчего же на чужих-то жен зарятся? Оттого, что их в наряде видят, а свою в безобразии. Так в Писании говорится, в притчах Соломоних. Премудрейший царь был.

II

Хорошо шла жизнь Лопуховых. Вера Павловна была всегда весела. Но однажды,— это было месяцев через пять после свадьбы,— Дмитрий Сергеич, возвратившись с урока, нашел жену в каком-то особенном настроении духа: в ее глазах сияла и гордость и радость. Тут Дмитрий Сергеич припомнил, что уже несколько дней можно было замечать в ней признаки приятной тревоги, улыбающегося раздумья, нежной гордости.

— Друг мой, у тебя есть какое-то веселье: что же ты не поделишься со мною?

— Кажется, есть, мой милый, но погоди еще немного: скажу тебе тогда, когда это будет верно. Надобно подождать еще несколько дней. А это будет мне большая радость. Да и ты будешь рад, я знаю; и Кирсанову и Мерцаловым понравится.

— Но что же такое?

— А ты забыл, мой миленький, наш уговор. не расспрашивать? Скажу, когда будет верно.

Прошло еще с неделю.

— Мой миленький, стану рассказывать тебе свою радость. Только ты мне посоветуй, ты ведь все это знаешь. Видишь, мне уж давно хотелось что-нибудь делать. Я и придумала, что надо завести швейную; ведь это хорошо?

— Ну, мой друг, у нас был уговор, чтоб я не целовал твоих рук, да ведь то говорилось вообще, а на такой случай уговора не было. Давайте руку, Вера Павловна.

— После, мой миленький, когда удастся сделать.

— Когда удастся сделать, тогда и не мне дашь целовать руку, тогда и Кирсанов, и Алексей Петрович, и все поцелуют. А теперь пока я один. И намерение стоит этого.

— Насилие? Я закричу.

— А кричи.

— Миленький мой, я застыжусь и не скажу ничего. Будто уж это такая важность!

— А вот какая важность, мой друг: мы все говорим и ничего не делаем. А ты позже нас всех стала думать об этом и раньше всех решилась приняться за дело.

Верочка припала головою к груди мужа, спряталась:

— Милый мой, ты захвалил меня.

Муж поцеловал ее голову:

— Умная головка.

— Миленький мой, перестань. Вот тебе и сказать нельзя; видишь, какой ты.

— Перестану: говори, моя добрая.

— Не смей так называть.

— Ну, злая.

— Ах, какой ты! все мешаешь. Ты слушай, сиди смирно. Ведь тут, мне кажется, главное то, чтобы с самого начала, когда выбираешь немногих, делать осмотрительно, чтобы это были в самом деле люди честные, хорошие, не легкомысленные, не шаткие, настойчивые и вместе мягкие, чтобы от них не

выходило пустых ссор и чтобы они умели выбирать других,— так?

— Так, мой друг.

— Теперь я нашла трех таких девушек. Ах, сколько я искала! ведь я, мой миленький, уж месяца три заходила в магазины, знакомилась — и нашла. Такие славные девушки. Я с ними хорошо познакомилась.

— И надобно, чтоб они были хорошие мастерицы своего дела; ведь нужно, чтобы дело шло собственным достоинством, ведь все должно быть основано на торговом расчете.

— Ах, еще бы нет, это разумеется.

— Так что ж еще? О чем со мной советоваться?

— Да подробности, мой миленький.

— Рассказывай подробности; да, верно, ты сама все обдумала и сумеешь приспособиться к обстоятельствам. Ты знаешь, тут важнее всего принцип, да характер, да уменье. Подробности определяются сами собою, по особенным условиям каждой обстановки.

— Знаю, но все-таки, когда ты скажешь, что это так, я буду больше уверена.

Они толковали долго. Лопухов не нашел ничего поправить в плане жены; но для нее самой план ее развился и прояснился оттого, что она рассказывала его.

На другой день Лопухов отнес в контору «Полицейских ведомостей» объявление, что «Вера Павловна Лопухова принимает заказы на шитье дамских платьев, белья» и т. д., «по сходным ценам» и проч.

В то же утро Вера Павловна отправилась к Жюли. «Нынешней моей фамилии она не знает,— скажите, что m-lle Розальская».

— Дитя мое, вы без вуаля, открыто, ко мне и говорите свою фамилию слуге; но это безумство, вы губите себя, мое дитя!

— Да ведь я же теперь замужем и могу быть везде и делать, что хочу.

— Но ваш муж,— он узнает.

— Он через час будет здесь.

Начались расспросы о том, как она вышла замуж. Жюли была в восторге, обнимала ее, целовала, плакала. Когда пароксизм прошел; Вера Павловна стала говорить о цели своего визита.

— Вы знаете, старых друзей не вспоминают иначе, как тогда, когда имеют в них надобность. У меня к вам большая

просьба. Я завожу швейную мастерскую. Давайте мне заказы и рекомендуйте меня вашим знакомым. Я сама хорошо шью, и помощницы у меня хорошие,— да вы знаете одну из них.

Действительно, Жюли знала одну из них за отличную швею.

— Вот вам образцы моей работы. И это платье я делала сама себе: вы видите, как хорошо сидит.

Жюли очень внимательно рассмотрела, как сидит платье, рассмотрела шитье платка, рукавчиков и осталась довольна.

— Мое дитя, вы могли бы иметь хороший успех, у вас есть мастерство и вкус. Но для этого надобно иметь пышный магазин на Невском.

— Да, я заведу со временем; это будет моя цель. Теперь я принимаю заказы на дому.

Кончили дело, начали опять толковать о замужестве Верочки.

— А этот Сторешник, он две недели кутил ужасно; но потом помирился с Аделью. Я очень рада за Адель: он добрый малый; только жаль, что Адель не имеет характера.

Выехав на свою дорогу, Жюли пустилась болтать о похождениях Адели и других: теперь m-lle Розальская уже дама, следовательно, Жюли не считала нужным сдерживаться; сначала она говорила рассудительно, потом увлекалась, увлекалась и стала описывать кутежи с восторгом, и пошла, и пошла; Вера Павловна сконфузилась, Жюли ничего не замечала; Вера Павловна оправилась и слушала уже с тем тяжелым интересом, с каким рассматриваешь черты милого лица, искаженные болезнью. Но вошел Лопухов. Жюли мгновенно обратилась в солидную светскую даму, исполненную строжайшего такта. Однако и эту роль она выдержала недолго. Начав поздравлять Лопухова с женою, такою красавицею, она опять разгорячилась: «Нет, мы должны праздновать вашу свадьбу»; велела подать завтрак на скорую руку, подать шампанское, Верочка была должна выпить полстакана за свою свадьбу, полстакана за свою мастерскую, полстакана за саму Жюли. У нее закружилась голова, подняли они с Жюли крик, шум, гам; Жюли ущипнула Верочку, вскочила, побежала, Верочка за нею: беготня по комнатам, прыганье по стульям; Лопухов сидел и смеялся. Кончилось тем, что Жюли вздумала хвалиться силою: «Я вас подниму на воздух одною рукою».— «Не поднимете». Принялись бороться, упали обе на диван и уже не захотели встать, а только продолжали кричать, хохотать, и обе заснули.

С давнего времени это был первый случай, когда Лопухов не знал, что ему делать. Будить? жалко, испортишь все веселое свиданье неловким концом. Он осторожно встал, пошел по комнате, не попадется ли книга. Книга попалась — Chronique de l'Oeil de Bœuf,— вещь, перед которою «Фоблаз» вял; он уселся на диван в другом конце комнаты, стал читать и через четверть часа сам заснул от скуки.

Часа через два Полина разбудила Жюли: было время обедать. Сели одни, без Сержа, который был на каком-то парадном обеде; Жюли и Верочка опять покричали, опять посолиднячали, при прощанье стали вовсе солидны, и Жюли вздумала спросить,— прежде не случилось вздумать,— зачем Верочка заводит мастерскую? ведь если она думает о деньгах, то гораздо легче ей сделаться актрисою, даже певицею: у нее такой сильный голос; по этому случаю опять уселись. Верочка стала рассказывать свои мысли, и Жюли опять пришла в энтузиазм, и посыпались благословенья, перемешанные с тем, что она, Жюли ле Теллье, погибшая женщина,— и слезы, но что она знает, что такое «добродетель»,— и опять слезы, и обниманья, и опять благословенья.

Дня через четыре Жюли приехала к Вере Павловне и дала довольно много заказов от себя, дала адресы нескольких своих приятельниц, от которых также можно получить заказы. Она привезла с собою Сержа, сказав, что без этого нельзя: «Лопухов был у меня, ты должен теперь сделать ему визит». Жюли держала себя солидно и выдержала солидность без малейшего отступления, хотя просидела у Лопуховых долго; она видела, что тут не стены, а жиденькие перегородки, а она умела дорожить чужими именами. В азарт она не приходила, а впадала больше в буколическое настроение, с восторгом вникая во все подробности бедноватого быта Лопуховых и находя, что именно так следует жить, что иначе нельзя жить, что только в скромной обстановке возможно истинное счастье, и даже объявила Сержу, что они с ним отправятся жить в Швейцарию, поселятся в маленьком домике среди полей и гор, на берегу озера, будут любить друг друга, удить рыбу, ухаживать за своим огородом; Серж сказал, что он совершенно согласен, но посмотрит, что она будет говорить часа через три-четыре.

Гром изящной кареты и топот удивительных лошадей Жюли произвели потрясающее впечатление в населении 5-й линии между Средним и Малым проспектами, где ничего подобного не было видано, по крайней мере, со времен Петра

Великого, если не раньше. Много глаз смотрели, как дивный феномен остановился у запертых ворот одноэтажного деревянного домика в семь окон, как из удивительной кареты явился новый, еще удивительнейший феномен, великолепная дама с блестящим офицером, важное достоинство которого не подлежало сомнению. Всеобщее огорчение было произведено тем, что через минуту ворота отперлись и карета въехала на двор: любознательность лишилась надежды видеть величественного офицера и еще величественнейшую даму вторично при их отъезде. Когда Данилыч возвратился домой с торговли, у Петровны с ним произошел разговор.

— Данилыч, а, видно, жильцы-то наши из важных людей. Приезжали к ним генерал с генеральшею. Генеральша так одета, что и рассказать нельзя, а на генерале две звезды.

Каким образом Петровна видела звезды на Серже, который еще и не имел их, да если б и имел, то, вероятно, не носил бы при поездках на службе Жюли, это вещь изумительная; но что действительно она видела их, что не ошиблась и не хвастала, это не она свидетельствует, это я за нее также ручаюсь: она видела их. Это мы знаем, что на нем их не было; но у него был такой вид, что с точки зрения Петровны нельзя было не увидать на нем двух звезд,— она и увидела их; не шутя я вам говорю: увидела.

— И на лакее ливрея какая, Данилыч: сукно английское, по пяти рублей аршин; он суровый такой, важный, но учтив, отвечает; давал и пробовать на рукаве, отличное сукно. Видно, что денег-то куры не клюют. И сидели они у наших, Данилыч, часа два, и наши с ними говорят просто, вот как я с тобою, и не кланяются им, и смеются с ними; и наш-то сидит с генералом, оба развалившись, в креслах-то, и курят, и наш курит при генерале, и развалился; да чего? — папироска погасла, так он взял у генерала-то, да и закурил свою-то. А уж с каким почтением генерал ручку поцеловал у нашей-то, и рассказать нельзя. Как же теперь это дело рассудить, Данилыч?

— Все от бога, я так рассуждаю; значит, и знакомство али родство какое,— от бога.

— Так, Данилыч, от бога, слова нет; а я и так думаю, что либо наш, либо наша приходятся либо братом, либо сестрой либо генералу, либо генеральше. И признаться, я больше на нее думаю, что она генералу сестра.

— Как же это будет, по-твоему, Петровна? Не похоже что-то. Как бы так, у них бы деньги были.

— А так, Данилыч, что мать не в браке родила либо отец не в браке родил. Потому лицо другое: подобия-то, точно, нет.

— Это может статься, Петровна, что не в браке. Бывает.

Петровна на четыре целые дня приобрела большую важность в своей мелочной лавочке. Эта лавочка целые три дня отвлекала часть публики из той, которая наискось. Петровна для интересов просвещения даже несколько пренебрегла в эти дни своим штопаньем, утоляя жажду жаждущих знания.

Следствием всего этого было, что через неделю явился к дочери и зятю Павел Константиныч.

Марья Алексевна собирала сведения о жизни дочери и разбойника — не то чтобы постоянно и заботливо, а так, вообще, тоже больше из чисто научного инстинкта любознательности. Одной из мелких ее кумушек, жившей на Васильевском, было поручено справляться о Вере Павловне, когда случится идти мимо, и кумушка доставляла ей сведения иногда раз в месяц, иногда и чаще, как случится. Лопуховы живут между собою в ладу. Дебоша никакого нет. Одно только: молодых людей много бывает, да все мужчины приятели, и скромные. Живут небогато; но видно, что деньги есть. Не то что продавать, а покупают. Сшила себе два шелковых платья. Купила два дивана, стол к дивану, полдюжины кресел, по случаю; заплатили сорок рублей, а мебель хорошая, рублей сто надо дать. Сказывали хозяевам, чтоб искали новых жильцов: мы, говорит, через месяц на свою квартиру съедем, а вами, значит, хозяевами-то, очень благодарны за расположение; ну, и хозяева: и мы, говорят, вами тоже.

Марья Алексевна утешалась этими слухами. Женщина очень грубая и очень дурная, она мучила дочь, готова была и убить, и погубить ее для своей выгоды, и проклинала ее, потерпев через нее расстройство своего плана обогатиться,— это так; но следует ли из этого, что она не имела к дочери никакой любви? Нисколько не следует. Когда дело было кончено, когда дочь безвозвратно вырвалась из ее рук, что ж было делать? Что с возу упало, то пропало. А все-таки дочь; и теперь, когда уже не представлялось никакого случая, чтобы какой-нибудь вред Веры Павловны мог служить для выгоды Марье Алексевне, мать искренно желала дочери добра. И опять не то чтобы желала уж бог знает как, но это все равно: по крайней мере, она все-таки не бог знает с какой внимательностью шпионила за нею. Меры для слежения за дочерью были приняты только так, между прочим, потому что, согласитесь, нельзя же не следить; ну, и желанье добра было тоже между прочим,

потому что, согласитесь, все-таки дочь. Почему же и не помириться? тем больше, что разбойник-зять, изо всего видно, человек основательный, может быть, и пригодится со временем. Таким образом, Марья Алексевна шла понемногу к мысли возобновить сношения с дочерью. Понадобилось бы еще с полгода, пожалуй, с год, чтобы доплестись до этого: не было нужды торопиться, время терпит. Но известие о генерале с генеральшею разом двинуло историю вперед на всю остававшуюся половину пути. Разбойник действительно оказывался шельмецом. Отставной студентишка без чина, с двумя грошами денег, вошел в дружбу с молодым, стало быть, уж очень важным, богатым генералом и подружил свою жену с его женою: такой человек далеко пойдет. Или это Вера подружилась с генеральшею и мужа подружила с генералом? все равно, значит, Вера далеко пойдет.

Итак, немедленно по получении сведения о визите отправлен был отец объявить дочери, что мать простила ее и зовет к себе. Вера Павловна и муж отправились с Павлом Константинычем и просидели начало вечера. Свидание было холодно и натянуто. Говорили больше всего о Феде, потому что это предмет не щекотливый. Он ходил в гимназию; уговорили Марью Алексевну отдать его в пансион гимназии,— Дмитрий Сергеич будет там навещать его, а по праздникам Вера Павловна будет брать его к себе. Кое-как дотянули время до чаю, потом спешили расстаться: Лопуховы сказали, что у них нынче будут гости.

Полгода Вера Павловна дышала чистым воздухом, грудь ее уже совершенно отвыкла от тяжелой атмосферы хитрых слов, из которых каждое произносится по корыстному расчету, от слушания мошеннических мыслей, низких планов, и страшное впечатление произвел на нее ее подвал. Грязь, пошлость, цинизм всякого рода — все это бросалось теперь в глаза ей с резкостью новизны.

«Как у меня доставало силы жить в таких гадких стеснениях? Как я могла дышать в этом подвале? И не только жила, даже осталась здорова. Это удивительно, непостижимо. Как я могла тут вырасти с любовью к добру? Непонятно, невероятно»,— думала Вера Павловна, возвращаясь домой, и чувствовала себя отдыхающей после удушья.

Когда они приехали домой, к ним через несколько времени собрались гости, которых они ждали,— обыкновенные тогдашние гости: Алексей Петрович с Натальей Андревной, Кирсанов,— и вечер прошел, как обыкновенно проходил с ними. Как

вдвойне отрадна показалась Вере Павловне ее новая жизнь с чистыми мыслями, в обществе чистых людей! По обыкновению, шел и веселый разговор со множеством воспоминаний, шел и серьезный разговор обо всем на свете: от тогдашних исторических дел (междоусобная война в Канзасе, предвестница нынешней великой войны севера с югом, предвестницы еще более великих событий не в одной Америке, занимала этот маленький кружок: теперь о политике толкуют все, тогда интересовались ею очень немногие; в числе немногих — Лопухов, Кирсанов, их приятели) до тогдашнего спора о химических основаниях земледелия по теории Либиха; и о законах исторического прогресса, без которых не обходился тогда ни один разговор в подобных кружках, и о великой важности различения реальных желаний, которые ищут и находят себе удовлетворение, от фантастических, которым не находится, да которым и не нужно найти себе удовлетворение, как фальшивой жажде во время горячки, которым, как ей, одно удовлетворение: излечение организма, болезненным состоянием которого они порождаются через искажение реальных желаний, и о важности этого коренного различения, выставленной тогда антропологическою философиею, и обо всем, тому подобном и не подобном, но родственном. Дамы по временам и вслушивались в эти учености, говорившиеся так просто, будто и не учености, и вмешивались в них своими вопросами, а больше — больше, разумеется, не слушали, даже обрызгали водою Лопухова и Алексея Петровича, когда они уже очень восхитились великою важностью минерального удобрения; но Алексей Петрович и Лопухов толковали о своих ученостях непоколебимо. Кирсанов плохо помогал им, был больше, даже вовсе на стороне дам, и они втроем играли, пели, хохотали до глубокой ночи, когда, уставши, развели, наконец, и непоколебимых ревнителей серьезного разговора.

III

ВТОРОЙ СОН ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ

И вот Вера Павловна засыпает, и снится Вере Павловне сон.

Поле, и по полю ходят муж, то есть миленький, и Алексей Петрович, и миленький говорит:

— Вы интересуетесь знать, Алексей Петрович, почему из одной грязи родится пшеница такая белая, чистая и нежная,

а из другой грязи не родится? Эту разницу вы сами сейчас увидите. Посмотрите корень этого прекрасного колоса: около корня грязь, но эта грязь свежая, можно сказать, чистая грязь; слышите запах сырой, неприятный, но не затхлый, не скиснувшийся. Вы знаете, что на языке философии, которой мы с вами держимся, эта чистая грязь называется реальная грязь. Она грязна, это правда; но всмотритесь в нее хорошенько, вы увидите, что все элементы, из которых она состоит, сами по себе здоровы. Они составляют грязь в этом соединении, но пусть немного переменится расположение атомов, и выйдет что-нибудь другое; и все другое, что выйдет, будет также здоровое, потому что основные элементы здоровы. Откуда же здоровое свойство этой грязи? обратите внимание на положение этой поляны: вы видите, что вода здесь имеет сток, и потому здесь не может быть гнилости.

— Да, движение есть реальность,— говорит Алексей Петрович,— потому что движение — это жизнь, а реальность и жизнь одно и то же. Но жизнь имеет главным своим элементом труд, а потому главный элемент реальности — труд, и самый верный признак реальности — дельность.

— Так видите, Алексей Петрович, когда солнце станет согревать эту грязь и теплота станет перемещать ее элементы в более сложные химические сочетания, то есть в сочетания высших форм, колос, который вырастает из этой грязи от солнечного света, будет здоровый колос.

— Да, потому что это грязь реальной жизни,— говорит Алексей Петрович.

— Теперь перейдем на эту поляну. Берем и здесь растение, также рассматриваем его корень. Он также загрязнен. Обратите внимание на характер этой грязи. Нетрудно заметить, что это грязь гнилая.

— То есть фантастическая грязь, по научной терминологии,— говорит Алексей Петрович.

— Так; элементы этой грязи находятся в нездоровом состоянии. Натурально, что, как бы они ни перемещались и какие бы другие вещи, непохожие на грязь, ни выходили из этих элементов, все эти вещи будут нездоровые, дрянные.

— Да, потому что самые элементы нездоровы,— говорит Алексей Петрович.

— Нам нетрудно будет открыть причину этого нездоровья...

— То есть этой фантастической гнилости,— говорит Алексей Петрович.

— Да, гнилости этих элементов, если мы обратим внимание на положение этой поляны. Вы видите, вода не имеет стока из нее, потому застаивается, гниет.

— Да, отсутствие движения есть отсутствие труда,— говорит Алексей Петрович,— потому что труд представляется в антропологическом анализе коренною формою движения, дающею основание и содержание всем другим формам: развлечению, отдыху, забаве, веселью; они без предшествующего труда не имеют реальности. А без движения нет жизни, то есть реальности, потому это грязь фантастическая, то есть гнилая. До недавнего времени не знали, как возвращать здоровье таким полянам; но теперь открыто средство; это — дренаж: лишняя вода сбегает по канавам, остается воды сколько нужно, и она движется, и поляна получает реальность. Но пока это средство не применено, эта грязь остается фантастическою, то есть гнилою, а на ней не может быть хорошей растительности; между тем как очень натурально, что на грязи реальной являются хорошие растения, так как она грязь здоровая. Что и требовалось доказать: o-e-a-a-dum, как говорится по-латине.

Как говорится по-латине «что и требовалось доказать», Вера Павловна не может расслушать.

— А у вас, Алексей Петрович, есть охота забавляться кухонною латинью и силлогистикою,— говорит миленький, то есть муж.

Вера Павловна подходит к ним и говорит:

— Да полноте вам толковать о своих анализах, тожествах и антропологизмах, пожалуйста, господа, что-нибудь другое, чтоб и я могла участвовать в разговоре, или лучше давайте играть.

— Давайте играть,— говорит Алексей Петрович,— давайте исповедоваться.

— Давайте, давайте, это будет очень весело,— говорит Вера Павловна,— но вы подали мысль, вы покажите и пример исполнения.

— С удовольствием, сестра моя,— говорит Алексей Петрович,— но вам сколько лет, милая сестра моя, осьмнадцать?

— Скоро будет девятнадцать.

— Но еще нет; потому положим осьмнадцать, и будем все исповедоваться до осьмнадцати лет, потому что нужно равенство условий. Я буду исповедоваться за себя и за жену. Мой отец был дьячок в губернском городе и занимался переплетным мастерством, а мать пускала на квартиру семинаристов. С утра до ночи отец и мать все хлопотали и толковали о куске хлеба.

Отец выпивал, но только когда приходилась нужда невтерпеж,— это реальное горе, или когда доход был порядочный; тут он отдавал матери все деньги и говорил: «Ну, матушка, теперь, слава богу, на два месяца нужды не увидишь; а я себе полтинничек оставил, на радости выпью» — это реальная радость. Моя мать часто сердилась, иногда бивала меня, но тогда, когда у нее, как она говорила, отнималась поясница от тасканья корчаг и чугунов, от мытья белья на нас пятерых и на пять человек семинаристов, и мытья полов, загрязненных нашими двадцатью ногами, не носившими калош, и ухода за коровой; это — реальное раздражение нерв чрезмерною работою без отдыха; и когда, при всем этом, «концы не сходились», как она говорила, то есть не хватало денег на покупку сапог кому-нибудь из нас, братьев, или на башмаки сестрам,— тогда она бивала нас. Она и ласкала нас, когда мы, хоть глупенькие дети, сами вызывались помогать ей в работе, или когда мы делали что-нибудь другое умное, или когда выдавалась ей редкая минута отдохнуть, и ее «поясницу отпускало», как она говорила,— это все реальные радости...

— Ах, довольно ваших реальных горестей и радостей,— говорит Вера Павловна.

— В таком случае извольте слушать исповедь за Наташу.

— Не хочу слушать: в ней такие же реальные горести и радости,— знаю.

— Совершенная правда.

— Но, быть может, вам интересно будет выслушать мою исповедь,— говорит Серж, неизвестно откуда взявшийся.

— Посмотрим,— говорит Вера Павловна.

— Мой отец и мать, хотя были люди богатые, тоже вечно хлопотали и толковали о деньгах; и богатые люди не свободны от таких же забот...

— Вы не умеете исповедоваться, Серж,— любезно говорит Алексей Петрович,— вы скажите, почему они хлопотали о деньгах, какие расходы их беспокоили, каким потребностям затруднялись они удовлетворять?

— Да, конечно, я понимаю, к чему вы спрашиваете,— говорит Серж,— но оставим этот предмет, обратимся к другой стороне их мыслей. Они также заботились о детях.

— А кусок хлеба был обеспечен их детям? — спрашивает Алексей Петрович.

— Конечно; но должно было позаботиться о том, чтобы...

— Не исповедуйтесь, Серж! — говорит Алексей Петрович,— мы знаем вашу историю; заботы об излишнем, мысли

о ненужном — вот почва, на которой вы выросли; эта почва фантастическая. Потому, посмотрите вы на себя: вы от природы человек и не глупый, и очень хороший, быть может, не хуже и не глупее нас, а к чему же вы пригодны, на что вы полезны?

— Пригоден на то, чтобы провожать Жюли повсюду, куда она берет меня с собою; полезен на то, чтобы Жюли могла кутить,— отвечает Серж.

— Из этого мы видим,— говорит Алексей Петрович,— что фантастическая или нездоровая почва...

— Ах, как вы надоели с вашею реальностью и фантастичностью! Давно понятно, а они продолжают толковать! — говорит Вера Павловна.

— Так не хочешь ли потолковать со мною? — говорит Марья Алексевна, тоже неизвестно откуда взявшаяся.— Вы, господа, удалитесь, потому что мать хочет говорить с дочерью.

Все исчезают. Верочка видит себя наедине с Марьей Алексевною. Лицо Марьи Алексевны принимает насмешливое выражение.

— Вера Павловна, вы образованная дама, вы такая чистая и благородная,— говорит Марья Алексевна, и голос ее дрожит от злобы,— вы такая добрая... как же мне, грубой и злой пьянице, разговаривать с вами? У вас, Вера Павловна, злая и дурная мать; а позвольте вас спросить, сударыня, о чем эта мать заботилась? о куске хлеба; это, по-вашему, по-ученому, реальная, истинная, человеческая забота, не правда ли? Вы слышали ругательства, вы видели дурные дела и низости; а позвольте вас спросить, какую цель они имели? пустую, вздорную? Нет, сударыня. Нет, сударыня, какова бы ни была жизнь вашего семейства, но это была не пустая, фантастическая жизнь. Видите, Вера Павловна, я выучилась говорить по-вашему, по-ученому. Но вам, Вера Павловна, прискорбно и стыдно, что ваша мать дурная и злая женщина? Вам угодно, Вера Павловна, чтоб я была доброю и честною женщиною? Я ведьма, Вера Павловна, я умею колдовать, я могу исполнить ваше желание. Извольте смотреть, Вера Павловна, ваше желание исполняется: я, злая, исчезаю; смотрите на добрую мать и ее дочь.

Комната. У порога храпит пьяный, небритый, гадкий мужчина. Кто — это нельзя узнать, лицо наполовину закрыто рукою, наполовину покрыто синяками. Кровать. На кровати женщина,— да, это Марья Алексевна, только добрая! зато какая она бледная, дряхлая в свои сорок пять лет, какая изнурен-

ная! У кровати девушка лет восемнадцати, да это я сама, Верочка; только какая же я образованная? Да что это? у меня и цвет лица какой-то желтый, да и черты грубее, да и комната какая бедная! Мебели почти нет. «Верочка, друг мой, ангел мой,— говорит Марья Алексевна,— приляг, отдохни, сокровище, ну что на меня смотреть, я и так полежу. Ведь ты третью ночь не спишь».

— Ничего, маменька, я не устала,— говорит Верочка.

— А мне все не лучше, Верочка; как-то ты без меня останешься? У отца жалованьишко маленькое, и сам-то он плохая тебе опора. Ты девушка красивая; злых людей на свете много. Предостеречь тебя будет некому. Боюсь я за тебя.— Верочка плачет.

— Милая моя, ты не огорчись, я тебе не в укор это скажу, а в предостереженье: ты зачем в пятницу из дому уходила, за день перед тем, как я разнемоглась? — Верочка плачет.

— Он тебя обманет, Верочка, брось ты его.

— Нет, маменька.

Два месяца. Как это, в одну минуту, прошли два месяца? Сидит офицер. На столе перед офицером бутылка. На коленях у офицера она, Верочка.

Еще два месяца прошли в одну минуту.

Сидит барыня. Перед барынею стоит она, Верочка.

— А гладить умеешь, милая?

— Умею.

— А из каких ты, милая? крепостная или вольная?

— У меня отец чиновник.

— Так из благородных, милая? Так я тебя нанять не могу. Какая же ты будешь слуга? Ступай, моя милая, не могу.

Верочка на улице.

— Мамзель, а мамзель,— говорит какой-то пьяноватый юноша,— вы куда идете? Я вас провожу.— Верочка бежит к Неве.

— Что, моя милая, насмотрелась, какая ты у доброй-то матери была? — говорит прежняя, настоящая Марья Алексевна.— Хорошо я колдовать умею? Аль не угадала? Что молчишь? Язык-то есть? Да я из тебя слова-то выжму: вишь ты, нейдут с языка-то! По магазинам ходила?

— Ходила,— отвечает Верочка, а сама дрожит.

— Видала? Слыхала?

— Да.

— Хорошо им жить? Ученые они? Книжки читают, об новых ваших порядках думают, как бы людям добро делать? Думают, что ли? — говори!

Верочка молчит, а сама дрожит.

— Эк из тебя и слова-то нейдут. Хорошо им жить? — спрашиваю.

Верочка молчит, а сама холодеет.

— Нейдут из тебя слова-то. Хорошо им жить? — спрашиваю; хороши они? — спрашиваю; такой хотела бы быть, как они? — Молчишь! рыло-то воротишь! — Слушай же ты, Верка, что я скажу. Ты ученая — на мои воровские деньги учена. Ты об добром думаешь, а как бы я не злая была, так бы ты и не знала, что такое добром называется. Понимаешь? *Все* от меня, *моя* ты дочь, понимаешь? *Я* тебе мать.

Верочка и плачет, и дрожит, и холодеет.

— Маменька, чего вы от меня хотите? Я не могу любить вас.

— А я разве прошу: полюби?

— Мне хотелось бы, по крайней мере, уважать вас; но я и этого не могу.

— А я нуждаюсь в твоем уважении?

— Что же вам нужно, маменька? Зачем вы пришли ко мне так страшно говорить со мною? Чего вы хотите от меня?

— Будь признательна, неблагодарная. Не люби, не уважай. Я злая: что меня любить? Я дурная: что меня уважать? Но ты пойми, Верка, что кабы я не такая была, и ты бы не такая была. Хорошая ты — от меня дурной; добрая ты — от меня злой. Пойми, Верка, благодарна будь.

— Уйдите, Марья Алексевна, теперь я поговорю с сестрицею.

Марья Алексевна исчезает.

Невеста своих женихов, сестра своих сестер берет Верочку за руку.

— Верочка, я хотела всегда быть доброй с тобой, ведь ты добрая, а я такова, каков сам человек, с которым я говорю. Но ты теперь грустная,— видишь, и я грустная; посмотри, хороша ли я грустная?

— Все-таки лучше всех на свете.

— Поцелуй меня, Верочка, мы вместе огорчены. Ведь твоя мать говорила правду. Я не люблю твою мать, но она мне нужна.

— Разве без нее нельзя вам?

— После будет можно, когда не нужно будет людям быть злыми. А теперь нельзя. Видишь, добрые не могут сами стать на ноги, злые сильны, злые хитры. Но видишь, Верочка, злые бывают разные: одним нужно, чтобы на свете становилось

хуже, другим, тоже злым, чтобы становилось лучше: так нужно для их пользы. Видишь, твоей матери было нужно, чтобы ты была образованная: ведь она брала у тебя деньги, которые ты получала за уроки; ведь она хотела, чтоб ее дочь поймала богатого зятя ей, а для этого ей было нужно, чтобы ты была образованная. Видишь, у нее были дурные мысли, но из них выходила польза человеку: ведь тебе вышла польза? А у других злых не так. Если бы твоя мать была Анна Петровна, разве ты училась бы так, чтобы ты стала образованная, узнала добро, полюбила его? Нет, тебя бы не допустили узнать что-нибудь хорошее, тебя бы сделали куклой,— так? Такой матери нужна дочь-кукла, потому что она сама кукла и все играет с куклами в куклы. А твоя мать человек дурной, но все-таки человек, ей было нужно, чтобы ты не была куклой. Видишь, как злые бывают разные? Одни мешают мне: ведь я хочу, чтобы люди стали людьми, а они хотят, чтобы люди были куклами. А другие злые помогают мне,— они не хотят помогать мне, но дают простор людям становиться людьми, они собирают средства людям становиться людьми. А мне только этого и нужно. Да, Верочка, теперь мне нельзя без таких злых, которые были бы против других злых. Мои злые — злы, но под их злою рукою растет добро. Да, Верочка, будь признательна к своей матери. Не люби ее, она злая, но ты ей всем обязана, знай это: без нее не было бы тебя.

— И всегда так будет? Нет, так не будет?

— Да, Верочка, после так не будет. Когда добрые будут сильны, мне не нужны будут злые. Это скоро будет, Верочка. Тогда злые увидят, что им нельзя быть злыми; и те злые, которые были людьми, станут добрыми: ведь они были злыми только потому, что им вредно было быть добрыми, а ведь они знают, что добро лучше зла, они полюбят его, когда можно будет любить его без вреда.

— А те злые, которые были куклами, что с ними будет? Мне и их жаль.

— Они будут играть в другие куклы, только уж в безвредные куклы. Но ведь у них не будет таких детей, как они: ведь у меня все люди будут людьми; и их детей я выучу быть не куклами, а людьми.

— Ах, как это будет хорошо!

— Да, но и теперь хорошо, потому что готовится это хорошее; по крайней мере, тем и теперь очень хорошо, кто готовит его. Когда ты, Верочка, помогаешь кухарке готовить обед, ведь в кухне душно, чадно, а ведь тебе хорошо, нужды нет, что

душно и чадно? Всем хорошо сидеть за обедом, но лучше всех тому, кто помогал готовить его: тому он вдвое вкуснее. А ты любишь сладко покушать, Верочка, правда?

— Правда,— говорит Верочка и улыбается, что уличена в любви к сладким печеньям и в хлопотах над ними в кухне.

— Так о чем же грустить? Да ты уж и не грустишь.

— Какая вы добрая!

— И веселая, Верочка, я всегда веселая, и когда грустная, все-таки веселая. Правда?

— Да, когда мне грустно, вы придете тоже как будто грустная, а всегда сейчас прогоните грусть; с вами весело, очень весело.

— А помнишь мою песенку: donc vivons?

— Помню.

— Давай же петь.

— Давайте.

— Верочка! Да я разбудил тебя? Впрочем, уж чай готов. Я было испугался: слышу, ты стонешь, вошел, ты уже поешь.

— Нет, мой миленький, не разбудил, я сама бы проснулась. А какой я сон видела, миленький, я тебе расскажу за чаем. Ступай, я оденусь. А как вы смели войти в мою комнату без дозволения, Дмитрий Сергеич? Вы забываетесь. Испугался за меня, мой миленький? подойди, я тебя поцелую за это. Поцеловала; ступай же, ступай, мне надо одеваться.

— Да уж так и быть, давай я тебе прислужу вместо горничной.

— Ну, пожалуй, миленький; только как это стыдно!

IV

Мастерская Веры Павловны устроилась. Основания были просты, вначале даже так просты, что нечего о них и говорить. Вера Павловна не сказала своим трем первым швеям ровно ничего, кроме того, что даст им плату несколько, немного побольше той, какую швеи получают в магазинах; дело не представляло ничего особенного; швеи видели, что Вера Павловна женщина не пустая, не легкомысленная, потому без всяких недоумений приняли ее предложение работать у ней; не над чем было недоумевать, что небогатая дама хочет завести швейную. Эти три девушки нашли еще трех или четырех, выбрали их с тою осмотрительностью, о которой просила Вера

Павловна; в этих условиях выбора тоже не было ничего возбуждающего подозрение, то есть ничего особенного: молодая и скромная женщина желает, чтобы работницы в мастерской были девушки прямодушного, доброго характера, рассудительные, уживчивые, что же тут особенного? не хочет ссор, и только; поэтому умно, и больше ничего. Вера Павловна сама познакомилась с этими выбранными, хорошо познакомилась, прежде чем сказала, что принимает их, это натурально; это тоже рекомендует ее как женщину основательную, и только. Думать тут не над чем, не доверять нечему.

Таким образом проработали месяц, получая в свое время условленную плату. Вера Павловна постоянно была в мастерской, и уже они успели узнать ее очень близко как женщину расчетливую, осмотрительную, рассудительную, при всей ее доброте, так что она заслужила полное доверие. Особенного тут ничего не было и не предвиделось, а только то, что хозяйка — хорошая хозяйка, у которой дело пойдет: умеет вести.

Но когда кончился месяц, Вера Павловна пришла в мастерскую с какою-то счетною книгою, попросила своих швей прекратить работу и послушать, что она будет говорить.

Стала говорить она самым простым языком вещи понятные, очень понятные, но каких от нее, да и ни от кого прежде, не слышали ее швеи.

— Вот мы теперь хорошо знаем друг друга,— начала она,— я могу про вас сказать, что вы и хорошие работницы, и хорошие девушки. А вы про меня не скажете, чтобы я была какая-нибудь дура. Значит, можно мне теперь поговорить с вами откровенно, какие у меня мысли. Если вам представится что-нибудь странно в них, так вы теперь уже подумаете об этом хорошенько, а не скажете с первого же раза, что у меня мысли пустые, потому что знаете меня как женщину не какую-нибудь пустую. Вот какие мои мысли.

Добрые люди говорят, что можно завести такие швейные мастерские, чтобы швеям было работать в них много выгоднее, чем в тех мастерских, которые мы все знаем. Мне и захотелось попробовать. Судя по первому месяцу, кажется, что, точно, можно. Вы получали плату исправно, а вот я вам скажу, сколько, кроме этой платы и всех других расходов, осталось у меня денег в прибыли.— Вера Павловна прочла счет прихода и расхода за месяц. В расход были поставлены, кроме выданной платы, все другие издержки: на наем комнаты, на освещение, даже издержки Веры Павловны на извозчика по делам мастерской, около рубля.

— Вы видите,— продолжала она,— у меня в руках остается столько-то денег. Теперь: что делать с ними! Я завела мастерскую затем, чтобы эти прибыльные деньги шли в руки тем самым швеям, за работу которых получены. Потому и раздаю их вам; на первый раз всем поровну, каждой особо. После посмотрим, так ли лучше распоряжаться ими, или можно еще как-нибудь другим манером, еще выгоднее для вас.— Она раздала деньги.

Швеи несколько времени не могли опомниться от удивления, потом начали благодарить. Вера Павловна дала им довольно поговорить о их благодарности за полученные деньги, чтобы не обидеть отказом слушать, похожим на равнодушие к их мнению и расположению; потом продолжала:

— Теперь надобно мне рассказать вам самую трудную вещь изо всего, о чем придется нам когда-нибудь говорить, и не знаю, сумею ли рассказать ее хорошенько. А все-таки поговорить надобно. Зачем я эти деньги не оставила у себя и какая охота была мне заводить мастерскую, если не брать от нее дохода? Мы с мужем живем, как вы знаете, без нужды: люди не богатые, но всего у нас довольно. А если бы мне чего было мало, мне стоило бы мужу сказать, да и говорить бы не надобно, он бы сам заметил, что мне нужно больше денег, и было бы у меня больше денег. Он теперь занимается не такими делами, которые выгоднее, а такими, которые ему больше нравятся. Но ведь мы с ним друг друга очень любим, и ему всего приятнее делать то, что для меня приятно, все равно как и мне для него. Поэтому, если бы мне недоставало денег, он занялся бы такими делами, которые выгоднее нынешних его занятий, а он сумел бы найти, потому что он человек умный и оборотливый,— ведь вы его несколько знаете. А если он этого не делает, значит, мне довольно и тех денег, которые у нас с ним есть. Это потому, что у меня нет большого пристрастия к деньгам; ведь вы знаете, что у разных людей разные пристрастия, не у всех же только к деньгам: у иных пристрастие к балам, у других — к нарядам или картам, и все такие люди готовы даже разориться для своего пристрастия, и многие разоряются, и никто этому не дивится, что их пристрастие им дороже денег. А у меня пристрастие вот к тому, чем заняться я с вами пробую, и я на свое пристрастие не то что не разоряюсь, а даже и вовсе не трачу никаких денег, только что рада им заниматься и без дохода от него себе. Что ж, по-моему, тут нет ничего странного: кто же от своего пристрастия ищет дохода? Всякий еще деньги на него тратит.

А я и того не делаю, не трачу. Значит, мне еще большая выгода перед другими, если я своим пристрастием занимаюсь и нахожу себе удовольствие без убытка себе, когда другим их удовольствие стоит денег. Почему ж у меня это пристрастие? — Вот почему. Добрые и умные люди написали много книг о том, как надобно жить на свете, чтобы всем было хорошо; и тут самое главное,— говорят они,— в том, чтобы мастерские завести по новому порядку. Вот мне и хочется посмотреть, сумеем ли мы с вами завести такой порядок, какой нужно. Это все равно, как иному хочется выстроить хороший дом, другому — развести хороший сад или оранжерею, чтобы на них любоваться; так вот мне хочется завести хорошую швейную мастерскую, чтобы весело было любоваться на нее.

Конечно, уж и то было бы порядочно, если бы я стала только каждый месяц раздавать вам прибыль, как теперь. Но умные люди говорят, что можно сделать еще гораздо лучше, так что и прибыли будет больше, и можно выгоднее делать употребление из нее. Говорят, будто можно устроить очень хорошо. Вот мы посмотрим. Я буду вам понемногу рассказывать, что еще можно сделать, по словам умных людей, да вы и сами будете присматриваться, так будете замечать, и как вам покажется, что можно сделать что-нибудь хорошее, мы и будем пробовать это делать,— понемножечку, как можно будет. Но только надобно вам сказать, что я без вас ничего нового не стану заводить. Только то и будет новое, чего вы сами захотите. Умные люди говорят, что только то и выходит хорошо, что люди сами захотят делать. И я так думаю. Стало быть, вам не для чего бояться нового, все будет по-старому, кроме того, что сами вы захотите переменить. Без вашего желания ничего не будет.

А вот теперь мое последнее хозяйское распоряжение без вашего совета. Вы видите, надобно вести счеты и смотреть за тем, чтобы не было лишних расходов. В прошлый месяц я одна это делала; а теперь одна делать не хочу. Выберите двух из себя, чтоб они занимались этим вместе со мною. Я без них ничего не буду делать. Ведь ваши деньги, а не мои, стало быть, вам надобно и смотреть за ними. Теперь это дело еще новое; неизвестно, кто из вас больше способен к нему, так для пробы надобно сначала выбрать на короткое время, а через неделю увидите, других ли выбрать или оставить прежних в должности.

Долгие разговоры были возбуждены этими необыкновенными словами. Но доверие было уже приобретено Верою Павловною; да и говорила она просто, не заходя далеко вперед, не рисуя никаких особенно заманчивых перспектив, которые после минутного восторга рождают недоверие. Потому девушки не сочли ее помешанною, а только и было нужно, чтобы не сочли помешанною. Дело пошло понемногу.

Конечно, понемногу. Вот короткая история мастерской за целые три года, в которые эта мастерская составляла главную сторону истории самой Веры Павловны.

Девушки, из которых образовалась основа мастерской, были выбраны осмотрительно, были хорошие швеи, были прямо заинтересованы в успехе работы; потому, натуральным образом, работа шла очень успешно. Мастерская не теряла ни одной из тех дам, которые раз пробовали сделать ей заказ. Явилась некоторая зависть со стороны нескольких магазинов и швейных, но это не произвело никакого влияния, кроме того, что, для устранения всяких придирок, Вере Павловне очень скоро понадобилось получить право иметь на мастерской вывеску. Скоро заказов стало получаться больше, нежели могли исполнять девушки, с самого начала вошедшие в мастерскую, и состав ее постепенно увеличивался. Через полтора года в ней было до двадцати девушек, потом и больше.

Одно из первых последствий того, что окончательный голос по всему управлению дан был самим швеям, состояло в решении, которого и следовало ожидать: в первый же месяц управления девушки определили, что не годится самой Вере Павловне работать без вознаграждения. Когда они объявили ей об этом, она сказала, что и действительно так следует. Хотели дать ей третью часть прибыли. Она откладывала ее несколько времени в сторону, пока растолковала девушкам, что это противно основной мысли их порядка. Они довольно долго не могли понять этого; но потом согласились, что Вера Павловна отказывается от особенной доли прибыли не из самолюбия, а потому, что так нужно по сущности дела. К этому времени мастерская приняла уже такой размер, что Вера Павловна не успевала одна быть закройщицею, надобно было иметь еще другую; Вере Павловне положили такое жалованье, как другой закройщице. Деньги, которые прежде откладывала она из прибыли, теперь были приняты назад в кассу по ее просьбе, кроме того, что следовало ей как закройщице; остальные пошли на устройство банка. Около года Вера Павловна большую часть дня проводила в мастерской и

работала действительно не меньше всякой другой по количеству времени. Когда она увидела возможность быть в мастерской уже не целый день, плата ей была уменьшаема, как уменьшалось время ее занятий.

Как делить прибыль? Вере Павловне хотелось довести до того, чтобы прибыль делилась поровну между всеми. До этого дошли только в половине третьего года, а прежде того перешли через несколько разных ступеней, начиная с раздела прибыли пропорционально заработной плате. Прежде всего увидели, что если девушка пропускала без работы несколько дней по болезни или другим уважительным причинам, то нехорошо за это уменьшать ее долю из прибыли, которая ведь приобретена не собственно этими днями, а всем ходом работ и общим состоянием мастерской. Потом согласились, что закройщицы и другие девушки, получающие особую плату по развозу заказов и другим должностям, уже довольно вознаграждаются своим особенным жалованьем и что несправедливо им брать больше других еще и из прибыли. Простые швеи, не занимавшие должностей, были так деликатны, что не требовали этой перемены, когда заметили несправедливость прежнего порядка, ими же заведенного: сами должностные лица почувствовали неловкость пользоваться лишним и отказались от него, когда достаточно поняли дух нового порядка. Надобно, впрочем, сказать, что эта временная деликатность — терпения одних и отказа других — не представляла особенного подвига, при постоянном улучшении дел тех и других. Труднее всего было развить понятие о том, что простые швеи должны все получать одинаковую долю из прибыли, хотя одни успевают зарабатывать больше жалованья, чем другие, что швеи, работающие успешнее других, уже достаточно вознаграждаются за успешность своей работы тем, что успевают зарабатывать больше платы. Это и была последняя перемена в распределении прибыли, сделанная уже в половине третьего года, когда мастерская поняла, что получение прибыли — не вознаграждение за искусство той или другой личности, а результат общего характера мастерской,— результат ее устройства, ее цели, а цель эта — всевозможная одинаковость пользы от работы для всех, участвующих в работе, каковы бы ни были личные особенности; что от этого характера мастерской зависит все участие работающих в прибыли; а характер мастерской, ее дух, порядок составляется единодушием всех, а для единодушия одинаково важна всякая участница: молчаливое согласие самой застенчивой или наименее даровитой не

менее полезно для сохранения и развития порядка, полезного для всех, для успеха всего дела, чем деятельная хлопотливость самой бойкой или даровитой.

Я пропускаю множество подробностей, потому что не описываю мастерскую, а только говорю о ней лишь в той степени, в какой это нужно для обрисовки деятельности Веры Павловны. Если я упоминаю о некоторых частностях, то единственно затем, чтобы видно было, как поступала Вера Павловна, как она вела дело шаг за шагом, и терпеливо, и неутомимо, и как твердо выдерживала свое правило: не распоряжаться ничем, а только советовать, объяснять, предлагать свое содействие, помогать исполнению решенного ее компаниею.

Прибыль делилась каждый месяц. Сначала каждая девушка брала всю ее и расходовала отдельно от других: у каждой были безотлагательные надобности и не было привычки действовать дружно. Когда от постоянного участия в делах они приобрели навык соображать весь ход работ в мастерской, Вера Павловна обратила их внимание на то, что в их мастерстве количество заказов распределяется по месяцам года очень неодинаково и что в месяцы особенно выгодные недурно было бы отлагать часть прибыли для уравнения невыгодных месяцев. Счеты велись очень точные, девушки знали, что если кто из них покинет мастерскую, то без задержки получит свою долю, остающуюся в кассе. Потому они согласились на предложение. Образовался небольшой запасный капитал, он постепенно рос; начали приискивать разные употребления ему. С первого же раза все поняли, что из него можно делать ссуды тем участницам, которым встречается экстренная надобность в деньгах, и никто не захотел присчитывать проценты на занятые деньги: бедные люди имеют понятие, что хорошее денежное пособие бывает без процентов. За учреждением этого банка последовало основание комиссионерства для закупок: девушки нашли выгодным покупать чай, кофе, сахар, обувь, многие другие вещи через посредство мастерской, которая брала товары не по мелочи, стало быть, дешевле. От этого через несколько времени пошли дальше: сообразили, что выгодно будет таким порядком устроить покупку хлеба и других припасов, которые берутся каждый день в булочных и мелочных лавочках; но тут же увидели, что для этого надобно всем жить по соседству: стали собираться по нескольку на одну квартиру, выбирать квартиры подле мастерской. Тогда явилось у мастерской свое агентство по делам с булочною и мелочною лавочкою. А года через полтора почти все девушки уже жили

на одной большой квартире, имели общий стол, запасались провизиею тем порядком, как делается в больших хозяйствах.

Половина девушек были существа одинокие. У некоторых были старухи родственницы, матери или тетки; две содержали стариков отцов; у многих были маленькие братья или сестры. По этим родственным отношениям три девушки не могли поселиться на общей квартире: у одной мать была неуживчивого характера; у другой мать была чиновница и не хотела жить вместе с мужичками, у третьей отец был пьяница. Они пользовались только услугами агентства; точно так же и те швеи, которые были не девушки, а замужние женщины. Но, кроме трех, все остальные девушки, имевшие родственников на своих руках, жили на общей квартире. Сами они жили в одних комнатах, по две, по три в одной; их родственники или родственницы расположились по своим удобствам: у двух старух были особые комнаты у каждой, остальные старухи жили вместе. Для маленьких мальчиков была своя комната, две другие для девочек. Положено было, что мальчики могут оставаться тут до восьми лет; тех, кому было больше, размещали по мастерствам.

Всему велся очень точный счет, чтобы вся компания жила твердою мыслью, что никто ни у кого не в обиде, никто никому не в убыток. Расчеты одиноких девушек по квартире и столу были просты. После нескольких колебаний определили считать за брата или сестру до восьми лет четвертую часть расходов взрослой девицы, потом содержание девочки до двенадцати лет считалось за третью долю, с двенадцати — за половину содержания сестры ее, с тринадцати лет девочки поступали в ученицы в мастерскую, если не пристраивались иначе, и положено было, что с шестнадцати лет они становятся полными участницами компании, если будут признаны выучившимися хорошо шить. За содержание взрослых родных считалось, разумеется, столько же, как за содержание швей. За отдельные комнаты была особая плата. Почти все старухи и все три старика, жившие в мастерской-квартире, занимались делами по кухне и другим хозяйственным вещам; за это, конечно, считалась им плата.

Все это очень скоро рассказывается на словах, да и на деле показалось очень легко, просто, натурально, когда устроилось. Но устраивалось медленно, и каждая новая мера стоила очень многих рассуждений, каждый переход был следствием целого ряда хлопот. Было бы слишком длинно и сухо говорить о других сторонах порядка мастерской так же подробно,

как о разделе и употреблении прибыли; о многом придется вовсе не говорить, чтобы не наскучить, о другом лишь слегка упомянуть; например, что мастерская завела свое агентство продажи готовых вещей, работанных во время, не занятое заказами,— отдельного магазина она еще не могла иметь, но вошла в сделку с одною из лавок Гостиного двора, завела маленькую лавочку в Толкучем рынке,— две из старух были приказчицами в лавочке. Но надобно несколько подробнее сказать об одной стороне жизни мастерской.

Вера Павловна с первых же дней стала приносить книги. Сделав свои распоряжения, она принималась читать вслух, читала полчаса, час, если раньше не перерывала ее надобность опять заняться распоряжениями. Потом девушки отдыхали от слушания; потом опять чтение и опять отдых. Нечего и говорить, что девушки с первых же дней пристрастились к чтению, некоторые были охотницы до него и прежде. Через две-три недели чтение во время работы приняло регулярный вид. Через три-четыре месяца явилось несколько мастериц читать вслух; было положено, что они будут сменять Веру Павловну, читать по получасу, и что этот получас зачитывается им за работу. Когда с Веры Павловны была снята обязанность читать вслух, Вера Павловна, уже и прежде заменявшая иногда чтение рассказами, стала рассказывать чаще и больше; потом рассказы обратились во что-то похожее на легкие курсы разных знаний. Потом,— это было очень большим шагом,— Вера Павловна увидела возможность завесть и правильное преподавание: девушки стали так любознательны, а работа их шла так успешно, что они решили делать среди рабочего дня, перед обедом, большой перерыв для слушания уроков.

— Алексей Петрович,— сказала Вера Павловна, бывши однажды у Мерцаловых,— у меня есть к вам просьба. Наташа уж на моей стороне. Моя мастерская становится лицеем всевозможных знаний. Будьте одним из профессоров.

— Что ж я стану им преподавать? разве латинский и греческий, или логику и риторику? — сказал, смеясь, Алексей Петрович.— Ведь моя специальность не очень интересна, по вашему мнению и еще по мнению одного человека, про которого я знаю, кто он.

— Нет, вы необходимы именно как специалист: вы будете служить щитом благонравия и отличного направления наших наук.

— А ведь это правда. Вижу, без меня было бы неблагонравно. Назначайте кафедру.

— Например, русская история, очерки из всеобщей истории.

— Превосходно. Но это я буду читать, а будет предполагаться, что я специалист. Отлично. Две должности: профессор и щит.

Наталья Андревна, Лопухов, два-три студента, сама Вера Павловна были другими профессорами, как они в шутку называли себя.

Вместе с преподаванием устраивались и развлечения. Бывали вечера, бывали загородные прогулки; сначала изредка, потом, когда было уже побольше денег, то и чаще; брали ложи в театре. На третью зиму было абонировано десять мест в боковых местах итальянской оперы.

Сколько было радости, сколько счастья Вере Павловне; очень много трудов и хлопот, были и огорчения. Особенно сильно подействовало не только на нее, но и на весь кружок несчастие одной из лучших девушек мастерской. Сашенька Прибыткова, одна из тех трех швей, которых нашла сама Вера Павловна, была очень недурна, была очень деликатна. У ней был жених, добрый, хороший молодой человек, чиновник. Однажды она шла по улице, довольно поздно. К ней пристал какой-то господин. Она ускорила шаг. Он за нею, схватил ее за руку. Она рванулась и вырвалась; но движением вырвавшейся руки задела его по груди, на тротуаре зазвенели оторвавшиеся часы любезного господина. Любезный господин схватил Прибыткову уже с апломбом и чувством законного права и закричал: «Воровство! будочник!» Прибежали два будочника и отвели Прибыткову на съезжую. В мастерской три дня ничего не знали о ее судьбе и не могли придумать, куда она пропала. На четвертый день добрый солдат, один из служителей при съезжей, принес Вере Павловне записку от Прибытковой. Тотчас же Лопухов отправился хлопотать. Ему наговорили грубостей, он наговорил их вдвое и отправился к Сержу. Серж и Жюли были на каком-то далеком и большом пикнике и возвратились только на другой день. Через два часа после того, как возвратился Серж, частный пристав извинился перед Прибытковой, поехал извиняться перед ее женихом. Но жениха он не застал. Жених уже был накануне у Прибытковой на съезжей, узнал от задержавших ее будоч-

ников имя франта, пришел к нему, вызвал его на дуэль; до вызова франт извинялся в своей ошибке довольно насмешливым тоном, а услышав вызов, расхохотался. Чиновник сказал: «Так вот от этого вызова не откажетесь»,— и ударил его по лицу; франт схватил палку, чиновник толкнул его в грудь; франт упал, на шум вбежала прислуга: барин лежал мертвый, он был ударен о землю сильно и попал виском на острый выступ резной подножки стола. Чиновник очутился в остроге, началось дело, и не предвиделось конца этому делу. Что дальше? дальше ничего, только с той поры жалко было смотреть на Прибыткову.

Было в мастерской еще несколько историй, не таких уголовных, но тоже невеселых: истории обыкновенные, те, от которых девушкам бывают долгие слезы, а молодым или пожилым людям недолгое, но приятное развлечение. Вера Павловна знала, что при нынешних понятиях и обстоятельствах эти истории неизбежны, что не может всегда предохранить от них никакая заботливость других о девушках, никакая осторожность самих девушек. Это то же, что в старину была оспа, пока не выучились предотвращать ее. Теперь кто пострадает от оспы, так уже виноват сам, а гораздо больше его близкие; а прежде было не то: некого было винить, кроме гадкого поветрия или гадкого города, села, да разве еще того человека, который, страдая оспою, прикоснулся к другому, а не заперся в карантин, пока выздоровеет. Так теперь с этими историями: когда-нибудь и от этой оспы люди избавят себя, даже и средство известно, только еще не хотят принимать его, все равно как долго, очень долго не хотели принимать и средства против оспы. Знала Вера Павловна, что это гадкое поветрие еще неотвратимо носится по городам и селам и хватает жертвы даже из самых заботливых рук; но ведь это еще плохое утешение, когда знаешь только, что «я в твоей беде не виновата, и ты, мой друг, в ней не виновата»; все-таки каждая из этих обыкновенных историй приносила Вере Павловне много огорчения, а еще гораздо больше дела: иногда нужно бывало искать, чтобы помочь; чаще искать не было нужды, надобно было только помогать: успокоить, восстановлять бодрость, восстановлять гордость, вразумлять, что «перестань плакать,— как перестанешь, так и не о чем будет плакать».

Но гораздо больше — о, гораздо больше! — было радости. Да все было радость, кроме огорчений; а ведь огорчения были только отдельными, да и редкими случаями: ныне, через полгода, огорчишься за одну, а в то же время радуешься за всех

других; а пройдет две-три недели, и за эту одну тоже уж можно опять радоваться. Светел и весел был весь обыденный ход дела, постоянно радовал Веру Павловну. А если и бывали иногда в нем тяжелые нарушения от огорчений, за них вознаграждали и особенные радостные случаи, которые встречались чаще огорчений: вот удалось очень хорошо пристроить маленьких сестру или брата той-другой девушки; на третий год две девушки выдержали экзамен на домашних учительниц,— ведь это было какое счастье для них! Было несколько разных таких хороших случаев. А чаще всего причиною веселья для всей мастерской и радости для Веры Павловны бывали свадьбы. Их бывало довольно много, и все были удачны. Свадьба устраивалась очень весело: много бывало вечеров и перед нею и после нее, много сюрпризов невесте от подруг по мастерской; из резервного фонда делалось ей приданое; но опять, сколько и хлопот бывало тут Вере Павловне,— полные руки, разумеется! Одно только сначала казалось мастерской неделикатно со стороны Веры Павловны: первая невеста просила ее быть посаженою матерью и не упросила; вторая тоже просила и не упросила. Чаще всего посаженою матерью бывала Мерцалова или ее мать, тоже очень хорошая дама, а Вера Павловна никогда: она и одевала, и провожала невесту в церковь, но только как одна из подруг. В первый раз подумали, что отказ был от недовольства чем-нибудь, но нет: Вера Павловна была очень рада приглашению, только не приняла его; во второй раз поняли, что это просто скромность: Вере Павловне не хотелось официально являться патроншею невесты. Да и вообще она всячески избегала всякого вида влияния, старалась выводить вперед других и успевала в этом, так что многие из дам, приезжавших в мастерскую для заказов, не различали ее от двух других закройщиц. А Вера Павловна чувствовала едва ли не самую приятную из всех своих радостей от мастерской, когда объясняла кому-нибудь, что весь этот порядок устроен и держится самими девушками; этими объяснениями она старалась убедить саму себя в том, что ей хотелось думать: что мастерская могла бы идти без нее, что могут явиться совершенно самостоятельно другие такие же мастерские и даже — почему же нет? — вот было бы хорошо! — это было бы лучше всего! — даже без всякого руководства со стороны кого-нибудь не из разряда швей, а исключительно мыслью и уменьем самих швей: это была самая любимая мечта Веры Павловны.

V

И вот таким образом прошло почти три года со времени основания мастерской, более трех лет со времени замужества Веры Павловны. Как тихо и деятельно прошли эти годы, как полны были они и спокойствия, и радости, и всего доброго.

Вера Павловна, проснувшись, долго нежится в постели; она любит нежиться, и немножко будто дремлет, и не дремлет, а думает, что надобно сделать; и так полежит, не дремлет и не думает — нет, думает: «Как тепло, мягко, хорошо, славно нежиться поутру»; так и нежится, пока из нейтральной комнаты,— нет, надобно сказать: одной из нейтральных комнат, теперь уже две их, ведь это уже четвертый год замужества,— муж, то есть «миленький», говорит: «Верочка, проснулась?» — «Да, миленький». Это значит, что муж может начинать делать чай: поутру он делает чай, и что Вера Павловна,— нет, в своей комнате она не Вера Павловна, а Верочка,— начинает одеваться. Как же долго она одевается! — нет, она одевается скоро, в одну минуту, но она долго плещется в воде, она любит плескаться, и потом долго причесывает волосы,— нет, не причесывает долго, это она делает в одну минуту, а долго так шалит ими, потому что она любит свои волосы; впрочем, иногда долго занимается она и одною из настоящих статей туалета — надеванием ботинок: у ней отличные ботинки; она одевается очень скромно, но ботинки ее страсть.

Вот она и выходит к чаю, обнимает мужа: «Каково почивал, миленький?», толкует ему за чаем о разных пустяках и непустяках; впрочем, Вера Павловна — нет, Верочка: она и за утренним чаем еще Верочка — пьет не столько чай, сколько сливки: чай только предлог для сливок, их больше половины чашки; сливки — это тоже ее страсть. Трудно иметь хорошие сливки в Петербурге, но Верочка отыскала действительно отличные, без всякой подмеси. У ней есть мечта иметь свою корову; что ж, если дела пойдут, как шли, это можно будет сделать через год. Но вот десять часов. Миленький уходит на уроки или на занятие: он служит в конторе одного фабриканта. Вера Павловна,— теперь она уже окончательно Вера Павловна до следующего утра,— хлопочет по хозяйству: ведь у ней одна служанка, молоденькая девочка, которую надобно учить всему; а только выучишь, надобно приучать новую к порядку: служанки не держатся у Веры Павловны,

все выходят замуж — полгода, немного больше, смотришь, Вера Павловна уж и шьет себе какую-нибудь пелеринку или рукавчики, готовясь быть посаженою матерью; тут уж нельзя отказаться — «как же, Вера Павловна, ведь вы сами все устроили, некому быть, кроме вас». Да, много хлопот по хозяйству. Потом надобно отправляться на уроки, их довольно много, часов десять в неделю: больше было бы тяжело, да и некогда. Перед уроками надобно довольно надолго зайти в мастерскую, возвращаясь с уроков, тоже надобно заглянуть в нее. А вот и обед с миленьким. За обедом довольно часто бывает кто-нибудь: один, много двое,— больше двоих нельзя; когда и двое обедают, уж надобно несколько хлопотать, готовить новое блюдо, чтобы достало кушанья. Если Вера Павловна возвращается усталая, обед бывает проще; она перед обедом сидит в своей комнате, отдыхая, и обед остается, какой был начат при ее помощи, а докончен без нее. Если же она возвращается не усталая, в кухне начинает кипеть дело, и к обеду является прибавка, какое-нибудь печенье, чаще всего что-нибудь такое, что едят со сливками, то есть что может служить предлогом для сливок. За обедом Вера Павловна опять рассказывает и расспрашивает, но больше рассказывает; да и как же не рассказывать? Сколько нового надобно сообщить об одной мастерской. После обеда сидит еще с четверть часа с миленьким, «до свиданья» — и расходятся по своим комнатам, и Вера Павловна опять на свою кроватку, и читает, и нежится; частенько даже спит, даже очень часто, даже чуть ли не наполовину дней спит час-полтора,— это слабость, и чуть ли даже не слабость дурного тона, но Вера Павловна спит после обеда, когда заснется, и даже любит, чтобы заснулось, и не чувствует ни стыда, ни раскаяния в этой слабости дурного тона. Встает, вздремнувши или так понежившись часа полтора-два, одевается, опять в мастерскую, остается там до чаю. Если вечером нет никого, то за чаем опять рассказ миленькому, и с полчаса сидят в нейтральной комнате; потом «до свиданья, миленький», целуются и расходятся до завтрашнего чаю. Теперь Вера Павловна, иногда довольно долго, часов до двух, работает, читает, отдыхает от чтения за фортепьяно,— рояль стоит в ее комнате, рояль недавно куплен, прежде был абонированный; это было тоже довольно порядочное веселье, когда был куплен свой рояль,— ведь это и дешевле. Он куплен по случаю, за сто рублей, маленький эраровский, старый, поправка стоила около семидесяти рублей; но зато рояль действительно очень хорошего тона. Изредка миленький приходит

послушать пение, но только изредка: у него очень много работы. Так проходит вечер: работа, чтение, игра, пение, больше всего чтение и пение. Это когда никого нет. Но очень часто по вечерам бывают гости,— большею частью молодые люди, моложе миленького, моложе самой Веры Павловны,— из числа их и преподаватели мастерской. Они очень уважают Лопухова, считают его одною из лучших голов в Петербурге; может быть, они и не ошибаются, и настоящая связь их с Лопуховым заключается в этом: они находят полезным для себя разговоры с Дмитрием Сергеичем. К Вере Павловне они питают беспредельное благоговение, она даже дает им целовать свою руку, не чувствуя себе унижения, и держит себя с ними, как будто пятнадцатью годами старше их, то есть держит себя так, когда не дурачится, но, по правде сказать, большею частью дурачится, бегает, шалит с ними, и они в восторге, и тут бывает довольно много галопированья и вальсированья, довольно много простой беготни, много игры на фортепьяно, много болтовни и хохотни, и чуть ли не больше всего пения; но беготня, хохотня и все — нисколько не мешает этой молодежи совершенно, безусловно и безгранично благоговеть перед Верою Павловною, уважать ее так, как дай бог уважать старшую сестру, как не всегда уважается мать, даже хорошая. Впрочем, пение уже не дурачество, хоть иногда не обходится без дурачеств; но большею частью Вера Павловна поет серьезно, иногда и без пения играет серьезно, и слушатели тогда сидят в немой тишине. Не очень редко бывают гости и постарше, ровня Лопуховым: большею частью бывшие товарищи Лопухова, знакомые его бывших товарищей, человека два-три молодых профессоров, почти всё люди бессемейные, из семейных людей почти только Мерцаловы. Лопуховы бывают в гостях не так часто, почти только у Мерцаловых да у матери и отца Мерцаловой; у этих добрых и простых стариков есть множество сыновей, занимающих порядочные должности по всевозможным ведомствам, и потому в доме стариков, живущих с некоторым изобилием, Вера Павловна видит многоразличное разнокалиберное общество.

Вольная, просторная, деятельная жизнь, и не без некоторого сибаритства: лежанья нежась в своей теплой, мягкой постельке, сливок и печений со сливками,— она очень нравится Вере Павловне.

Бывает ли лучше жизнь на свете? Вере Павловне еще кажется: нет.

Да, в начале молодости едва ли бывает.

Но годы идут, и с годами становится лучше, если жизнь идет, как должна идти, как теперь идет у немногих. Как будет когда-нибудь идти у всех.

VI

Однажды,— это было уже под конец лета,— девушки собрались, по обыкновению, в воскресенье на загородную прогулку. Летом они почти каждый праздник ездили на лодках на острова. Вера Павловна обыкновенно ездила с ними, в этот раз поехал и Дмитрий Сергеич, вот почему прогулка и была замечательна: его спутничество было редкостью, и в то лето он ехал еще только во второй раз. Мастерская, узнав об этом, осталась очень довольна: Вера Павловна будет еще веселее обыкновенного, и надобно ждать, что прогулка будет особенно, особенно одушевлена. Некоторые, располагавшие провести воскресенье иначе, изменили свой план и присоединились к собиравшимся ехать. Понадобилось взять вместо четырех больших яликов пять, и того оказалось мало, взяли шестой. Компания имела человек пятьдесят или больше народа: более двадцати швей,— только шесть не участвовали в прогулке,— три пожилые женщины, с десяток детей, матери, сестры и братья швей, три молодые человека, женихи: один был подмастерье часовщика, другой — мелкий торговец, и оба эти мало уступали манерами третьему, учителю уездного училища, человек пять других молодых людей разношерстных званий, между ними даже двое офицеров, человек восемь университетских и медицинских студентов. Взяли с собою четыре больших самовара, целые груды всяких булочных изделий, громадные запасы холодной телятины и тому подобного: народ молодой, движенья будет много, да еще на воздухе,— на аппетит можно рассчитывать; было и с полдюжины бутылок вина: на пятьдесят человек, в том числе более пятнадцати молодых людей, кажется, немного.

И действительно, прогулка удалась как нельзя лучше. Тут всего было: танцевали в шестнадцать пар, и только в двенадцать пар, зато и в восемнадцать, одну кадриль даже в двадцать пар; играли в горелки, чуть ли не в двадцать две пары, импровизировали трое качелей между деревьями; в промежутках всего этого пили чай; закусывали; с полчаса,— нет, меньше, гораздо меньше, чуть ли не половина компании даже слушала спор Дмитрия Сергеича с двумя студентами, самыми

коренными его приятелями из всех младших его приятелей; они отыскивали друг в друге неконсеквентности, модерантизм, буржуазность,— это были взаимные опорочиванья; но, в частности, у каждого отыскивался и особенный грех. У одного студента — романтизм, у Дмитрия Сергеича — схематистика, у другого студента — ригоризм; разумеется, постороннему человеку трудно выдержать такие разыскиванья дольше пяти минут, даже один из споривших, романтик, не выдержал больше полутора часов, убежал к танцующим, но убежал не без славы. Он вознегодовал на какого-то модерантиста, чуть ли не на меня даже, хоть меня тут и не было, и, зная, что предмету его гнева уже немало лет, он воскликнул: «Да что вы о нем говорите? я приведу вам слова, сказанные мне на днях одним порядочным человеком, очень умной женщиной: только до двадцати пяти лет человек может сохранять честный образ мыслей».— Да ведь я знаю, кто эта дама,— сказал офицер, на беду романтика подошедший к спорившим,— это г-жа N; она при мне это и сказала; и она действительно отличная женщина, только ее тут же уличили, что за полчаса перед тем она хвалилась, что ей двадцать шесть лет, и помнишь, сколько она хохотала вместе со всеми? И теперь все четверо захохотали, и романтик с хохотом бежал. Но офицер заместил его в споре, и пошла потеха пуще прежней до самого чаю. И офицер, жесточе, чем романтик, обличая ригориста и схематиста, сам был сильно уличаем в огюст-контизме. После чаю офицер объявил, что пока он еще имеет лета честного образа мыслей, он не прочь присоединиться к другим людям тех же лет; Дмитрий Сергеич, а тогда уж поневоле и ригорист, последовали его примеру: танцевать не танцевали, но в горелки играли. А когда мужчины вздумали бегать взапуски, прыгать через канаву, то три мыслителя отличились самыми усердными состязателями мужественных упражнений: офицер получил первенство в прыганье через канаву, Дмитрий Сергеич, человек очень сильный, вошел в большой азарт, когда офицер поборол его: он надеялся быть первым на этом поприще после ригориста, который очень удобно поднимал на воздух и клал на землю офицера и Дмитрия Сергеича вместе, это не вводило в амбицию ни Дмитрия Сергеича, ни офицера: ригорист был признанный атлет, но Дмитрию Сергеичу никак не хотелось оставить на себе того афронта, что не может побороть офицера; пять раз он схватывался с ним, и все пять раз офицер низлагал его, хотя не без труда. После шестой схватки Дмитрий Сергеич признал себя несомненно слабей-

шим: оба они выбились из сил. Три мыслителя прилегли на траву, продолжали спор; теперь огюст-контистом оказался уже Дмитрий Сергеич, а схематистом офицер, но ригорист так и остался ригористом.

Отправились домой в одиннадцать часов. Старухи и дети так и заснули в лодках; хорошо, что запасено было много теплой одежды, зато остальные говорили без умолку, и на всех шести яликах не было перерыва шуткам и смеху.

VII

Через два дня, за утренним чаем, Вера Павловна заметила мужу, что цвет его лица ей не нравится. Он сказал, что действительно эту ночь спал не совсем хорошо и вчера с вечера чувствовал себя дурно, но что это ничего, немного простудился на прогулке, конечно, в то время, когда долго лежал на земле после беганья и борьбы; побранил себя за неосторожность, но уверил Веру Павловну, что это пустяки. Он отправился на свои обыкновенные занятия; за вечерним чаем говорил, что, кажется, совершенно все прошло, но поутру на другой день сказал, что ему надобно будет несколько времени посидеть дома. Вера Павловна, сильно встревожившаяся и вчера, теперь серьезно испугалась и потребовала, чтобы Дмитрий Сергеич пригласил медика. «Да ведь я сам медик, и сам сумею лечиться, если понадобится; а теперь пока еще не нужно»,— отговаривался Дмитрий Сергеич. Но Вера Павловна была неотступна, и он написал записку Кирсанову, говорил в ней, что болезнь пустая и что он просит его только в угождение жене.

Поэтому Кирсанов не поторопился: пробыл в госпитале до самого обеда и приехал к Лопуховым уже часу в шестом вечера.

— Нет, Александр, я хорошо сделал, что позвал тебя,— сказал Лопухов,— опасности нет и, вероятно, не будет; но у меня воспаление в легких. Конечно, я и без тебя вылечился бы, но все-таки навещай. Нельзя, нужно для очищения совести: ведь я не бобыль, как ты.

Долго они щупали бока одному из себя, Кирсанов слушал грудь, и нашли оба, что Лопухов не ошибся: опасности нет и, вероятно, не будет, но воспаление в легких сильное. Придется пролежать недели полторы. Немного запустил Лопухов свою болезнь, но все-таки еще ничего.

Кирсанову пришлось долго толковать с Верою Павловною, успокоивать ее. Наконец она поверила вполне, что ее не обманывают, что, по всей вероятности, болезнь не только не опасна, но и не тяжела; но ведь только «по всей вероятности», а мало ли что бывает против всякой вероятности?

Кирсанов стал бывать по два раза в день у больного: они с ним оба видели, что болезнь проста и не опасна. На четвертый день поутру Кирсанов сказал Вере Павловне:

— Дмитрий ничего, хорош: еще дня три-четыре будет тяжеловато, но не тяжеле вчерашнего, а потом станет уж и поправляться. Но о вас, Вера Павловна, я хочу поговорить с вами серьезно. Вы дурно делаете: зачем не спать по ночам? Ему совершенно не нужна сиделка, да и я не нужен. А себе вы можете повредить, и совершенно без надобности. Ведь у вас и теперь нервы уж довольно расстроены.

Долго он урезонивал Веру Павловну, но без всякого толку. «Никак» и «ни за что», и «я сама рада бы, да не могу», то есть спать по ночам и оставлять мужа без караула. Наконец она сказала: «Да ведь все, что вы мне говорите, он мне уж говорил, и много раз, ведь вы знаете. Конечно, я скорее бы послушалась его, чем вас,— значит, не могу».

Против такого аргумента нечего было спорить. Кирсанов покачал головою и ушел.

Приехав к больному в десятом часу вечера, он просидел подле него вместе с Верою Павловною с полчаса, потом сказал: «Теперь вы, Вера Павловна, идите отдохнуть. Мы оба просим вас. Я останусь здесь ночевать».

Вере Павловне было совестно: она сама наполовину, больше чем наполовину, знала, что как будто и нет необходимости сидеть всю ночь подле больного, и вот заставляет же Кирсанова, человека занятого, терять время. Что ж это в самом деле? да, «как будто не нужно»... «как будто», а кто знает? нет, нельзя оставить миленького одного, мало ли что может случиться? да, наконец, пить захочет, может быть, чаю захочет, ведь он деликатный, будить не станет, значит, и нельзя не сидеть подле него. Но Кирсанову сидеть не нужно, она не дозволит. Она сказала, что не уйдет, потому что не очень устала, что она много отдыхает днем.

— В таком случае, простите меня, но я прошу вас уйти, решительно прошу.

Кирсанов взял ее за руку и почти силою отвел в ее комнату.

— Мне, право, совестно перед тобою, Александр,— проговорил больной,— какую смешную роль ты играешь, сидя ночь

у больного, болезнь которого вовсе не требует этого. Но я тебе очень благодарен. Ведь я не могу уговорить ее взять хоть сиделку, если боится оставить одного,— никому не могла доверить.

— Если б я этого не видел, что она не может быть спокойна, доверив тебя кому-нибудь другому, разумеется, не стал бы я нарушать своего комфорта. Но теперь, надеюсь, уснет: ведь я медик и твой приятель.

В самом деле, Вера Павловна как дошла до своей кровати, так и повалилась и заснула. Три бессонные ночи сами по себе не были бы важны. И тревога сама не была бы важна. Но тревога вместе с бессонными ночами, да без всякого отдыха днем, точно, была опасна; еще двое-трое суток без сна, она бы сделалась больна посерьезнее мужа.

Кирсанов провел еще три ночи с больным; его-то это мало утомляло, конечно, потому что он преспокойно спал, только из предосторожности запирал дверь, чтобы Вера Павловна не могла увидеть такой беспечности. Она и подозревала, что он спит на своем дежурстве, но все-таки была спокойна: ведь он медик, так чего же опасаться? Он знает, когда можно ему спать, когда нет. Ей было совестно, что она не могла прежде успокоиться, чтобы не тревожить его, но теперь уж он не обращал внимания на ее уверения, что будет спать, хотя бы его тут и не было: «Вы виноваты, Вера Павловна, и за то должны быть наказываемы. Я вам не доверяю».

Но через четыре дня было уже очевидно для нее, что больной почти перестал быть больным, улики ее скептицизму были слишком ясны: в этот вечер они втроем играли в карты, Лопухов уже полулежал, а не лежал, и говорил очень хорошим голосом. Кирсанов мог прекратить свои сонные дежурства и объявил об этом.

— Александр Матвеич, почему вы совершенно забыли меня, именно меня? С Дмитрием вы все-таки хороши, он бывает у вас довольно часто; но вы у нас перед его болезнью не были, кажется, с полгода; да и давно так. А помните, вначале ведь мы с вами были дружны.

— Люди переменяются, Вера Павловна. Да ведь я и страшно работаю, могу похвалиться. Я почти ни у кого не бываю: некогда, лень. Так устаешь с девяти часов до пяти в госпитале и в Академии, что потом чувствуешь невозможность никакого другого перехода, кроме как из мундира прямо в халат. Дружба хороша, но, не сердитесь, сигара на диване, в халате — еще лучше.

В самом деле Кирсанов уже больше двух лет почти вовсе не бывал у Лопуховых. Читатель не замечал его имени между их обыкновенными гостями, да и между редкими посетителями он давно стал самым редким.

VIII

Проницательный читатель,— я объясняюсь только с читателем: читательница слишком умна, чтобы надоедать своей догадливостью, потому я с нею не объясняюсь, говорю это раз навсегда; есть и между читателями немало людей неглупых: с этими читателями я тоже не объясняюсь; но большинство читателей, в том числе почти все литераторы и литературщики, люди проницательные, с которыми мне всегда приятно беседовать,— итак, проницательный читатель говорит: я понимаю, к чему идет дело; в жизни Веры Павловны начинается новый роман; в нем будет играть роль Кирсанов; я понимаю даже больше: Кирсанов уже давно влюблен в Веру Павловну, потому-то он и перестал бывать у Лопуховых. О, как ты понятлив, проницательный читатель: как только тебе скажешь что-нибудь, ты сейчас же замечаешь: «Я понял это»,— и восхищаешься своею проницательностью. Благоговею перед тобою, проницательный читатель.

Итак, в истории Веры Павловны является новое лицо, и надобно было бы описать его, если бы оно уже не было описано. Когда я рассказывал о Лопухове, то затруднялся обособить его от задушевного приятеля и не умел сказать о нем почти ничего такого, чего не надобно было бы повторить и о Кирсанове. И действительно, все, что может (проницательный) читатель узнать из следующей описи примет Кирсанова, будет повторением примет Лопухова. Лопухов был сын мещанина, зажиточного по своему сословию, то есть довольно часто имеющего мясо во щах; Кирсанов был сын писца уездного суда, то есть человека, часто не имеющего мясо во щах,— значит, и наоборот, часто имеющего мясо во щах. Лопухов с очень ранней молодости, почти с детства, добывал деньги на свое содержание; Кирсанов с двенадцати лет помогал отцу в переписывании бумаг, с IV класса гимназии тоже давал уже уроки. Оба грудью, без связей, без знакомств пролагали себе дорогу. Лопухов был какой человек? в гимназии по-французски не выучивались, а по-немецки выучивались склонять der, die, das с небольшими ошибками; а поступивши в Академию, Лопухов скоро увидел,

что на русском языке далеко не уедешь в науке: он взял французский словарь да какие случились французские книжонки, а случились: «Телемак», да повести г-жи Жанлис, да несколько ливрезонов нашего умного журнала «Revue Étrangère»,— книги все не очень заманчивые,— взял их, а сам, разумеется, был страшный охотник читать, да и сказал себе: не раскрою ни одной русской книги, пока не стану свободно читать по-французски; ну, и стал свободно читать. А с немецким языком обошелся иначе: нанял угол в квартире, где было много немцев мастеровых; угол был мерзкий, немцы скучны, ходить в Академию было далеко, а он все-таки выжил тут, сколько ему было нужно. У Кирсанова было иначе: он немецкому языку учился по разным книгам с лексиконом, как Лопухов французскому, а по-французски выучился другим манером, по одной книге, без лексикона: Евангелие — книга очень знакомая; вот он достал Новый завет в женевском переводе, да и прочел его восемь раз; на девятый уже все понимал,— значит, готово. Какой человек был Лопухов? — Вот какой: шел он в оборванном мундире по Каменноостровскому проспекту (с урока, по пятидесяти копеек урок, верстах в трех за лицеем). Идет ему навстречу некто осанистый, моцион делает, да как осанистый, прямо на него, не сторонится; а у Лопухова было в то время правило: кроме женщин, ни перед кем первый не сторонюсь; задели друг друга плечами; некто, сделав полуоборот, сказал: «Что ты за свинья, скотина»,— готовясь продолжать назидание, а Лопухов сделал полный оборот к некоему, взял некоего в охапку и положил в канаву, очень осторожно, и стоит над ним, и говорит: «Ты не шевелись, а то дальше протащу, где грязь глубже». Проходили два мужика, заглянули, похвалили; проходил чиновник, заглянул, не похвалил, но сладко улыбнулся; проезжали экипажи,— из них не заглядывали: не было видно, что лежит в канаве; постоял Лопухов, опять взял некоего, не в охапку, а за руку, поднял, вывел на шоссе и говорит: «Ах, милостивый государь, как это вы изволили оступиться? Не повредились, надеюсь? Позвольте вас обтереть?» Проходил мужик, стал помогать обтирать, проходили два мещанина, стали помогать обтирать, обтерли некоего и разошлись. С Кирсановым не было такого случая, а был другой случай. Некая дама, у которой некие бывали на посылках, вздумала, что надобно составить каталог библиотеки, оставшейся после мужа-вольтерианца, который умер за двадцать лет перед тем. Зачем именно через двадцать лет понадобился каталог, неизвестно. Составлять каталог подвернулся Кирсанов, взялся за восемьдесят рублей; работал

полтора месяца. Вдруг дама вздумала, что каталог не нужен, вошла в библиотеку и говорит: «Не трудитесь больше, я передумала; а вот вам за ваши труды»,— и подала Кирсанову десять рублей.— «Я, ваше ***,— даму назвал по титулу,— сделал уже больше половины работы: из семнадцати шкапов переписал десять».— «Вы находите, что я вас обидела в деньгах? Nicolas, поди сюда, переговори с этим господином». Влетел Nicolas. «Ты как смеешь грубить maman?» — «Да ты, молокосос,— выражение неосновательное со стороны Кирсанова: Nicolas был старше его годами пятью,— выслушал бы прежде».— «Люди!» — крикнул Nicolas. «Ах, люди? Вот я тебе покажу людей!» Во мгновение ока дама взвизгнула и упала в обморок, а Nicolas постиг, что не может пошевельнуть руками, которые притиснуты к его бокам, как железным поясом, и что притиснуты они правою рукою Кирсанова, и постиг, что левая рука Кирсанова, дернувши его за вихор, уже держит его за горло и что Кирсанов говорит: «Посмотри, как легко мне тебя задушить»,— и давнул горло; и Nicolas постиг, что задушить, точно, легко, и рука уже отпустила горло, можно дышать, только все держится за горло. А Кирсанов говорит, обращаясь к появившимся у дверей голиафам: «Стой! а то его задушу. Расступитесь, а то его задушу». Все это постиг Nicolas в одно мгновение ока и сделал помавание носом, что, дескать, он основательно рассуждает. «Теперь проводи-ка, брат, меня до лестницы!» — сказал Кирсанов, опять обратясь к Nicolas, и, продолжая по-прежнему обнимать Nicolas, вышел в переднюю и сошел с лестницы, издали напутствуемый умиленными взорами голиафов, и на последней ступеньке отпустил горло Nicolas, отпихнул самого Nicolas и пошел в лавку покупать фуражку вместо той, которая осталась добычею Nicolas.

Ну, что же различного скажете вы о таких людях? Все резко выдающиеся черты их — черты не индивидуумов, а типа, типа до того разнящегося от привычных тебе, проницательный читатель, что его общими особенностями закрываются личные разности в нем. Эти люди среди других — будто среди китайцев несколько человек европейцев, которых не могут различить одного от другого китайцы: во всех видят одно, что они «красноволосые варвары, не знающие церемоний»; на их глаза ведь и французы такие же «красноволосые», как англичане. Да китайцы и правы: в отношениях с ними все европейцы, как один европеец, не индивидуумы, а представители типа, больше ничего; одинаково не едят тараканов и мокриц, одинаково не режут людей в мелкие кусочки, одинаково пьют водку и виноградное вино, а не рисовое, и даже единственную вещь,

которую видят свою родную в них китайцы,— питье чаю, делают вовсе не так, как китайцы: с сахаром, а не без сахару. Так и люди того типа, к которому принадлежали Лопухов и Кирсанов, кажутся одинаковы людям не того типа. Каждый из них — человек отважный, не колеблющийся, не отступающий, умеющий взяться за дело, и если возьмется, то уже крепко хватающийся за него, так что оно не выскользнет из рук: это одна сторона их свойств; с другой стороны, каждый из них человек безукоризненной честности, такой, что даже и не приходит в голову вопрос: «Можно ли положиться на этого человека во всем безусловно?» Это ясно, как то, что он дышит грудью; пока дышит эта грудь, она горяча и неизменна,— смело кладите на нее свою голову, на ней можно отдохнуть. Эти общие черты так резки, что за ними сглаживаются все личные особенности.

Недавно зародился у нас этот тип. Прежде были только отдельные личности, предвещавшие его; они были исключениями и, как исключения, чувствовали себя одинокими, бессильными и от этого бездействовали, или унывали, или экзальтировались, романтизировали, фантазировали, то есть не могли иметь главной черты этого типа, не могли иметь хладнокровной практичности, ровной и расчетливой деятельности, деятельной рассудительности. То были люди хоть и той же натуры, но еще не развившейся до этого типа, а он, этот тип, зародился недавно; в мое время его еще не было, хоть я не очень старый, даже вовсе не старый человек. Я и сам не мог вырасти таким,— рос не в такую эпоху; потому-то, что я сам не таков, я и могу, не совестясь, выражать свое уважение к нему; к сожалению, я не себя прославляю, когда говорю про этих людей: славные люди.

Недавно родился этот тип и быстро распложается. Он рожден временем, он знамение времени, и, сказать ли? — он исчезнет вместе с своим временем, недолгим временем. Его недавняя жизнь обречена быть и недолгою жизнью. Шесть лет тому назад этих людей не видели; три года тому назад презирали; теперь... но все равно, что думают о них теперь; через несколько лет, очень немного лет, к ним будут взывать: «Спасите нас!», и что будут они говорить, будет исполняться всеми; еще немного лет, быть может, и не лет, а месяцев, и станут их проклинать, и они будут согнаны со сцены, ошиканные, страмимые. Так что же, шикайте и страмите, гоните и проклинайте, вы получили от них пользу, этого для них довольно, и под шумом шиканья, под громом проклятий они сойдут со сцены гордые и скромные, суровые и добрые, как были. И не останется их на сцене? — Нет.

Как же будет без них? — Плохо. Но после них все-таки будет лучше, чем до них. И пройдут года, и скажут люди: «После них стало лучше; но все-таки осталось плохо». И когда скажут это, значит, пришло время возродиться этому типу, и он возродится в более многочисленных людях, в лучших формах, потому что тогда всего хорошего будет больше и все хорошее будет лучше; и опять та же история в новом виде. И так пойдет до тех пор, пока люди скажут: «Ну, теперь нам хорошо», тогда уж не будет этого отдельного типа, потому что все люди будут этого типа и с трудом будут понимать, как же это было время, когда он считался особенным типом, а не общею натурою всех людей.

IX

Но как европейцы между китайцами все на одно лицо и на один манер только по отношению к китайцам, а на самом деле между европейцами несравненно больше разнообразия, чем между китайцами, так и в этом, по-видимому, одном типе разнообразие личностей развивается на разности более многочисленные и более отличающиеся друг от друга, чем все разности всех остальных типов разнятся между собою. Тут есть всякие люди: и сибариты, и аскеты, и суровые, и нежные, и всякие, всякие. Только как самый жестокий европеец очень кроток, самый трусливый очень храбр, самый сладострастный очень нравствен перед китайцем, так и они: самые аскетичные из них считают нужным для человека больше комфорта, чем воображают люди не их типа, самые чувственные строже в нравственных правилах, чем морализаторы не их типа. Но все это они представляют себе как-то по-своему: и нравственность и комфорт, и чувственность и добро понимают они на особый лад, и все на один лад, и не только все на один лад, но и все это как-то на один лад, так что и нравственность, и комфорт, и добро, и чувственность — все это выходит у них как будто одно и то же. Но все это опять только по отношению к понятиям китайцев, а сами между собою они находят очень большие разности понимания, по разности натур. Но как теперь уловить эти разности натур и понятий между ними?

В разговорах о делах между собою, но только между собою, а не с китайцами, выказывают свою разницу европейские натуры. Так и у людей этого типа, видно, бывает очень большое разнообразие, когда дела ведутся между ними, но только между ними, а не с посторонними. Мы видели перед собою двух людей

этого типа: Веру Павловну и Лопухова, и видели, как устроились отношения между ними. Теперь входит третий человек. Посмотрим, какие разности обнаружатся от возможности одному из них сравнивать двух других. Вера Павловна видит перед собою Лопухова и Кирсанова. Прежде ей не было выбора; теперь есть.

X

Но надобно же сказать два-три слова о внешних приметах Кирсанова.

У него, как и у Лопухова, были правильные, красивые черты лица. Одни находили, что красивее тот, другие — этот. У Лопухова, более смуглого, были темно-каштановые волосы, сверкающие карие глаза, казавшиеся почти черными, орлиный нос, толстые губы, лицо несколько овальное. У Кирсанова были русые волосы довольно темного оттенка, темно-голубые глаза, прямой греческий нос, маленький рот, лицо продолговатое, замечательной белизны. Оба они были люди довольно высокого роста, стройные, Лопухов несколько шире костью, Кирсанов несколько выше.

Внешняя обстановка Кирсанова была довольно хороша. Он уже имел кафедру. Огромное большинство избиравших было против него: ему бы не только не дали кафедры, его бы не выпустили доктором, да нельзя было. Два-три молодые человека да один немолодой человек из его бывших профессоров, его приятели, давно наговорили остальным, будто бы есть на свете какой-то Фирхов, и живет в Берлине, и какой-то Клод Бернар, и живет в Париже, и еще какие-то такие же, которых не упомнишь, которые тоже живут в разных городах, и что будто бы эти Фирхов, Клод Бернар и еще кто-то — будто бы они светила медицинской науки. Все это было до крайности неправдоподобно, потому что светила науки нам известны: Бургав, Гуфеланд; Гарвей тоже был великий ученый, открыл обращение крови, тоже Дженнер, выучил оспопрививанию; так ведь мы знаем их, а этих Фирховов да Клодов Бернаров мы не знаем, какие же они светила? А впрочем, черт их знает. Так вот этот самый Клод Бернар отзывался с уважением о работах Кирсанова, когда Кирсанов еще оканчивал курс,— ну, и нельзя: дали Кирсанову докторство, дали года через полтора кафедру. Студенты говорили, что с его поступлением партия хороших профессоров заметно усилилась. Практики он не имел и говорил, что бросил практическую медицину; но в госпитале бывал очень подолгу; вы-

падали дни, что он там и обедал, а иной раз и ночевал. Что ж он там делал? Он говорил, что работает для науки, а не для больных: «Я не лечу, а только наблюдаю и делаю опыты». Студенты подтверждали это, прибавляя, что ныне лечат только дураки, потому что ныне лечить еще нельзя. Служители судили иначе. «Ну, этого Кирсанов берет в свою палату — значит, труден»,— говорили они между собою, а потом больному: «Будь благонадежен: против этого лекаря редкая болезнь может устоять, мастер; и как есть отец».

XI

В первое время замужества Веры Павловны Кирсанов бывал у Лопуховых очень часто, почти что через день, а ближе сказать, почти что каждый день, и скоро, да почти что с первого же дня, стал чрезвычайно дружен с Верою Павловною, столько же, как с самим Лопуховым. Так продолжалось с полгода. Однажды они сидели втроем: он, муж и она. Разговор шел, как обыкновенно, без всяких церемоний; Кирсанов болтал больше всех, но вдруг замолчал.

— Что с тобою, Александр?

— Что вы приутихли, Александр Матвеич?

— Так что-то, нашла хандра.

— Это с вами редко случается, Александр Матвеич,— сказала Вера Павловна.

— Без причины даже никогда,— сказал Кирсанов каким-то натянутым тоном.

Через несколько времени, раньше обыкновенного, он встал и ушел, простившись, как всегда, просто.

Дня через два Лопухов сказал Вере Павловне, что заходил к Кирсанову и, как ему показалось, встречен был довольно странно. Кирсанов как будто хотел быть с ним любезен, что было вовсе лишнее между ними. Лопухов, посмотревши на него, сказал прямо:

— Ты, Александр, что-то дуешься; на кого, на меня, что ли?

— Нет.

— На Верочку?

— Нет.

— Так что же с тобою сделалось?

— Нет, ничего; что это тебе показалось?

— Да ты нехорош со мною ныне, натянут, любезен, и видно, что дуешься.

Кирсанов начал расточать уверения, что нисколько, и тем окончательно выказал, что дуется. Потом ему, должно быть, стало стыдно, он сделался прост, хорош, как следует. Лопухов, воспользовавшись тем, что человек пришел в рассудок, спросил опять:

— Ну, Александр, скажи, за что же ты дулся?

— Я не думал дуться,— и опять стал притворен и противен.

Что за чудо? Лопухов не умел вспомнить ничего, чем бы мог оскорбить его, да это и не было возможно при их уважении друг к другу, при горячей дружбе. Вера Павловна тоже очень усердно вспоминала, не она ли чем оскорбила его, и тоже не могла ничего отыскать, и тоже знала, по той же причине, как у мужа, что это невозможно с ее стороны.

Прошло еще два дня; не зайти к Лопуховым четыре дня сряду было делом необыкновенным для Кирсанова. Вера Павловна даже вздумала: здоров ли он? Лопухов зашел посмотреть, не болен ли в самом деле. Какое нездоров! — продолжает дуться. Лопухов приступил к нему настойчиво. Он после долгих отнекиваний начал говорить какой-то нелепый вздор о своих чувствах к Лопухову и к Вере Павловне, что он очень любит и уважает их; но из всего этого следовало, что они к нему невнимательны, о чем,— что хуже всего,— не было, впрочем, никакого намека в его высокопарности. Ясно было, что господин вломился в амбицию. Все это так дико было видеть в человеке, за которого Лопухов считал Кирсанова, что гость сказал хозяину: «Послушай, ведь мы с тобою приятели: ведь это наконец должно быть совестно тебе». Кирсанов с изысканною перепосливостью отвечал, что действительно это с его стороны, может быть, мелочность, но что ж делать, если он многим обижался.— «Ну, чем же?» Он начал высчитывать множество случаев, которыми оскорблялся в последнее время, все в таком роде: «Ты сказал, что чем светлее у человека волосы, тем ближе он к бесцветности. Вера Павловна сказала, что ныне чай вздорожал. Это колкость на мой цвет волос. Это намек, что я вас объедаю». У Лопухова опустились руки: помешался человек на амбиционности или, вернее сказать, просто стал дураком и пошляком.

Лопухов возвратился домой даже опечаленный: горько было увидеть такую сторону в человеке, которого он так любил. На расспросы Веры Павловны, что он узнал, он отвечал грустно, что лучше об этом не говорить, что Кирсанов говорил неприятный вздор, что он, вероятно, болен.

Через три-четыре дня Кирсанов, должно быть, опомнился, увидел дикую пошлость своих выходок; пришел к Лопуховым,

был как следует, потом стал говорить, что он был пошл; из слов Веры Павловны он заметил, что она не слышала от мужа его глупостей, искренно благодарил Лопухова за эту скромность, стал сам, в наказание себе, рассказывать все Вере Павловне, расчувствовался, извинялся, говорил, что был болен, и опять выходило как-то дрянно. Вера Павловна попробовала сказать, чтоб он бросил толковать об этом, что это пустяки; он привязался к слову «пустяки» и начал нести такую же пошлую чепуху, как в разговоре с Лопуховым: очень деликатно и тонко стал развивать ту тему, что, конечно, это «пустяки», потому что он понимает свою маловажность для Лопуховых, но что он большего и не заслуживает, и т. д., и все это говорилось темнейшими, тончайшими намеками в самых любезных выражениях уважения, преданности. Вера Павловна, слушая это, точно так же опустила руки, как прежде муж. Когда он ушел, они припомнили, что уж несколько дней до своего явного опошления он был странен; тогда они не заметили и не поняли, теперь эти прежние выходки объяснились: они были в том же вкусе, только слабы.

После этого Кирсанов стал было заходить довольно часто; но продолжение прежних простых отношений было уже невозможно: из-под маски порядочного человека высовывалось несколько дней такое длинное ослиное ухо, что Лопуховы потеряли бы слишком значительную долю уважения к бывшему другу, если б это ухо и спряталось навсегда; но оно по временам продолжало выказываться: выставлялось не так длинно и торопливо пряталось, но было жалко, дрянно, пошло.

Скоро к Кирсанову в самом деле стали холодны, он действительно имел уже причину не находить себе удовольствия у Лопуховых и перестал бывать.

Но он встречался с Лопуховым у одних знакомых. Через несколько времени омерзение Лопухова к нему ослабело: он был ничего, как следует. Лопухов стал заходить к нему. Через год он даже возобновил посещения к Лопуховым и был прежним отличным Кирсановым, простым и честным. Но бывал редко: видно было, что ему неловко вспоминать о глупой истории, которую он разыграл. Лопухов почти забыл ее. Вера Павловна тоже. Но раз порванные отношения не возобновлялись. По наружности он и Лопухов были опять друзья, да и на деле Лопухов стал почти по-прежнему уважать его и бывал у него нередко; Вера Павловна также возвратила ему часть прежнего расположения, но она очень редко видела его.

XII

Теперь болезнь Лопухова, лучше сказать, чрезвычайная привязанность Веры Павловны к мужу, принудила Кирсанова быть более недели в коротких ежедневных отношениях с Лопуховыми. Он понимал, что ступает на опасную для себя дорогу, решаясь просиживать вечера с ними, чтобы отбивать у Веры Павловны дежурство; ведь он был так рад и горд, что тогда, около трех лет назад, заметив в себе признаки страсти, умел так твердо сделать все, что было нужно, для остановки ее развития. Ведь ему было так хорошо от этого. Две-три недели его тянуло тогда к Лопуховым, но и в это время было больше удовольствия от сознания своей твердости в борьбе, чем боли от лишения, а через месяц боль вовсе прошла, и осталось одно довольство своею честностью. Так спокойно, так мило было у него на душе.

А теперь опасность была больше, чем тогда: в эти три года Вера Павловна, конечно, много развилась нравственно; тогда она была наполовину еще ребенок, теперь уже не то; чувство, ею внушаемое, уже не могло походить на шутливую привязанность к девочке, которую любишь и над которой улыбаешься в одно и то же время. И не только нравственно развилась она: если красота женщины — настоящая красота, то у нас на севере женщина долго хорошеет с каждым годом. Да, три года жизни в эту пору развивают много хорошего и в душе, и в глазах, и в чертах лица, и во всем человеке, если человек хорош и жизнь хороша.

Опасность была большая, но только для него, Кирсанова: Вере Павловне какая же опасность? Она любит мужа. Кирсанов не так пуст и глуп, чтобы считать себя опасным соперником Лопухову. Не из фальшивой скромности он думает это: все порядочные люди, которые знают его и Лопухова, ставят их равно. А на стороне Лопухова то неизмеримое преимущество, что он уже заслужил любовь, да, заслужил ее, что он уже вполне приобрел сердце. Выбор сделан, она очень довольна и счастлива выбором, у ней не может явиться и мысли искать лучшего: разве ей не хорошо? Об этом смешно и думать, это опасение за нее и за Лопухова было бы нелепым тщеславием со стороны его, Кирсанова.

Так неужели же из-за вздора, из-за того, что Кирсанову придется потосковать месяц, много два, неужели из-за этого вздора давать женщине расстраивать нервы, рисковать серьезною болезнию от сиденья по ночам у кровати больного?

Неужели для того, чтоб избежать неважного и недолгого нарушения тишины собственной жизни, допускать серьезный вред другому, не менее достойному человеку? Ведь это было бы нечестно. А нечестный поступок гораздо неприятнее той, в сущности, и не тяжелой, борьбы с собою, которую придется ему выдержать и в развязке которой — в гордом довольстве собою за твердость — нет сомнения.

Так рассуждал Кирсанов, решаясь прогнать Веру Павловну с напрасного дежурства.

Надобность в дежурстве прошла. Для соблюдения благовидности, чтобы не делать крутого перерыва, возбуждающего внимание, Кирсанову нужно было еще два-три раза навестить Лопуховых на днях, потом через неделю, потом через месяц, потом через полгода. Затем удаление будет достаточно объясняться занятиями.

XIII

Все шло у Кирсанова хорошо, как он и думал. Привязанность возобновилась, и сильнее прежнего; но борьба с нею не представляла никакого серьезного мучения, была легка. Вот Кирсанов был уже во второй раз у Лопуховых, через неделю по окончании леченья Дмитрия Сергеича, вот он посидит часов до девяти: довольно, благовидность соблюдена; в следующий раз он будет у них через две недели: удаление почти исполнилось. А теперь надобно посидеть еще с час. А в эту неделю уж наполовину заглушено развитие страсти; через месяц все пройдет. Он очень доволен. Он участвует в разговоре так непринужденно, что сам радуется своим успехам, и от этого довольства непринужденность его еще увеличивается.

Лопухов собирался завтра выйти в первый раз из дому. Вера Павловна была от этого в особенно хорошем расположении духа, радовалась чуть ли не больше, да и наверное больше, чем сам бывший больной. Разговор коснулся болезни, смеялись над нею, восхваляли шутливым тоном супружескую самоотверженность Веры Павловны, чуть-чуть не расстроившей своего здоровья тревогою из-за того, чем не стоило тревожиться.

— Смейтесь, смейтесь,— говорила она,— но ведь я знаю, у вас самих не было бы силы поступить иначе на моем месте.

— А какое влияние имеет на человека заботливость других,— сказал Лопухов,— ведь он и сам отчасти подвергается обольщению, что ему нужна бог знает какая осторожность, когда видит, что из-за него тревожатся. Ведь вот я мог бы выходить из дому уже дня три, а все продолжал сидеть. Ныне поутру хотел выйти, и еще отложил на день для большей безопасности.

— Да, тебе давно можно выходить,— подтвердил Кирсанов.

— Вот это я называю геройством, и, правду сказать, страшно надоело оно: сейчас бы так и убежал.

— Милый мой, ведь это ты для моего успокоения геройствовал. А убежим сейчас же в самом деле, если тебе так хочется поскорее кончить карантин. Я скоро пойду на полчаса в мастерскую. Отправимтесь все вместе: это будет с твоей стороны очень мило, что ты первый визит после болезни сделаешь нашей компании. Она заметит это и будет очень рада такой внимательности.

— Хорошо, отправимся вместе,— сказал Лопухов с заметным удовольствием, что подышит свежим воздухом ныне же.

— Вот хозяйка с тактом,— сказала Вера Павловна,— и не подумала, что у вас, Александр Матвеич, может вовсе не быть желания идти с нами.

— Нет, это очень любопытно, я давно собирался. Ваша мысль счастлива.

Точно, мысль Веры Павловны была удачна. Девушки действительно были очень довольны, что Лопухов сделал им первый визит после болезни. Кирсанов действительно очень интересовался мастерскою: да и нельзя было не интересоваться ею человеку с его образом мыслей. Если б особенная причина не удерживала его, он с самого начала был бы одним из усердных преподавателей в ней. Полчаса, может быть, час пролетело незаметно. Вера Павловна водила его по разным комнатам, показывала всё. Они возвращались из столовой в рабочие комнаты, когда к Вере Павловне подошла девушка, которой не было в рабочих комнатах. Девушка и Кирсанов взглянули друг на друга: «Настенька!» — «Саша!» — и обнялись.

— Сашенька, друг мой, как я рада, что встретила тебя! — Девушка все целовала его, и смеялась, и плакала. Опомнившись от радости, она сказала: — Нет, Вера Павловна, о делах уж не буду говорить теперь. Не могу расстаться с ним. Пойдем, Сашенька, в мою комнату.

Кирсанов был не меньше ее рад. Но Вера Павловна заметила и много печали в первом же взгляде его, как он узнал ее. Да это было и не мудрено: у девушки была чахотка в последней степени развития.

Крюкова поступила в мастерскую с год тому назад, уже очень больная. Если б она оставалась в магазине, где была до той поры, она уж давно умерла бы от швейной работы. Но в мастерской нашлась для нее возможность прожить несколько подольше. Девушки совершенно освободили ее от шитья: можно было найти довольно другого, не вредного занятия для нее; она заменила половину дежурств по мелким надобностям швейной, участвовала в заведовании разными кладовыми, принимала заказы, и никто не мог сказать, что Крюкова менее других полезна в мастерской.

Лопуховы ушли, не дождавшись конца свидания Крюковой с Кирсановым.

XIV

РАССКАЗ КРЮКОВОЙ

На другой день рано поутру Крюкова пришла к Вере Павловне.

— Я хочу поговорить с вами о том, что вы вчера видели, Вера Павловна,— сказала она; она несколько времени затруднялась, как ей продолжать: — Мне не хотелось бы, чтобы вы дурно подумали о нем, Вера Павловна.

— Что это, как вы сами дурно думаете обо мне, Настасья Борисовна.

— Нет, если б это была не я, а другая, я бы не подумала этого. А ведь я, вы знаете, не такая, как другие.

— Нет, Настасья Борисовна, вы не имеете права так говорить о себе. Мы знаем вас год; да и прежде вас знали многие из нашего общества.

— Так, я вижу, вы ничего обо мне не знаете?

— Нет, как же, я знаю очень много. Вы были служанкою,— в последнее время у актрисы N; когда она вышла замуж, вы отошли от нее; чтоб уйти от отца ее мужа, поступили в магазин N, из которого перешли к нам; я знаю это со всеми подробностями.

— Конечно, за Максимову и Шешну, которые знали, что со мною было прежде, я была уверена, что они не станут рассказывать. А все-таки я думала, что могло как-нибудь со сто-

роны дойти до вас или до других. Ах, как я рада, что они ничего не знают! А вам я все-таки скажу, чтобы вы знали, какой он добрый. Я была очень дурная девушка, Вера Павловна.

— Вы, Настасья Борисовна?

— Да, Вера Павловна, была. И я была очень дерзкая, у меня не было никакого стыда, и я была всегда пьяная — у меня оттого и болезнь, Вера Павловна, что при своей слабой груди я слишком много пила.

Вере Павловне уже раза три случалось видеть такие примеры. Девушки, которые держали себя безукоризненно с тех пор, как начиналось ее знакомство с ними, говорили ей, что прежде, когда-то, вели дурную жизнь. На первый раз она была изумлена такою исповедью; но, подумав над нею несколько дней, она рассудила: «А моя жизнь? — грязь, в которой я выросла, ведь тоже была дурна; однако же не пристала ко мне, и остаются же чисты от нее тысячи женщин, выросших в семействах не лучше моего. Что ж особенного, если из этого унижения также могут выходить неиспорченными те, которым поможет счастливый случай избавиться от него?» Вторую исповедь она слушала, уже не изумляясь тому, что девушка, ее делавшая, сохранила все благородные свойства человека: и бескорыстие, и способность к верной дружбе, и мягкость души,— сохранила даже довольно много наивности.

— Настасья Борисовна, я имела такие разговоры, какой вы хотите начать. И той, которая говорит, и той, которая слушает,— обеим тяжело. Я вас буду уважать не меньше, скорее больше прежнего, когда знаю теперь, что вы много перенесли, но я понимаю все и не слышав. Не будем говорить об этом: передо мною не нужно объясняться. У меня самой много лет прошло тоже в больших огорчениях; я стараюсь не думать о них и не люблю говорить о них,— это тяжело.

— Нет, Вера Павловна, у меня другое чувство. Я вам хочу сказать, какой он добрый; мне хочется, чтобы кто-нибудь знал, как я ему обязана, а кому сказать, кроме вас? Мне это будет облегчение. Какую жизнь я вела, об этом, разумеется, нечего говорить,— она у всех таких бедных одинакая. Я хочу сказать только о том, как я с ним познакомилась. Об нем так приятно говорить мне; и ведь я переезжаю к нему жить,— надобно же вам знать, почему я бросаю мастерскую.

— Если для вас этот рассказ будет приятен, Настасья Борисовна, я рада слушать. Позвольте же, я возьму работу.

— Да, а вот мне и работать нельзя. Какие добрые эти девушки, находили мне занятие по моему здоровью. Я их всех

буду благодарить, каждую. Скажите и вы им, Вера Павловна, что я вас просила благодарить их за меня.

— Я ходила по Невскому, Вера Павловна; только еще вышла, было еще рано; идет студент, я привязалась к нему. Он ничего не сказал, а перешел на другую сторону улицы. Смотрит, я опять подбегаю к нему, схватила его за руку. «Нет,— я говорю,— я не отстану от вас, вы такой хорошенький».— «А я вас прошу об этом, оставьте меня»,— он говорит. «Нет, пойдемте со мной».— «Незачем».— «Ну, так я с вами пойду. Вы куда идете? Я уж от вас ни за что не отстану». Ведь я была такая бесстыдная, хуже других.

— Оттого, Настасья Борисовна, что, может быть, на самом-то деле были застенчивы, совестились.

— Да, это может быть. По крайней мере, на других я это видела,— не тогда, разумеется, а после поняла. Так когда я ему сказала, что непременно пойду с ним, он засмеялся и сказал: «Когда хотите, идите; только напрасно будет»,— хотел проучить меня, как после сказал: ему было досадно, что я пристаю. Я и пошла, и говорила ему всякий вздор; он все молчал. Вот мы пришли. По-студенческому, он уж и тогда жил хорошо, получал от уроков рублей двадцать в месяц, и жил тогда один. Я развалилась на диван и говорю: «Ну, давай вина».— «Нет, говорит, вина я вам не дам, а чай пить, пожалуй, давайте».— «С пуншем»,— я говорю. «Нет, без пунша». Я стала делать глупости, бесстыдничать. Он сидит, смотрит, но не обращает никакого внимания: так обидно. Теперь встречаются такие молодые люди, Вера Павловна,— молодые люди много лучше стали с того времени, а тогда это было диковиной. Мне стало даже обидно, я начала ругать его: «Какой ты такой деревянный,— и выругала его,— так я уйду».— «Теперь что ж уходить,— он говорит,— уж напейтесь чаю: хозяйка сейчас принесет самовар. Только не ругайтесь». И все говорил мне «вы». «Вы лучше расскажите-ка мне, кто вы и как это с вами случилось». Я ему стала рассказывать, что про себя выдумала: ведь мы сочиняем себе разные истории, и от этого никому из нас не верят; а в самом деле есть такие, у которых эти истории не выдуманные: ведь между нами бывают и благородные и образованные. Он послушал и говорит: «Нет, у вас плохо придумано; я бы вот и хотел верить, да нельзя». А мы уж пили чай. Вот он и говорит: «А знаете, что я по вашему сложению вижу: что вам вредно пить; у вас от этого чуть ли грудь-то уж не расстроена. Дайте-ка я вас осмотрю». Что же, Вера Павловна, вы не поверите, ведь мне стыдно стало,— а в чем моя

жизнь была, да перед этим как я бесстыдничала! И он это заметил. «Да нет, говорит, ведь только грудь послушать». Он тогда еще во втором курсе был, а уж много знал по медицине, он вперед заходил в науках. Стал слушать грудь. «Да, говорит, вам вовсе не годится пить, у вас грудь плоха».— «А как же нам не пить? — говорю.— Нам без этого нельзя». И точно, нельзя, Вера Павловна. «Так вы бросьте такую жизнь».— «Стану я бросать! Ведь она веселая!» — «Ну, говорит, мало веселья. Ну, говорит, я теперь делом займусь, а вы идите». И ушла я, рассерженная, что вечер пропал даром; да и обидно мне было, что он такой бесчувственный: ведь тоже своя амбиция у нас в этом. Вот, через месяц, случилось мне быть в тех местах: дай, думаю, зайду к этому деревянному, потешусь над ним. А это было перед обедом; я с ночи-то выспалась и не была пьяная. Он сидел с книгою. «Здравствуй, деревянный».— «Здравствуйте, что скажете?» Я опять стала делать глупости. «Я, говорит, вас прогоню, перестаньте, я вам говорил, что не люблю этого. Теперь вы не пьяная, можете понимать. А вы лучше вот что подумайте: лицо-то у вас больнее прежнего, вам надо бросить вино. Поправьте одежду-то, да поговорим хорошенько!» А у меня, точно, грудь уж начинала болеть. Он опять слушал, сказал, что расстроена больше прежнего, много говорил; да и грудь-то у меня болела,— я и расчувствовалась, заплакала: ведь умирать-то не хотелось, а он все чахоткой пугал. Я и говорю: «Как же я такую жизнь брошу? Меня хозяйка не выпустит — я ей семнадцать целковых должна». Ведь нас всегда в долгу держат, чтобы мы были безответны. «Ну, говорит, у меня семнадцать целковых не наберется, а послезавтра приходите». Так это странно мне показалось, ведь я вовсе не к тому сказала; да и как же этого ждать было? да я и ушам своим не верила, расплакалась еще больше, думала, что он надо мною насмехается: «Грешно вам обижать бедную девушку, когда видите, что я плачу»; и долго ему не верила, когда он стал уверять, что говорит не в шутку. И что вы думаете? — ведь набрал денег и отдал мне через два дня. Мне и тут все еще как будто не верилось. «Да как же, говорю, да за что же, когда вы не хотите иметь со мною дела?» Выкупилась от хозяйки, наняла особую комнату. Но делать мне было нечего: ведь у нас особые билеты,— куда я с таким билетом покажусь? А денег нет. Я и жила по-прежнему — то есть не по-прежнему: какое сравнение, Вера Павловна! Ведь я к себе уж принимала только своих знакомых, хороших, таких, которые не обижали. И вина у меня не было. Потому какое же сравнение. И, знаете, мне уж

это легко было перед прежним. Только нет, все-таки тяжело; и что я вам скажу: вы подумаете, потому тяжело, что у меня было много приятелей, человек пять,— нет, ведь я к ним ко всем имела расположение, так это мне было ничего. Вы меня простите, что я так говорю, только я с вами откровенна: я и теперь так думаю. Вы меня знаете, не скромная ли я теперь; кто теперь слышал от меня что-нибудь, кроме самого хорошего? Ведь я в мастерской сколько вожусь с детьми, и меня все любят, и старухи не скажут, чтобы я не учила их самому хорошему. Только я с вами откровенна, Вера Павловна, я и теперь так думаю: если расположение имеешь, это все равно, когда тут нет обману; другое дело, если бы обман был.

Вот я так и жила. Прошло месяца три, и много уже отдохнула я в это время, потому что жизнь моя уже была спокойная, и хоть я совестилась по причине денег, но дурною девушкою себя уж не считала.

Только, Вера Павловна, Сашенька бывал у меня в это время, и я его навещала. Вот я и опять к тому подошла, о чем об одном надобно было говорить. Только он не затем меня навещал, как другие, а так, наблюдал за мною, чтобы я опять не возвратилась к своей прежней слабости, не пила бы вина. И точно, в первые дни он меня поддержал, потому что меня тянуло к вину. А его я совестилась: ну, как он зайдет да увидит. И должно быть, что я без того не устояла бы, потому что мои приятели, хорошие люди, говорили: «Я пошлю за вином». А как я его совестилась, я говорила: «Нет, никак нельзя». А то соблазнилась бы: одной этой мысли, что вино мне вредно, не было бы довольно. Потом, недели через три, я и сама укрепилась: позыв к вину прошел, и уж я отвыкла от пьяного обращения. И я все собирала деньги, чтоб ему отдать, месяца через два и отдала все. Он был так рад, что я ему отдала. На другой день он принес мне кисеи на платье, других вещей мне на эти деньги купил. Вот он бывал и после этого, все так же, будто доктор за больным смотрит. А потом, с месяц после того, как я с ним расплатилась, он тоже сидел у меня и сказал: «Вот теперь, Настенька, вы мне стали нравиться». И точно: от вина лицо портится, и это не могло вдруг пройти, а тогда уж прошло, и цвет лица у меня стал нежный, и глаза стали яснее; и опять то, что я от прежнего обращения отвыкла, стала говорить скромно, знаете, мысли у меня скоро стали скромные, когда я перестала пить, а в словах я еще путалась и держала себя иногда в забывчивости, по прежнему неряшеству; а к этому времени я уж попривыкла и держать себя, и говорить скром-

нее. Как он это сказал, что я стала ему нравиться, я так обрадовалась, что хотела к нему на шею броситься, да не посмела, остановилась. А он сказал: «Вот видите, Настенька, я не бесчувственный». И говорил, что я стала хорошенькая и скромная, и стал ласкать меня,— и как же ласкать? — взял руку, и положил на свою, и стал гладить другою рукою; и смотрит на мою руку; а точно, руки у меня в это время уж были белые, нежные... Так вот, как он взял мою руку,— вы не поверите, я так и покраснела: после моей-то жизни, Вера Павловна, будто невинная барышня — ведь это странно, а так было. Но при всем моем стыде,— смешно сказать, Вера Павловна: при моем стыде, а ведь это правда,— я все-таки сказала: «Как это вы захотели приласкать меня, Александр Матвеич?» А он сказал: «Потому, Настенька, что вы теперь честная девушка». И эти слова, что он назвал меня честною девушкою, так меня обрадовали, что я залилась слезами. А он стал говорить: «Что это с вами, Настенька?» — и поцеловал меня: что же вы думаете? От этого поцелуя у меня голова закружилась, я память потеряла: можно ли этому поверить, Вера Павловна, чтобы это могло быть после такой моей жизни?

Вот на другое утро сижу я и плачу, что мне теперь делать, бедной, как я жить стану? Только мне и остается, что в Неву броситься. Чувствую: не могу я делать того, чем жила; зарежьте меня, с голоду буду умирать, не стану делать. Видите, значит, у меня давно была к нему любовь, но как он не показывал ко мне никакого чувства и надежды у меня не было, чтобы я могла ему понравиться, то эта любовь и замирала во мне, и я сама не понимала, что она во мне есть. А теперь это все и обнаружилось. А это разумеется, что когда такую любовь чувствуешь, как же можно на кого-нибудь и смотреть, кроме того, кого любишь. Это вы по себе чувствуете, что нельзя. Тут уж все пропадает, кроме одного человека. Вот сижу я и плачу: что я теперь буду делать, нечем мне жить. Уж я и в самом деле думала: пойду к нему, увижусь еще раз с ним да пойду после того и утоплюсь. Так все утро проплакала. Только вдруг вижу, он вошел, и бросился меня целовать, и говорит: «Настенька, хочешь со мною жить?» И я сказала, что я думала. И стали мы с ним жить.

Вот было счастливое время, Вера Павловна; я думаю, мало кто таким счастьем пользовался. И все-то он на меня любовался! Сколько раз случалось: проснусь, а он сидит за книгой, потом подойдет посмотреть на меня, да так и забудется, все сидит да смотрит. Но только какой он был скромный, Вера

Павловна; ведь уж я после могла понимать, ведь я стала читать, узнала, как в романах любовь описывают, могла судить. Но только, при всей скромности, уж как он любовался на меня! И какое в это время чувство, когда любимый человек на тебя любуется: это такая радость, о какой и понятия нельзя иметь. Уж на что, когда он меня в первый раз поцеловал: у меня даже голова закружилась, я так и опустилась к нему на руки; кажется, сладкое должно быть чувство, но не то, все не то. То, знаете, кровь кипит, тревожно что-то, и в сладком чувстве есть как будто какое-то мученье, так что даже тяжело это, хотя нечего и говорить, какое это блаженство, что за такую минуту можно, кажется, жизнью пожертвовать,— да и жертвуют, Вера Павловна; значит, большое блаженство, а все не то, совсем не то. Это все равно, как если когда замечтаешься, сидя одна, просто думаешь: «Ах, как я его люблю»,— так ведь тут уж ни тревоги, ни боли никакой нет в этой приятности, а так ровно, тихо чувствуешь, так вот то же самое, только в тысячу раз сильнее, когда этот любимый человек на тебя любуется: и как это спокойно чувствуешь, а не то, что сердце стучит, нет, это уж тревога была бы, этого не чувствуешь, а только оно как-то ровнее, и с приятностью, и так мягко бьется, и грудь шире становится, дышится легче, вот это так, это самое верное: дышать очень легко. Ах, как легко! так что и час и два пролетят, будто одна минута, нет, ни минуты, ни секунды нет, вовсе времени нет, все равно как уснешь и проснешься: проснешься — знаешь, что много времени прошло с той поры, как уснул; а как это время прошло? — и ни одного мига не составило; и тоже все равно как после сна; не то что утомленье, а напротив, свежесть, бодрость, будто отдохнул; да так и есть, что отдохнул: я сказала «очень легко дышать», это и есть самое настоящее. Какая сила во взгляде, Вера Павловна: никакие другие ласки так не ласкают и не дают такой неги, как взгляд. Все остальное, что есть в любви, все не так нежно, как эта нега.

И все, бывало, любуется, все, бывало, любуется. Ах, что это за наслаждение такое! Этого никто не может представить, кто не испытывал. Да вы это знаете, Вера Павловна.

И как это не устанет он целовать глаза, руки, потом станет целовать грудь, ноги, всю, и ведь мне не стыдно: а ведь я и тогда была потом уж такая же, как теперь. Вы знаете, Вера Павловна, ведь я и женского взгляда стыжусь, право; наши девушки скажут вам, какая я застенчивая, ведь я потому и живу в особой комнате. А как же это странно, вы не

поверите, что, когда он на меня любуется и целует, мне вовсе не было стыдно, а только так приятно, и так легко дышится; отчего ж это, Вера Павловна, что я своих девушек стыжусь, а его взгляда мне не стыдно? Это, я думаю, не оттого ли, что ведь он мне уж и не казался другим человеком, а как будто мы оба один человек; это как будто не он на меня смотрит, а я сама на себя смотрю, это не он меня целует, а я сама себя целую,— право, так мне представлялось; оттого мне и не стыдно. Да вы это знаете, вам не нужно этого рассказывать. А только как подумаешь об этом, то не можешь оторваться от этой мысли. Нет, я уж уйду, Вера Павловна, больше и говорить ни о чем нельзя. Я только хотела сказать, какой Сашенька добрый.

XV

Крюкова досказала Вере Павловне свою историю уже в другие дни. Они с Кирсановым прожили около двух лет. Признаки начинавшейся болезни как будто исчезли. Но в конце второго года, когда пришла весна, чахотка вдруг обнаружилась уже в сильном развитии. Жить с Кирсановым значило бы Крюковой обрекать себя на скорую смерть. Отказавшись от этой связи, она могла еще рассчитывать, что болезнь опять заглохнет надолго. Они решились расстаться. Заниматься какою-нибудь усидчивою работою также значило бы губить себя. Надобно было искать должности экономки, горничной, няньки — что-нибудь такое и у такой госпожи, при которой не было бы утомительных обязанностей, да не было бы — это главное — и неприятностей: условия довольно редкие. Но нашлось такое место. У Кирсанова были знакомства между начинающими артистами; через них Крюкова определилась в горничные к одной из актрис русского театра, отличной женщине. Долго расставались они с Кирсановым и не могли расстаться. «Завтра отправляюсь на свою должность»,— и одно завтра проходило за другим: плакали, плакали и все сидели обнявшись, пока уже сама актриса, знавшая, по какому случаю поступает к ней горничная, приехала за нею сама: догадалась, почему горничная долго не является, и увезла ее от продления разлуки, вредного для нее.

Пока актриса оставалась на сцене, Крюковой было очень хорошо жить у ней: актриса была женщина деликатная, Крюкова дорожила своим местом,— другое такое трудно было бы

найти,— за то, что не имеет неприятностей от госпожи, Крюкова привязалась и к ней; актриса, увидев это, стала еще добрее. Крюковой было очень спокойно, и болезнь ее не развивалась или почти не развивалась. Но актриса вышла замуж, покинула сцену, поселилась в семействе мужа. Тут, как уже и прежде слышала Вера Павловна, отец мужа актрисы стал привязываться к горничной; добродетель Крюковой, положим, и не подвергалась искушению, но началась домашняя ссора: бывшая актриса стала стыдить старика, старик стал сердиться. Крюкова не хотела быть причиною семейного раздора, да если б и хотела, уж не имела спокойной жизни на прежней должности и бросила ее.

Это было года через два с половиною после разлуки с Кирсановым. Она уже вовсе не виделась с ним в это время. Сначала он навещал ее, но радость свиданья так вредно действовала на нее, что он вытребовал у нее позволения не бывать у ней, для ее же пользы. Крюкова пробовала жить горничною еще в двух-трех семействах; но везде было столько тревог и неприятностей, что уж лучше было поступить в швеи, хоть это и было прямым обречением себя на быстрое развитие болезни: ведь болезнь все равно развивалась бы и от неприятностей,— лучше же подвергаться той же судьбе без огорчений, только от одной работы. Год швейной работы окончательно подрезал Крюкову. Когда она поступила в мастерскую Веры Павловны, Лопухов, бывший там домашним врачом, делал все возможное, чтобы задержать ход чахотки, сделал много, то есть много по трудности того небольшого успеха, который получил; но развязка приближалась.

Крюкова до последнего времени находилась в обыкновенном заблуждении чахоточных, воображая, что ее болезнь еще не слишком развилась, потому и не отыскивала Кирсанова, чтобы не вредить себе. Но уже месяца два она очень настойчиво допрашивала Лопухова, долго ли ей остается жить. Зачем это нужно знать ей, она не сказывала, и Лопухов не почел себя вправе прямо говорить ей о близости кризиса, не видя в ее вопросах ничего, кроме обыкновенной привязанности к жизни. Он успокоивал ее. Но она, как чаще всего случается, не успокоивалась, а только удерживалась от исполнения того, что могло доставить отраду ее концу; сама она видела, что ей недолго жить, и чувства ее определялись этою мыслью, но медик уверял ее, что она еще должна беречь себя; она знала, что должна верить ему больше, чем себе, потому слушалась и не отыскивала Кирсанова.

Конечно, это недоразумение не могло бы быть продолжительно; по мере приближения развязки расспросы Крюковой делались бы настойчивее; она или высказала бы, что у ней есть особенная причина знать истину, или Лопухов или Вера Павловна догадались бы, что есть какая-то особенная надобность в ее расспросах, и двумя-тремя неделями, быть может, несколькими днями позже, дело все-таки пришло бы к тому же, к чему пришло несколько раньше благодаря неожиданному для Крюковой появлению Кирсанова в мастерской. Но теперь недоразумение было прекращено не дальнейшим ходом расспросов, а этим случайным обстоятельством.

— Как я рада, как я рада! ведь я все собиралась к тебе, Сашенька! — с восторгом сказала Крюкова, когда ввела его в свою комнату.

— Да, Настенька, и я не меньше тебя рад: теперь не расстанемся; переезжай жить ко мне,—сказал Кирсанов, увлеченный чувством сострадательной любви, и, сказавши, тотчас же вспомнил: как же я сказал ей это? ведь она, вероятно, еще не догадывается о близости кризиса?

Но она или не поняла в первую минуту того смысла, который выходил из его слов, или поняла, но не до того ей было, чтобы обращать внимание на этот смысл, и радость о возобновлении любви заглушила в ней скорбь о близком конце,— как бы то ни было, но она только радовалась и говорила:

— Какой ты добрый, ты все по-прежнему любишь меня.

Но когда он ушел, она поплакала; только теперь она или поняла, или могла заметить, что поняла смысл возобновления любви, что «мне теперь уж нечего беречь тебя, не сбережешь; по крайней мере, пусть ты порадуешься».

И действительно она порадовалась; он не отходил от нее ни на минуту, кроме тех часов, которые должен был проводить в госпитале и Академии; так прожила она около месяца, и все время были они вместе, и сколько было рассказов, рассказов обо всем, что было с каждым во время разлуки, и еще больше было воспоминаний о прежней жизни вместе, и сколько было удовольствий: они гуляли вместе, он нанял коляску, и они каждый день целый вечер ездили по окрестностям Петербурга и восхищались ими; человеку так мила природа, что даже этою жалкою, презренною, хоть и стоившею миллионы и десятки миллионов, природою петербургских окрестностей радуются люди; они читали, они играли в дурачки, они играли в лото, она даже стала учиться играть в шахматы, как будто имела время выучиться.

Вера Павловна несколько раз просиживала у них поздние вечера по их возвращении с гулянья, а еще чаще заходила по утрам, чтобы развлечь ее, когда она оставалась одна; и когда они были одни вдвоем, у Крюковой только одно и было содержание длинных, страстных рассказов,— какой Сашенька добрый, и какой нежный, и как он любит ее!

XVI

Прошло месяца четыре. Заботы о Крюковой, потом воспоминания о ней обманули Кирсанова: ему казалось, что теперь он безопасен от мыслей о Вере Павловне; он не избегал ее, когда она, навещая Крюкову, встречалась и говорила с ним, и потом, когда она старалась развлечь его. Пока он грустил, оно и точно, в его сознательных чувствах к Вере Павловне не было ничего, кроме дружеской признательности за ее участие.

Но,— читатель уже знает вперед смысл этого «но», как всегда будет вперед знать, о чем будет рассказываться после страниц, им прочтенных,— но, разумеется, чувство Кирсанова к Крюковой при их второй встрече было вовсе не то, как у Крюковой к нему: любовь к ней давным-давно прошла в Кирсанове; он только остался расположен к ней как к женщине, которую когда-то любил. Прежняя любовь его к ней была только жаждой юноши полюбить кого-нибудь, хоть кого-нибудь. Разумеется, Крюкова была ему не пара, потому что они не были пара между собою по развитию. Когда он перестал быть юношею, он мог только жалеть Крюкову, не больше; мог быть нежен к ней по воспоминанию, по состраданию — и только. Грусть его по ней, в сущности, очень скоро сгладилась; но когда грусть рассеялась, на самом деле ему все еще помнилось, что он занят этой грустью, а когда он заметил, что уже не имеет грусти, а только вспоминает о ней, он увидел себя в таких отношениях к Вере Павловне, что нашел, что попал в большую беду.

Вера Павловна старалась развлекать его, и он поддавался этому, считая себя безопасным, или лучше сказать, и не вспоминая, что ведь он любит Веру Павловну, не вспоминая, что, поддаваясь ее заботливости, он идет на беду. Да и что же было теперь, через два-три месяца после того, как Вера Павловна стала развлекать его от грусти по Крюковой? Ничего больше, кроме того, что он все это время почти каждый вечер или проводил у Лопуховых, или провожал куда-

нибудь Веру Павловну, провожал часто вместе с мужем, чаще — один. Только и было. Но этого было слишком довольно и для нее, не только для него.

Какой был теперь характер дня Веры Павловны? До вечера тот же самый, как и прежде. Но вот шесть часов. Бывало, она в это время идет одна в свою мастерскую или сидит в своей комнате и работает одна. А теперь, если ей нужно быть в мастерской вечером, об этом уже накануне сказано Кирсанову, и он является провожать ее. По дороге туда и оттуда, впрочем, очень не дальней, они толкуют о чем-нибудь, обыкновенно о мастерской: Кирсанов самый деятельный ее помощник по мастерской. Там она занята распоряжениями, и у него тоже много дела: разве мало набирается у тридцати девушек справок и поручений, которые удобнее всего исполнить ему? А между этих дел он сидит, болтает с детьми; тут же несколько девушек участвуют в этом разговоре обо всем на свете — и о том, как хороши арабские сказки «Тысяча и одна ночь», из которых он много уже рассказал, и о белых слонах, которых так уважают в Индии, как у нас многие любят белых кошек: половина компании находит, что это безвкусие,— белые слоны, кошки, лошади — все это альбиносы, болезненная порода, по глазам у них видно, что они не имеют такого отличного здоровья, как цветные; другая половина компании отстаивает белых кошек. «А не знаете ли вы чего-нибудь поподробнее о жизни самой г-жи Бичер-Стоу, роман которой мы все знаем по вашим рассказам?» — говорит одна из взрослых собеседниц; нет, Кирсанов теперь не знает, но узнает, это ему самому любопытно, а теперь он может пока рассказать кое-что о Говарде, который был почти такой же человек, как г-жа Бичер-Стоу. Так идут то рассказы Кирсанова, то споры Кирсанова с компаниею, детская половина которой постоянно одна и та же, а взрослая половина беспрестанно переменяется. Но вот Вера Павловна кончила свои дела, она возвращается с ним домой к чаю, и они долго сидят втроем после чаю; теперь Вера Павловна и Дмитрий Сергеич просидят вместе гораздо больше времени, чем когда не было тут же Кирсанова. Почти каждый из вечеров, которые они проводят только втроем, устраивается на час, и даже часа на два, музыка: Дмитрий Сергеич играет, Вера Павловна поет, Кирсанов сидит и слушает; иногда Кирсанов играет, тогда Дмитрий Сергеич поет вместе с женою. Но теперь часто случается, что Вера Павловна спешит из мастерской, чтобы успеть одеться в оперу: теперь они очень часто бывают в опере, наполовину втроем, наполовину один Кирсанов с Верою

Павловною. И кроме того, у Лопуховых чаще прежнего стали бывать гости; прежде, не считая молодежи — какие ж это гости, молодежь? это племянники только,— бывали почти только Мерцаловы; теперь Лопуховы сблизились еще с двумя-тремя такими же милыми семействами. Мерцаловы и еще два семейства положили каждую неделю поочередно иметь маленькие вечера с танцами, в своем кругу,— бывает по 6 пар, даже по 8 пар танцующих. Лопухов без Кирсанова не бывает почти никогда ни в опере, ни в знакомых семействах, но Кирсанов часто один провожает Веру Павловну в этих выездах. Лопухов говорит, что хочет остаться в своем пальто, на своем диване. Поэтому только половину вечеров проводят они втроем, но эти вечера уже почти без перерыва втроем; правда, когда у Лопуховых нет никого, кроме Кирсанова, диван часто оттягивает Лопухова из зала, где рояль; рояль теперь передвинут из комнаты Веры Павловны в зал, но это мало спасает Дмитрия Сергеича: через четверть часа, много через полчаса Кирсанов и Вера Павловна тоже бросили рояль и сидят подле его дивана; впрочем, Вера Павловна недолго сидит подле дивана; она скоро устраивается полуприлечь на диване, так, однако, что мужу все-таки просторно сидеть: ведь диван широкий; то есть не совсем уж просторно, но она обняла мужа одною рукою, поэтому сидеть ему все-таки ловко.

Вот таким-то образом прошло месяца три и побольше.

Идиллия нынче не в моде, и я сам вовсе не люблю ее, то есть лично я не люблю, как не люблю гуляний, не люблю спаржи,— мало ли до чего я не охотник? ведь нельзя же одному человеку любить все блюда, все способы развлечений; но я знаю, что эти вещи, которые не по моему личному вкусу, очень хорошие вещи, что они по вкусу, или были бы по вкусу, гораздо большему числу людей, чем те, которые, подобно мне, предпочитают гулянью — шахматную игру, спарже — кислую капусту с конопляным маслом; я знаю даже, что у большинства, которое не разделяет моего вкуса к шахматной игре и радо было бы не разделять моего вкуса к кислой капусте с конопляным маслом, что у него вкусы не хуже моих, и потому я говорю: пусть будет на свете как можно больше гуляний, и пусть почти совершенно исчезнет из света, останется только античною редкостью для немногих, подобных мне, чудаков кислая капуста с конопляным маслом!

Точно так я знаю, что для огромного большинства людей, которые ничуть не хуже меня, счастье должно иметь идиллический характер, и я восклицаю: пусть станет господствовать

в жизни над всеми другими характерами жизни идиллия. Для немногих чудаков, которые не охотники до нее, будут другие характеры счастья, а большинству нужна идиллия. А что идиллия не в моде и потому люди чуждаются ее, так ведь это не возражение: они чуждаются ее, как лисица в басне чуждалась винограда. Им кажется, что идиллия недоступна, потому они и придумали: «Пусть она будет не в моде».

Но чистейший вздор, что идиллия недоступна: она не только хорошая вещь почти для всех людей, но и возможная, очень возможная; ничего трудного не было бы устроить ее, но только не для одного человека или не для десяти человек, а для всех. Ведь и итальянская опера — вещь невозможная для пяти человек, а для целого Петербурга — очень возможная, как всем видно и слышно; ведь и «Полное собрание сочинений Н. В. Гоголя. Москва, 1861 г.» — вещь невозможная для десяти человек, а для всей публики — очень возможная и недорогая, как всем известно. Но пока итальянской оперы для всего города нет, можно лишь некоторым, особенно усердным меломанам пробавляться кое-какими концертами, и пока вторая часть «Мертвых душ» не была напечатана для всей публики, только немногие, особенно усердные любители Гоголя изготовляли, не жалея труда, каждый для себя рукописные экземпляры ее. Рукопись не в пример хуже печатной книги, кое-какой концерт очень плох перед итальянской оперой, а все-таки хороша, все-таки хорош.

XVII

Если бы кто посторонний пришел посоветоваться с Кирсановым о таком положении, в каком Кирсанов увидел себя, когда очнулся, и если бы Кирсанов был совершенно чужд всем лицам, которых касается дело, он сказал бы пришедшему советоваться: «Поправлять дело бегством — поздно; не знаю, как оно разыграется, но для вас бежать или оставаться — одинаково опасно, а для тех, о спокойствии которых вы заботитесь, ваше бегство едва ли не опаснее, чем то, чтобы вы оставались».

Разумеется, Кирсанов сказал бы это только такому человеку, как он сам или как Лопухов, человеку твердого характера и неизменной честности. С другими людьми бесполезно рассуждать о подобных положениях, потому что эти другие люди непременно поступают в таких случаях дрянно и мерзко:

острамят женщину, обесчестятся сами и потом идут по всей своей компании хныкать или хвастаться, услаждаться своею геройскою добродетелью или амурною привлекательностью. С такими людьми ни Лопухов, ни Кирсанов не любили толковать о том, как следует поступать людям благородным. Но говоря человеку своего закона, что бежать теперь чуть ли уже не хуже, чем оставаться, Кирсанов был бы прав. При этом подразумевалось бы: «Я знаю, как стал бы ты держать себя, оставаясь: ведь так, чтобы ничем не обнаружить своего чувства, потому что только в этом случае ты и не будешь негодяем, оставаясь. Задача в том, чтобы как можно более не нарушать спокойствия женщины, жизнь которой идет хорошо. Чтобы оно не нарушилось, этого, кажется, уже невозможно сделать. Чувство, не согласное с ее нынешними отношениями, уже, вероятно,— да чего тут вероятно, проще говоря: без всякого сомнения,— возникло в ней, только она еще не замечает его. Скоро или нет оно обнаружится в ней для нее самой без всякого вызова с твоей стороны, неизвестно. Но твое удаление будет вызовом ему обнаружиться. Стало быть, твое удаление только ускорит дело, которого ты хочешь избежать».

Но Кирсанов рассуждал о деле не как посторонний человек, а как участник. Ему представлялось, что удалиться труднее, чем оставаться; чувство влечет его остаться, следовательно, остаться не будет ли значить — поддаться чувству, обольститься его внушениями? Какое право он имеет так безусловно верить, что ни словом, ни взглядом не обнаружит своего чувства, не сделает вызова? Потому вернее будет удалиться. В своем деле мудрено различить, насколько рассудок обольщается софизмами влечения, потому что честность говорит: поступай наперекор влечению, тогда у тебя больше шансов, что ты поступишь благородно. Это в переводе с теоретического языка на обыкновенный; а теория, которой держался Кирсанов, считает такие пышные слова, как благородство, двусмысленными, темными, и Кирсанов по своей терминологии выразился бы так: «Всякий человек эгоист, я тоже; теперь спрашивается: что для меня выгоднее: удалиться или оставаться? Удаляясь, я подавляю в себе одно частное чувство; оставаясь, я рискую возмутить чувство своего человеческого достоинства глупостью какого-нибудь слова или взгляда, внушенного этим отдельным чувством. Отдельное чувство может быть подавлено, и через несколько времени мое спокойствие восстановится, я опять буду доволен своею жизнью. А если я раз поступлю против всей своей человеческой натуры, я навсегда утрачу возмож-

ность спокойствия, возможность довольства собою, отравлю всю свою жизнь. Мое положение вот какое: я люблю вино, и передо мною стоит кубок с очень хорошим вином; но есть у меня подозрение, что это вино отравлено. Узнать, основательно или нет мое подозрение, я не могу. Должен ли я пить этот кубок или опрокинуть его, чтобы он не соблазнял меня? Я не должен называть своего решения ни благородным, ни даже честным,— это слишком громкие слова, я должен назвать его только расчетливым, благоразумным: я опрокидываю кубок. Через это я отнимаю у себя некоторую приятность, делаю себе некоторую неприятность, но зато обеспечиваю себе здоровье, то есть возможность долго и много пить такое вино, о котором я наверное знаю, что оно не отравлено. Я поступаю неглупо, вот и вся похвала мне».

XVIII

Каким же манером удалиться? Прежняя штука, притвориться обиженным, выставить какую-нибудь пошлую сторону характера, чтобы опереться на нее, не годится: два раза на одном и том же не проведешь; вторая такая история лишь раскрыла бы смысл первой, показала бы его героем не только новых, но и прежних времен. Да и вообще от всякого быстрого перерыва отношений надобно отказаться; такое удаление было бы легче, но оно было бы эффектно, возбудило бы внимание, то есть было бы теперь пошлостью и низостью (по кирсановской теории эгоизма — глупостью, нерасчетом). Потому остается только один, самый мудреный и мучительный способ: тихое отступление медленным, незаметным образом, так, чтоб и не заметили, что он удаляется. Тяжеловато и очень хитро это дело: уйти из виду так, чтобы не заметили твоего движения, когда смотрят на тебя во все глаза, а нечего делать, надобно действовать так. А впрочем, по кирсановской теории, это и не мучительно, а даже приятно; ведь чем труднее дело, тем больше радуешься (по самолюбию) своей силе и ловкости, исполняя его удачно.

И действительно он исполнил его удачно: не выдал своего намерения ни одним недомолвленным или перемолвленным словом, ни одним взглядом; по-прежнему он был свободен и шутлив с Верою Павловною, по-прежнему было видно, что ему приятно в ее обществе; только стали встречаться разные помехи ему бывать у Лопуховых так часто, как прежде, оста-

ваться у них целый вечер, как прежде, да как-то выходило, что чаще прежнего Лопухов хватал его за руку, а то и за лацкан сюртука со словами: «Нет, дружище, ты от этого спора не уйдешь так вот сейчас»,— так что все бóльшую и бóльшую долю времени, проводимого у Лопуховых, Кирсанову приходилось просиживать у дивана приятеля. И все это устраивалось так постепенно, что вовсе и незаметно было, как развивалась перемена. Помехи являлись, и Кирсанов не только не выставлял их, а напротив, жалел (да и то лишь иногда, жалеть часто не годилось бы), что встретилась такая помеха; помехи являлись всё такие натуральные, неизбежные, что частенько сами Лопуховы гнали его от себя, напоминая, что он забыл обещание ныне быть дома, потому что у него хотели быть такой-то и такой-то из знакомых, от которых ему не удалось отвязаться... Или он забыл, что если ныне он не будет у такого-то, этот такой-то оскорбится; или он забыл, что у него к завтрашнему утру остается работы часа на четыре, по крайней мере: что ж он, хочет не спать нынешнюю ночь? — ведь уж десять часов, нечего ему балагурить, пора ему отправляться за работу. Кирсанов даже не всегда слушался этих напоминаний: не поедет он к этому знакомому, пусть сердится этот господин, или: работа не уйдет, время еще есть, а он досидит вечер здесь. А помехи все накоплялись: и ученые занятия все неотступнее отнимали у Кирсанова вечер за вечером,— провалились бы они, по его мнению (изредка выражаемому вскользь), эти ученые занятия,— и знакомые тоже навязывались на него все больше, и как только они навязываются (это выражается тоже изредка, вскользь),— удивительно, как они навязываются! Это ему так кажется, а Лопуховым очень видно, почему так: он входит в известность, вот и является все больше и больше людей, которым он нужен; и работою нельзя ему пренебрегать, напрасно он начинает полениваться,— да чего, он вовсе изленился в предыдущие месяцы, вот ему и скучно приниматься за нее: «А надобно, брат Александр».— «Пора, Александр Матвеич!»

Труден был маневр, на целые недели надобно было растянуть этот поворот налево кругом и повертываться так медленно, так ровно, как часовая стрелка: смотрите на нее, как хотите, внимательно, не увидите, что она поворачивается, а она себе исподтишка делает свое дело, идет в сторону от прежнего своего положения. Зато и какое же наслаждение было Кирсанову, как теоретику, любоваться своею ловкостью на практике. Эгоисты и материалисты, ведь они всё делают, собственно, только в удовольствие себе. Да, и Кирсанов мог, положа руку на

сердце, сказать, что он делает свою штуку в удовольствие себе: он радовался на свое искусство и молодечество.

Так прошел месяц, может быть, несколько и побольше, и если бы кто сосчитал, тот нашел бы, что в этом месяце ни на волос не уменьшилась его короткость с Лопуховыми, но вчетверо уменьшилось время, которое проводит он у них, а в этом времени наполовину уменьшилась пропорция времени, которое проводит он с Верою Павловною. Еще какой-нибудь месяц, и при всей неизменности дружбы друзья будут мало видеться — и дело будет в шляпе.

Зорки глаза у Лопухова — неужели он ничего не замечает? — Нет, ничего.

А Вера Павловна? и Вера Павловна ничего не замечает. И в себе ничего не замечает? и в себе ничего не замечает Вера Павловна; только снится Вере Павловне сон.

XIX

ТРЕТИЙ СОН ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ

И снится Вере Павловне сон.

После чаю, поболтавши с миленьким, пришла она в свою комнату и прилегла,— не спать, спать еще рано, куда же, только еще половина девятого, нет, она еще не раздевалась,— а только так, легла читать. Вот она и читает на своей кроватке, только книга опускается от глаз, и думается Вере Павловне: «Что это в последнее время стало мне несколько скучно иногда? или это не скучно, а так? да, это не скучно, а только я вспомнила, что ныне я хотела ехать в оперу, да этот Кирсанов, такой невнимательный, поздно поехал за билетом: будто не знает, что когда поет Бозио, то нельзя в одиннадцать часов достать билетов в два рубля. Конечно, его нельзя винить: ведь он до пяти часов работал, наверное до пяти, хоть и не признался... а все-таки он виноват. Нет, вперед лучше буду просить миленького брать билеты и в оперу ездить буду с миленьким: миленький никогда этого не сделает, чтоб я осталась без билета, а ездить со мною он всегда будет рад, ведь он у меня такой милый, мой миленький. А через этого Кирсанова пропустила «Травиату» — это ужасно! я бы каждый вечер была в опере, если бы каждый вечер была опера — какая-нибудь, хоть бы сама по себе плохая, с главною ролью Бозио. Если б у меня был такой голос, как у Бозио, я, кажется, целый день пела бы. А если бы

познакомиться с нею? Как бы это сделать? Этот артиллерист хорош с Тамберликом, нельзя ли через него? Нет, нельзя. Да и какая смешная мысль! Зачем знакомиться с Бозио? разве она станет петь для меня? Ведь она должна беречь свой голос.

А когда ж это Бозио успела выучиться по-русски? И как чисто она произносит. Но какие же смешные слова, и откуда она выкопала такие пошлые стишки? да она, должно быть, училась по той же грамматике, по которой я: там они приведены в пример для расстановки знаков препинания; как это глупо, приводить в грамматике такие стихи, и хоть бы стихи-то были не так пошлы; но нечего думать о стихах, надобно слушать, как она поет:

Час наслажденья
Лови, лови;
Младые лета
Отдай любви...

Какие смешные слова: и «младые» и «лета» с неверным ударенье́м! Но какой голос и какое чувство у ней! Да, у ней голос стал гораздо лучше прежнего, несравненно лучше, удивительно! как же это он мог стать так много лучше? Да, вот я не знала, как с нею познакомиться, а она сама приехала ко мне с визитом. Как это она узнала мое желанье?

— Да ведь ты давно зовешь меня,— говорит Бозио, и говорит по-русски.

— Я тебя звала, Бозио? Да как же я могла звать тебя, когда я с тобою незнакома? Но я очень, очень рада видеть тебя.

Вера Павловна раскрывает полог, чтобы подать руку Бозио, но певица хохочет, да ведь это не Бозио, а скорее де Мерик в роли цыганки в «Риголетто», но только веселость хохота де Мерик, а голос Бозио, и отбегает, и прячется за пологом; как досадно, этот полог прячет ее, и ведь прежде его не было, откуда он взялся.

— Знаешь, зачем я к тебе приехала? — и хохочет, будто де Мерик, но только Бозио.

— Да кто ж ты? Ведь ты не де Мерик?

— Нет.

— Ведь ты Бозио?

Певица хохочет:

— Узнаешь скоро; а теперь нам надобно заняться тем, зачем я к тебе пришла. Я хочу читать с тобою твой дневник.

— У меня нет никакого дневника, я никогда не вела его.

— А посмотри, что ж это лежит на столике?

Вера Павловна смотрит: на столике у кроватки лежит

тетрадь с надписью: «Дневник В. Л.». Откуда взялась эта тетрадь? Вера Павловна берет ее, раскрывает — тетрадь писана ее рукою; когда же?

— Читай последнюю страницу,— говорит Бозио.

Вера Павловна читает: «Опять мне часто приходится сидеть одной по целым вечерам. Но это ничего: я так привыкла».

— Только? — говорит Бозио.

— Только.

— Нет, ты не все читаешь.

— Здесь больше ничего не написано.

— Меня не обманешь,— говорит гостья,— а это что? — Из-за полога протягивается рука. Как хороша эта рука! нет, эта дивная рука не Бозио, и как же эта рука протягивается сквозь полог, не раскрывая полога?

Рука новой гостьи дотрогивается до страницы; под рукою выступают новые строки, которых не было прежде. «Читай»,— говорит гостья. У Веры Павловны сжимается сердце, она еще не смотрела на эти строки, не знает, что тут написано; но у ней сжимается сердце. Она не хочет читать новых строк.

— Читай,— повторяет гостья.

Вера Павловна читает: «Нет, одной теперь скучно. Это прежде не было скучно. Отчего же это прежде не было скучно одной и отчего теперь скучно?»

— Переверни страницу назад,— говорит гостья.

Вера Павловна перевертывает страницу. «Лето нынешнего года». Кто же так пишет дневники? — думается Вере Павловне.— Надобно было написать: 1855, июнь или июль, и выставить число, а тут: лето нынешнего года; кто же так пишет в дневниках? «Лето нынешнего года. Мы едем, по обыкновению, за город, на острова; а в нынешний раз с нами едет миленький; как это приятно мне». Ах, так это август,— какое число? пятнадцатое или двенадцатое? да, да, около пятнадцатого, это про ту поездку, после которой мой бедный миленький сделался болен,— думает Вера Павловна.

— Только?

— Только.

— Нет, ты не все читаешь. А это что? — говорит гостья, и опять сквозь нераскрывающийся полог является дивная рука, опять касается страницы, и опять выступают на странице новые слова, и опять против воли читает Вера Павловна новые слова: «Зачем мой миленький не провожает нас чаще?»

— Переверни еще страницу,— говорит гостья.

«У моего миленького так много занятий, и все для меня, для меня он работает, мой миленький. Вот и ответ»,— с радостью думает Вера Павловна.

— Переверни опять страницу.

«Какие честные, благородные люди эти студенты, и как они уважают моего миленького. И мне с ними весело: я с ними, как с братьями, без всякой церемонии».

— Только?

— Только.

— Нет, читай дальше.— И опять является рука, касается страницы, опять выступают новые строки, опять против воли читает Вера Павловна новые строки:

«16 августа»,— то есть на другой день после прогулки на острова, ведь она была именно пятнадцатого,— думает Вера Павловна: «Миленький все время гулянья говорил с этим Рахметовым, или, как они в шутку зовут его, ригористом, и с другими его товарищами. Подле меня едва ли провел он четверть часа»,— неправда, больше полчаса, я думаю, да, больше полчаса, я уверена,— думает Вера Павловна: «кроме того времени, которое мы сидели рядом в лодке. 17 августа. Вчера весь вечер просидели у нас студенты»,— да, это накануне того дня, как миленький занемог,— «миленький весь вечер говорил с ними. Зачем он отдает им так много времени, так мало мне? Ведь не все же время он работает, он и сам говорит, что далеко не все время, что без отдыха невозможно работать, что он много отдыхает, думает о чем-нибудь только для отдыха, зачем же он думает один, зачем не со мною?»

— Переверни еще лист.

«Июль нынешнего года, и всякий месяц нынешнего года до болезни миленького, да и в прошлом году то же, и прежде то же. Пять дней тому назад были у нас студенты; вчера тоже. Я с ними много шалила, так весело было. Завтра или послезавтра будут опять, опять будет очень весело».

— Только?

— Только.

— Нет, читай дальше.— Опять является рука, касается страницы, опять выступают под рукою новые строки, опять против воли читает их Вера Павловна.

«С начала нынешнего года, особенно с конца весны. Да это прежде было мне весело с этими студентами, весело, и только. А теперь часто думается: это ребяческие игры, мне долго будут они забавны; вероятно, когда я буду и старуха, когда самой будет уже не по летам играть, я буду любоваться на игры моло-

дежи, напоминающие детство. Но ведь я и теперь смотрю на этих студентов как на младших братьев, и я не всегда бы хотела превращаться непременно в Верочку, когда хочу отдыха от серьезных мыслей и труда. Ведь я уж Вера Павловна; веселиться, как Верочка, приятно по временам, но не всегда же. Вера Павловна иногда хочет такого веселья, при котором бы оставаться Верою Павловною. Это веселье с ровными по жизни».

— Переверни еще несколько страниц назад.

«Я на днях открываю швейную и отправилась к Жюли просить заказов. Миленький заехал к ней за мной. Она оставила нас завтракать, велела подать шампанского, заставила меня выпить два стакана. Мы с нею начали петь, бегать, кричать, бороться. Так было весело. Миленький смотрел и смеялся».

— Будто только? — говорит гостья, и опять под рукою гостьи выступают новые слова, и опять против воли читает их Вера Павловна:

«Миленький только смотрел и смеялся. Почему ж бы ему не пошалить с нами? Ведь это было бы еще веселее. Разве это было неловко или разве он этого не сумел бы — принять участие в нашей игре? Нет, нисколько не неловко, и он сумел бы. Но у него такой характер. Он только не мешает, он одобряет, радуется — и только».

— Переверни одну страницу вперед.

«Нынче мы с миленьким были в первый раз после моего замужества у моих родных. Мне было так тяжело видеть ту жизнь, которая давила, душила меня до замужества. Миленький мой! от какой отвратительной жизни он меня избавил! Ночью мне приснился страшный сон: будто маменька упрекает меня в неблагодарности и говорит правду, но такую ужасную правду, что я начала стонать. Миленький услышал этот стон и вошел в мою комнату, а я уж пела (все во сне), потому что пришла моя любимая красавица и утешила меня. Миленький был моею горничною. Так было стыдно. Но он такой скромный, только поцеловал мое плечо».

— Будто только написано? меня не обманешь, читай...— Опять под рукою гостьи выступают новые слова, и Вера Павловна против воли читает их:

«А ведь это даже как будто обидно».

— Переверни несколько страниц назад.

«Ныне я ждала своего друга Д. на бульваре, подле Нового моста: там живет дама, у которой я думала быть гувернанткою. Но она не согласилась. Мы с Д. вернулись домой очень унылые. Я в своей комнате перед обедом все думала, что лучше

умереть, чем жить, как я живу теперь, и вдруг, за обедом, Д. говорит: «Вера Павловна, пьем за здоровье моей невесты и вашего жениха». Я едва могла удержаться, чтобы не заплакать тут же при всех от радости такого неожиданного избавления. После обеда мы долго говорили с Д. о том, как мы будем жить. Как я его люблю: он выводит меня из подвала».

— Читай же все.

— Больше ничего нет.

— Смотри.— Опять под рукою гостьи выступают новые строки.

— Я не хочу читать,— в страхе говорит Вера Павловна; она еще не разобрала, что написано на этих новых строках, но ей уже страшно.

— Не можешь не читать, когда я велю: читай!

«Так неужели же я люблю его за то, что он выводит меня из подвала? не самого его, а свое избавление из подвала?»

— Переверни еще назад, читай самую первую страницу.

«В день моего рождения, сегодня, я в первый раз говорила с Д. и полюбила его. Я еще ни от кого не слышала таких благородных, утешительных слов. Как он сочувствует всему, что требует сочувствия, хочет помогать всему, что требует помощи; как он уверен, что счастье для людей возможно, что оно должно быть, что злоба и горе не вечно, что быстро идет к нам новая, светлая жизнь. Как у меня радостно расширялось сердце, когда я слышала эти уверения от человека ученого, серьезного: ведь ими подтверждались мои мысли... Как добр он был, когда говорил о нас, бедных женщинах. Каждая женщина полюбит такого человека. Как он умен, как он благороден, как он добр!»

— Хорошо. Переверни опять на последнюю страницу.

— Но эту страницу я уж прочла.

— Нет, это еще не последняя. Переверни еще лист.

— Но на этом листе ничего нет.

— Читай же! Видишь, как много на нем написано.— И опять от прикосновения руки гостьи выступили строки, которых не было.

Сердце Веры Павловны холодеет.

— Я не хочу читать, я не могу читать.

— Я велю. Должна.

— Не могу и не хочу.

— Так я тебе прочту, что у тебя написано.— Слушай:

«Он человек благородный, он мой избавитель. Но благородством внушается уважение, доверие, готовность действовать заодно, дружба; избавитель награждается признательностию, пре-

данностию. Только. У него натура, быть может, более пылкая, чем у меня. Когда кипит кровь, ласки его жгучи. Но есть другая потребность, потребность тихой, долгой ласки, потребность сладко дремать в нежном чувстве. Знает ли он ее? Сходны ли наши натуры, наши потребности? Он готов умереть для меня — и я для него. Но довольно ли этого? Мыслями ли обо мне живет он? Мыслями ли о нем живу я? Люблю ли я его такою любовью, какая нужна мне? Прежде я не знала этой потребности тихого, нежного чувства — нет, мое чувство к нему не...»

— Я не хочу слышать больше! — Вера Павловна с негодованием отбрасывает дневник.— Гадкая! злая! зачем ты здесь! Я не звала тебя, уйди!

Гостья смеется тихим, добрым смехом.

— Да, ты не любишь его; эти слова написаны твоею рукою.

— Проклинаю тебя!

Вера Павловна просыпается с этим восклицанием, и быстрее, чем сознала она, что видела только сон и что она проснулась, она уже вскочила, она бежит.

— Мой милый, обними меня, защити меня! Мне снился страшный сон! — Она жмется к мужу.— Мой милый, ласкай меня, будь нежен со мною, защити меня!

— Верочка, что с тобою? — Муж обнимает ее.— Ты вся дрожишь.— Муж целует ее.— У тебя на щеках слезы, у тебя холодный пот на лбу. Ты босая бежала по холодному полу, моя милая; я целую твои ножки, чтобы согреть их.

— Да, ласкай меня, спаси меня! мне снился гадкий сон, мне снилось, что я не люблю тебя.

— Милая моя, кого же ты любишь, как не меня? Нет, это пустой, смешной сон!

— Да, я люблю тебя, только ласкай меня, целуй меня,— я тебя люблю, я тебя хочу любить.

Она крепко обнимает мужа, вся жмется к нему и, успокоенная его ласками, тихо засыпает, целуя его.

XX

В это утро Дмитрий Сергеич не идет звать жену пить чай: она здесь, прижавшись к нему; она еще спит; он смотрит на нее и думает: «Что это такое с ней, чем она была испугана, откуда этот сон?»

— Оставайся здесь, Верочка, я внесу сюда чай; не вставай, мой дружочек, я подам тебе, ты умоешься не вставая.

— Да, я не буду вставать, я полежу, мне так хорошо здесь: какой ты умный за это, миленький, как я тебя полюбила. Вот я и умылась, теперь неси сюда чай; нет, прежде обними меня! — И Вера Павловна долго не выпускала мужа, обнявши.— Ах, мой миленький, какая я смешная! как я к тебе прибежала! Что теперь подумает Маша? нет, мы это скроем от нее, что я проснулась у тебя. Принеси мне сюда одеваться. Ласкай меня, мой миленький, ласкай меня, я хочу любить тебя, мне нужно любить! я буду любить тебя, как еще не любила!

Комната Веры Павловны стоит пустая. Вера Павловна, уж не скрываясь от Маши, поселилась в комнате мужа. «Какой он нежный, какой он ласковый, мой милый, и я могла вздумать, что не люблю тебя? Какая я смешная!»

— Верочка, теперь ты успокоилась, моя милая; скажи же мне, что тебе приснилось третьего дня?

— Ах, пустяки! мне только и приснилось, что́ я тебе сказала, что ты мало ласкаешь меня. А теперь мне хорошо. Зачем мы не жили с тобою всегда так? Тогда мне не приснился бы этот гадкий сон, страшный, гадкий, я не хочу помнить его!

— Да ведь мы без него не жили бы, как теперь.

— Правда; я ей очень благодарна, этой гадкой: она не гадкая, хорошая.

— Кто «она»? У тебя, кроме прежней красавицы, еще новая подруга?

— Да, еще новая. Ко мне приходила какая-то женщина, с таким очаровательным голосом, гораздо лучше Бозио, а какие руки у нее! Ах, какая дивная красота! Только руку я и видела: сама она пряталась за пологом, мне снилось, что у моей постели,— за то же я ее и бросила, что на ней это приснилось,— что у ней есть полог и что гостья прячется за ним; но какая дивная рука, мой милый! и она пела про любовь и подсказывала мне, что такое любовь. Теперь я поняла, мой милый. Какая была я глупенькая, я не понимала, ведь была девочка, глупенькая девочка?

— Моя милая, ангел мой, всему своя пора. И то, как мы прежде жили с тобою,— любовь; и то, как теперь живем,— любовь; одним нужна одна, другим — другая любовь; тебе прежде было довольно одной, теперь нужна другая. Да, ты теперь стала женщиной, мой друг, и что прежде было не нужно тебе, стало нужно теперь.

Проходит неделя, две. Вера Павловна нежится; в своей комнате бывает она теперь только когда мужа нет дома или когда он работает,— да нет, и когда работает, она часто сидит у него в кабинете; когда заметит, что мешает, что работа требует полного внимания, тогда зачем же мешать? Но ведь таких работ у каждого мало, бóльшая часть и ученой работы — чисто механическая; поэтому три четверти времени он видит подле себя жену, и порою они приласкают друг друга. Только одно изобретение было нужно: купить другой диван, поменьше мужнина. И вот Вера Павловна после обеда нежится на своем диванчике; у диванчика сидит муж и любуется на нее.

— Милый мой, зачем ты целуешь мои руки? ведь я этого не люблю.

— Да? я и забыл, что обижаю тебя, ну, и буду обижать.

— Миленький мой, ты во второй раз избавляешь меня: спас меня от злых людей, спас меня от себя самой! Ласкай меня, мой милый, ласкай меня!

Проходит месяц. Вера Павловна нежится после обеда на своем широком, маленьком, мягком диванчике в комнате своей и мужа, то есть в кабинете мужа. Он присел на диванчик, а она обняла его, прилегла головой к его груди, но она задумывается; он целует ее, но не проходит задумчивость ее, и на глазах чуть ли не готовы навернуться слезы.

— Верочка, милая моя, что ты задумчива?

Вера Павловна плачет и молчит. Нет, она утерла слезы.

— Нет, не ласкай, мой милый! Довольно. Благодарю тебя! — и она так кротко и искренно смотрит на него.— Благодарю тебя, ты так добр ко мне.

— Добр, Верочка? Что это, как это?

— Добр, мой милый; ты добрый.

Проходит два дня. Вера Павловна опять нежится после обеда, нет, не нежится, а только лежит и думает, и лежит она в своей комнате, на своей кроватке. Муж сидит подле нее, обнял ее, тоже думает.

«Да, это не то. Во мне нет того»,— думает Лопухов.

«Какой он добрый, какая я неблагодарная!» — думает Вера Павловна.

Вот что они думают.

Она говорит:

— Мой милый, иди к себе, занимайся или отдохни,— и хочет сказать и умеет сказать эти слова простым, не унылым тоном.

— Зачем же, Верочка, ты гонишь меня? мне и здесь хорошо,— и хочет и умеет сказать эти слова простым, веселым тоном.

— Нет, иди, мой милый. Ты довольно делаешь для меня. Иди отдохни.

Он целует ее, и она забывает свои мысли, и ей опять так сладко и легко дышать.

— Благодарю тебя, мой милый,— говорит она.

А Кирсанов совершенно счастлив. Трудновата была борьба на этот раз, но зато и сколько внутреннего удовольствия доставляла она ему, и это удовольствие не пройдет вместе с нею, а будет греть его грудь долго, до конца жизни. Он честен. Да. Он сблизил их. Да, в самом деле сблизил. Кирсанов лежит на диване, курит и думает: «Будь честен, то есть расчетлив, не просчитывайся в расчете, помни сумму, помни, что она больше своей части, то есть что твоя человеческая натура сильнее, важнее для тебя, чем каждое отдельное твое стремление, предпочитай же ее выгоды выгодам каждого отдельного твоего стремления, если они как-нибудь разноречат,— вот только и всего, это и называется попросту: будь честен, и все будет отлично. Одно правило, и какое немудрое, вот и весь результат науки, вот и весь свод законов счастливой жизни. Да, счастливы те, которые родились с наклонностью понять это простое правило. И я довольно счастлив в этом отношении. Конечно, я много, вероятно, больше, чем натуре, обязан развитию. А постепенно это будет развиваться в обычное правило, внушаемое всем воспитанием, всею обстановкою жизни. Да, тогда будет всем легко жить на свете, вот как теперь мне. Да, я доволен. Надобно, однако, зайти к ним: я не был уж недели три. Пора, хоть это уж и неприятно мне. Меня уж не тянет к ним. Но пора. Заеду на днях на полчаса. Или не отложить ли на месяц? Кажется, можно.

Да, отступление сделано вполне, маневры кончены; скрылся из виду, и теперь не заметят, три недели или три месяца не был я у них. А приятно издали думать о людях, с которыми поступил честно. Отдыхаю на лаврах».

А Лопухов еще через два-три дня, тоже после обеда, входит в комнату жены, берет на руки свою Верочку, несет ее на ее оттоманку к себе: «Отдыхай здесь, мой друг», и любуется на нее. Она задремала улыбаясь; он сидит и читает. А она уж опять открыла глаза и думает:

«Как у него убрана комната: кроме необходимого, ничего нет. Нет, есть и у него свои прихоти: вот огромный ящик сигар, который я ему подарила в прошлом году, он еще стоит цел, ждет своего срока. Да, это его единственная прихоть, одна роскошь — сигары. Нет, вот и еще роскошь: фотография этого старика; какое благородное лицо у старика, какая смесь незлобия и проницательности в его глазах, во всем выражении лица! Сколько хлопот было Дмитрию достать эту фотографию. Ведь портретов Овэна нет нигде, ни у кого. Писал три письма, двое из бравших письма не отыскали старика, третий нашел, и сколько мучил его, пока удалась действительно превосходная фотография, и как Дмитрий был счастлив, когда получил ее, и письмо от «святого старика», как он зовет его, письмо, в котором Овэн хвалит меня, со слов его. А вот и другая роскошь: мой портрет; полгода он копил деньги, чтобы просить хорошего живописца, и сколько они с этим молодым живописцем мучили меня. Два портрета — и только. Неужели дорого стоило бы купить гравюр и фотографий, как у меня? У него нет и цветов, которых так много в моей комнате; отчего же ему не нужны цветы, а мне нужны? Неужели оттого, что я женщина? Что за пустяки! Или это оттого, что он серьезный, ученый человек? Но ведь у Кирсанова и гравюры и цветы, а он также серьезный и ученый человек.

И почему ему скучно отдавать мне много времени? Ведь я знаю, что это ему стоит усилия. Неужели оттого, что он серьезный и ученый человек? Но ведь Кирсанов... нет, нет, он добрый, добрый, он все для меня сделал, все готов с радостью для меня сделать! Кто может так любить меня, как он? Я его люблю, и я готова на все для него...»

— Верочка, а ты уж не дремлешь, мой милый друг?

— Миленький мой, отчего у тебя в комнате нет цветов?

— Изволь, мой друг, я заведу. Завтра же. Мне просто не случилось подумать об этом, что это хорошо. А это очень хорошо.

— И о чем еще просила бы я тебя: купи себе фотографий, или лучше я тебе куплю на свои деньги и цветов и фотографий.

— Тогда действительно они будут мне приятны. Я и так люблю их, но тогда мне приятнее будет иметь их. Но, Верочка,

ты была задумчива, ты думала о своем сне. Позволишь ли ты мне просить тебя, чтоб ты побольше рассказала мне об этом сне, который так напугал тебя?

— Мой милый, теперь я не думала о нем. И мне так тяжело вспоминать его.

— Но, Верочка, быть может, мне полезно будет знать его.

— Изволь, мой милый. Мне снилось, что я скучаю оттого, что не поехала в оперу, что я думала о ней, о Бозио; ко мне пришла какая-то женщина, которую я сначала приняла за Бозио и которая все пряталась от меня; она заставила меня читать мой дневник; там было написано все только о том, как мы с тобою любим друг друга, а когда она дотрогивалась рукою до страниц, на них показывались новые слова, говорившие, что я не люблю тебя.

— Прости меня, мой друг, что я еще спрошу тебя: ты только видела во сне?

— Милый мой, если б не только, разве я не сказала бы тебе? Ведь я это тогда же тебе сказала.

Это было сказано так нежно, так искренно, так просто, что Лопухов почувствовал в груди волнение теплоты и сладости, которого всю жизнь не забудет тот, кому счастье дало испытать его. О, как жаль, что немногие, очень немногие мужья могут знать это чувство! Все радости счастливой любви — ничто перед ним: оно навсегда наполняет чистейшим довольством, самою святою гордостью сердце человека. В словах Веры Павловны, сказанных с некоторой грустью, слышался упрек; но ведь смысл упрека был: «Друг мой, неужели ты не знаешь, что ты заслужил полное мое доверие? Жена должна скрывать от мужа тайные движения своего сердца: таковы уже те отношения, в которых они стоят друг к другу. Но ты, мой милый, держал себя так, что от тебя не нужно утаивать ничего, что мое сердце открыто перед тобою, как передо мною самой». Это великая заслуга в муже; эта великая награда покупается только высоким нравственным достоинством; и кто заслужил ее, тот вправе считать себя человеком безукоризненного благородства, тот смело может надеяться, что совесть его чиста и всегда будет чиста, что мужество никогда ни в чем не изменит ему, что во всех испытаниях, всяких, каких бы то ни было, он останется спокоен и тверд, что судьба почти не властна над миром его души, что с той поры, как он заслужил эту великую честь, до последней минуты жизни, каким бы ударам ни подвергался он, он будет счастлив сознанием своего человеческого достоинства. Мы теперь довольно знаем Лопухова, чтобы видеть, что он был

человек не сентиментальный, но он был так тронут этими словами жены, что лицо его вспыхнуло.

— Верочка, друг мой, ты упрекнула меня,— его голос дрожал во второй раз в жизни и в последний раз; в первый раз голос его дрожал от сомнения в своем предположении, что он отгадал, теперь дрожал от радости,— ты упрекнула меня, но этот упрек мне дороже всех слов любви. Я оскорбил тебя своим вопросом, но как я счастлив, что мой дурной вопрос дал мне такой упрек! Посмотри, слезы на моих глазах, с детства первые слезы в моей жизни!

Он целый вечер не сводил с нее глаз, и ей ни разу не подумалось в этот вечер, что он делает над собой усилие, чтобы быть нежным, и этот вечер был одним из самых радостных в ее жизни, по крайней мере, до сих пор; через несколько лет после того, как я рассказываю вам о ней, у ней будет много таких целых дней, месяцев, годов: это будет, когда подрастут ее дети и она будет видеть их людьми, достойными счастья и счастливыми. Эта радость выше всех других личных радостей; что во всякой другой личной радости редкая, мимолетная высокость, то в ней обыкновенный уровень каждого обыкновенного дня. Но это еще в будущем для нее.

XXI

Но когда жена заснула, сидя у него на коленях, когда он положил ее на ее диванчик, Лопухов крепко задумался о ее сне. Для него дело было не в том, любит ли она его; это уж ее дело, в котором и она не властна, и он, как он видит, не властен; это само собою разъяснится, об этом нечего думать иначе как на досуге, а теперь недосуг, теперь его дело разобрать, из какого отношения явилось в ней предчувствие, что она не любит его.

Не первый раз он долго сидел в этом раздумье; уж несколько дней он видел, что не удержит за собою ее любви. Потеря тяжелая, но что ж делать? Если б он мог изменить свой характер, приобрести то влечение к тихой нежности, какого требовала ее натура, о, тогда, конечно, было бы другое. Но он видел, что эта попытка напрасна. Если наклонность не дана природою или не развита жизнью независимо от намерений самого человека, этот человек не может создать ее в себе усилием воли, а без влечения ничто не делается так, как надобно. Стало быть, вопрос о нем решен. На это и были потрачены прежние раздумья. А теперь, покончив свое (как эгоист, всегда прежде

всего думающий о себе и о других лишь тогда, когда уже нечего думать о себе), он мог приняться и за чужое, то есть за ее раздумье. Что он может сделать для нее? Она еще не понимает, что в ней происходит, она еще не так много пережила сердцем, как он; что ж, ведь это натурально: она четырьмя годами моложе его, а в начале молодости четыре года много значат. Не может ли он, более опытный, разобрать то, чего не умеет разобрать она? Как же разгадать ее сон?

Скоро у Лопухова явилось предположение: причина ее мыслей должна заключаться в том обстоятельстве, из которого произошел ее сон. В поводе к сну должна находиться какая-нибудь связь с его содержанием. Она говорит, что скучала оттого, что не поехала в оперу. Лопухов стал пересматривать свой и ее образ жизни, и постепенно все для него прояснилось. Бóльшую часть времени, остававшегося у нее свободным, она проводила так же, как он, в одиночестве. Потом началась перемена: она была постоянно развлечена. Теперь опять возобновляется прежнее. Этого возобновления она уже не может принять равнодушно: оно не по ее натуре, оно было бы не по натуре и огромному большинству людей. Особенно загадочного тут нет ничего. От этого было уже очень недалеко до предположения, что разгадка всего — ее сближение с Кирсановым и потом удаление Кирсанова. Отчего ж Кирсанов удалился? Причина выставлялась сама собою: недостаток времени, множество занятий. Но человека честного и развитого, опытного в жизни и в особенности умеющего пользоваться теориею, которой держался Лопухов, нельзя обмануть никакими выдумками и хитростями. Он может сам обманываться от невнимательности, может не обращать внимания на факт: так и Лопухов ошибся, когда Кирсанов отошел в первый раз; тогда, говоря чистую правду, ему не было выгоды, стало быть, и охоты усердно доискиваться причины, по которой удалился Кирсанов; ему важно было только рассмотреть, не он ли виноват в разрыве дружбы, ясно было — нет, так не о чем больше и думать; ведь он не дядька Кирсанову, не педагог, обязанный направлять на путь истинный стопы человека, который сам понимает вещи не хуже его. Да и какая ему надобность, в сущности? Разве в отношениях его с Кирсановым было что-нибудь особенно важное для него? Пока ты хорош и хочешь, чтобы я любил тебя, мне очень приятно; нет — мне очень жаль, и ступай куда хочешь, не все ли равно мне? Что одним глупцом на свете больше или меньше, это составляет мало разницы. Я принимал глупца за хорошего человека, это мне очень обидно, только и всего. Если

наши интересы не связаны с поступками человека, его поступки, в сущности, очень мало занимают нас, когда мы люди серьезные, исключая двух случаев, которые, впрочем, кажутся исключениями из правила только людям, привыкшим понимать слово «интерес» в слишком узком смысле обыденного расчета. Первый случай — если поступки эти занимательны для нас с теоретической стороны, как психологические явления, объясняющие натуру человека, то есть если мы имеем в них умственный интерес; другой случай — если судьба человека зависит от нас; тут мы были бы виноваты перед собою при невнимательности к его поступкам, то есть если мы имеем в них интерес совести. Но в тогдашних глупых выходках Кирсанова не было ничего такого, что не было бы известно Лопухову за очень обыкновенную принадлежность нынешних нравов; не редкость было и то, что человек, имеющий порядочные убеждения, поддается пошлости, происходящей от нынешних нравов. А чтобы Лопухов мог играть важную роль в судьбе Кирсанова, этого не могло и воображаться Лопухову: с какой стати Кирсанов нуждается в его заботливости? Следовательно: ступай, мой друг, от меня, куда тебе лучше, какая мне надобность думать о тебе? Но теперь не то: действия Кирсанова представлялись имеющими важное отношение к интересам женщины, которую Лопухов любил. Он не мог не подумать о них внимательно. А подумать внимательно о факте и понять его причины — это почти одно и то же для человека с тем образом мыслей, какой был у Лопухова. Лопухов находил, что его теория дает безошибочные средства к анализу движений человеческого сердца, и я, признаюсь, согласен с ним в этом; в те долгие годы, как я считаю ее за истину, она ни разу не ввела меня в ошибку и ни разу не отказалась легко открыть мне правду, как бы глубоко ни была затаена правда какого-нибудь человеческого дела. Правда и то, что теория эта сама-то дается не очень легко: нужно и пожить и подумать, чтоб уметь понять ее.

Через какие-нибудь полчаса раздумья для Лопухова было ясно все в отношениях Кирсанова к Вере Павловне. Но он долго все сидел и думал все о том же: разъяснять-то предмет было уже нечего, но занимателен был он; открытие было сделано в полной законченности всех подробностей, но было так любопытно, что довольно долго не дало уснуть.

Однако что ж в самом деле расстроивать свои нервы бессонницею? ведь уж три часа. Если не спится, надобно принять морфия; он принял две пилюли, «вот только взгляну на

Верочку». Но вместо того чтобы подойти и взглянуть, он подвинул свои кресла к ее диванчику и уселся в них, взял ее руку и поцеловал. «Миленький мой, ты заработался, все для меня; какой ты добрый, как я люблю тебя»,— проговорила она сквозь сон. Против морфия в достаточном количестве не устоит никакое крушение духа; на этот раз двух пилюль оказалось достаточно, вот уж одолевает дремота. Следовательно, крушение души своею силою приблизительно равнялось, по материалистическому взгляду Лопухова, четырем стаканам крепкого кофе, против которых Лопухову также было мало одной пилюли, а трех пилюль много. Он заснул, смеясь над этим сравнением.

XXII

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗГОВОР

На другой день Кирсанов только что разлегся было сибаритски с сигарою читать для отдыха после своего позднего обеда по возвращении из госпиталя, как вошел Лопухов.

— Не вовремя гость — хуже татарина,— сказал Лопухов шутливым тоном, но тон выходил не совсем удачно шутлив.— Я тревожу тебя, Александр; но уж так и быть, потревожься. Мне надобно поговорить с тобою серьезно. Хотелось поскорее, утром проспал, не застал бы.— Лопухов говорил уже без шутки. «Что это значит? Неужели догадался?» — подумал Кирсанов.— Поговорим-ка,— продолжал Лопухов усаживаясь.— Погляди мне в глаза.

«Да, он говорит об *этом*, нет никакого сомнения».

— Слушай, Дмитрий,— сказал Кирсанов еще более серьезным тоном,— мы с тобою друзья. Но есть вещи, которых не должны дозволять себе и друзья. Я прошу тебя прекратить этот разговор. Я не расположен теперь к серьезным разговорам. И никогда не бываю расположен.— Глаза Кирсанова смотрели пристально и враждебно, как будто перед ним человек, которого он подозревает в намерении совершить злодейство.

— Нельзя не говорить, Александр,— продолжал Лопухов спокойным, но несколько чуть-чуть глухим голосом,— я понял твои маневры.

— Молчи. Я запрещаю тебе говорить, если не хочешь иметь меня вечным своим врагом, если не хочешь потерять мое уважение.

— Ты когда-то не боялся терять мое уважение,— помнишь? Теперь ведь ясно все. Я тогда не обратил внимания.

— Дмитрий, я прошу тебя уйти, или я ухожу.

— Не можешь уйти. Ты как полагаешь, твоими интересами я занят?

Кирсанов молчал.

— Мое положение выгодно. Твое в разговоре со мною — нет. Я представляюсь совершающим подвиг благородства. Но это все вздор. Мне нельзя иначе поступать по здравому смыслу. Я прошу тебя, Александр, прекратить твои маневры. Они не ведут ни к чему.

— Как? Неужели было уж поздно? Прости меня,— быстро проговорил Кирсанов, и сам не мог отдать себе отчета, радость или огорчение взволновало его от этих слов: «они не ведут ни к чему».

— Нет, ты не так меня понял. Не было поздно. До сих пор еще нет ничего. Что будет, мы увидим. Но теперь еще нечего видеть. Впрочем, Александр, я не понимаю, о чем ты говоришь; и ты точно так же не знаешь, о чем я говорю; мы не понимаем друг друга,— правда? Нам и незачем понимать друг друга,— так? Тебе эти загадки, которых ты не понимаешь, неприятны. Их не было. Я ничего не говорил. Я не имею ничего сказать тебе. Давай сигару: я свои забыл в рассеянности. Закурю, и начнем рассуждать об ученых вопросах, я только за этим и пришел,— заняться, от нечего делать, ученой болтовней. Как ты думаешь об этих странных опытах искусственного произведения белковины? — Лопухов пододвинул к одному креслу другое, чтобы положить на него ноги, поспокойнее уселся, закуривая сигару и продолжая свою речь.— По-моему, это великое открытие, если оправдается. Ты повторял опыты?

— Нет, но надобно.

— Как ты счастлив, что в твоем распоряжении порядочная лаборатория. Пожалуйста, повтори, повтори повнимательнее. Ведь полный переворот всего вопроса о пище, всей жизни человечества,— фабричное производство главного питательного вещества прямо из неорганических веществ. Величайшее дело, стоит Ньютонова открытия. Ты согласен?

— Конечно. Только сильно сомневаюсь в точности опытов. Раньше или позже, мы до этого дойдем, несомненно; к тому идет наука, это ясно. Но теперь едва ли еще дошли.

— Ты так думаешь? И я точно так же. Значит, наш разговор кончен. До свиданья, Александр. Но, прощаясь, я прошу тебя бывать у нас часто, по-прежнему. До свиданья.

Глаза Кирсанова, все время враждебно и пристально смотревшие на Лопухова, засверкали негодованьем.

— Ты, кажется, хочешь, Дмитрий, чтоб я так и остался с мнением, что у тебя низкие мысли.

— Вовсе я не хочу этого. Но ты должен бывать у нас. Что тут особенного? Ведь мы же с тобою приятели. Что особенного в моей просьбе?

— Я не могу. Ты затеваешь дело безрассудное, поэтому гадкое.

— Я не понимаю, о каком деле ты говоришь, и должен тебе сказать, что этот разговор мне вовсе не нравится, как тебе не нравился за две минуты.

— Я требую объяснения, Дмитрий.

— Незачем. Ничего нет, и объяснять нечего, и понимать нечего. Вздор тебя горячит, только.

— Нет, я не могу так отпустить тебя.— Кирсанов взял за руку Лопухова, хотевшего уходить.— Садись. Ты начал говорить, когда не было нужно. Ты требуешь от меня бог знает чего. Ты должен выслушать.

Лопухов сел.

— Какое право имеешь ты,— начал Кирсанов голосом еще сильнейшего негодования, чем прежде,— какое право имеешь ты требовать от меня того, что для меня тяжело? Чем я обязан перед тобою? И к чему это? Это нелепость. Постарайся выбить романические бредни из твоей головы. То, что мы с тобою признаем за нормальную жизнь, будет так, когда переменятся понятия, обычаи общества. Оно должно перевоспитаться, это так. Оно и перевоспитывается развитием жизни. Кто перевоспитался, помогает другим, это так. Но пока оно еще не перевоспиталось, не переменилось совершенно, ты не имеешь права рисковать чужою судьбою. Ведь это страшная вещь, ты понимаешь ли, или сошел с ума?

— Нет, я ничего не понимаю, Александр. Я не знаю, о чем ты толкуешь. Тебе угодно видеть какой-то удивительный смысл в простой просьбе твоего приятеля, чтобы ты не забывал его, потому что ему приятно видеть тебя у себя. Я не понимаю, отчего тут приходить в азарт.

— Нет, Дмитрий, в таком разговоре ты не отделаешься от меня шутя. Надобно показать тебе, что ты сумасшедший, задумавший гадкое дело. Мало ли, чего мы с тобою не признаем? Мы не признаем, что пощечина имеет в себе что-нибудь бесчестящее,— это глупый предрассудок, вредный предрассудок, больше ничего. Но имеешь ли право теперь подвергать мужчину тому, чтоб он получил пощечину? ведь это было бы с твоей стороны низким злодейством, ведь ты отнял бы спокой-

ствие жизни у человека. Понимаешь ли ты это, глупец? Понимаешь ли ты, что если я люблю этого человека, а ты требуешь, чтоб я дал ему пощечину, которая, по-моему и по-твоему, вздор, пустяки,— понимаешь ли, что если ты требуешь этого, я считаю тебя дураком и низким человеком, а если ты заставляешь меня сделать это, я убью тебя или себя, смотря по тому, чья жизнь менее нужна,— убью тебя или себя, а не сделаю этого? Понимаешь ли это, глупец? Я говорю о мужчине и пощечине, которая глупость, но которая пока отнимает спокойствие жизни у мужчины. Кроме мужчин, есть на свете женщины, которые тоже люди; кроме пощечины, есть другие вздоры, по-нашему с тобою и по правде вздоры, но которые тоже отнимают спокойствие жизни у людей. Понимаешь ли ты, что подвергать какого-нибудь человека — ну, хоть женщину, какому-нибудь из этих по-нашему с тобою и по правде вздоров,— ну, какому-нибудь, все равно, понимаешь ли ты, что подвергать этому гадко, гнусно, бесчестно? Слышишь, я говорю, что у тебя бесчестные мысли.

— Друг мой, ты говоришь совершенную правду о том, что честно и бесчестно. Но только я не знаю, к чему ты говоришь ее, и не понимаю, какое отношение может она иметь ко мне. Я ровно ничего тебе не говорил ни о каком намерении рисковать спокойствием жизни, чьей бы то ни было, ни о чем подобном. Ты фантазируешь, и больше ничего. Я прошу тебя, своего приятеля, не забывать меня, потому что мне, как твоему приятелю, приятно проводить время с тобою,— только. Исполнишь ты мою приятельскую просьбу?

— Она бесчестна, я сказал тебе. А я не делаю бесчестных дел.

— Это похвально, что не делаешь. Но ты разгорячился из-за каких-то фантазий и пустился в теорию; тебе хочется, видно, теоретизировать попусту, без всякого применения к делу. Давай и я стану также теоретизировать, тоже совершенно попусту, я предложу тебе вопрос, нисколько не относящийся ни к чему, кроме разъяснения отвлеченной истины, без всякого применения к кому бы то ни было. Если кто-нибудь, без неприятности себе, может доставить удовольствие человеку, то расчет, по моему мнению, требует, чтобы он доставил его ему, потому что он сам получит от этого удовольствие. Так ли?

— Это вздор, Дмитрий, ты говоришь не то.

— Я ничего не говорю, Александр; я только занимаюсь теоретическими вопросами. Вот еще один. Если в ком-нибудь пробуждается какая-нибудь потребность,— ведет к чему-нибудь

хорошему наше старание заглушить в нем эту потребность? Как по-твоему? Не так ли вот: нет, такое старание не ведет ни к чему хорошему. Оно приводит только к тому, что потребность получает утрированный размер,— это вредно, или фальшивое направление,— это и вредно, и гадко, или, заглушаясь, заглушает с собою и жизнь,— это жаль.

— Дело не в том, Дмитрий. Я поставлю этот теоретический вопрос в другой форме: имеет ли кто-нибудь право подвергать человека риску, если человеку и без риска хорошо? Будет время, когда все потребности натуры каждого человека будут удовлетворяться вполне, это мы с тобою знаем; но мы оба одинаково твердо знаем, что это время еще не пришло. Теперь благоразумный человек доволен тем, если ему привольно жить, хотя бы не все стороны его натуры развивались тем положением, в котором ему привольно жить. Я предположу, в смысле отвлеченной гипотезы, что существует такой благоразумный человек. Предположу, что этот человек — женщина; предположу, опять-таки в смысле отвлеченной гипотезы, что это положение, в котором ему привольно жить,— замужество; предположу, что он доволен этим положением, и говорю: при таких данных, по этой отвлеченной гипотезе, кто имеет право подвергать этого человека риску потерять хорошее, которым он доволен, чтобы посмотреть, не удастся ли этому человеку приобрести лучшее, без которого ему легко обойтись? Золотой век — он будет, Дмитрий, это мы знаем, но он еще впереди. Железный проходит, почти прошел, но золотой еще не настал. Если бы, по моей отвлеченной гипотезе, какая-нибудь сильная потребность этого человека — предположим, ведь это только для примера, потребность любви — совершенно не удовлетворялась или удовлетворялась плохо, я ничего не говорил бы против риска, предпринимаемого им самим, но только против такого риска, а никак не против риска, навлекаемого на него кем-нибудь посторонним. А если этот человек находит все-таки хорошее удовлетворение своей потребности, то и сам он не должен рисковать; я предположу, в смысле отвлеченном, что он не хочет рисковать, и говорю: он прав и благоразумен, что не хочет рисковать, и говорю: дурно и безумно поступит тот, кто станет его, не желающего рисковать, подвергать риску. Что ты можешь возразить против этого гипотетического вывода? Ничего. Пойми же, что ты не имеешь права.

— Я на твоем месте, Александр, говорил бы то же, что ты; я, как ты, говорю только для примера, что у тебя есть какое-нибудь место в этом вопросе; я знаю, что он никого из нас не

касается, мы говорим только, как ученые, о любопытных сторонах общих научных воззрений, кажущихся нам справедливыми; по этим воззрениям каждый судит о всяком деле с своей точки зрения, определяющейся его личными отношениями к делу, я только в этом смысле и говорю, что на твоем месте стал бы говорить точно так же, как ты. Ты на моем месте говорил бы точно так же, как я. С общей научной точки зрения ведь это бесспорная истина. А на месте В есть В; если бы оно на месте В не было В, то оно еще не было бы на месте В, ему еще недоставало бы чего-нибудь, чтобы быть на месте В,— так ведь? Следовательно, тебе против этого возразить нечего, как мне нечего возразить против твоих слов. Но я, по твоему примеру, построю свою гипотезу, тоже отвлеченную, не имеющую никакого применения ни к кому. Прежде положим, что существуют три человека,— предположение, не заключающее в себе ничего невозможного,— предположим, что у одного из них есть тайна, которую он желал бы скрыть и от второго, и в особенности от третьего; предположим, что второй угадывает эту тайну первого и говорит ему: делай то, о чем я прошу тебя, или я открою твою тайну третьему. Как ты думаешь об этом случае?

Кирсанов несколько побледнел и долго крутил усы.

— Дмитрий, ты поступаешь со мною дурно,— произнес он наконец.

— А очень мне нужно с тобою-то поступать хорошо,— ты для меня интересен, что ли? И притом я не понимаю, о чем ты говоришь. Мы говорили с тобою, как ученый с ученым, предлагали друг другу разные ученые, отвлеченные задачи; мне наконец удалось предложить тебе такую, над которою ты задумался, и мое ученое самолюбие удовлетворено. Потому я прекращаю этот теоретический разговор. У меня много работы, не меньше, чем у тебя; итак, до свидания. Кстати, чуть не забыл: так ты, Александр, исполнишь мою просьбу бывать у нас, твоих добрых приятелей, которые всегда рады тебя видеть, бывать так же часто, как в прошлые месяцы?

Лопухов встал.

Кирсанов сидел, рассматривая свои пальцы, будто каждый из них — отвлеченная гипотеза.

— Ты дурно поступаешь со мною, Дмитрий. Я не могу не исполнить твоей просьбы. Но, в свою очередь, я налагаю на тебя одно условие. Я буду бывать у вас; но, если я отправлюсь из твоего дома не один, ты обязан сопровождать меня повсюду, и чтоб я не имел надобности звать тебя,— слышишь? — сам ты,

без моего зова. Без тебя я никуда ни шагу, ни в оперу, ни к кому из знакомых, никуда.

— Не обидно ли мне это условие, Александр? Что ты, по моему мнению, вор, что ли?

— Не в том смысле я говорил. Я такой обиды не нанесу тебе, чтоб думать, что ты можешь почесть меня за вора. Свою голову я отдал бы в твои руки без раздумья. Надеюсь, имею право ждать этого и от тебя. Но о чем я думаю, то мне знать. А ты делай, и только.

— Теперь знаю и я. Да, ты много сделал в этом смысле. Теперь хочешь еще заботливее хлопотать об этом. Что ж, в этом случае ты прав. Да, меня надобно принуждать. Но, как я ни благодарен тебе, мой друг, из этого ничего не выйдет. Я сам пробовал принуждать себя. У меня тоже есть воля, как и у тебя, не хуже твоего маневрировал. Но то, что делается по расчету, по чувству долга, по усилию воли, а не по влечению натуры, выходит безжизненно. Только убивать что-нибудь можно этим средством, как ты и делал над собою, а делать живое — нельзя.— Лопухов расчувствовался от слов Кирсанова: «Но о чем я думаю, то мне знать».— Благодарю тебя, мой друг. А что, мы с тобою никогда не целовались, может быть, теперь и есть у тебя охота?

Если бы Лопухов рассмотрел свои действия в этом разговоре как теоретик, он с удовольствием заметил бы: «А как, однако же, верна теория: эгоизм играет человеком. Ведь самое-то главное и утаил, «предположим, что этот человек доволен своим положением»; вот тут-то ведь и надобно было бы сказать: «Александр, предположение твое неверно», а я промолчал, потому что мне невыгодно сказать это. Приятно человеку, как теоретику, наблюдать, какие штуки выкидывает его эгоизм на практике. Отступаешься от дела потому, что дело пропащее для тебя, а эгоизм повертывает твои жесты так, что ты корчишь человека, совершающего благородный подвиг».

Если бы Кирсанов рассмотрел свои действия в этом разговоре как теоретик, он с удовольствием заметил бы: «А как, однако же, верна теория; самому хочется сохранить свое спокойствие, возлежать на лаврах, а толкую о том, что, дескать, ты не имеешь права рисковать спокойствием женщины; а это (ты понимай уж сам) обозначает, что, дескать, я действительно совершал над собою подвиги благородства к собственному сокрушению, для спокойствия некоторого лица и для твоего, мой

друг; а потому и преклонись перед величием души моей. Приятно человеку, как теоретику, наблюдать, какие штуки выкидывает его эгоизм на практике. Отступался от дела, чтобы не быть дураком и подлецом, и возликовал от этого, будто совершил геройский подвиг великодушного благородства; не поддаешься с первого слова зову, чтобы опять не хлопотать над собою и чтобы не лишиться этого сладкого ликования своим благородством, а эгоизм повертывает твои жесты так, что ты корчишь человека, упорствующего в благородном подвижничестве».

Но ни Лопухову, ни Кирсанову недосуг было стать теоретиками и делать эти приятные наблюдения: практика-то приходилась для обоих довольно тяжеловатая.

XXIII

Возобновление частых посещений Кирсанова объяснялось очень натурально: месяцев пять он был отвлечен от занятий и запустил много работы,— потому месяца полтора приходилось ему сидеть над нею, не разгибая спины. Теперь он справился с запущенною работою и может свободнее располагать своим временем. Это было так ясно, что почти не приходилось и объяснять.

Оно действительно было ясно и прекрасно и не возбудило никаких мыслей в Вере Павловне. И, с другой стороны, Кирсанов выдерживал свою роль с прежнею безукоризненною артистичностью. Он боялся, что когда придет к Лопуховым после ученого разговора с своим другом, то несколько опростоволосится: или покраснеет от волнения, когда первый раз взглянет на Веру Павловну, или слишком заметно будет избегать смотреть на нее, или что-нибудь такое; нет, он остался и имел полное право остаться доволен собою за минуту встречи с ней: приятная дружеская улыбка человека, который рад, что возвращается к старым приятелям, от которых должен был оторваться на несколько времени, спокойный взгляд, бойкий и беззаботный разговор человека, не имеющего на душе никаких мыслей, кроме тех, которые беспечно говорит он,— если бы вы были самая злая сплетница и смотрели на него с величайшим желанием найти что-нибудь не так, вы все-таки не увидели бы в нем ничего другого, кроме как человека, который очень рад, что может, от нечего делать, приятно убить вечер в обществе хороших знакомых.

А если первая минута была так хорошо выдержана, то что значило выдерживать себя хорошо в остальной вечер? А если первый вечер он умел выдержать, то трудно ли было выдерживать себя во все следующие вечера? Ни одного слова, которое не было бы совершенно свободно и беззаботно, ни одного взгляда, который не был бы хорош и прост, прям и дружествен, и только.

Но если он держал себя не хуже прежнего, то глаза, которые смотрели на него, были расположены замечать многое, чего и не могли бы видеть никакие другие глаза,— да, никакие другие не могли бы заметить: сам Лопухов, которого Марья Алексевна признала рожденным идти по откупной части, удивлялся непринужденности, которая ни на один миг не изменила Кирсанову, и получал, как теоретик, большое удовольствие от наблюдений, против воли заинтересовавших его психологическою замечательностью этого явления с научной точки зрения. Но гостья недаром пела и заставляла читать дневник. Слишком зорки становятся глаза, когда гостья шепчет на ухо.

Даже и эти глаза не могли увидеть ничего, но гостья шептала: нельзя ли увидеть тут вот это, хотя тут этого и вовсе нет, как я сама вижу, а все-таки попробуем посмотреть; и глаза всматривались, и хоть ничего не видели, но и того, что всматривались глаза, уже было довольно, чтобы глаза заметили: тут что-то не так.

Вот, например, Вера Павловна с мужем и с Кирсановым отправляются на маленький очередной вечер к Мерцаловым. Отчего Кирсанов не вальсирует на этой бесцеремонной вечеринке, на которой сам Лопухов вальсирует, потому что здесь общее правило: если ты семидесятилетний старик, но попался сюда, изволь дурачиться вместе с другими; ведь здесь никто ни на кого не смотрит, у каждого одна мысль — побольше шуму, побольше движенья, то есть побольше веселья каждому и всем,— отчего же Кирсанов не вальсирует? Он начал вальсировать; но отчего он несколько минут не начинал? Неужели стоило несколько минут думать о том, начинать или не начинать такое важное дело? Если бы он не стал вальсировать, дело было бы наполовину открыто тут же. Если бы он стал вальсировать и не вальсировал бы с Верою Павловною, дело вполне раскрылось бы тут же. Но он был слишком ловкий артист в своей роли, ему не хотелось вальсировать с Верою Павловною, но он тотчас же понял, что это было бы замечено, потому от недолгого колебания, не имевшего никакого видимого отношения ни к Вере Павловне, ни к кому на свете, остался в ее

памяти только маленький, самый легкий вопрос, который сам по себе остался бы незаметен даже для нее, несмотря на шепот гостьи-певицы, если бы та же гостья не нашептывала бесчисленное множество таких же самых маленьких, самых ничтожных вопросов.

Почему, например, когда они, возвращаясь от Мерцаловых, условливались на другой день ехать в оперу на «Пуритан» и когда Вера Павловна сказала мужу: «Миленький мой, ты не любишь этой оперы, ты будешь скучать, я поеду с Александром Матвеичем; ведь ему всякая опера наслажденье; кажется, если бы я или ты написали оперу, он и ту стал бы слушать»,— почему Кирсанов не поддержал мнения Веры Павловны, не сказал, что «в самом деле, Дмитрий, я не возьму тебе билета»,— почему это? То, что миленький все-таки едет, это, конечно, не возбуждает вопроса: ведь он повсюду провожает жену с той поры, как она раз его попросила: «Отдавай мне больше времени»,— с той поры никогда не забывал этого, стало быть, ничего, что он едет, это значит все только одно и то же, что он добрый и что его надобно любить, все так, но ведь Кирсанов не знает этой причины, почему ж он не поддержал мнения Веры Павловны? конечно, это пустяки, почти незамеченные, и Вера Павловна почти не помнит их, но эти незаметные песчинки всё падают и падают на чашку весов, хоть и были незаметны. А например, такой разговор уже не песчинка, а крупное зерно.

На другой день, когда ехали в оперу в извозчичьей карете (это ведь дешевле, чем два извозчика), между другим разговором сказали несколько слов и о Мерцаловых, у которых были накануне, похвалили их согласную жизнь, заметили, что это редкость; это говорили все, в том числе Кирсанов сказал: «Да, в Мерцалове очень хорошо и то, что жена может свободно раскрывать ему свою душу»,— только и сказал Кирсанов, и каждый из них троих думал сказать то же самое, но случилось сказать Кирсанову; однако зачем он сказал это? Что это такое значит? Ведь если понять это с известной стороны, это будет что такое? Это будет похвала Лопухову, это будет прославление счастья Веры Павловны с Лопуховым; конечно, это можно было сказать, не думая ровно ни о ком, кроме Мерцаловых, а если предположить, что он думал и о Мерцаловых, и вместе о Лопуховых, тогда это, значит, сказано прямо для Веры Павловны, с какою же целью это сказано?

Это всегда так бывает: если явилось в человеке настроение искать чего-нибудь, он во всем находит то, чего ищет; пусть не будет никакого следа, а он так вот и видит ясный след; пусть

не будет и тени, а он все-таки видит не только тень того, что ему нужно, но и все, что ему нужно, видит в самых несомненных чертах, и эти черты с каждым новым взглядом, с каждою новою мыслью его делаются все яснее.

А тут, кроме того, действительно был очень осязательный факт, который таил в себе очень полную разгадку дела: ясно, что Кирсанов уважает Лопуховых; зачем же он с лишком на два года расходился с ними? Ясно, что он человек вполне порядочный; каким же образом произошло тогда, что он выставился человеком пошлым? Пока Вере Павловне не было надобности думать об этом, она и не думала, как не думал Лопухов; а теперь ее влекло думать.

XXIV

Медленно, незаметно для нее самой зрело в ней это открытие. Все накоплялись мелкие, почти забывающиеся впечатления слов и поступков Кирсанова, на которые никто другой не обратил бы внимания, которые ею самою почти не были видимы, а только предполагались, подозревались; медленно росла занимательность вопроса: почему он почти три года избегал ее? медленно укреплялась мысль: такой человек не мог удалиться из-за мелочного самолюбия, которого в нем решительно нет; и за всем этим, неизвестно к чему думающимся, еще смутнее и медленнее поднималась из немой глубины жизни в сознание мысль: почему ж я о нем думаю? Что он такое для меня?

И вот, однажды после обеда, Вера Павловна сидела в своей комнате, шила и думала, и думала очень спокойно, и думала вовсе не о том, а так, об разной разности и по хозяйству, и по мастерской, и по своим урокам, и постепенно, постепенно мысли склонялись к тому, о чем, неизвестно почему, все чаще и чаще ей думалось; явились воспоминания, вопросы мелкие, немногие, росли, умножались, и вот они тысячами роятся в ее мыслях, и всё растут, растут, и всё сливаются в один вопрос, форма которого всё проясняется: что ж это такое со мною? о чем я думаю, что я чувствую? и пальцы Веры Павловны забывают шить, и шитье опустилось из опустившихся рук, и Вера Павловна немного побледнела, вспыхнула, побледнела больше, огонь коснулся ее запылавших щек — миг, и они побелели, как снег, она с блуждающими глазами уже бежала в комнату мужа, бросилась на колени к нему, судорожно обняла его, положила голову к нему на плечо, чтобы поддержало оно ее голову, чтобы скрыло

оно лицо ее, задыхающимся голосом проговорила: «Милый мой, я люблю его»,— и зарыдала.

— Что ж такое, моя милая? Чем же тут огорчаться тебе?

— Я не хочу обижать тебя, мой милый, я хочу любить тебя.

— Постарайся, посмотри. Если можешь, прекрасно. Успокойся, дай идти времени и увидишь, что можешь и чего не можешь. Ведь ты ко мне очень сильно расположена, как же ты можешь обидеть меня?

Он гладил ее волоса, целовал ее голову, пожимал ее руку. Она долго не могла остановиться от судорожных рыданий, но постепенно успокоивалась. А он уже давно был приготовлен к этому признанию, потому и принял его хладнокровно, а впрочем, ведь ей не видно было его лица.

— Я не хочу с ним видеться, я скажу ему, чтобы он перестал бывать у нас,— говорила Вера Павловна.

— Как сама рассудишь, мой друг, как лучше для тебя, так и сделаешь. А когда ты успокоишься, мы посоветуемся. Ведь мы с тобою, что бы ни случилось, не можем не быть друзьями? Дай руку, пожми мою, видишь, как хорошо жмешь.— Каждое из этих слов говорилось после долгого промежутка, а промежутки были наполнены тем, что он гладил ее волоса, ласкал ее, как брат огорченную сестру.— Помнишь, мой друг, что ты мне сказала, когда мы стали жених и невеста? «Ты выпускаешь меня на волю!» — Опять молчание и ласки.— Помнишь, как мы с тобою говорили в первый раз, что значит любить человека? Это значит радоваться тому, что хорошо для него, иметь удовольствие в том, чтобы делать все, что нужно, чтобы ему было лучше, так? — Опять молчание и ласки.— Что тебе лучше, то и меня радует. Но ты посмотришь, как тебе лучше. Зачем же огорчаться? Если с тобою нет беды, какая беда может быть со мною?

В этих отрывочных словах, повторявшихся по многу раз с обыкновенными легкими вариациями повторений, прошло много времени, одинаково тяжелого и для Лопухова, и для Веры Павловны. Но, постепенно успокоиваясь, Вера Павловна стала наконец дышать легче. Она обнимала мужа крепко, крепко и твердила: «Я хочу любить тебя, мой милый, тебя одного, не хочу любить никого, кроме тебя».

Он не говорил ей, что это уж не в ее власти: надобно было дать пройти времени, чтобы силы ее восстановились успокоением на одной какой-нибудь мысли,— какой, все равно. Лопухов успел написать и отдать Маше записку к Кирсанову, на

случай, если он приедет. «Александр, не входи теперь и не приезжай до времени, особенного ничего нет и не будет, только надобно отдохнуть». Надобно отдохнуть, и нет ничего особенного — хорошо сочетание слов. Кирсанов был, прочитал записку, сказал Маше, что он за нею только и заезжал, а что теперь войти ему некогда, ему нужно в другое место, а заедет он на возвратном пути, когда исполнит поручение по этой записке.

Вечер прошел спокойно, по-видимому. Половину времени Вера Павловна тихо сидела в своей комнате одна, отсылая мужа, половину времени он сидел подле нее и успокоивал ее все теми же немногими словами, конечно, больше не словами, а тем, что голос его был ровен и спокоен, разумеется, не бог знает как весел, но и не грустен, разве несколько выражал задумчивость, и лицо также. Вера Павловна, слушая такие звуки, смотря на такое лицо, стала думать, не вовсе, а несколько, нет, не несколько, а почти вовсе думать, что важного ничего нет, что она приняла за сильную страсть просто мечту, которая рассеется в несколько дней, не оставив следа, или она думала, что нет, не думает этого, что чувствует, что это не так? да, это не так, нет, так, так, все тверже она думала, что думает это,— да вот уж она и в самом деле вовсе думает это, да и как не думать, слушая этот тихий, ровный голос, все говорящий, что нет ничего важного? Спокойно она заснула под этот голос, спала крепко и не видала гостьи, и проснулась поздно, и, проснувшись, чувствовала в себе бодрость.

XXV

«Лучшее развлечение от мыслей — работа, — думала Вера Павловна, и думала совершенно справедливо.— Буду проводить целый день в мастерской, пока вылечусь. Это мне поможет».

Она стала проводить целый день в мастерской. В первый день действительно довольно развлеклась от мыслей; во второй только устала, но уж мало отвлеклась от них, в третий и вовсе не отвлеклась. Так прошло с неделю.

Борьба была тяжела. Цвет лица Веры Павловны стал бледен. Но по наружности она была совершенно спокойна, старалась даже казаться веселою, и это даже удавалось ей

почти без перерывов. Но если никто не замечал ничего, а бледность приписывали какому-нибудь легкому нездоровью, то ведь не Лопухову же было это думать и не видеть, да ведь он и так знал, ему и смотреть-то было нечего.

— Верочка,— начал он через неделю,— мы с тобою живем, исполняя старое поверье, что сапожник всегда без сапог, платье на портном сидит дурно. Мы учим дрýгих жить по нашим экономическим принципам, а сами не думаем устроить по ним свою жизнь. Ведь одно большое хозяйство выгоднее нескольких мелких? Я желал бы применить это правило к нашему хозяйству. Если бы мы стали жить с кем-нибудь, мы и те, кто стал бы с нами жить, стали бы сберегать почти половину своих расходов. Я бы мог вовсе бросить эти проклятые уроки, которые противны мне,— было бы довольно одного жалованья от завода, и отдохнул бы, и занялся бы ученою работою, восстановил бы свою карьеру. Надобно только сходиться с такими людьми, с которыми можно ужиться. Как ты думаешь об этом?

Вера Павловна уж давно смотрела на мужа теми же самыми глазами, подозрительными, разгорающимися от гнева, какими смотрел на него Кирсанов в день теоретического разговора. Когда он кончил, ее лицо пылало.

— Я прошу тебя прекратить этот разговор. Он неуместен.

— Почему же, Верочка? Я говорю только о денежных выгодах. Люди небогатые, как мы с тобою, не могут пренебрегать ими. Моя работа тяжела, часть ее отвратительна для меня.

— Со мною нельзя так говорить,— Вера Павловна встала,— я не позволю говорить с собою темными словами. Осмелься сказать, что ты хотел сказать!

— Я хотел только сказать, Верочка, что, принимая в соображение наши выгоды, нам было бы хорошо...

— Опять! Молчи! Кто дал тебе право опекунствовать надо мною? Я возненавижу тебя! — Она быстро ушла в свою комнату и заперлась.

Это была первая и последняя их ссора.

До позднего вечера Вера Павловна просидела запершись. Потом пошла в комнату мужа.

— Мой милый, я сказала тебе слишком суровые слова. Но не сердись на них. Ты видишь, я борюсь. Вместо того чтобы поддержать меня, ты начал помогать тому, против чего я борюсь, надеясь,— да, надеясь устоять.

— Прости меня, мой друг, за то, что я начáл так грубо. Но ведь мы помирились? поговорим.

— О да, помирились, мой милый. Только не действуй против меня. Мне и против себя трудно бороться.

— И напрасно, Верочка. Ты дала себе время рассмотреть свое чувство, ты видишь, что оно серьезнее, чем ты хотела думать вначале. Зачем мучить себя?

— Нет, мой милый, я хочу любить тебя и не хочу, не хочу обижать тебя.

— Друг мой, ты хочешь добра мне. Что ж, ты думаешь, мне приятно или нужно, чтобы ты продолжала мучить себя?

— Мой милый, но ведь ты так любишь меня!

— Конечно, Верочка, очень; об этом что говорить. Но ведь мы с тобою понимаем, что такое любовь. Разве не в том она, что радуешься радости, страдаешь от страданья того, кого любишь? Муча себя, ты будешь мучить меня.

— Так, мой милый; но ведь ты будешь страдать, если я уступлю этому чувству, которое — ах, я не понимаю, зачем оно родилось во мне! я проклинаю его!

— Как оно родилось, зачем оно родилось — это все равно, этого уже нельзя переменить. Теперь остается только один выбор: или чтобы ты страдала и я страдал через это; или чтобы ты перестала страдать, и я также.

— Но, мой милый, я не буду страдать,— это пройдет. Ты увидишь, это пройдет.

— Благодарю тебя за твои усилия. Я ценю их, потому что они показывают в тебе волю исполнять то, что тебе кажется нужно. Но знай, Верочка: они нужны кажутся только для тебя, не для меня. Я смотрю со стороны, мне яснее, чем тебе, твое положение. Я знаю, что это будет бесполезно. Борись, пока достает силы. Но обо мне не думай, что ты обидишь меня. Ведь ты знаешь, как я смотрю на это; знаешь, что мое мнение на это и непоколебимо во мне, и справедливо на самом деле — ведь ты все это знаешь. Разве ты обманешь меня? разве ты перестанешь уважать меня? Можно сказать больше: разве твое расположение ко мне, изменивши характер, ослабеет? Не напротив ли,— не усилится ли оно оттого, что ты не нашла во мне врага? Не жалей меня: моя судьба нисколько не будет жалка оттого, что ты не лишишься через меня счастья. Но довольно. Об этом тяжело много говорить, а тебе слушать еще тяжеле. Только помни, Верочка, что я теперь говорил. Прости, Верочка. Иди к себе думать, а лучше почивать. Не думай обо мне, а думай о себе. Только думая о себе, ты можешь не делать и мне напрасного горя.

XXVI

Через две недели, когда Лопухов сидел в своей заводской конторе, Вера Павловна провела все утро в чрезвычайном волнении. Она бросалась в постель, закрывала лицо руками и через четверть часа вскакивала, ходила по комнате, падала в кресла, и опять начинала ходить неровными, порывистыми шагами, и опять бросалась в постель, и опять ходила, и несколько раз подходила к письменному столу, и стояла у него, и отбегала, и, наконец, села, написала несколько слов, запечатала, и через полчаса схватила письмо, изорвала, сожгла, опять долго металась, опять написала письмо, опять изорвала, сожгла, и опять металась, опять написала, и торопливо, едва запечатав, не давая себе времени надписать адреса, быстро, быстро побежала с ним в комнату мужа, бросила его на стол и бросилась в свою комнату, упала в кресла, сидела неподвижно, закрыв лицо руками; полчаса, может быть, час, и вот звонок — это он, она побежала в кабинет схватить письмо, изорвать, сжечь — где ж оно? его нет, где ж оно? она торопливо перебирала бумаги: где ж оно? Но Маша уже отворяет дверь, и Лопухов видел от порога, как Вера Павловна промелькнула из его кабинета в свою комнату, расстроенная, бледная.

Он не пошел за ней, а прямо в кабинет; холодно, медленно осмотрел стол, место подле стола; да, уж он несколько дней ждал чего-нибудь подобного, разговора или письма, ну, вот оно, письмо, без адреса, но ее печать; ну, конечно, ведь она или искала его, чтоб уничтожить, или только что бросила, нет, искала: бумаги в беспорядке, но где ж ей было найти его, когда она, еще бросая его, была в такой судорожной тревоге, что оно, порывисто брошенное, как уголь, жегший руку, проскользнуло через весь стол и упало на окно за столом. Читать почти нет надобности: содержание известно; однако все нельзя не прочитать.

«Мой милый, никогда не была я так сильно привязана к тебе, как теперь. Если б я могла умереть за тебя! О, как бы я была рада умереть, если бы ты от этого стал счастливее! Но я не могу жить без него. Я обижаю тебя, мой милый, я убиваю тебя, мой друг, я не хочу этого. Я делаю против своей воли. Прости меня, прости меня».

С четверть часа, а может быть, и побольше, Лопухов стоял перед столом, рассматривая там, внизу, ручку кресел. Оно,

хоть удар был и предвиденный, а все-таки больно; хоть и обдуманно, и решено вперед все, что́ и как надобно сделать после такого письма или восклицания, а все-таки не вдруг соберешься с мыслями. Но собрался же наконец. Пошел в кухню объясняться с Машею:

— Маша, вы, пожалуйста, погодите подавать на стол, пока я опять скажу. Мне что-то нездоровится, надобно принять лекарство перед обедом. А вы не ждите, обедайте себе, да не торопясь: успеете, пока мне будет можно. Я тогда скажу.

Из кухни он пошел к жене. Она лежала, спрятавши лицо в подушки, при его входе встрепенулась.

— Ты нашел его, прочитал его! Боже мой, какая я сумасшедшая! Это неправда, что я написала, это горячка!

— Конечно, мой друг, этих слов не надобно принимать серьезно, потому что ты была слишком взволнована. Эти вещи так не решаются. Мы с тобой успеем много раз подумать и поговорить об этом спокойно, как о деле важном для нас. А я, мой друг, хочу покуда рассказать тебе о своих делах. Я успел сделать в них довольно много перемен,— все, какие было нужно, и очень доволен. Да ты слушаешь? — Разумеется, она и сама не знала, слушает она или не слушает: она могла бы только сказать, что как бы там ни было, слушает или не слушает, но что-то слышит, только не до того ей, чтобы понимать, что это ей слышно; однако же все-таки слышно и все-таки расслушивается, что дело идет о чем-то другом, не имеющем никакой связи с письмом, и постепенно она стала слушать, потому что тянет к этому: нервы хотят заняться чем-нибудь, не письмом, и хоть долго ничего не могла понять, но все-таки успокоивалась холодным и довольным тоном голоса мужа; а потом стала даже и понимать.— Да ты слушай, потому что для меня это важные вещи,— безостановочно продолжает муж после вопроса «слушаешь ли».— Да, очень приятные для меня перемены,— и он довольно подробно рассказывает; да ведь она три четверти этого знает, нет, и все знает, но все равно: пусть он рассказывает, какой он добрый! И он все рассказывает: что уроки ему давно надоели, и почему, в каком семействе или с какими учениками надоели, и как занятие в заводской конторе ему не надоело, потому что оно важно, дает влияние на народ целого завода, и как он кое-что успевает там делать: развел охотников учить грамоте, выучил их, как учить грамоте, вытянул из фирмы плату этим учителям, доказавши, что работники от этого будут меньше портить машины и работу, потому что от этого пойдет уменьшение прогулов и пьяных глаз, плату самую пус-

тую, конечно, и как он оттягивает рабочих от пьянства, и для этого часто бывает в их харчевнях,— и мало ли что такое. А главное в том, что он порядком установился у фирмы как человек дельный и оборотливый и постепенно забрал дела в свои руки, так что заключение рассказа и главная вкусность в нем для Лопухова вышло вот что: он получает место помощника управляющего заводом, управляющий будет только почетное лицо, из товарищей фирмы, с почетным жалованьем, а управлять будет он; товарищ фирмы только на этом условии и взял место управляющего, «я, говорит, не могу, куда мне»,— «да вы только место занимайте, чтобы сидел на нем честный человек, а в дело нечего вам мешаться, я буду делать»,— «а если так, то можно, возьму место», но ведь и не в этом важность, что власть, а в том, что он получает три тысячи пятьсот рублей жалованья, почти на тысячу рублей больше, чем прежде получал всего и от случайной черной литературной работы, и от уроков, и от прежнего места на заводе, стало быть, теперь можно бросить все, кроме завода,— и превосходно. И рассказывается это больше полчаса, и при конце рассказывания Вера Павловна уж может сказать, что действительно это хорошо, и уж может привести в порядок волосы и идти обедать.

А после обеда Маше дается восемьдесят копеек серебром на извозчика, потому что она отправляется в целых четыре места, везде показать записку от Лопухова, что, дескать, свободен я, господа, и рад вас видеть; и через несколько времени является ужасный Рахметов, а за ним постепенно набирается целая ватага молодежи, и начинается ожесточенная ученая беседа с непомерными изобличениями каждого чуть не всеми остальными во всех возможных неконсеквентностях, а некоторые изменники возвышенному прению помогают Вере Павловне кое-как убить вечер, и в половине вечера она догадывается, куда пропадала Маша, какой он добрый! Да, в этот раз Вера Павловна была безусловно рада своим молодым друзьям, хоть и не дурачилась с ними, а сидела смирно и готова была расцеловать даже самого Рахметова.

Гости разошлись в три часа ночи, и прекрасно сделали, что так поздно. Вера Павловна, утомленная волнением дня, только что улеглась, как вошел муж.

— Рассказывая про завод, друг мой Верочка, я забыл сказать тебе одну вещь о новом своем месте, это, впрочем, неважно, и говорить об этом не стоило, а на случай скажу;

но только у меня просьба: мне хочется спать, тебе тоже; так если чего не договорю о заводе, поговорим завтра, а теперь скажу в двух словах. Видишь, когда я принимал место помощника управляющего, я выговорил себе вот какое условие: что я могу вступить в должность когда хочу, хоть через месяц, хоть через два. А теперь я хочу воспользоваться этим временем: пять лет не видал своих стариков в Рязани,— съезжу к ним. До свиданья, Верочка. Не вставай. Завтра успеешь. Спи.

XXVII

Когда Вера Павловна на другой день вышла из своей комнаты, муж и Маша уже набивали вещами два чемодана. И все время Маша была тут безотлучно: Лопухов давал ей столько вещей завертывать, складывать, перекладывать, что куда управиться Маше. «Верочка, помоги нам и ты». И чай пили тут все трое, разбирая и укладывая вещи. Только что начала было опомниваться Вера Павловна, а уж муж говорит: «Половина одиннадцатого; пора ехать на железную дорогу».

— Милый мой, я поеду с тобою.

— Друг мой Верочка, я буду держать два чемодана, негде сесть. Ты садись с Машей.

— Я не то говорю. В Рязань.

— А, если так, то Маша поедет с чемоданами, а мы сядем вместе.

На улице не слишком расчувствуешься в разговоре. И притом такой стук от мостовой: Лопухов многого недослышит, на многое отвечает так, что не расслышишь, а то и вовсе не отвечает.

— Я еду с тобою в Рязань,— твердит Вера Павловна.

— Да ведь у тебя не приготовлены вещи, как же ты поедешь? Собирайся, если хочешь: как увидишь, так и сделаешь. Только я тебя просил бы вот о чем: подожди моего письма. Оно придет завтра же; я напишу и отдам его где-нибудь на дороге. Завтра же получишь, подожди, прошу тебя.

Как она его обнимает на галерее железной дороги, с какими слезами целует, отпуская в вагон. А он все толкует про свои заводские дела, как они хороши, да о том, как будут радоваться ему его старики, да про то, как все на свете вздор, кроме здоровья, и надобно ей беречь здоровье, и в самую минуту прощанья, уже через балюстраду, сказал:

— Ты вчера написала, что еще никогда не была так привязана ко мне, как теперь,— это правда, моя милая Верочка. И я привязан к тебе не меньше, чем ты ко мне. А расположение к человеку — желание счастья ему, это мы с тобою твердо знаем. А счастья нет без свободы. Ты не хотела бы стеснять меня — и я тебя тоже. А если бы ты стала стесняться мною, ты меня огорчила бы. Так ты не делай этого, а пусть будет с тобою, что тебе лучше. А там посмотрим. Когда мне воротиться, ты напиши. До свиданья, мой друг,— второй звонок, слишком пора. До свиданья.

XXVIII

Это было в конце апреля. В половине июня Лопухов возвратился; пожил недели три в Петербурге, потом поехал в Москву, по заводским делам, как сказал. 9 июля он уехал, а 11 июля поутру произошло недоумение в гостинице у станции Московской железной дороги по случаю невставанья приезжего, а часа через два потом сцена на Каменноостровской даче. Теперь проницательный читатель уже не промахнется в отгадке того, кто ж это застрелился. «Я уж давно видел, что Лопухов»,— говорит проницательный читатель в восторге от своей догадливости. Так куда ж он девался и как фуражка его оказалась простреленною по околышу? «Нужды нет, это все штуки его, а он сам себя ловил бреднем, шельма»,— ломит себе проницательный читатель. Ну, бог с тобою, как знаешь, ведь тебя ничем не урезонишь.

XXIX

ОСОБЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Часа через три после того как ушел Кирсанов, Вера Павловна опомнилась, и одною из первых ее мыслей было: нельзя же так оставить мастерскую. Да, хоть Вера Павловна и любила доказывать, что мастерская идет сама собою, но, в сущности, ведь знала, что только обольщает себя этою мыслью, а на самом деле мастерской необходима руководительница, иначе все развалится. Впрочем, теперь дело уж очень установилось, и можно было иметь мало хлопот по руководству им. У Мерцаловой было двое детей; но час-полтора в день, да и то не каждый день, она может уделять. Она, наверное, не откажется, ведь она

и теперь много занимается в мастерской. Вера Павловна начала разбирать свои вещи для продажи, а сама послала Машу сначала к Мерцаловой просить ее приехать, потом к торговке старым платьем и всякими вещами под стать Рахели, одной из самых оборотливых евреек, но доброй знакомой Веры Павловны, с которой Рахель была безусловно честна, как почти все еврейские мелкие торговцы и торговки со всеми порядочными людьми. Рахель и Маша должны были заехать на городскую квартиру, собрать оставшиеся там платья и вещи, по дороге заехать к меховщику, которому отданы были на лето шубы Веры Павловны, потом со всем этим ворохом приехать на дачу, чтобы Рахель хорошенько оценила и купила все гуртом.

Когда Маша выходила из ворот, ее встретил Рахметов, уже с полчаса бродивший около дачи.

— Вы уходите, Маша? Надолго?

— Да, должно быть, ворочусь уж поздно вечером. Много дела.

— Вера Павловна остается одна?

— Одна.

— Так я зайду, посижу вместо вас, может быть, случится какая-нибудь надобность.

— Пожалуйста; а то я боялась за нее. И я забыла, господин Рахметов: позовите кого-нибудь из соседей, там есть кухарка и нянька, мои приятельницы, подать обедать, ведь она еще не обедала.

— Ничего; и я не обедал, пообедаем одни. Да вы-то обедали ли?

— Да, Вера Павловна так не отпустила.

— Хоть это хорошо. Я думал, уж и это забудут из-за себя.

Кроме Маши и равнявшихся ей или превосходивших ее простотою души и платья, все немного побаивались Рахметова: и Лопухов, и Кирсанов, и все, не боявшиеся никого и ничего, чувствовали перед ним по временам некоторую трусоватость. С Верою Павловною он был очень далек: она находила его очень скучным, он никогда не присоединялся к ее обществу. Но он был любимцем Маши, хотя меньше всех других гостей был приветлив и разговорчив с нею.

— Я пришел без зову, Вера Павловна,— начал он,— но я видел Александра Матвеича и знаю все. Поэтому рассудил, что, может быть, пригожусь вам для каких-нибудь услуг и просижу у вас вечер.

Услуги его могли бы пригодиться, пожалуй, хоть сейчас же: помогать Вере Павловне в разборке вещей. Всякий другой

на месте Рахметова в одну и ту же секунду и был бы приглашен, и сам вызвался бы заняться этим. Но он не вызвался и не был приглашен; Вера Павловна только пожала ему руку и с искренним чувством сказала, что очень благодарна ему за внимательность.

— Я буду сидеть в кабинете,— отвечал он,— если что понадобится, вы позовете; и если кто придет, я отворю дверь, вы не беспокойтесь сама.

С этими словами он преспокойно ушел в кабинет, вынул из кармана большой кусок ветчины, ломоть черного хлеба,— в сумме это составляло фунта четыре, уселся, съел все, стараясь хорошо пережевывать, выпил полграфина воды, потом подошел к полкам с книгами и начал пересматривать, что выбрать для чтения: «известно...», «несамобытно...», «несамобытно...», «несамобытно...», «несамобытно...» Это «несамобытно» относилось к таким книгам, как Маколей, Гизо, Тьер, Ранке, Гервинус. «А, вот это хорошо, что попалось».— Это сказал он, прочитав на корешке несколько дюжих томов «Полное собрание сочинений Ньютона»; торопливо стал он перебирать томы, наконец нашел и то, чего искал, и с любовною улыбкою произнес: «Вот оно, вот оно», Observations on the Prophethies of Daniel and the Apocalypse of St. John, то есть «Замечания о пророчествах Даниила и Апокалипсис св. Иоанна». «Да, эта сторона знания до сих пор оставалась у меня без капитального основания. Ньютон писал этот комментарий в старости, когда был наполовину в здравом уме, наполовину помешан. Классический источник по вопросу о смещении безумия с умом. Ведь вопрос всемирно-исторический: это смешение во всех без исключения событиях, почти во всех книгах, почти во всех головах. Но здесь оно должно быть в образцовой форме: во-первых, гениальнейший и нормальнейший ум из всех известных нам умов; во-вторых, и примешавшееся к нему безумие — признанное, бесспорное безумие. Итак, книга капитальная по своей части. Тончайшие черты общего явления должны выказываться здесь осязательнее, чем где бы то ни было, и никто не может подвергнуть сомнению, что это именно черты того явления, которому принадлежат черты смешения безумия с умом. Книга, достойная изучения». Он с усердным наслаждением принялся читать книгу, которую в последние сто лет едва ли кто читал, кроме корректоров ее: читать ее для кого бы то ни было, кроме Рахметова, то же самое, что есть песок или опилки. Но ему было вкусно.

Таких людей, как Рахметов, мало: я встретил до сих пор только восемь образцов этой породы (в том числе двух женщин); они не имели сходства ни в чем, кроме одной черты. Между ними были люди мягкие и люди суровые, люди мрачные и люди веселые, люди хлопотливые и люди флегматические, люди слезливые (один с суровым лицом, насмешливый до наглости; другой с деревянным лицом, молчаливый и равнодушный ко всему; оба они при мне рыдали, несколько раз, как истерические женщины, и не от своих дел, а среди разговоров о разной разности; наедине, я уверен, плакали часто) и люди, ни от чего не переставшие быть спокойными. Сходства не было ни в чем, кроме одной черты, но она одна уже соединяла их в одну породу и отделяла от всех остальных людей. Над теми из них, с которыми я был близок, я смеялся, когда бывал с ними наедине; они сердились или не сердились, но тоже смеялись над собою. И действительно в них было много забавного, все главное в них и было забавно, все то, почему они были людьми особой породы. Я люблю смеяться над такими людьми.

Тот из них, которого я встретил в кругу Лопухова и Кирсанова и о котором расскажу здесь, служит живым доказательством, что нужна оговорка к рассуждениям Лопухова и Алексея Петровича о свойствах почвы во втором сне Веры Павловны, оговорка нужна та, что какова бы ни была почва, а все-таки в ней могут попадаться хоть крошечные клочочки, на которых могут вырастать здоровые колосья. Генеалогия главных лиц моего рассказа: Веры Павловны, Кирсанова и Лопухова, не восходит, по правде говоря, дальше дедушек с бабушками, и разве с большими натяжками можно приставить сверху еще какую-нибудь прабабушку (прадедушка уже неизбежно покрыт мраком забвения, известно только, что он был муж прабабушки и что его звали Кирилом, потому что дедушка был Герасим Кирилыч). Рахметов был из фамилии, известной с XIII века, то есть одной из древнейших не только у нас, а и в целой Европе. В числе татарских темников, корпусных начальников, перерезанных в Твери вместе с их войском, по словам летописей, будто бы за намерение обратить народ в магометанство (намерение, которого они, наверное, и не имели), а по самому делу, просто за угнетение, находился Рахмет. Маленький сын этого Рахмета от жены русской, племянницы тверского дворского, то есть обер-гофмаршала и фельдмаршала, насильно взятой Рахметом, был пощажен для матери и перекрещен из Латыфа в Михаила. От этого Латыфа-Михаила Рахметовича пошли Рахметовы. Они в Твери были боярами, в Москве стали только

окольничими, в Петербурге в прошлом веке бывали генерал-аншефами,— конечно, далеко не все: фамилия разветвилась очень многочисленная, так что генерал-аншефских чинов недостало бы на всех. Прапрадед нашего Рахметова был приятелем Ивана Ивановича Шувалова, который и восстановил его из опалы, постигнувшей было его за дружбу с Минихом. Прадед был сослуживцем Румянцева, дослужился до генерал-аншефства и убит был при Нови. Дед сопровождал Александра в Тильзит и пошел бы дальше всех, но рано потерял карьеру за дружбу с Сперанским. Отец служил без удачи и без падений, в сорок лет вышел в отставку генерал-лейтенантом и поселился в одном из своих поместий, разбросанных по верховью Медведицы. Поместья были, однако ж, не очень велики, всего душ тысячи две с половиною, а детей на деревенском досуге явилось много, человек восемь; наш Рахметов был предпоследний, моложе его была одна сестра; потому наш Рахметов был уже человек не с богатым наследством: он получил около 400 душ да 7000 десятин земли. Как он распорядился с душами и с 5500 десятин земли, это не было известно никому, не было известно и то, что за собою оставил он 1500 десятин, да не было известно и вообще то, что он помещик и что, отдавая в аренду оставленную за собою долю земли, он имеет все-таки еще до трех тысяч рублей дохода,— этого никто не знал, пока он жил между нами. Это мы узнали после, а тогда полагали, конечно, что он одной фамилии с теми Рахметовыми, между которыми много богатых помещиков, у которых, у всех однофамильцев вместе, до семидесяти пяти тысяч душ по верховьям Медведицы, Хопра, Суры и Цны, которые бессменно бывают уездными предводителями тех мест, и не тот, так другой постоянно бывают губернскими предводителями то в той, то в другой из трех губерний, по которым текут их крепостные верховья рек. И знали мы, что наш знакомый Рахметов проживает в год рублей четыреста; для студента это было тогда очень немало; но для помещика из Рахметовых уж слишком мало; потому каждый из нас, мало заботившихся о подобных справках, положил про себя без справок, что наш Рахметов из какой-нибудь захиревшей и обеспоместившейся ветви Рахметовых, сын какого-нибудь советника казенной палаты, оставившего детям небольшой капиталец. Не интересоваться же в самом деле было нам этими вещами.

Теперь ему было двадцать два года, а студентом он был с шестнадцати лет; но почти на три года он покидал университет. Вышел из второго курса, поехал в поместье, распоря-

дился, победив сопротивление опекуна, заслужив анафему от братьев и достигнув того, что мужья запретили его сестрам произносить его имя; потом скитался по России разными манерами: и сухим путем, и водою, и тем и другою по-обыкновенному и по-необыкновенному,— например, и пешком, и на расшивах, и на косных лодках, имел много приключений, которые все сам устраивал себе; между прочим, отвез двух человек в Казанский, пятерых — в Московский университет,— это были его стипендиаты, а в Петербург, где сам хотел жить, не привез никого, и потому никто из нас не знал, что у него не четыреста, а три тысячи рублей дохода. Это стало известно только уже после, а тогда мы видели, что он долго пропадал, а за два года до той поры, как сидел он в кабинете Кирсанова за толкованием Ньютона на Апокалипсис, возвратился в Петербург, поступил на филологический факультет,— прежде был на естественном,— и только.

Но если никому из петербургских знакомых Рахметова не были известны его родственные и денежные отношения, зато все, кто его знал, знали его под двумя прозвищами; одно из них уже попадалось в этом рассказе — «ригорист»; его он принимал с обыкновенною своею легкою улыбкою мрачноватого удовольствия. Но когда его называли Никитушкою, или Ломовым, или по полному прозвищу Никитушкою Ломовым, он улыбался широко и сладко и имел на то справедливое основание, потому что не получил от природы, а приобрел твердостью воли право носить это славное между миллионами людей имя. Но оно гремит славою только на полосе в сто верст шириною, идущей по восьми губерниям; читателям остальной России надобно объяснить, что это за имя. Никитушка Ломов, бурлак, ходивший по Волге лет двадцать — пятнадцать тому назад, был гигант геркулесовской силы; пятнадцати вершков ростом, он был так широк в груди и в плечах, что весил пятнадцать пудов, хотя был человек только плотный, а не толстый. Какой он был силы, об этом довольно сказать одно: он получал плату за четырех человек. Когда судно приставало к городу и он шел на рынок, по-волжскому на базар, по дальним переулкам раздавались крики парней:

«Никитушка Ломов идет, Никитушка Ломов идет!» — и все бежали на улицу, ведущую с пристани к базару, и толпа народа валила вслед за своим богатырем.

Рахметов в шестнадцать лет, когда приехал в Петербург, был с этой стороны обыкновенным юношею довольно высокого роста, довольно крепким, но далеко не замечательным по силе:

из десяти встречных его сверстников наверное двое сладили бы с ним. Но на половине семнадцатого года он вздумал, что нужно приобресть физическое богатство, и начал работать над собою. Стал очень усердно заниматься гимнастикою; это хорошо, но ведь гимнастика только совершенствует материал, надо запасаться материалом, и вот на время, вдвое большее занятий гимнастикою, на несколько часов в день, он становится чернорабочим по работам, требующим силы: возил воду, таскал дрова, рубил дрова, пилил лес, тесал камни, копал землю, ковал железо; много работ он проходил и часто менял их, потому что от каждой новой работы, с каждой переменой получают новое развитие какие-нибудь мускулы. Он принял боксерскую диету: стал кормить себя — именно кормить себя — исключительно вещами, имеющими репутацию укреплять физическую силу, больше всего бифштексом, почти сырым, и с тех пор всегда жил так. Через год после начала этих занятий он отправился в свое странствование и тут имел еще больше удобства заниматься развитием физической силы: был пахарем, плотником, перевозчиком и работником всяких здоровых промыслов; раз даже прошел бурлаком всю Волгу, от Дубовки до Рыбинска. Сказать, что он хочет быть бурлаком, показалось бы хозяину судна и бурлакам верхом нелепости, и его не приняли бы; но он сел просто пассажиром, подружившись с артелью, стал помогать тянуть лямку и через неделю запрягся в нее, как следует настоящему рабочему; скоро заметили, как он тянет, начали пробовать силу,— он перетягивал троих, даже четверых самых здоровых из своих товарищей; тогда ему было двадцать лет, и товарищи его по лямке окрестили его Никитушкою Ломовым, по памяти героя, уже сошедшего тогда со сцены. На следующее лето он ехал на пароходе; один из простонародия, толпившегося на палубе, оказался его прошлогодним сослуживцем по лямке, а таким-то образом его спутники-студенты узнали, что его следует звать Никитушкою Ломовым. Действительно, он приобрел и, не щадя времени, поддерживал в себе непомерную силу. «Так нужно,— говорил он,— это дает уважение и любовь простых людей. Это полезно, может пригодиться».

Это ему засело в голову с половины семнадцатого года, потому что с этого времени и вообще начала развиваться его особенность. Шестнадцати лет он приехал в Петербург обыкновенным, хорошим, кончившим курс гимназистом, обыкновенным добрым и честным юношею и провел месяца три-четыре пообыкновенному, как проводят начинающие студенты. Но стал он слышать, что есть между студентами особенно умные голо-

вы, которые думают не так, как другие, и узнал с пяток имен таких людей,— тогда их было еще мало. Они заинтересовали его, он стал искать знакомства с кем-нибудь из них; ему случилось сойтись с Кирсановым, и началось его перерождение в особенного человека, в будущего Никитушку Ломова и ригориста. Жадно слушал он Кирсанова в первый вечер, плакал, прерывал его слова восклицаниями проклятий тому, что должно погибнуть, благословений тому, что должно жить. «С каких же книг мне начать читать?» — Кирсанов указал. Он на другой день уж с восьми часов утра ходил по Невскому, от Адмиралтейской до Полицейского моста, выжидая, какой немецкий или французский книжный магазин первый откроется, взял, что нужно, и читал больше трех суток сряду,— с одиннадцати часов утра четверга до девяти часов вечера воскресенья, восемьдесят два часа; первые две почи не спал так, на третью выпил восемь стаканов крепчайшего кофе, до четвертой ночи не хватило силы ни с каким кофе, он повалился и проспал на полу часов пятнадцать. Через неделю он пришел к Кирсанову, потребовал указаний на новые книги, объяснений; подружился с ним, потом через него подружился с Лопуховым. Через полгода, хоть ему было только семнадцать лет, а им уже по двадцати одному году, они уж не считали его молодым человеком сравнительно с собою, и уж он был особенным человеком.

Какие задатки для того лежали в его прошлой жизни? Не очень большие, но лежали. Отец его был человек деспотического характера, очень умный, образованный и ультраконсерватор,— в том же смысле, как Марья Алексевна, ультраконсерватор, но честный. Ему, конечно, было тяжело. Это одно еще ничего бы. Но мать его, женщина довольно деликатная, страдала от тяжелого характера мужа, да и видел он, что́ в деревне. И это бы все еще ничего; было еще вот что: на пятнадцатом году он влюбился в одну из любовниц отца. Произошла история, конечно, над нею особенно. Ему было жалко женщину, сильно пострадавшую через него. Мысли стали бродить в нем, и Кирсанов был для него тем, чем Лопухов для Веры Павловны. Задатки в прошлой жизни были; но чтобы стать таким особенным человеком, конечно, главное — натура. За несколько времени перед тем, как вышел он из университета и отправился в свое поместье, потом в странствование по России, он уже принял оригинальные принципы и в материальной, и в нравственной, и в умственной жизни, а когда он возвратился, они уже развились в законченную систему, которой он придерживался неуклонно. Он сказал себе: «Я не

пью ни капли вина. Я не прикасаюсь к женщине».— А натура была кипучая. «Зачем это? Такая крайность вовсе не нужна».— «Так нужно. Мы требуем для людей полного наслаждения жизнью,— мы должны своею жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям, не для себя лично, а для человека вообще, что мы говорим только по принципу, а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной надобности».

Поэтому же он стал и вообще вести самый суровый образ жизни. Чтобы сделаться и продолжать быть Никитушкою Ломовым, ему нужно было есть говядины, много говядины,— и он ел ее много. Но он жалел каждой копейки на какую-нибудь пищу, кроме говядины; говядину он велел хозяйке брать самую отличную, нарочно для него самые лучшие куски, но остальное ел у себя дома все только самое дешевое. Отказался от белого хлеба, ел только черный за своим столом. По целым неделям у него не бывало во рту куска сахару, по целым месяцам никакого фрукта, ни куска телятины или пулярки. На свои деньги он не покупал ничего подобного: «Не имею права тратить деньги на прихоть, без которой могу обойтись»,— а ведь он воспитан был на роскошном столе и имел тонкий вкус, как видно было по его замечаниям о блюдах; когда он обедал у кого-нибудь за чужим столом, он ел с удовольствием многие из блюд, от которых отказывал себе в своем столе, других не ел и за чужим столом. Причина различения была основательная: «То, что ест, хотя по временам, простой народ, и я могу есть при случае. Того, что никогда недоступно простым людям, и я не должен есть! Это нужно мне для того, чтобы хотя несколько чувствовать, насколько стеснена их жизнь сравнительно с моею». Поэтому, если подавались фрукты, он абсолютно ел яблоки, абсолютно не ел абрикосов; апельсины ел в Петербурге, не ел в провинции,— видите, в Петербурге простой народ ест их, а в провинции не ест. Паштеты ел, потому что «хороший пирог не хуже паштета, и слоеное тесто знакомо простому народу», но сардинок не ел. Одевался он очень бедно, хоть любил изящество, и во всем остальном вел спартанский образ жизни; например, не допускал тюфяка и спал на войлоке, даже не разрешая себе свернуть его вдвое.

Было у него угрызение совести,— он не бросил курить: «Без сигары не могу думать; если действительно так, я прав; но, быть может, это слабость воли». А дурных сигар он не мог курить,— ведь он воспитан был в аристократической об-

становке. Из четырехсот рублей его расхода до ста пятидесяти выходило у него на сигары. «Гнусная слабость», как он выражался. Только она и давала некоторую возможность отбиваться от него: если уж начнет слишком доезжать своими обличениями, доезжаемый скажет ему: «Да ведь совершенство невозможно,— ты же куришь»,— тогда Рахметов приходил в двойную силу обличения, но большую половину укоризн обращал уже на себя, обличаемому все-таки доставалось меньше, хоть он не вовсе забывал его из-за себя.

Он успевал делать страшно много, потому что и в распоряжении времени положил на себя точно такое же обуздание прихотей, как в материальных вещах. Ни четверти часа в месяц не пропадало у него на развлечение, отдыха ему не было нужно. «У меня занятия разнообразны; перемена занятия есть отдых». В кругу приятелей, сборные пункты которых находились у Кирсанова и Лопухова, он бывал никак не чаще того, сколько нужно, чтобы остаться в тесном отношении к нему: «Это нужно; ежедневные случаи доказывают пользу иметь тесную связь с каким-нибудь кругом людей,— надобно иметь под руками всегда открытые источники для разных справок». Кроме как в собраниях этого кружка, он никогда ни у кого не бывал иначе, как по делу, и ни пятью минутами больше, чем нужно по делу; и у себя никого не принимал и не допускал оставаться иначе, как на том же правиле; он без околичностей объявлял гостю: «Мы переговорили о вашем деле; теперь позвольте мне заняться другими делами, потому что я должен дорожить временем».

В первые месяцы своего перерождения он почти все время проводил в чтении; но это продолжалось лишь немного более полгода: когда он увидел, что приобрел систематический образ мыслей в том духе, принципы которого нашел справедливыми, он тотчас же сказал себе: «Теперь чтение стало делом второстепенным; я с этой стороны готов для жизни»,— и стал отдавать книгам только время, свободное от других дел, а такого времени оставалось у него мало. Но, несмотря на это, он расширял круг своего знания с изумительною быстротою: теперь, когда ему было двадцать два года, он был уже человеком очень замечательно основательной учености. Это потому, что он и тут поставил себе правилом: роскоши и прихоти — никакой; исключительно то, что нужно. А что нужно? Он говорил: «По каждому предмету капитальных сочинений очень немного; во всех остальных только повторяется, разжижается, портится то, что все гораздо полнее и

яснее заключено в этих немногих сочинениях. Надобно читать только их; всякое другое чтение — только напрасная трата времени. Берем русскую беллетристику. Я говорю: прочитаю всего прежде Гоголя. В тысячах других повестей я уже вижу по пяти строкам с пяти разных страниц, что не найду ничего, кроме испорченного Гоголя,— зачем я стану их читать? Так и и в науках,— в науках даже еще резче эта граница. Если я прочел Адама Смита, Мальтуса, Рикардо и Милля, я знаю альфу и омегу этого направления, и мне не нужно читать ни одного из сотен политико-экономов, как бы ни были они знамениты; я по пяти строкам с пяти страниц вижу, что не найду у них ни одной свежей мысли, им принадлежащей, всё заимствования и искажения. Я читаю только самобытное и лишь настолько, чтобы знать эту самобытность». Поэтому никакими силами нельзя было заставить его читать Маколея; посмотрев четверть часа на разные страницы, он решил: «Я знаю все материи, из которых набраны эти лоскутья». Он прочитал «Ярмарку суеты» Теккерея с наслаждением, а начал читать «Пенденниса», закрыл на двадцатой странице: «Весь высказался в «Ярмарке суеты», видно, что больше ничего не будет, и читать не нужно». «Каждая прочтенная мною книга такова, что избавляет меня от надобности читать сотни книг»,— говорил он.

Гимнастика, работа для упражнения силы, чтения — были личными занятиями Рахметова; но по его возвращении в Петербург они брали у него только четвертую долю его времени, остальное время он занимался чужими делами или ничьими в особенности делами, постоянно соблюдая то же правило, как в чтении: не тратить времени над второстепенными делами и с второстепенными людьми, заниматься только капитальными, от которых уже и без него изменяются второстепенные дела и руководимые люди. Например, вне своего круга он знакомился только с людьми, имеющими влияние на других. Кто не был авторитетом для нескольких других людей, тот никакими способами не мог даже войти в разговор с ним. Он говорил: «Вы меня извините, мне некогда»,— и отходил. Но точно так же никакими средствами не мог избежать знакомства с ним тот, с кем он хотел познакомиться. Он просто являлся к вам и говорил, что ему было нужно, с таким предисловием: «Я хочу быть знаком с вами; это нужно. Если вам теперь не время, назначьте другое». На мелкие ваши дела он не обращал никакого внимания, хотя бы вы были ближайшим его знакомым и упрашивали его вникнуть в ваше затруднение: «Мне некогда»,—

говорил он и отворачивался. Но в важные дела вступался, когда это было нужно, по его мнению, хотя бы никто этого не желал: «Я должен»,— говорил он. Какие вещи он говорил и делал в этих случаях, уму непостижимо. Да вот, например, мое знакомство с ним. Я был тогда уже не молод, жил порядочно, потому ко мне собиралось по временам человек пять-шесть молодежи из моей провинции. Следовательно, я уже был для него человек драгоценный: эти молодые люди были расположены ко мне, находя во мне расположение к себе; вот он и слышал по этому случаю мою фамилию. А я, когда в первый раз увидел его у Кирсанова, еще не слышал о нем: это было вскоре по его возвращении из странствия. Он вошел после меня; я был только один незнакомый ему человек в обществе. Он, как вошел, отвел Кирсанова в сторону и, указавши глазами на меня, сказал несколько слов. Кирсанов отвечал ему тоже немногими словами и был отпущен. Через минуту Рахметов сел прямо против меня, всего только через небольшой стол у дивана, и с этого-то расстояния каких-нибудь полутора аршин начал смотреть мне в лицо изо всей силы. Я был раздосадован: он рассматривал меня без церемонии, будто перед ним не человек, а портрет,— я нахмурился. Ему не было никакого дела. Посмотревши минуты две-три, он сказал мне: «Г. N, мне нужно с вами познакомиться. Я вас знаю, вы меня — нет. Спросите обо мне у хозяина и у других, кому вы особенно верите из этой компании»,— встал и ушел в другую комнату. «Что это за чудак?» — «Это Рахметов. Он хочет, чтобы вы спросили, заслуживает ли он доверия,— безусловно, и заслуживает ли он внимания,— он поважнее всех нас здесь, взятых вместе»,— сказал Кирсанов, другие подтвердили. Чрез пять минут он вернулся в ту комнату, где все сидели. Со мною не заговаривал и с другими говорил мало,— разговор был не ученый и не важный. «А, десять часов уже,— произнес он через несколько времени,— в десять часов у меня есть дело в другом месте. Г. N,— он обратился ко мне,— я должен сказать вам несколько слов. Когда я отвел хозяина в сторону спросить его, кто вы, я указал на вас глазами, потому что ведь вы все равно должны были заметить, что я спрашиваю о вас, кто вы; следовательно, напрасно было бы не делать жестов, натуральных при таком вопросе. Когда вы будете дома, чтоб я мог зайти к вам?» Я тогда не любил новых знакомств, а эта навязчивость уж вовсе не нравилась мне. «Я только ночую дома; меня целый день нет дома»,— сказал я. «Но ночуете дома? В какое же время вы возвращаетесь ночевать?» — «Очень

поздно».— «Например?» — «Часа в два, в три».— «Это все равно, назначьте время».— «Если вам непременно угодно, утром послезавтра, в половине четвертого».— «Конечно, я должен принимать ваши слова за насмешку и грубость; а может быть, и то, что у вас есть свои причины, может быть, даже заслуживающие одобрения. Во всяком случае я буду у вас послезавтра поутру в половине четвертого».— «Нет, уж если вы так решительны, то лучше заходите попозднее: я все утро буду дома, до двенадцати часов».— «Хорошо, зайду часов в десять. Вы будете одни?» — «Да». — «Хорошо». Он пришел и, точно так же без околичностей, приступил к делу, по которому нашел нужным познакомиться. Мы потолковали с полчаса; о чем толковали, это все равно; довольно того, что он говорил: «надобно», я говорил: «нет»; он говорил: «вы обязаны», я говорил: «нисколько». Через полчаса он сказал: «Ясно, что продолжать бесполезно. Ведь вы убеждены, что я человек, заслуживающий безусловного доверия?» — «Да, мне сказали это все, и я сам теперь вижу».— «И все-таки остаетесь при своем?» — «Остаюсь».— «Знаете вы, что из этого следует? То, что вы или лжец, или дрянь!» Как это понравится? Что надобно было бы сделать с другим человеком за такие слова? вызвать на дуэль? но он говорит таким тоном, без всякого личного чувства, будто историк, судящий холодно не для обиды, а для истины, и сам был так странен, что смешно было бы обижаться, и я только мог засмеяться. «Да ведь это одно и то же»,— сказал я. «В настоящем случае не одно и то же».— «Ну, так, может быть, я то и другое вместе».— «В настоящем случае то и другое вместе невозможно. Но одно из двух — непременно: или вы думаете и делаете не то, что говорите: в таком случае вы лжец; или вы думаете и делаете действительно то, что говорите: в таком случае вы дрянь. Одно из двух непременно. Я полагаю, первое».— «Как вам угодно, так и думайте»,— сказал я, продолжая смеяться. «Прощайте. Во всяком случае знайте, что я сохраню доверие к вам и готов возобновить наш разговор, когда вам будет угодно».

При всей дикости этого случая Рахметов был совершенно прав: и в том, что начал так, потому что ведь он прежде хорошо узнал обо мне и только тогда уже начал дело, и в том, что так кончил разговор; я действительно говорил ему не то, что думал, и он действительно имел право назвать меня лжецом, и это нисколько не могло быть обидно, даже щекотливо для меня «в настоящем случае», по его выражению, потому

что такой был случай и он действительно мог сохранять ко мне прежнее доверие и, пожалуй, уважение.

Да, при всей дикости его манеры, каждый оставался убежден, что Рахметов поступил именно так, как благоразумнее и проще всего было поступить, и свои страшные резкости, ужаснейшие укоризны он говорил так, что никакой рассудительный человек не мог ими обижаться, и, при всей своей феноменальной грубости, он был, в сущности, очень деликатен. У него были и предисловия в этом роде. Всякое щекотливое объяснение он начинал так: «Вам известно, что я буду говорить без всякого личного чувства. Если мои слова будут неприятны, прошу извинить их. Но я нахожу, что не следует обижаться ничем, что говорится добросовестно, вовсе не с целью оскорбления, а по надобности. Впрочем, как скоро вам покажется бесполезно продолжать слышать мои слова, я остановлюсь; мое правило: предлагать мое мнение всегда, когда я должен, и никогда не навязывать его». И действительно он не навязывал: никак нельзя было спастись от того, чтоб он, когда находил это нужным, не высказал вам своего мнения настолько, чтобы вы могли понять, о чем и в каком смысле он хочет говорить; но он делал это в двух-трех словах и потом спрашивал: «Теперь вы знаете, каково было бы содержание разговора; находите ли вы полезным иметь такой разговор?» Если вы сказали «нет», он кланялся и отходил.

Вот как он говорил и вел свои дела, а дел у него была бездна, и всё дела, не касавшиеся лично до него; личных дел у него не было, это все знали; но какие дела у него, этого кружок не знал. Видно было только, что у него множество хлопот. Он мало бывал дома, все ходил и разъезжал, больше ходил. Но и у него беспрестанно бывали люди, то всё одни и те же, то всё новые; для этого у него было положено: быть всегда дома от двух до трех часов; в это время он говорил о делах и обедал. Но часто по нескольку дней его не бывало дома. Тогда вместо него сидел у него и принимал посетителей один из его приятелей, преданный ему душою и телом и молчаливый, как могила.

Года через два после того, как мы видим его сидящим в кабинете Кирсанова за ньютоновым толкованием на Апокалипсис, он уехал из Петербурга, сказавши Кирсанову и еще двум-трем самым близким друзьям, что ему здесь нечего делать больше, что он сделал все, что мог, что больше делать можно будет только года через три, что эти три года теперь у него свободны, что он думает воспользоваться ими, как ему

кажется нужно для будущей деятельности. Мы узнали потом, что он проехал в свое бывшее поместье, продал оставшуюся у него землю, получил тысяч тридцать пять, заехал в Казань и Москву, роздал около пяти тысяч своим семи стипендиатам, чтобы они могли кончить курс, тем и кончилась его достоверная история. Куда он девался из Москвы, неизвестно. Когда прошло несколько месяцев без всяких слухов о нем, люди, знавшие о нем что-нибудь, кроме известного всем, перестали скрывать вещи, о которых по его просьбе молчали, пока он жил между нами. Тогда-то узнал наш кружок и то, что у него были стипендиаты, узнал бóльшую часть из того о его личных отношениях, что я рассказал, узнал множество историй, далеко, впрочем, не разъяснявших всего, даже ничего не разъяснявших, а только делавших Рахметова лицом еще более загадочным для всего кружка, историй, изумлявших своею странностью или совершенно противоречивших тому понятию, какое кружок имел о нем как о человеке совершенно черством для личных чувств, не имевшем, если можно так выразиться, личного сердца, которое билось бы ощущениями личной жизни. Рассказывать все эти истории было бы здесь неуместно. Приведу лишь две из них, по одной на каждый из двух родов: одну — дикого сорта, другую — сорта, противоречившего прежнему понятию кружка о нем. Выбираю из историй, рассказанных Кирсановым.

За год перед тем как во второй и, вероятно, окончательный раз пропал из Петербурга, Рахметов сказал Кирсанову: «Дайте мне порядочное количество мази для заживления ран от острых орудий». Кирсанов дал огромнейшую банку, думая, что Рахметов хочет отнести лекарство в какую-нибудь артель плотников или других мастеровых, которые часто подвергаются порезам. На другое утро хозяйка Рахметова в страшном испуге прибежала к Кирсанову: «Батюшка-лекарь, не знаю, что с моим жильцом сделалось: не выходит долго из своей комнаты, дверь запер, я заглянула в щель: он лежит весь в крови; я как закричу, а он мне говорит сквозь дверь: «Ничего, Аграфена Антоновна». Какое ничего! Спаси, батюшка-лекарь, боюсь смертного случаю. Ведь он такой до себя безжалостный». Кирсанов поскакал. Рахметов отпер дверь с мрачною широкою улыбкою, и посетитель увидел вещь, от которой и не Аграфена Антоновна могла развести руками: спина и бока всего белья Рахметова (он был в одном белье) были облиты кровью, под кроватью была кровь, войлок, на котором он спал, также в крови; в войлоке были натыканы сотни мелких гвоздей шляп-

ками с-исподи, остриями вверх, они высовывались из войлока чуть не на полвершка; Рахметов лежал на них ночь. «Что это такое, помилуйте, Рахметов»,— с ужасом проговорил Кирсанов. «Проба. Нужно. Неправдоподобно, конечно; однако же на всякий случай нужно. Вижу, могу». Кроме того, что видел Кирсанов, видно из этого также, что хозяйка, вероятно, могла бы рассказать много разного любопытного о Рахметове; но в качестве простодушной и простоплатной старуха была без ума от него, и уж, конечно, от нее нельзя было бы ничего добиться. Она и в этот-то раз побежала к Кирсанову потому только, что сам Рахметов дозволил ей это для ее успокоения: она слишком плакала, думая, что он хочет убить себя.

Месяца через два после этого — дело было в конце мая — Рахметов пропадал на неделю или больше, но тогда никто этого не заметил, потому что пропадать на несколько дней случалось ему нередко. Теперь Кирсанов рассказал следующую историю о том, как Рахметов провел эти дни. Они составляли эротический эпизод в жизни Рахметова. Любовь произошла из события, достойного Никитушки Ломова. Рахметов шел из первого Парголова в город, задумавшись и больше глядя в землю, по своему обыкновению, по соседству Лесного института. Он был пробужден от раздумья отчаянным криком женщины; взглянул: лошадь понесла даму, катавшуюся в шарабане, дама сама правила и не справилась, вожжи волочились по земле — лошадь была уже в двух шагах от Рахметова; он бросился на середину дороги, но лошадь уж пронеслась мимо, он не успел поймать повода, успел только схватиться за заднюю ось шарабана — и остановил, но упал. Подбежал народ, помогли даме сойти с шарабана, подняли Рахметова; у него была несколько разбита грудь, но, главное, колесом вырвало ему порядочный кусок мяса из ноги. Дама уже опомнилась и приказала отнести его к себе на дачу, в какой-нибудь полуверсте. Он согласился, потому что чувствовал слабость, но потребовал, чтобы послали непременно за Кирсановым, ни за каким другим медиком. Кирсанов нашел ушиб груди неважным, но самого Рахметова уже очень ослабевшим от потери крови. Он пролежал дней десять. Спасенная дама, конечно, ухаживала за ним сама. Ему ничего другого нельзя было делать от слабости, а потому он говорил с нею,— ведь все равно время пропадало бы даром,— говорил и разговорился. Дама была вдова лет девятнадцати, женщина не бедная и вообще совершенно независимого положения, умная, порядочная женщина. Огненные

речи Рахметова, конечно, не о любви, очаровали ее: «Я во сне вижу его, окруженного сияньем»,— говорила она Кирсанову. Он также полюбил ее. Она, по платью и по всему, считала его человеком, не имеющим совершенно ничего, потому первая призналась и предложила ему венчаться, когда он, на одиннадцатый день, встал и сказал, что может ехать домой. «Я был с вами откровеннее, чем с другими; вы видите, что такие люди, как я, не имеют права связывать чью-нибудь судьбу с своею».— «Да, это правда,— сказала она,— вы не можете жениться. Но пока вам придется бросить меня, до тех пор любите меня».— «Нет, и этого я не могу принять,— сказал он,— я должен подавить в себе любовь: любовь к вам связывала бы мне руки, они и так не скоро развяжутся у меня,— уж связаны. Но развяжу. Я не должен любить». Что было потом с этою дамою? В ее жизни должен был произойти перелом; по всей вероятности, она и сама сделалась особенным человеком. Мне хотелось узнать. Но я этого не знаю, Кирсанов не сказал мне ее имени, а сам тоже не знал, что с нею: Рахметов просил его не видаться с нею, не справляться о ней: «Если я буду полагать, что вы будете что-нибудь знать о ней, я не удержусь, стану спрашивать, а это не годится». Узнав такую историю, все вспомнили, что в то время, месяца полтора или два, а может быть, и больше, Рахметов был мрачноватее обыкновенного, не приходил в азарт против себя, сколько бы ни кололи ему глаза его гнусною слабостью, то есть сигарами, и не улыбался широко и сладко, когда ему льстили именем Никитушки Ломова. А я вспомнил и больше: в то лето, три-четыре раза, в разговорах со мною, он, через несколько времени после первого нашего разговора, полюбил меня за то, что я смеялся (наедине с ним) над ним, и в ответ на мои насмешки вырывались у него такого рода слова: «Да, жалейте меня, вы правы, жалейте: ведь и я тоже не отвлеченная идея, а человек, которому хотелось бы жить. Ну, да это ничего, пройдет»,— прибавлял он. И точно, прошло. Только однажды, когда уже я слишком много расшевелил его насмешками, даже позднею осенью, все еще вызвал я из него эти слова.

Проницательный читатель, может быть, догадывается из этого, что я знаю о Рахметове больше, чем говорю. Может быть. Я не смею противоречить ему, потому что он проницателен. Но если я знаю, то мало ли чего я знаю такого, чего тебе, проницательный читатель, во веки веков не узнать. А вот чего я действительно не знаю, так не знаю: где теперь Рахме-

тов, и что с ним, и увижу ли я его когда-нибудь. Об этом я не имею никаких других ни известий, ни догадок, кроме тех, какие имеют все его знакомые. Когда прошло месяца три-четыре после того, как он пропал из Москвы и не приходило никаких слухов о нем, мы все предположили, что он отправился путешествовать по Европе. Догадка эта, кажется, верна. По крайней мере, она подтверждается вот каким случаем. Через год после того как пропал Рахметов, один из знакомых Кирсанова встретил в вагоне, по дороге из Вены в Мюнхен, молодого человека, русского, который говорил, что объехал славянские земли, везде сближался со всеми классами, в каждой земле оставался по стольку, чтобы достаточно узнать понятия, нравы, образ жизни, бытовые учреждения, степень благосостояния всех главных составных частей населения, жил для этого и в городах и в селах, ходил пешком из деревни в деревню, потом точно так же познакомился с румынами и венграми, объехал и обошел северную Германию, оттуда пробрался опять к югу, в немецкие провинции Австрии, теперь едет в Баварию, оттуда в Швейцарию, через Вюртемберг и Баден во Францию, которую объедет и обойдет точно так же, оттуда за тем же проедет в Англию и на это употребит еще год; если останется из этого года время, он посмотрит и на испанцев и на итальянцев, если же не останется времени — так и быть, потому что это не так «нужно», а те земли осмотреть «нужно» — зачем же? — «для соображений»; а что через год во всяком случае ему «нужно» быть уже в Северо-Американских штатах, изучить которые более «нужно» ему, чем какую-нибудь другую землю, и там он останется долго, может быть, более года, а может быть, и навсегда, если он там найдет себе дело, но вероятнее, что года через три он возвратится в Россию, потому что, кажется, в России, не теперь, а тогда, года через три-четыре, «нужно» будет ему быть.

Все это очень похоже на Рахметова, даже эти «нужно», запавшие в память рассказчика. Летами, голосом, чертами лица, насколько запомнил их рассказчик, проезжий тоже подходил к Рахметову; но рассказчик тогда не обратил особого внимания на своего спутника, который к тому же недолго и был его спутником, всего часа два: сел в вагон в каком-то городишке, вышел в какой-то деревне; потому рассказчик мог описывать его наружность лишь слишком общими выражениями, и полной достоверности тут нет: по всей вероятности, это

был Рахметов, а впрочем, кто ж его знает? Может быть, и не он.

Был еще слух, что молодой русский, бывший помещик, явился к величайшему из европейских мыслителей XIX века, отцу новой философии, немцу, и сказал ему так: «У меня тридцать тысяч талеров; мне нужно только пять тысяч; остальные я прошу вас взять у меня» (философ живет очень бедно).— «Зачем же?» — «На издание ваших сочинений». Философ, натурально, не взял; но русский будто бы все-таки положил у банкира деньги на его имя и написал ему так: «Деньгами распоряжайтесь, как хотите, хоть бросьте в воду, а мне их уже не можете возвратить, меня вы не отыщете»,— и будто б эти деньги так и теперь лежат у банкира. Если этот слух справедлив, то нет никакого сомнения, что к философу являлся именно Рахметов.

Так вот каков был господин, сидевший теперь в кабинете у Кирсанова.

Да, особенный человек был этот господин, экземпляр очень редкой породы. И не затем описывается мною так подробно один экземпляр этой редкой породы, чтобы научить тебя, проницательный читатель, приличному (неизвестному тебе) обращению с людьми этой породы: тебе ни одного такого человека не видать; твои глаза, проницательный читатель, не так устроены, чтобы видеть таких людей; для тебя они невидимы; их видят только честные и смелые глаза; а для того тебе служит описание такого человека, чтобы ты хоть понаслышке знал, какие люди есть на свете. К чему оно служит для читательниц и простых читателей, это они сами знают.

Да, смешные это люди, как Рахметов, очень забавны. Это я для них самих говорю, что они смешны, говорю потому, что мне жалко их; это я для тех благородных людей говорю, которые очаровываются ими: не следуйте за ними, благородные люди, говорю я, потому что скуден личными радостями путь, на который они зовут вас; но благородные люди не слушают меня и говорят: нет, не скуден, очень богат, а хоть бы и был скуден в ином месте, так не длинно же оно, у нас достанет силы пройти это место, выйти на богатые радостью, бесконечные места. Так видишь ли, проницательный читатель, это я не для тебя, а для другой части публики говорю, что такие люди, как Рахметов, смешны. А тебе, проницательный читатель, я скажу, что это недурные люди; а то ведь ты, пожалуй, и не поймешь сам-то; да, недурные люди. Мало их, но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, про-

кисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли.

XXX

«Ну,— думает проницательный читатель,— теперь главным лицом будет Рахметов и заткнет за пояс всех, и Вера Павловна в него влюбится, и вот скоро начнется с Кирсановым та же история, какая была с Лопуховым». Ничего этого не будет, проницательный читатель; Рахметов просидит вечер, поговорит с Верою Павловною; я не утаю от тебя ни слова из их разговора, и ты скоро увидишь, что если бы я не хотел передать тебе этого разговора, то очень легко было бы и не передавать его, и ход событий в моем рассказе нисколько не изменился бы от этого умолчания, и вперед тебе говорю, что когда Рахметов, поговорив с Верою Павловною, уйдет, то уже и совсем он уйдет из этого рассказа и что не будет он ни главным, ни неглавным, вовсе никаким действующим лицом в моем романе. Зачем же он введен в роман и так подробно описан? вот попробуй, проницательный читатель, угадаешь ли ты это? А это будет сказано тебе на следующих страницах, тотчас же после разговора Рахметова с Верою Павловною; как только он уйдет, так это я и скажу тебе в конце главы. Угадай-ка теперь, что там будет сказано: угадать нетрудно, если ты имеешь хоть малейшее понятие о художественности, о которой ты так любишь толковать,— да куда тебе! Ну, я подскажу больше чем половину разгадки: Рахметов выведен для исполнения главнейшего, самого коренного требования художественности, исключительно только для удовлетворения ему; ну, ну, угадай хоть теперь, хоть теперь-то угадай, какое это требование, и что нужно было сделать для его удовлетворения, и каким образом оно удовлетворено через то, что показана тебе фигура Рахметова, остающаяся без всякого влияния и участия в ходе рассказа; ну-ка, угадай. Читательница и простой читатель, не толкующие о художественности, они знают это, а попробуй-ка угадать ты, мудрец. Для того и дается тебе время и ставится собственно для этого длинная и толстая черта между строк: видишь, как я пекусь о тебе. Остановись-ка на ней, да и подумай, не отгадаешь ли.

Приехала Мерцалова, потужила, поутешила, сказала, что с радостью станет заниматься мастерскою, не знает, сумеет ли, и опять стала тужить и утешать, помогая в разборке вещей. Рахметов, попросив соседскую служанку сходить в булочную, поставил самовар, подал, стали пить чай; Рахметов с полчаса посидел с дамами, выпил пять стаканов чаю, с ними опростал половину огромного сливочника и съел страшную массу печенья, кроме двух простых булок, служивших фундаментом: «Имею право на это наслажденье, потому что жертвую целою половиною суток». Понаслаждался, послушал, как дамы убиваются, выразил три раза мнение, что «это безумие» — то есть не то, что дамы убиваются, а убить себя от чего бы то ни было, кроме слишком мучительной и неизлечимой физической болезни или для предупреждения какой-нибудь мучительной неизбежной смерти, например, колесования; выразил это мнение каждый раз в немногих, но сильных словах, по своему обыкновению, налил шестой стакан, вылил в него остальные сливки, взял остальное печенье,— дамы уже давно отпили чай,— поклонился и ушел с этими материалами для финала своего материального наслаждения опять в кабинет, уже вполне посибаритствовать несколько, улегшись на диване, на каком спит каждый, но который для него нечто уже вроде капуанской роскоши. «Имею право на этот праздник, потому жертвую двенадцатью или четырнадцатью часами времени». Кончив материальное наслаждение, возобновил умственное — чтение комментария на Апокалипсис. Часу в девятом приехал полицейский чиновник сообщить жене застрелившегося дело, которое теперь уже вполне было разъяснено; Рахметов сказал, что жена уж знает и толковать с нею нечего; чиновник был очень рад, что избавился от раздирательной сцены. Потом явились Маша и Рахель, началась разборка платья и вещей. Рахель нашла, что за все, кроме хорошей шубы, которую она не советует продавать, потому что через три месяца все равно же понадобилось бы делать новую,— Вера Павловна согласилась,— так за все остальное можно дать четыреста пятьдесят рублей; действительно больше нельзя было и по внутреннему убеждению Мерцаловой, таким образом, часам к десяти торговая операция была кончена: Рахель отдала двести рублей, больше у нее не было, остальные она пришлет дня через три через Мерцалову, забрала вещи и уехала. Мерцалова посидела еще с час, но пора домой кормить грудью ребенка, и она уехала, сказавши, что приедет завтра проводить на железную дорогу.

Когда Мерцалова уехала, Рахметов сложил ньютоново «Толкование на Апокалипсис», поставил аккуратно на место и послал Машу спросить Веру Павловну, может ли он войти к ней. Может. Он вошел, с обыкновенною неторопливостью и холодностью.

— Вера Павловна, я могу теперь в значительной степени утешить вас. Теперь уже можно, раньше не следовало. Предупредив, что общий результат моего посещения будет утешителен,— вы знаете, я не говорю напрасных слов, и потому вперед должны успокоиться,— я буду излагать дело в порядке. Я вам сказал, что встретился с Александром Матвеичем и что знаю все. Это действительно правда. Я точно виделся с Александром Матвеичем, и точно я знаю все. Но я не говорил того, что я знаю все от него, и я не мог бы этого сказать, потому что действительно знаю все не от него, а от Дмитрия Сергеича, который просидел у меня часа два; я был предуведомлен, что он будет у меня, потому и находился дома, он сидел у меня часа два или более после того, как он написал записку, столько огорчившую вас. Он-то и просил...

— Вы слышали, что он хочет сделать, и не остановили его?

— Я просил вас успокоиться, потому что результат моего посещения будет утешителен. Да, я не остановил его, потому что решение его было основательно, как вы сами увидите. Я начал: он-то и просил меня провести этот вечер у вас, зная, что вы будете огорчены, и дал мне к вам поручение. Именно меня выбрал он посредником, потому что знал меня как человека, который с буквальною точностью исполняет поручение, если берется за него, и который не может быть отклонен от точного исполнения принятой обязанности никаким чувством, никакими просьбами. Он предвидел, что вы стали бы умолять о нарушении его воли, и надеялся, что я, не тронувшись вашими мольбами, исполню ее. И я исполню ее, потому вперед прошу: не просите у меня никакой уступки в том, что я скажу. Его поручение состоит в следующем: он, уходя, чтобы «сойти со сцены»...

— Боже мой, что он сделал! Как же вы могли не удержать его?

— Вникните в это выражение: «сойти со сцены» и не осуждайте меня преждевременно. Он употребил это выражение в записке, полученной вами, не так ли? и мы будем употреблять именно его, потому что оно очень верно и удачно выбрано.

В глазах Веры Павловны стало выражаться недоумение; ей все яснее думалось: «Я не знаю, что это? что же мне думать?» О, Рахметов, при всей видимой нелепости своей обстоятельной манеры изложения, был мастер, великий мастер вести дело! Он был великий психолог, он знал и умел выполнять законы постепенного подготовления.

— Итак, уходя, чтобы, по очень верному его выражению, «сойти со сцены», он оставил мне записку к вам...

Вера Павловна вскочила.

— Где ж она? Давайте ее! И вы могли сидеть здесь целый день, не отдавая мне ее?

— Мог, потому что видел надобность. Скоро вы оцените мои причины. Они основательны. Но прежде всего я должен объяснить вам выражение, употребленное мною в самом начале: «результат будет утешителен». Под утешительностью результата я не разумел получение вами этой записки по двум причинам, из которых первая, самое получение записки еще не было бы достаточным успокоением, чтобы заслуживать имя утешения, не правда ли? для утешения требуется нечто больше. Итак, утешение должно заключаться в самом содержании записки.

Вера Павловна опять вскочила.

— Успокойтесь, я не могу сказать, что вы ошибаетесь. Предупредив вас о содержании записки, я прошу вас выслушать вторую причину, по которой я не мог разуметь под «утешительностью результата» самое получение вами записки, а должен был разуметь ее содержание. Это содержание, характер которого мы определили, так важно, что я могу только показать вам ее, но не могу отдать вам ее. Вы прочтете, но вы ее не получите.

— Как? Вы не отдадите мне ее?

— Нет. Именно я потому и выбран, что всякий другой на моем месте отдал бы. Она не может остаться в ваших руках, потому что, по чрезвычайной важности ее содержания, характер которого мы определили, она не должна остаться ни в чьих руках. А вы захотели бы сохранить ее, если б я отдал ее. Потому, чтобы не быть принуждену отнимать ее у вас силою, я вам не отдам ее, а только покажу. Но я покажу ее только тогда, когда вы сядете, сложите на колена ваши руки и дадите слово не поднимать их.

Если бы тут был кто посторонний, он, каким бы чувствительным сердцем ни был одарен, не мог бы не засмеяться над торжественностью всей этой процедуры и в особенности

над обрядными церемонностями этого ее финала. Смешно, это правда. Но как бы хорошо было для наших нерв, если бы при сообщении нам сильных известий умели соблюдать хоть десятую долю той выдержки подготовления, как Рахметов.

Но Вера Павловна, как человек не посторонний, конечно, могла чувствовать только томительную сторону этой медленности и сама представила фигуру, которою не меньше мог потешиться наблюдатель, когда, быстро севши и торопливо, послушно сложив руки, самым забавным голосом, то есть голосом мучительного нетерпения, воскликнула: «Клянусь!»

Рахметов положил на стол лист почтовой бумаги, на котором было написано десять — двенадцать строк.

Едва Вера Павловна бросила на них взгляд, она в тот же миг, вспыхнув, забывши всякие клятвы, вскочила; как молния мелькнула ее рука, чтобы схватить записку, но записка была уж далеко, в поднятой руке Рахметова.

— Я предвидел это, и потому, как вы заметили бы, если бы могли замечать, не отпускал своей руки от записки. Точно так же я буду продолжать держать этот лист за угол все время, пока он будет лежать на столе. Потому всякие ваши попытки схватить его будут напрасны.

Вера Павловна опять села и сложила руки. Рахметов опять положил перед ее глазами записку. Она двадцать раз с волнением перечитывала ее. Рахметов стоял подле ее кресла очень терпеливо, держа рукою угол листа. Так прошло с четверть часа. Наконец Вера Павловна подняла руку уже смирно, очевидно не с похитительными намерениями, закрыла ею глаза: «Как он добр, как он добр!» — проговорила она.

— Я не вполне разделяю ваше мнение, и почему — мы объяснимся. Это уже не будет исполнением его поручения, а выражением только моего мнения, которое высказал я и ему в последнее наше свидание. Его поручение состояло только в том, чтобы я показал вам эту записку и потом сжег ее. Вы довольно видели ее?

— Еще, еще.

Она опять сложила руки, он опять положил записку и с прежним терпением опять стоял добрую четверть часа. Она опять закрыла лицо руками и твердила: «О, как он добр, как он добр!»

— Насколько вы могли изучить эту записку, вы изучили ее. Если бы вы были в спокойном состоянии духа, вы не только знали бы ее наизусть, форма каждой буквы навеки врезалась бы в вашей памяти, так долго и внимательно вы смотрели

на нее. Но в таком волнении, как вы теперь, законы запоминания нарушаются, и память может изменить вам. Предусматривая этот шанс, я сделал копию с записки, и вы всегда, когда вам будет угодно, можете видеть у меня эту копию. Через несколько времени я, вероятно, даже найду возможным отдать вам ее. А теперь, я полагаю, уже можно сжечь оригинал, и тогда мое поручение будет кончено.

— Покажите еще.

Он опять положил записку. Вера Павловна на этот раз беспрестанно поднимала глаза от бумаги: видно было, что она заучивает записку наизусть и поверяет себя, твердо ли ее выучила. Через несколько минут она вздохнула и перестала поднимать глаза от записки.

— Теперь, как я вижу, уже достаточно. Пора. Уже двенадцать часов, а я еще хочу изложить вам свои мысли об этом деле, потому что считаю полезным для вас узнать мое мнение о нем. Вы согласны?

— Да.

Записка в то же мгновение запылала в огне свечи.

— Ах! — вскрикнула Вера Павловна,— я не то сказала, зачем?

— Да, вы сказали только, что согласны слушать меня. Но уже все равно. Надобно же было когда-нибудь сжечь.— Говоря эти слова, Рахметов сел.— И притом осталась копия с записки. Теперь, Вера Павловна, я вам выражу свое мнение о деле. Я начну с вас. Вы уезжаете. Почему?

— Мне было бы очень тяжело оставаться здесь. Вид мест, которые напоминали бы прошлое, расстраивал бы меня.

— Да, это чувство неприятное. Но неужели много легче было бы вам во всяком другом месте? Ведь очень немногим легче. И между тем что вы делали? Для получения ничтожного облегчения себе вы бросили на произвол случая пятьдесят человек, судьба которых от вас зависела. Хорошо ли это?

Куда девалась скучная торжественность тона Рахметова! он говорил живо, легко, просто, коротко, одушевленно.

— Да, но ведь я хотела просить Мерцалову.

— Это не так. Вы не знаете, в состоянии ли она заменить вас в мастерской: ведь ее способность к этому еще не испытана. А тут требуется способность довольно редкая. Десять шансов против одного, что вас некому было заменить и что ваш отъезд губил мастерскую. Хорошо ли это? Вы подвергали почти верной, почти неизбежной гибели благосостояние пятидесяти человек. Из-за чего? из-за маленького удобства себе. Хорошо

ли это? Какая нежная заботливость к ничтожнейшему облегчению для себя и какое бесчувствие к судьбе других! Как вам нравится эта сторона вашего дела?

— Почему же вы не останавливали меня?

— Вы бы не послушались. Да ведь я же и знал, что вы скоро возвратитесь, стало быть, дело не будет иметь ничего важного. Виновата вы?

— Кругом,— сказала Вера Павловна отчасти шутя, но отчасти, даже больше чем отчасти, и серьезно.

— Нет, это еще только одна сторона вашей вины. Кругом будет гораздо больше. Но за покаяние награда: помощь в исправлении другой вины, которую еще можно исправить. Вы теперь спокойна, Вера Павловна?

— Да, почти.

— Хорошо. Как вы думаете, спит Маша? Нужна она вам теперь на что-нибудь?

— Конечно, нет.

— А ведь вы уж успокоились; стало быть, вы уже могли бы вспомнить, что надобно сказать ей: спи, уж первый час, а ведь она поутру встает рано. Кто должен был вспомнить об этом, вы или я? Я пойду, скажу ей, чтобы спала. И тут же, кстати,— за новое покаяние, ведь вы опять каетесь,— новая награда, я наберу, что там есть вам поужинать. Ведь вы не обедали ныне; а теперь, я думаю, уж есть аппетит?

— Да, есть; вижу, что есть и очень даже, когда вы напомнили,— сказала Вера Павловна, уж вовсе смеясь.

Рахметов принес холодное кушанье, оставшееся от обеда,— Маша указала ему сыр, баночку с какими-то грибами; закуска составилась очень исправная,— принес два прибора, сделал все сам.

— Видите, Рахметов, с каким усердием я ем, значит, хотелось; а ведь не чувствовала и про себя забыла, не про одну Машу; стало быть, я еще не такая злонамеренная преступница.

— И я не такое чудо заботливости о других, что вспомнил за вас о вашем аппетите: мне самому хотелось есть, я плохо пообедал; правда, съел столько, что другому было бы за глаза довольно на полтора обеда, но вы знаете, как я ем,— за двоих мужиков.

— Ах, Рахметов, вы были добрым ангелом не для одного моего аппетита. Но зачем же вы целый день сидели, не показывая записки? зачем вы так долго мучили меня?

— Причина очень солидная. Надобно было, чтобы другие видели, в каком вы расстройстве, чтоб известие о вашем ужас-

пом расстройстве разнеслось для достоверности события, вас расстроившего. Ведь вы не захотели бы притворяться. Да и невозможно вполне заменить натуру ничем, натура все-таки действует гораздо убедительнее. Теперь три источника достоверности события: Маша, Мерцалова, Рахель. Мерцалова особенно важный источник,— ведь это уж на всех ваших знакомых. Я был очень рад вашей мысли послать за нею.

— Какой же вы хитрый, Рахметов!

— Да, это не глупо придумано — ждать до ночи, только не мной; это придумал Дмитрий Сергеич сам.

— Какой он добрый! — Вера Павловна вздохнула, только, по правде сказать, вздохнула не с печалью, а лишь с признательностию.

— Э, Вера Павловна, мы его еще разберем. В последнее время он, точно, обдумал все умно и поступал отлично. Но мы найдем за ним грешки, и очень крупненькие.

— Не смейте, Рахметов, так говорить о нем. Слышите, я рассержусь.

— Вы бунтовать? за это наказание. Продолжать казнить вас? ведь список ваших преступлений только еще начат.

— Казните, казните, Рахметов.

— За покорность награда. Покорность всегда награждается. У вас, конечно, найдется бутылка вина. Вам не дурно выпить. Где найти? В буфете или где в шкапе?

— В буфете.

В буфете нашлась бутылка хересу. Рахметов заставил Веру Павловну выпить две рюмки, а сам закурил сигару.

— Как жаль, что не могу и я выпить три-четыре рюмки — хотелось бы.

— Неужели хотелось бы, Рахметов?

— Завидно, Вера Павловна, завидно,— сказал он смеясь.— Человек слаб.

— Вы-то еще слаб, слава богу! Но, Рахметов, вы удивляете меня. Вы совсем не такой, как мне казалось. Отчего вы всегда такое мрачное чудовище? А ведь вот теперь вы милый, веселый человек.

— Вера Павловна, я исполняю теперь веселую обязанность, отчего ж мне не быть веселым? Но ведь это случай, это редкость. Вообще видишь невеселые вещи; как же тут не будешь мрачным чудовищем? Только, Вера Павловна, если уж случилось вам видеть меня в таком духе, в каком я был бы рад быть всегда, и дошло у нас до таких откровенностей,— пусть это будет секрет, что я не по своей охоте мрачное чудовище.

Мне легче исполнять мою обязанность, когда не замечают, что мне самому хотелось бы не только исполнять мою обязанность, но и радоваться жизнью; теперь меня уж и не стараются развлекать, не отнимают у меня времени на отнекивание от зазывов. А чтобы вам легче было представлять меня не иначе, как мрачным чудовищем, надобно продолжать следствие о ваших преступлениях.

— Да чего ж вам больше? — вы уж и так отыскали два: бесчувственность к Маше и бесчувственность к мастерской. Я каюсь.

— Бесчувственность к Маше — только проступок, а не преступление: Маша не погибала от того, что терла бы себе слипающиеся глаза лишний час,— напротив, она делала это с приятным чувством, что исполняет свой долг. Но за мастерскую я действительно хочу грызть вас.

— Да ведь уж изгрызли.

— Еще не всю, а я хочу изгрызть вас всю. Как вы могли бросать ее на погибель?

— Да ведь уж я раскаялась и не бросала же: ведь Мерцалова согласилась заменить меня.

— Мы уж говорили, что ваше намерение заменить себя ею — недостаточное извинение. Но вы этою отговоркою только уличили себя в новом преступлении.— Рахметов постепенно принимал опять серьезный, хотя и не мрачный тон.— Вы говорите, что она заменяет вас,— это решено?

— Да,— сказала Вера Павловна без прежней шутливости, уже предчувствуя, что из этого выходит действительно что-то нехорошее.

— Извольте же видеть. Дело решено кем? вами и ею, решено без всякой справки, согласны ли те пятьдесят человек на такую перемену, не хотят ли они чего-нибудь другого, не находят ли они чего-нибудь лучшего. Ведь это деспотизм, Вера Павловна. Вот уж за вами два великие преступления: безжалостность и деспотизм. Но третье еще более тяжелое. Учреждение, которое более или менее хорошо соответствовало здравым идеям об устройстве быта, которое служило более или менее важным подтверждением практичности их,— а ведь практических доказательств этого еще так мало, каждое из них еще так драгоценно,— это учреждение вы подвергали риску погибнуть, обратиться из доказательства практичности в свидетельство неприменимости, нелепости ваших убеждений, средством для опровержения идей, благотворных для человечества; вы подавали аргумент против святых ваших принципов защитникам мрака

и зла. Теперь, я не говорю уже о том, что вы разрушали благосостояние пятидесяти человек,— что значит пятьдесят человек! — вы вредили делу человечества, изменяли делу прогресса. Это, Вера Павловна, то, что на церковном языке называется грехом против духа святого,— грехом, о котором говорится, что всякий другой грех может быть отпущен человеку, но этот — никак, никогда. Правда ли? преступница? Но хорошо, что все это так кончилось и что ваши грехи совершены только вашим воображением. А ведь, однако ж, вы в самом деле покраснели, Вера Павловна. Хорошо, я вам доставлю утешение. Если бы вы не страдали очень сильно, вы не совершили бы таких преступных вещей и в воображении. Значит, настоящий преступник и по этим вещам — тот, кто так сильно расстроил вас. А вы твердите: как он добр, как он добр!

— Как? По-вашему, он был виноват, что я страдала?

— А то кто же? И все это дело,— он вел его хорошо, я не спорю,— но зачем оно было? зачем весь этот шум? ничему этому вовсе не следовало быть.

— Да, я не должна была иметь этого чувства. Но ведь я не звала его, я старалась подавить его.

— Ну, вот, не была должна. В чем вы виноваты, того вы не замечали, а в чем ничуть не виновата, за то корите себя! этому чувству необходимо должно было возникнуть, как скоро даны характеры ваш и Дмитрия Сергеича: не так, то иначе, оно все-таки развилось бы; ведь здесь коренное чувство вовсе не то, что вы полюбили другого, это уже последствие; коренное чувство — недовольство вашими прежними отношениями. В какую форму должно было развиться это недовольство? Если бы вы и он, оба, или хоть один из вас, были люди не развитые, не деликатные или дурные, оно развилось бы в обыкновенную свою форму — вражда между мужем и женою, вы бы грызлись между собою, если бы оба были дурны, или один из вас грыз бы другого, а другой был бы сгрызаем,— во всяком случае была бы семейная каторга, которою мы и любуемся в большей части супружеств; она, конечно, не помешала бы развиться и любви к другому, но главная штука была бы в ней, в каторге, в грызении друг друга. У вас такой формы не могло принять это недовольство, потому что оба вы люди порядочные, и развилось только в легчайшую, мягчайшую, безобиднейшую свою форму, в любовь к другому. Значит, о любви к другому тут и толковать нечего: вовсе не в ней сущность дела. Сущность дела — недовольство прежним положением; причина недовольства — несходство характеров. Оба вы хорошие люди, но когда ваш характер,

Вера Павловна, созрел, потерял детскую неопределенность, приобрел определенные черты,— оказалось, что вы и Дмитрий Сергеич не слишком годитесь друг для друга. Что тут предосудительного кому-нибудь из вас? Ведь вот и я хороший человек, а могли бы вы ужиться со мною? Вы повесились бы от тоски со мною,— через сколько дней, как вы полагаете?

— Через немного дней,— сказала Вера Павловна смеясь.

— Он не такое мрачное чудовище, как я, а все-таки вы и он слишком не под стать друг другу. Кто должен был первый заметить это? Кто старее летами, чей характер установился раньше, кто имел больше опытности в жизни? он был должен предвидеть и приготовить вас, чтобы вы не пугались и не убивались. А он понял это лишь тогда, когда не только что вполне развилось чувство, которого он должен был ждать и не ждал, а когда уж даже явилось последствие этого чувства, другое чувство. Отчего ж он не предвидел и не заметил? Глуп он, что ли? Достало бы ума. Нет, от невнимательности, небрежности он пренебрегал своими отношениями к вам, Вера Павловна,— вот что! а вы твердите: добрый он, любил меня! — Рахметов, постепенно одушевляясь, говорил уже с жаром. Но Вера Павловна остановила его.

— Я не должна слушать вас, Рахметов,— сказала она тоном резкого неудовольствия,— вы осыпаете упреками человека, которому я бесконечно обязана.

— Нет, Вера Павловна, если бы вам не нужно было слушать этого, я бы не стал говорить. Что я, в нынешний день, что ли, заметил это? Что я, с нынешнего дня, что ли, мог бы сказать это? Ведь вы знаете, что разговора со мною нельзя избежать, если мне покажется, что нужен разговор. Значит, я бы мог сказать вам это и прежде, но ведь молчал же. Значит, если теперь стал говорить, то нужно говорить. Я не говорю ничего раньше, чем нужно. Вы видели, как я выдержал записку целых девять часов в кармане, хоть мне и жалко было смотреть на вас. Но было нужно молчать, я молчал. Следовательно, если теперь заговорил, что я очень давно думал об отношениях Дмитрия Сергеича к вам, стало быть, нужно говорить о них.

— Нет, я не хочу слушать,— с чрезвычайною горячностью сказала Вера Павловна,— я вас прошу молчать, Рахметов. Я вас прошу уйти. Я очень обязана вам за то, что вы потеряли для меня вечер. Но я вас прошу уйти.

— Решительно?

— Решительно.

— Хорошо-с,— сказал он смеясь.— Нет-с, Вера Павловна, от меня не отделаетесь так легко. Я предвидел этот шанс и принял свои меры. Ту записку, которая сожжена, он написал сам. А вот эту он написал по моей просьбе. Эту я могу оставить вам, потому что она не документ. Извольте.— Рахметов подал Вере Павловне записку.

«11 июля. 2 часа ночи. Милый друг Верочка, выслушай все, что тебе будет говорить Рахметов. Я не знаю, что хочет он говорить тебе, я ему не поручал говорить ничего, он не делал мне даже и намека о том, что он хочет тебе говорить. Но я знаю, что он никогда не говорит ничего, кроме того, что нужно. Твой *Д. Л.*».

Вера Павловна бог знает сколько раз целовала эту записку.

— Зачем же вы не отдавали мне ее? У вас, может быть, есть еще что-нибудь от него?

— Нет, ничего больше нет, потому что ничего больше не было нужно. Зачем не отдавал? — пока не было в ней надобности, не нужно было отдавать.

— Боже мой, как же зачем? Да для доставления мне удовольствия иметь от него несколько строк после нашей разлуки.

— Да, вот разве для этого,— ну, это не так важно.— Он улыбнулся.

— Ах, Рахметов, вы хотите бесить меня!

— Так эта записка служит причиною новой ссоры между нами? — сказал он, опять смеясь.— Если так, я отниму ее у вас и сожгу, ведь вы знаете, про таких людей, как мы с вами, говорят, что для нас нет ничего святого. Ведь мы способны на всякие насилия и злодейства. Но что же, могу я продолжать?

Оба они поостыли, она от получения записки, он оттого, что просидел несколько минут молча, пока она целовала ее.

— Да, я обязана слушать.

— Он не замечал того, что должен был заметить,— начал Рахметов спокойным тоном,— это произвело дурные последствия. Но если не винить его за то, что он не замечал, это все-таки не извиняет его. Пусть он не знал, что это должно неизбежно возникнуть из сущности данных отношений между вашим и его характером, он все-таки должен был на всякий случай приготовить вас к чему-нибудь подобному, просто как к делу случайности, которой нельзя желать, которой незачем ждать, но которая

все-таки может представиться: ведь за будущее никак нельзя ручаться, какие случайности может привести оно. Эту-то аксиому, что бывают всякие случайности, уж наверное он знал. Как же он оставлял вас в таком состоянии мыслей, что, когда произошло это, вы не были приготовлены? То, что он не предвидел этого, произошло от пренебрежения, которое обидно для вас, но само по себе вещь безразличная, ни дурная, ни хорошая; то, что он не подготовил вас на всякий случай, произошло из побуждения положительно дурного. Конечно, он действовал бессознательно, но ведь натура и сказывается в таких вещах, которые делаются бессознательно. Подготовлять вас к этому противоречило бы его выводам, ведь подготовкою ослаблялось бы ваше сопротивление чувству, несогласному с его интересами. В вас возникло такое сильное чувство, что и самое сильное ваше сопротивление осталось напрасным; но ведь это опять случайность, что оно явилось с такою силою. Будь оно внушено человеком менее заслуживающим его, хотя все-таки достойным, оно было бы слабее. Такие сильные чувства, против которых всякая борьба бесполезна, редкое исключение. Гораздо больше шансов для появления таких чувств, которые можно одолеть, если сила сопротивления совершенно не ослаблена. Вот для этих-то вероятнейших шансов ему и не хотелось ослаблять ее. Вот мотив, по которому он оставил вас неподготовленною и подверг стольким страданиям. Как вам это нравится?

— Это неправда, Рахметов. Он не скрывал от меня своего образа мыслей. Его убеждения были так же хорошо известны мне, как вам.

— Конечно, Вера Павловна. Скрывать это было бы уже слишком. Мешать развитию в вас убеждений, которые соответствовали бы его собственным убеждениям, для этого притворяться думающим не то, что думает, это было бы уже прямо бесчестным делом. Такого человека вы никогда бы и не полюбили. Разве я называл его дурным человеком? Он человек очень хороший, как же не хороший? — я, сколько вам угодно, буду хвалить его. Я только говорю, что прежде, чем возникло это дело,— когда оно возникло, он поступал хорошо, но прежде, чем оно возникло, он поступал с вами дурно. Из-за чего вы мучились? Он говорил,— да тут и говорить-то нечего, это видно само по себе,— из-за того, чтоб не огорчить его. Как же могла остаться в вас эта мысль, что это очень сильно огорчит его? Ей не следовало оставаться в вас. Какое тут огорчение? Это глупо. Что за ревности такие!

— Вы не признаете ревности, Рахметов?

— В развитом человеке не следует быть ей. Это искаженное чувство, это фальшивое чувство, это гнусное чувство, это явление того порядка вещей, по которому я никому не даю носить мое белье, курить из моего мундштука; это следствие взгляда на человека, как на мою принадлежность, как на вещь.

— Но, Рахметов, если не признавать ревности, из этого выходят страшные последствия.

— Для того, кто имеет ее, они страшны, а для того, кто не имеет ее, в них нет ничего не только страшного, даже важного.

— Но вы проповедуете полную безнравственность, Рахметов!

— Вам так кажется после четырех лет жизни с ним? Вот в этом-то он и виноват. Сколько раз в день вы обедаете? Один. Был бы кто-нибудь в претензии на то, если бы вы стали обедать два раза? Вероятно, нет. Почему ж вы этого не делаете? Боитесь, что ли, огорчить кого-нибудь? Вероятно, просто потому, что это вам не нужно, что этого вам не хочется. А ведь обед вещь приятная. Да ведь рассудок и, главное, сам желудок говорит, что один обед приятен, а другой уж был бы неприятен. Но если у вас есть фантазия или болезненная охота обедать по два раза, удержало бы вас от этого опасение огорчить кого-нибудь? Нет, если бы кто огорчался этим или запрещал это, вы только стали бы скрываться, стали бы кушать блюда в плохом виде, пачкали бы ваши руки от торопливого хватанья кушанья, пачкали бы ваше платье оттого, что прятали бы его в карманы,— только. Вопрос тут вовсе не о нравственности или безнравственности, а только о том, хорошая ли вещь контрабанда. Кого удерживает понятие о том, что ревность — чувство, достойное уважения и пощады, что «ах, если я сделаю это, я огорчу» — кого это заставляет попусту страдать в борьбе? Только немногих, самых благородных, за которых уж никак нельзя опасаться, что натура их повлекла бы к безнравственности. Остальных этот вздор нисколько не удерживает, а только заставляет хитрить, обманывать, то есть делает действительно дурными. Вот вам и все. Разве вам не известно это?

— Конечно, известно.

— Где ж вы после этого отыщете нравственную пользу ревности?

— Да ведь мы с ним сами всегда говорили в этом духе.

— Вероятно, не совсем в этом, или говорили слова, да не верили друг другу, слыша друг от друга эти слова, а не верили, конечно, потому, что беспрестанно слышали по всяким другим предметам, а может быть, и по этому самому предмету слова в

другом духе; иначе как же вы мучились бог знает сколько времени? и из-за чего? Из-за каких пустяков какой тяжелый шум! Сколько расстройства для всех троих, особенно для вас, Вера Павловна! Между тем как очень спокойно могли бы вы все трое жить по-прежнему, как жили за год, или как-нибудь переместиться всем на одну квартиру, или иначе переместиться, или как бы там пришлось, только совершенно без всякого расстройства, и по-прежнему пить чай втроем, и по-прежнему ездить в оперу втроем. К чему эти мученья? К чему эти катастрофы? и все оттого, что у вас благодаря прежнему дурному способу его держать вас не приготовленною к этому осталось понятие: «я убиваю его этим», чего тогда вовсе не было бы. Да, он наделал вам очень много лишнего горя.

— Нет, Рахметов, вы говорите ужасные вещи.

— Опять «ужасные вещи»! Для меня ужасны: мученья из-за пустяков и катастрофы из-за вздора.

— Так, по-вашему, вся наша история — глупая мелодрама?

— Да, совершенно ненужная мелодрама с совершенно ненужным трагизмом. И в том, что вместо простых разговоров самого спокойного содержания вышла раздирательная мелодрама, виноват Дмитрий Сергеич. Его честный образ действия в ней едва-едва достаточен для покрытия его прежней вины, что он не предотвратил эту мелодраму подготовлением вас да и себя, вероятно, к очень спокойному взгляду на все это, как на чистый вздор, из-за которого не стоит выпить лишний стакан чаю или не допить одного стакана чаю. Он сильно виноват. Ну, да он довольно поплатился. Выпейте еще рюмку хереса и ложитесь спать. Я достиг теперь и последней цели своего посещения: вот уже три часа; если вас не будить, вы проспите очень долго. А я сказал Маше, чтобы она не будила вас раньше половины одиннадцатого, так что завтра, едва успеете вы напиться чаю, как уж надобно будет вам спешить на железную дорогу; ведь если и не успеете уложить всех вещей, то скоро вернетесь или вам привезут их; как вы думаете сделать, чтобы вслед за вами поехал Александр Матвеич или сами вернетесь? а вам теперь было бы тяжело с Машею, ведь не годилось бы, если б она заметила, что вы совершенно спокойны. Да где будет ей заметить в полчаса торопливых сборов? Гораздо хуже была бы Мерцалова. Но я зайду к ней рано поутру и скажу ей, чтобы не приезжала сюда, потому что вы долго не спали и не должно вас будить, а ехала бы прямо на железную дорогу.

— Какая заботливость обо мне! — сказала Вера Павловна.

— Уж хоть этого-то не приписывайте ему, это уж я сам.

Но, кроме того, что я его браню за прежнее,— в глаза ему я, конечно, наговорил побольше и посильнее,— кроме того, что он кругом виноват в возникновении всего этого пустого мучения, в самое время пустого мученья он держал себя похвально.

XXXI

БЕСЕДА С ПРОНИЦАТЕЛЬНЫМ ЧИТАТЕЛЕМ И ИЗГНАНИЕ ЕГО

— Скажи же, о проницательный читатель, зачем выведен Рахметов, который вот теперь ушел и больше не явится в моем рассказе? Ты уж знаешь от меня, что это фигура, не участвующая в действии...

— Неправда,— перебивает меня проницательный читатель,— Рахметов — действующее лицо: ведь он принес записку, от которой...

— Уж очень плох ты, государь мой, в эстетических рассуждениях, которые так любишь,— перебиваю я его,— после этого, по-твоему, и Маша действующее лицо? Ведь она в самом начале рассказа тоже принесла письмо, от которого пришла в ужас Вера Павловна? И Рахель действующее лицо? Ведь она дала за вещи деньги, без которых не могла бы Вера Павловна уехать. И профессор N. действующее лицо, потому что рекомендовал Веру Павловну в гувернантки г-же Б., без чего не вышло бы сцены возвращения с Конногвардейского бульвара? Может быть, и Конногвардейский бульвар — действующее лицо? потому что ведь без него не было бы сцены свидания на нем и возвращения с него? А Гороховая улица, этак, выйдет уж самое главное действующее лицо, потому что без нее не было б и домов, стоящих на ней, значит, и дома Сторешникова, значит, не было бы и управляющего этим домом, и дочери управляющего этим домом не было бы, а тогда ведь и всего рассказа вовсе бы не было. Ну, однако, положим по-твоему, что все это действующие лица: Конногвардейский бульвар и Маша, Рахель и Гороховая улица, так ведь о них и сказано по пяти слов или того меньше, потому что действие их такое, которое больше пяти слов не стоит, а посмотрите-ка, сколько страниц отдано Рахметову.

— А, теперь знаю,— говорит проницательный читатель,— Рахметов выведен затем, чтобы произнесть приговор о Вере Павловне и Лопухове, он нужен для разговора с Верою Павловною.

— О, да как же ты плох, государь мой! как раз наоборот понимаешь дело. Разве нужно было выводить особого человека затем, чтоб он высказал свое мнение о других лицах?. По этаким надобностям, может быть, выводят и уводят людей в своих произведениях твои великие художники, а я хоть и плохой писатель, а все-таки несколько получше понимаю условия художественности. Нет, государь мой, Рахметов вовсе не был нужен для этого. Сколько раз сама Вера Павловна, Лопухов, Кирсанов выражают сами свое мнение о своих поступках и отношениях? Они люди неглупые, они сами могут рассудить, что хорошо, что дурно, на это им не нужно суфлера. Неужели ты думаешь, что сама Вера Павловна, когда на досуге, через несколько дней, стала бы вспоминать прошлую сумятицу, не осудила бы свою забывчивость о мастерской точно так же, как осудил Рахметов? И неужели ты полагаешь, что Лопухов сам не думал о своих отношениях к Вере Павловне всего того, что сказал о нем Вере Павловне Рахметов? Он все это думал; порядочные люди сами думают о себе все то, что можно сказать в осуждение им, потому-то, государь мой, они и порядочные люди,— разве ты этого не знал? Очень же плох ты, государь мой, по части соображений о том, что думают порядочные люди. Я тебе скажу больше: неужели ты полагал, что Рахметов в разговоре с Верою Павловною действовал независимо от Лопухова? Нет, государь мой: он был тут лишь орудием Лопухова, и сам тогда же очень хорошо понимал, что он тут лишь орудие Лопухова, и Вера Павловна догадалась об этом через день или через два, и догадалась бы в ту же самую минуту, как Рахметов раскрыл рот, если бы не была слишком взволнована: вот как на самом-то деле были вещи, неужели ты и этого не понимал? Конечно, Лопухов во второй записке говорит совершенно справедливо, что ни он Рахметову, ни Рахметов ему ни слова не сказал, каково будет содержание разговора Рахметова с Верою Павловною; да ведь Лопухов хорошо знал Рахметова, и что Рахметов думает о каком деле, и как Рахметов будет говорить в каком случае, ведь порядочные люди понимают друг друга и не объяснившись между собою; Лопухов мог бы вперед чуть не слово в слово написать все, что будет говорить Рахметов Вере Павловне, именно потому-то он и просил Рахметова быть посредником. Не посвятить ли тебя еще глубже в психологические тайны? Лопухов очень хорошо знал, что все, что думает теперь про себя он и думает про него Рахметов (и думает Мерцалов, и думает Мерцалова, и думает тот офицер, который боролся с ним на островах), стала бы через несколько времени думать про

него и Вера Павловна, хотя ей никто этого не скажет. Она сейчас же увидела бы это, как только прошла бы первая горячка благодарности; следовательно, рассчитывал Лопухов, в окончательном результате я ничего не проигрываю оттого, что посылаю к ней Рахметова, который будет ругать меня, ведь она и сама скоро дошла бы до такого же мнения; напротив, я выигрываю в ее уважении: ведь она скоро сообразит, что я предвидел содержание разговора Рахметова с нею и устроил этот разговор, и зачем устроил; вот она и подумает: «Какой он благородный человек, знал, что в те первые дни волнения признательность моя к нему подавляла бы меня своею экзальтированностью, и позаботился, чтобы в уме моем как можно поскорее явились мысли, которыми облегчилось бы это бремя; ведь хотя я и сердилась на Рахметова, что он бранит его, а ведь я тогда же поняла, что, в сущности, Рахметов говорит правду; сама я додумалась бы до этого через неделю, но тогда это было бы для меня уж не важно, я и без того была бы спокойна; а через то, что эти мысли были высказаны мне в первый же день, я избавилась от душевной тягости, которая иначе длилась бы целую неделю. В тот день эти мысли были для меня очень важны и полезны... да, он очень благородный человек». Вот какую штуку устроил Лопухов, а Рахметов был только его орудием. Видишь ли, государь мой, проницательный читатель, какие хитрецы благородные-то люди и как играет в них эгоизм-то: не так, как в тебе, государь мой, потому что удовольствие-то находят они не в том, в чем ты, государь мой; они, видишь ли, высшее свое наслаждение находят в том, чтобы люди, которых они уважают, думали о них как о благородных людях, и для этого, государь мой, они хлопочут и придумывают всякие штуки не менее усердно, чем ты для своих целей, только цели-то у вас различные, потому и штуки придумываются не одинаковые тобою и ими: ты придумываешь дрянные, вредные для других, а они придумывают честные, полезные для других.

— Однако как ты смеешь говорить мне грубости? — восклицает проницательный читатель, обращаясь ко мне,— я за это подам на тебя жалобу, расславлю тебя человеком неблагонамеренным!

— Пощадите, государь мой,— отвечаю я,— смею ли я говорить вам грубости, когда ваш характер я столько же уважаю, как и ваш ум. А я только осмеливаюсь просвещать вас по части художественности, которую вы так любите. Вы в этом отношении заблуждались, государь мой, полагая, будто Рахметов выведен собственно для произнесения приговора о Вере Павловне

и Лопухове. Не было такой надобности: в мыслях, которые он о них высказывает, нет ничего такого, чего бы я не мог сообщить тебе, государь мой, как мысли самого Лопухова о себе и как мысли, которые и без Рахметова имела бы через несколько времени Вера Павловна о себе и о Лопухове. Теперь, государь мой, вопрос тебе: зачем же я сообщаю тебе разговор Рахметова с Верою Павловною? Понимаешь ли ты теперь, что если я сообщаю тебе не мысли Лопухова и Веры Павловны, а разговор Рахметова с Верою Павловною, то нужно сообщить не те только мысли, которые составляли сущность разговора, но именно разговор? Зачем же нужно сообщать тебе именно этот разговор? Затем, что он разговор Рахметова с Верою Павловною; понимаешь ли хоть теперь? Все еще нет? Хорош же, однако, ты. Плох по части смысла-то, плох. Ну, вот тебе, раскушу: если разговаривают два человека, то из разговора бывает более или менее виден характер этих людей,— понимаешь, к чему идет дело? Характер Веры Павловны был ли тебе достаточно известен до этого разговора? Был, ты не узнал тут ничего нового о ней; ты уже знал, что она и вспыхивает, и шутит, и не прочь покушать с аппетитом и, пожалуй, выпить рюмочку хересу, значит, разговор нужен для характеристики не Веры Павловны, а кого же? ведь разговаривающих-то двое: она да Рахметов, для характеристики не ее, а ну-тко, угадай?

— Рахметова! — восклицает проницательный читатель.

— Ну, вот, молодец, угадал, за это люблю. Так видишь ли, совершенно наоборот против того, как представлялось было тебе прежде. Не Рахметов выведен для того, чтобы вести разговор, а разговор сообщен тебе для того, и единственно только для того, чтобы еще побольше познакомить тебя с Рахметовым. Из этого разговора ты увидел, что Рахметову хотелось бы выпить хересу, хоть он и не пьет, что Рахметов не безусловно «мрачное чудовище», что, напротив, когда он за каким-нибудь приятным делом забывает свои тоскливые думы, свою жгучую скорбь, то он и шутит, и весело болтает, да только, говорит, редко мне это удается, и горько, говорит, мне, что мне так редко это удается, я, говорит, и сам не рад, что я «мрачное чудовище», да уж обстоятельства-то такие, что человек с моею пламенною любовью к добру не может не быть «мрачным чудовищем», а как бы не это, говорит, так я бы, может быть, целый день шутил, да хохотал, да пел, да плясал.

Понял ли ты теперь, проницательный читатель, что хотя много страниц употреблено на прямое описание того, какой человек был Рахметов, но что, в сущности, еще гораздо больше

страниц посвящено все исключительно тому же, чтобы познакомить тебя все с тем же лицом, которое вовсе не действующее лицо в романе? Скажи же мне теперь, зачем выставлена и так подробно описана эта фигура? Помнишь, я сказал тебе тогда: «единственно для удовлетворения главному требованию художественности». Подумай-ка, какое оно и как удовлетворяется через постановление перед тобою фигуры Рахметова. Додумался ли? Да нет, куда тебе. Ну, слушай же. Или нет, не слушай, ты не поймешь, отстань, довольно я потешался над тобою. Я теперь говорю уж не с тобою, я говорю с публикою, и говорю серьезно.

Первое требование художественности состоит вот в чем: надобно изображать предметы так, чтобы читатель представлял себе их в истинном их виде. Например, если я хочу изобразить дом, то надобно мне достичь того, чтобы он представлялся читателю именно домом, а не лачужкою и не дворцом. Если я хочу изобразить обыкновенного человека, то надобно мне достичь того, чтобы он не представлялся читателю ни карликом и ни гигантом.

Я хотел изобразить обыкновенных порядочных людей нового поколения, людей, которых я встречаю целые сотни. Я взял троих таких людей: Веру Павловну, Лопухова, Кирсанова. Такими обыкновенными людьми я их считаю, сами они считают себя, считают их все знакомые, то есть такие же люди, как они. Где я говорил о них не в таком духе? Что я рассказывал о них не такого? Я изображал их с любовью и уважением, потому что каждый порядочный человек стоит любви и уважения. Но где я преклонялся перед ними? Где проглядывает у меня хоть малейшая тень мысли, что они уж бог знает как высоки и прекрасны, что я не могу представить себе ничего выше и лучше их, что они — идеалы людей? Как я о них думаю, так они и действуют у меня,— не больше, как обыкновенные порядочные люди нового поколения. Что они делают превыспреннего? не делают подлостей, не трусят, имеют обыкновенные честные убеждения, стараются действовать по ним, и только — экое какое геройство в самом деле! Да, мне хотелось показать людей, действующих, как все обыкновенные люди их типа, и надеюсь, мне удалось достичь этого. Те читатели, которые близко знают живых людей этого типа, надеюсь, постоянно видели с самого начала, что главные мои действующие лица — нисколько не идеалы, а люди вовсе не выше общего уровня людей своего типа, что каждый из людей их типа переживал не два, не три события, в которых действовал нисколько не хуже того, как они у меня. Положим,

что другие порядочные люди переживали не точно такие события, как рассказываемые мною; ведь в этом нет решительно никакой ни крайности, ни прелести, чтобы все жены и мужья расходились, ведь вовсе не каждая порядочная женщина чувствует страстную любовь к приятелю мужа, не каждый порядочный человек борется со страстью к замужней женщине, да еще целые три года, и тоже не всякий бывает принужден застрелиться на мосту или (по словам проницательного читателя) так, неизвестно куда, пропасть из гостиницы. Но каждый порядочный человек вовсе не счел бы геройством поступить на месте этих изображенных мною людей точно так же, как они, и совершенно готов к этому, если бы так случилось, и много раз поступал не хуже в случаях не менее или даже и более трудных и все-таки не считает себя удивительным человеком, а только думает о себе, что я, дескать, так себе, ничего, довольно честный человек. И добрые знакомые такого человека (всё такие же люди, как он: с другими не водится у него доброго знакомства) тоже так думают про него, что, дескать, он хороший человек, но на колена перед ним и не воображают становиться, а думают себе: и мы такие же, как он. Надеюсь, я успел достичь этого, что каждый порядочный человек нового поколения узнает обыкновенный тип своих добрых знакомых в моих трех действующих лицах.

Но эти люди, которые будут с самого начала рассказа думать про моих Веру Павловну, Кирсанова, Лопухова: «Ну да, это наши добрые знакомые, простые, обыкновенные люди, как мы»,— люди, которые будут так думать о моих главных действующих лицах, все-таки еще составляют меньшинство публики. Большинство ее еще слишком много ниже этого типа. Человек, который не видывал ничего, кроме лачужек, сочтет изображением дворца картинку, на которой нарисован так себе, обыкновенный дом. Как быть с таким человеком, чтобы дом показался ему именно домом, а не дворцом? Надобно на той же картинке нарисовать хоть маленький уголок дворца; он по этому уголку увидит, что дворец — это, должно быть, штука совсем уж не того масштаба, как строение, изображенное на картинке, и что это строение действительно должно быть не больше, как простой, обыкновенный дом, в каких, или даже получше, всем следовало бы жить. Не покажи я фигуру Рахметова, большинство читателей сбилось бы с толку насчет главных действующих лиц моего рассказа. Я держу пари, что до последних отделов этой главы Вера Павловна, Кирсанов, Лопухов казались большинству публики героями, лицами высшей натуры, пожалуй,

даже лицами идеализированными, пожалуй, даже лицами невозможными в действительности по слишком высокому благородству. Нет, друзья мои, злые, дурные, жалкие друзья мои, это не так вам представлялось: не они стоят слишком высоко, а вы стоите слишком низко. Вы видите теперь, что они стоят просто на земле: это оттого только казались они вам парящими на облаках, что вы сидите в преисподней трущобе. На той высоте, на которой они стоят, должны стоять, могут стоять все люди. Высшие натуры, за которыми не угнаться мне и вам, жалкие друзья мои, высшие натуры не таковы. Я вам показал легкий абрис профиля одной из них: не те черты вы видите. А тем людям, которых я изображаю вполне, вы можете быть ровными, если захотите поработать над своим развитием. Кто ниже их, тот низок. Поднимайтесь из вашей трущобы, друзья мои, поднимайтесь, это не так трудно, выходите на вольный белый свет, славно жить на нем, и путь легок и заманчив, попробуйте: развитие, развитие. Наблюдайте, думайте, читайте тех, которые говорят вам о чистом наслаждении жизнью, о том, что человеку можно быть добрым и счастливым. Читайте их — их книги радуют сердце, наблюдайте жизнь — наблюдать ее интересно, думайте — думать завлекательно. Только и всего. Жертв не требуется, лишений не спрашивается — их не нужно. Желайте быть счастливыми — только, только это желание нужно. Для этого вы будете с наслаждением заботиться о своем развитии: в нем счастье. О, сколько наслаждений развитому человеку! Даже то, что другой чувствует, как жертву, горе, он чувствует, как удовлетворение себе, как наслаждение, а для радостей так открыто его сердце, и как много их у него! Попробуйте: хорошо!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВТОРОЕ ЗАМУЖЕСТВО

I

Берлин, 20 июля 1856.

«Милостивейшая государыня,
Вера Павловна.

Близость моя к погибшему Дмитрию Сергеичу Лопухову дает мне надежду, что вы благосклонно примете в число ваших знакомых человека, совершенно вам неизвестного, но глу-

боко уважающего вас. И во всяком случае смею думать, что вы не обвините меня в навязчивости: вступая в корреспонденцию с вами, я только исполняю желание погибшего Дмитрия Сергеича; и те сведения, которые я сообщаю о нем, вы можете считать совершенно достоверными, потому что я буду передавать его мысли его собственными словами, как бы говорил он сам. Вот его слова о деле, объяснение которого составляет цель моего письма:

«Мысли, которые произвели развязку, встревожившую людей, мне близких (я передаю подлинные слова Дмитрия Сергеича, как уже сказал), созревали во мне постепенно, и мое намерение менялось несколько раз, прежде чем получило свою окончательную форму. Обстоятельство, которое было причиною этих мыслей, было замечено мною совершенно неожиданно, только в ту минуту, когда она (Дмитрий Сергеич разумеет вас) с испугом сказала мне о сне, ужаснувшем ее. Сон показался мне очень важен; и, как человек, смотревший на состояние чувств ее со стороны, я в тот же миг понял, что в ее жизни начинается эпизод, который, на время более или менее продолжительное, изменит прежние наши отношения с нею. Но человек до последней крайности старается сохранить положение, с которым сжился; в основной глубине нашей природы лежит консервативный элемент, от которого мы отступаем только по необходимости. В этом, по моему мнению, заключается объяснение первого моего предположения: мне хотелось думать, и думалось, что этот эпизод через несколько времени минуется, и тогда наши прежние отношения восстановятся. Она хотела избежать самого эпизода через теснейшее сближение со мною. Это увлекло меня, и несколько дней я не считал невозможным исполнение ее надежды. Скоро я убедился, однако же, что надеяться этого — вещь напрасная. Причина тому заключалась в моем характере.

Я вовсе не хочу порицать своего характера, говоря это. Я понимаю его так.

У человека, проводящего жизнь как должно, время разделяется на три части: труд, наслаждение и отдых или развлечение. Наслаждение точно так же требует отдыха, как и труд. В труде и в наслаждении общий человеческий элемент берет верх над личными особенностями: в труде мы действуем под преобладающим определением внешних рациональных надобностей; в наслаждении — под преобладающим определением других, также общих потребностей человеческой природы. Отдых, развлечение — элемент, в котором личность ищет восста-

новления сил от этого возбуждения, истощающего запас жизненных материалов, элемент, вводимый в жизнь уже самою личностью; тут личность хочет определяться собственными своими особенностями, своими индивидуальными удобствами. В труде и в наслаждении люди влекутся к людям общею могущественною силою, которая выше их личных особенностей,— расчетом выгоды в труде; в наслаждении — одинаковыми потребностями организма. В отдыхе не то. Это не дело общей силы, сглаживающей личные особенности: отдых наиболее личное дело, тут натура просит себе наиболее простора, тут человек наиболее индивидуализируется, и характер человека всего больше выказывается в том, какого рода отдых легче и приятнее для него.

В этом отношении люди распадаются на два главные отдела. Для людей одного отдела отдых или развлечение приятнее в обществе других. Уединение нужно каждому. Но для них нужно, чтобы оно было исключением; а правило для них — жизнь с другими. Этот класс гораздо многочисленнее другого, которому нужно наоборот: в уединении им просторнее, чем в обществе других. Эта разница замечена и общим мнением, которое обозначает ее словами: человек общительный и человек замкнутый. Я принадлежу к людям необщительным, она — к общительным. Вот и вся тайна нашей истории. Кажется, ясно, что в этой причине нет ничего предосудительного ни для кого из нас. Нисколько не предосудительно и то, что ни у одного из нас недостало силы отвратить эту причину; против своей натуры человек бессилен.

Каждому довольно трудно понять особенности других натур; *всякий представляет себе всех людей по характеру* своей индивидуальности. Чего не нужно мне, то, по-моему, не нужно и для других,— так влечет нас думать наша индивидуальность; надобны слишком яркие признаки, чтобы я вспомнил о противном. И наоборот: в чем для меня облегчение и простор, в том и для других. Натуральность этого расположения мыслей — мое извинение в том, что я слишком поздно заметил разницу между натурою моею и ее. Ошибке много помогло и то, что, когда мы сошлись жить вместе, она слишком высоко ставила меня: между нами еще не было тогда равенства; с ее стороны было слишком много уважения ко мне; мой образ жизни казался ей образцовым, она принимала за общую человеческую черту то, что было моею личною особенностью, и на время она увлеклась ею. Была и другая причина, еще более сильная.

Между неразвитыми людьми мало уважается неприкосновенность внутренней жизни. Каждый из семейства, особенно из старших, без церемонии сует лапу в вашу интимную жизнь. Дело не в том, что этим нарушаются наши тайны: тайны — более или менее крупные драгоценности, их не забываешь прятать, стеречь; да и не у всякого есть они, многим и ровно нечего прятать от близких. Но каждому хочется, чтобы в его внутренней жизни был уголок, куда никто не залезал бы, как всякому хочется иметь свою особую комнату, для себя одного. Люди неразвитые не смотрят ни на то, ни на другое: если у вас и есть особая комната, в нее лезет каждый, не из желания подсмотреть или быть навязчивым, нет, просто потому, что не имеет предположения, что это может беспокоить вас; он думает, что лишь в том случае, когда бы он был вообще противен вам, вы могли бы не желать увидеть его вдруг ни с того ни с сего явившимся у вас под носом; он не понимает, что может надоедать, может мешать человеку, хотя бы и расположенному к нему. Святыня порога, через который никто не имеет права переступить без воли живущего за ним, у нас признается только в одной комнате, комнате главы семейства, потому что глава семейства может выгнать в шею всякого, выросшего у него под носом без его спроса. У всех остальных вырастает под носом, когда вздумает, всякий, кто старше их или равен им по семейному положению. То же, что с комнатою, и с миром внутренней жизни. В него без всякой надобности, даже без всякой мысли залезает всякий за всяким вздором, и чаще всего не более как за тем, чтобы почесать язык о вашу душу. У девушки есть два будничные платья, белое и розовое; она надела розовое, вот уж и можно чесать язык о ее душу. «Ты надела розовое платье, Анюта, зачем ты его надела?» Анюта сама не знает, почему она надела его,— ведь нужно же было надеть какое-нибудь; да притом, если б она надела белое, то вышло бы то же самое. «Так, маменька (или «сестрица»)».— «А ты бы лучше надела белое». Почему лучше, этого не знает сама та, которая беседует с Анютою: она просто чешет язык. «Что ты ныне, Анюта, как будто невесела?» Анюта совершенно ни невесела, ни весела; но почему ж не спросить, отчего то, чего и не видно и нет. «Я не знаю; нет, кажется, я ничего».— «Нет, ты что-то невесела». Через две минуты: «А ты бы, Анюта, села, поиграла на фортепьяно»,— зачем — неизвестно; и так далее, целый день. Ваша душа будто улица, на которую поглядывает каждый, кто сидит подле окна, не затем, чтобы ему

нужно было увидеть там что-нибудь, нет, он даже знает, что и не увидит ничего ни нужного, ни любопытного, а так, от нечего делать: ведь все равно, следовательно, почему же не поглядывать? Улице, точно, все равно; но человеку вовсе нет удовольствия от того, что пристают к нему.

Натурально, что это приставанье, без всякой цели и мысли, может вызывать реакцию; и как только человек станет в такое положение, что может уединяться, он некоторое время находит удовольствие в уединении, хотя бы по натуре был расположен к общительности, а не к уединению.

Она, с этой стороны, находилась до замужества в исключительно резком положении: к ней приставали, к ней лезли в душу не просто от нечего делать, случайно и только по неделикатности, а систематически, неотступно, ежеминутно, слишком грубо, слишком нагло, лезли злобно и злонамеренно, лезли не просто бесцеремонными руками, а руками очень жесткими и чрезвычайно грязными. Оттого и реакция в ней была очень сильна.

Поэтому не должно строго осуждать мою ошибку. Несколько месяцев, может быть, год, я и не ошибался: ей действительно нужно и приятно было уединение. А в это время у меня успело составиться мнение о ее характере. Сильная временная потребность ее сходилась с моею постоянною потребностью, что ж удивительного, что я принял временное явление за постоянную черту ее характера? Каждый так расположен судить о других по себе!

Ошибка была, и очень большая. Я не виню себя в ней, но мне все хочется оправдаться; это значит: мне чувствуется, что другие не будут так снисходительны ко мне, как я сам. Чтобы смягчить порицание, я должен несколько поболее сказать о своем характере с этой стороны, которая ей и большей части других людей довольно чужда и потому без объяснений могла бы пониматься в неверном виде.

Я не понимаю отдыха иначе, как в уединении. Быть с другими для меня значит уже чем-нибудь заниматься, или работать, или наслаждаться. Я чувствую себя совершенно на просторе только тогда, когда я один. Как это назвать? Отчего это? У одних от скрытности; у других от застенчивости; у третьих от расположения хандрить, задумываться; у четвертых от недостатка симпатии к людям. Во мне, кажется, нет ничего этого: я прямодушен и откровенен, я готов быть всегда весел и вовсе не хандрю. Смотреть на людей для меня приятно; но это для меня уж соединено с работою или наслаждением, это уж

нечто требующее после себя отдыха, то есть, по-моему, уединения. Сколько я могу понять, во мне это просто особенное развитие влечения к независимости, свободе.

И вот сила реакции против прежнего, слишком тревожного положения в семействе заставила ее на время принять образ жизни, несообразный с ее постоянною наклонностью; уважение ко мне поддерживало ее в этом временном расположении дольше, чем было бы само собой; а я в это долгое время составил себе мнение о ее характере, принял временную черту за постоянную и успокоился на том, вот и вся история. С моей стороны была ошибка, но и в этой ошибке было мало дурного; а уж с ее стороны не было совершенно ничего. А сколько страдания вышло из этого для нее и какою катастрофою кончилось это для меня!

Когда ее испуг от страшного сна открыл мне положение ее чувств, поправлять мою ошибку было поздно. Но если бы мы заметили это раньше, то, может быть, постоянными усилиями над собою мне и ей удалось бы сделать так, чтобы мы могли навсегда остаться довольны друг другом? Не знаю; но думаю, что и в случае успеха не вышло бы тут ничего особенно хорошего. Положим, мы переделали бы свои характеры настолько, чтобы не осталось нам причины тяготиться нашими отношениями. Но переделки характеров хороши только тогда, когда направлены против какой-нибудь дурной стороны; а те стороны, которые пришлось бы переделывать в себе ей и мне, не имели ничего дурного. Чем общительность хуже или лучше наклонности к уединению, или наоборот? А ведь переделка характера во всяком случае насилованье, ломка; а в ломке многое теряется, от насилования многое замирает. Результат, которого я и она, может быть (но только может быть, а не наверное), достигли бы, не стоил такой потери. Мы оба отчасти обесцветили бы себя, более или менее заморили бы в себе свежесть жизни. Для чего же? Для того только, чтобы сохранить известные места в известных комнатах. Дело другое, если б у нас были дети; тогда надобно было бы много подумать о том, как изменяется их судьба от нашей разлуки: если к худшему, то предотвращение этого стоит самых великих усилий, и результат — радость, что сделал нужное для сохранения наилучшей судьбы тем, кого любишь,— такой результат вознаградил бы за всякие усилия. А теперь какую разумную цель имело бы это?

Потому, при данном положении, моя ошибка, по-видимому, повела даже к лучшему: благодаря ей нам обоим пришлось

меньше ломать себя. Она принесла много горя, но без нее, наверное, было бы его больше, да и результат не был бы так удовлетворителен».

Таковы слова Дмитрия Сергеича. Из настойчивости, с которою он так много занимался этою стороною дела, вы легко можете видеть, что он, как и сам говорил, чувствовал в ней что-то неловкое, невыгодное для себя. Он прямо прибавлял: «Я чувствую, что все-таки останусь не совсем прав во мнении тех, кто стал бы разбирать это дело без сочувствия ко мне. Но я уверен в ее сочувствии. Она будет судить обо мне даже лучше, чем я сам. А сам я считаю себя совершенно правым. Таково мое мнение о времени, которое было до ее сна». Теперь я передам вам чувства и намерения, бывшие в нем после того, как ваш сон раскрыл ему неудовлетворительность отношений между вами и им.

«Я сказал (слова Дмитрия Сергеича), что с первых же ее слов о страшном сне я понял неизбежность какого-нибудь эпизода, различного от прежних наших отношений. Я ждал, что он будет иметь значительную силу, потому что иначе было невозможно при энергии ее натуры и при тогдашнем состоянии ее недовольства, которое уж имело очень большую силу от слишком долгой затаенности. Но все-таки ожидание представлялось мне сначала в самой легкой и выгодной для меня форме. Я рассуждал так: она увлечется на время страстною любовью к кому-нибудь; пройдет год-два, и она возвратится ко мне; я очень хороший человек. Шансы сойтись с другим таким человеком очень редки (я прямо говорю о себе, как думаю: у меня нет лицемерной уловки уменьшать свое достоинство). Удовлетворенное чувство любви утратит часть своей стремительности; она увидит, что хотя одна сторона ее натуры и менее удовлетворяется жизнью со мною, но что в общей сложности жизни ей легче, просторнее жизнь со мною, чем с другим; и все восстановится по-прежнему. Я, наученный опытом, буду внимательнее к ней; она приобретет новое уважение ко мне, будет иметь еще больше привязанности ко мне, чем прежде, и мы будем жить дружнее прежнего.

Но (это вещь, объяснение которой очень щекотливо для меня; однако же оно должно быть сделано), но как представлялась мне перспектива того, что наши отношения с нею восстановятся? Радовало ли это меня? Конечно. Но только ли радовало? Нет, это представлялось мне и обременением, конечно, приятным, очень приятным, но все-таки обременением. Я очень сильно люблю ее и буду ломать себя, чтобы лучше при-

способиться к ней; это будет доставлять мне удовольствие, но все-таки моя жизнь будет стеснена. Так представлялось мне, когда я успокоился от первого впечатления. И я увидел, что не обманывался. Она дала мне испытать это, когда хотела, чтобы я постарался сохранить ее любовь. Месяц угождения этому желанию был самым тяжелым месяцем моей жизни. Тут не было никакого страдания, это выражение нисколько не шло бы к делу, было бы тут нелепо; со стороны положительных ощущений я не испытывал ничего, кроме радости, угождая ей; но мне было скучно. Вот тайна того, что ее попытка удержаться в любви ко мне осталась неудачна. Я скучал, угождая ей.

На первый взгляд может казаться странно, почему же я не скучал, отдавая бесчисленные вечера студентам, для которых, разумеется, не стал бы много беспокоить себя, и почему почувствовал очень сильное утомление, когда отдал всего лишь несколько вечеров женщине, которую любил больше, чем себя, на смерть для которой, и не только на смерть, на всякое мучение для которой я был готов? Это может казаться странно, но только для того, кто не вникнет в сущность моих отношений к молодежи, которой я отдавал столько времени. Во-первых, у меня не было никаких личных отношений с этими молодыми людьми; когда я сидел с ними, я не чувствовал перед собой людей, а видел лишь несколько отвлеченных типов, которые обмениваются мыслями; разговоры мои с ними мало отличались от раздумья наедине; тут была занята во мне лишь одна сторона человека, та, которая всех менее требует отдыха,— мысль. Все остальное спало. И притом разговор имел практическую, полезную цель — содействие развитию умственной жизни, благородства и энергии в моих молодых друзьях. Это был труд; но труд такой легкий, что годился на восстановление сил, израсходованных другими трудами, не утомляющий, а освежающий, но все-таки труд; поэтому личность не имела тут требований, которые ставила для отдыха. Тут я искал пользы, а не успокоения; тут я давал сон всем сторонам моего существа, кроме мысли; а мысль действовала без всякой примеси личных отношений к людям, с которыми я говорил, поэтому чувствовала себе такой же простор, как наедине; эти разговоры, можно сказать, и не выводили меня из уединения. Тут не было ничего сходного с отношениями, в которых участвует весь человек.

Я знаю, как щекотливо выговорить это слово «скука»; но добросовестность не позволяет мне утаить его. Да, при всей

моей любви к ней я почувствовал облегчение себе, когда потом убедился, что между нею и мною не могут установиться отношения, при которых нам было бы удобно жить по-прежнему. Я начал убеждаться в этом около того же времени, когда она стала замечать, что угождение ее желанию обременительно для меня. Тогда будущее представилось мне в новой форме, которая была приятнее для меня; увидев, что нам невозможно удержаться в прежних отношениях, я стал думать, как бы поскорее,— опять я должен употребить щекотливое выражение,— думать, как бы поскорее отделаться, отвязаться от положения, которое было мне скучно. Вот тайна того, что должно было казаться великодушием человеку, который захотел бы ослепляться признательностью к внешности дела или не был бы так близок, чтобы рассмотреть самую глубину побуждений. Да, мне просто хотелось отделаться от скучного положения. Не лицемерствуя отрицанием хорошего в себе, я не стану отрицать того, что одним из моих мотивов было желание добра ей. Но это был уже только второй мотив,— положим, очень сильный, но все-таки далеко уступавший силою первому, главному,— желанию избавиться от скуки: настоящим двигателем было оно. Под влиянием его я стал внимательно рассматривать образ ее жизни и легко увидел, что в перемене ощущений от перемены образа жизни главную роль играет появление и удаление Александра Матвеича. Это заставило меня думать и о нем: я понял причину его странных действий, на которые прежде не обращал внимания, и после того мои мысли получили новый вид,— как я уже говорил, более приятный для меня. Когда я увидел, что в ней уж не только одно искание страстной любви, а уже и сама любовь, только еще не сознаваемая ею, что это чувство обратилось на человека вполне достойного и вообще могущего вполне заменить меня ей, что этот человек сам страстно любит ее,— я чрезвычайно обрадовался. Правда, впрочем, что первое впечатление было тяжело: всякая важная перемена соединена с некоторою скорбью. Я видел теперь, что не могу, по совести, считать себя лицом, необходимым для нее; а ведь я уже привык к этому, и, надобно сказать правду, это было мне приятно; следовательно, потеря этого отношения необходимо должна была иметь тяжелую сторону. Но она только на первое время, очень недолго, преобладала над другою стороною, которая радовала меня. Теперь я был уверен в ее счастье и спокоен за ее судьбу. Это было источником большой радости. Но напрасно было бы думать, что в этом заключалась главная приятность; нет, личное чувство опять

было гораздо важнее: я видел, что становлюсь совершенно свободным от принуждения. Мои слова не имеют того смысла, будто для меня бессемейная жизнь кажется свободнее или легче семейной: нет, если мужу и жене нисколько не нужно стеснять себя для угождения друг другу, если они довольны друг другом без всяких усилий над собою, если они угождают друг другу, вовсе не думая угождать, то для них чем теснее отношения между ними, тем легче и просторнее им обоим. Но отношение между нею и мною не было таково. Потому разойтись значило для меня стать свободным.

Из этого видно, что я действовал в собственном интересе, когда решился не мешать ее счастью; благородная сторона была в моем деле, но движущею силою ему служило влечение собственной моей натуры к лучшему для меня самого. Вот поэтому-то я имел силу действовать, могу сказать,— хорошо: не пошатываться туда и сюда, не делать лишней суеты и неприятности другим, не изменять своей обязанности. Это легко, когда обязанность — влечение собственной натуры.

Я уехал в Рязань. Через несколько времени она вызвала меня, говоря, что мое присутствие уже не будет мешать ей. Я увидел, что оно все-таки мешает. Сколько я могу понять, тут были две причины. Ей было тяжело видеть человека, которому она была слишком много обязана, по ее мнению. Она ошибалась в этом, она не была нисколько обязана мне, потому что я действовал гораздо больше для себя, нежели для нее. Но ей представлялось иначе, и она чувствовала чрезвычайно сильную признательность ко мне. Это чувство тяжелое. В нем есть приятная сторона, но она имеет верх только тогда, когда чувство не слишком сильно. Когда оно сильно, оно действительно. Другая причина — это опять несколько щекотливое объяснение, но надобно говорить то, что думаешь,— другую причину я нахожу в том, что ей была неприятна ненормальность ее положения в смысле общественных условий; ей было тяжело то, что недоставало со стороны общества формального признания ее права занимать это положение. Итак, я увидел, что ей было тяжело мое существование подле нее. Я не скрою, что в этом новом открытии была сторона, несравненно более тяжелая для меня, чем все чувства, которые испытывал я в прежних периодах дела. Я сохранял к ней очень сильное расположение: мне хотелось оставаться человеком, очень близким к ней. Я надеялся, что это так будет. И когда я увидел, что этого не должно быть, мне было очень, очень прискорбно. И тут уж не было

вознаграждения прискорбию ни в каких личных расчетах; я могу сказать, что тут мое решение мое последнее решение, было принято единственно по привязанности к ней, только из желания, чтобы ей было лучше, исключительно по побуждениям не своекорыстным. Зато никогда мои отношения к ней, и в самое лучшее свое время, не доставляли мне такого внутреннего наслаждения, как эта решимость. Тут я поступал уже под влиянием того, что могу назвать благородством, вернее сказать, благородным расчетом, расчетом, в котором общий закон человеческой природы действует чисто один, не заимствуя себе подкрепления из индивидуальных особенностей; и тут я узнал, какое высокое наслаждение — чувствовать себя поступающим, как благородный человек, то есть так, как следует поступать вообще всякому человеку, не Ивану, не Петру, а всякому без различия имен: какое высокое наслаждение чувствовать себя просто человеком,— не Иваном, не Петром, а человеком, чисто только человеком. Это чувство слишком сильно; обыкновенные натуры, какова моя, не могут выносить слишком частого возвышения до этого чувства; но хорошо тому, кому случалось иногда испытывать его.

Нет надобности объяснять ту сторону моего образа действий, которая была бы величайшим безрассудством в делах с другими людьми, но слишком очевидно оправдывается характером лица, которому уступал я. В то время как я уезжал в Рязань, не было ни слова сказано между ею и Александром Матвеичем; в то время как я принимал свое последнее решение, не было ни слова сказано ни между мною и им, ни между мною и ею. Но я хорошо знал его; мне не было надобности узнавать его мысли для того, чтобы узнать их».

Я передаю слова Дмитрия Сергеича с буквальною точностью, как уже сказал.

Я человек совершенно чужой вам; но корреспонденция, в которую я вступаю с вами, исполняя желание погибшего Дмитрия Сергеича, имеет такой интимный характер, что, вероятно, интересно будет вам узнать, кто этот чуждый вам корреспондент, совершенно посвященный во внутреннюю жизнь погибшего Дмитрия Сергеича. Я отставной медицинский студент,— больше ничего не умею сказать вам о себе. В последние годы я жил в Петербурге. Несколько дней тому назад я вздумал пуститься путешествовать и искать себе новой карьеры за границею. Я уехал из Петербурга на другой день после того, как вы узнали о погибели Дмитрия Сергеича. По особенному случаю я не имел в руках документов, и мне пришлось

взять чужие бумаги, которыми обязательно снабдил меня один из общих знакомых ваших и моих. Он дал мне их с тем условием, чтоб я исполнил некоторые его поручения по дороге. Когда вам случится видеть г. Рахметова, потрудитесь сказать, что все порученное исполнено мною, как должно. Теперь я буду пока бродить, вероятно, по Германии, наблюдая нравы. У меня есть несколько сотен рублей, и мне хочется погулять. Когда праздность надоест, я буду искать себе дела, какого, все равно,— где? — где случится. Я волен, как птица, и могу быть беззаботен, как птица. Такое положение восхищает меня.

Очень возможно, что вам угодно будет удостоить меня ответом. Но я не знаю, где я буду через неделю,— быть может, в Италии, быть может, в Англии, быть может, в Праге,— я могу теперь жить по своей фантазии, а куда она унесет меня, не знаю. Поэтому делайте на ваших письмах только следующий адрес: Berlin, Friedrichstrasse, 20, Agentur von H. Schweigler, под этим конвертом будет ваше письмо в другом конверте, на котором вместо всякого адреса вы поставите только цифры 12345: они будут означать для конторы агентства Швейглера, что письмо должно быть отправлено ко мне.

Примите, милостивейшая государыня, уверение в глубоком уважении от человека, совершенно чуждого вам, но безгранично преданного вам, который будет называть себя:

Отставным медицинским студентом».

«Милостивейший государь, Александр Матвеич. По желанию погибшего Дмитрия Сергеича, я должен передать вам уверение в том, что наилучшим для него обстоятельством казалось именно то, что свое место он должен был уступить вам. При тех отношениях, которые привели к этой перемене, отношениях, постепенно образовавшихся в течение трех лет, когда вы почти вовсе не бывали его гостем, следовательно, возникших без всякого вашего участия, единственно из несоответствия характеров между двумя людьми, которых вы потом напрасно старались сблизить,— при этих отношениях была неизбежна та развязка, какая произошла. Очевидно, что Дмитрий Сергеич нисколько не мог приписывать ее вам. Конечно, это объяснение излишне; однако же, более только для формы, он поручил мне сделать его. Так или иначе, тот или другой должен был занять место, которого не мог занимать он, на котором только потому и мог явиться другой, что Дмитрий Сергеич не мог

занимать его. То, что на этом месте явились именно вы, составляет, по мнению погибшего Дмитрия Сергеича, наилучшую для всех развязку. Жму вашу руку.

Отставной медицинский студент».

— А я знаю...

Что это? — знакомый голос... Оглядываюсь,— так и есть! он, он, проницательный читатель, так недавно изгнанный с позором за незнание ни аза в глаза по части художественности; он уж опять тут, и опять с своею прежнею проницательностью, он уж опять что-то знает!

— А! я знаю, кто это писал...

Но я торопливо хватаю первое, удобное для моей цели, что попалось мне под руку,— попалась салфетка, потому что переписав письмо отставного студента, сел завтракать,— итак, я схватываю салфетку и затыкаю ему рот: «Ну, знаешь, так и знай; что ж орать на весь город?»

II

Петербург, 25 августа 1856 г.

«Милостивый государь.

Вы поймете, до какой степени я была обрадована вашим письмом. От всей души благодарю вас за него. Ваша близость к погибшему Дмитрию Сергеичу дает мне право считать и вас моим другом,— позвольте мне употреблять это название. Характер Дмитрия Сергеича виден в каждом из его слов, передаваемых вами. Он постоянно отыскивает самые затаенные причины своих действий, и ему приносит удовольствие подводить их под его теорию эгоизма. Впрочем, это общая привычка всей нашей компании. Мой Александр также охотник разбирать себя в этом духе. Если бы вы послушали, как он объясняет свой образ действий относительно меня и Дмитрия Сергеича в течение трех лет! По его словам, он все делал из эгоистического расчета, для собственного удовольствия. И я уж давно приобрела эту привычку. Только это несколько меньше занимает меня и Александра, чем Дмитрия Сергеича, мы с ним совершенно сходимся, но у него больше влечения к этому. Да если послушать нас, мы все трое такие эгоисты, каких до сих пор свет не производил. А может быть, это и правда? может быть, прежде не было таких эгоистов? Да, кажется.

Но кроме этой черты, общей всем нам троим, в словах Дмитрия Сергеича есть другая, которая принадлежит уж собственно его положению: очевидна цель его объяснений — успокоить меня. Не то чтобы его слова не были вполне искренни,— нет, он никогда не скажет того, чего не думает,— но он слишком сильно выставляет только ту сторону правды, которая может меня успокоивать. Мой друг, я очень признательна за это, но ведь и я эгоистка — я скажу, напрасно он только заботится о моем успокоении; мы сами оправдываем себя гораздо легче, чем оправдывают нас другие; и я, если сказать правду, не считаю себя ни в чем виноватою перед ним; скажу больше: я даже не считаю себя обязанною чувствовать признательность к нему. Я ценю его благородство, о, как ценю! но ведь я знаю, что он был благороден не для меня, а для себя. Ведь и я если не обманывала его, то не обманывала не для него, а для себя, не потому, что обманывать было бы несправедливостью к нему, а потому, что это было бы противно мне самой.

Я сказала, что не виню себя,— так же как и он. Но, так же как и он, я чувствую наклонность оправдываться; по его словам (очень верным), это значит: я имею предчувствие, что другие не так легко, как я сама, могут избавить меня от порицания за некоторые стороны моих действий. Я вовсе не чувствую охоты оправдываться в той части дела, в которой оправдывается он, и, наоборот, мне хочется оправдываться в той части, в которой не нужно оправдываться ему. В том, что было до моего сна, никто не назовет меня сколько-нибудь виноватою, это я знаю. Но потом не я ли была причиною, что дело имело такой мелодраматический вид и привело к такой эффектной катастрофе? Не должна ли я была гораздо проще смотреть на ту перемену отношений, которая была уж неизбежна, когда мой сон в первый раз открыл мне и Дмитрию Сергеичу мое и его положение? Вечером того дня, как погиб Дмитрий Сергеич, я имела длинный разговор с свирепым Рахметовым — какой это нежный и добрый человек! он говорил мне бог знает какие ужасные вещи про Дмитрия Сергеича. Но если пересказать их дружеским тоном к Дмитрию Сергеичу вместо жесткого, будто враждебного ему тона, которым говорил Рахметов,— что ж, пожалуй, они справедливы. Я подозреваю, что Дмитрию Сергеичу было очень понятно, какие вещи будет говорить мне Рахметов, и что это входило в его расчет. Да, для меня тогда нужно было слышать это, это меня много успокоило, и кто бы ни устроил этот разговор, я очень благодарна за него вам, мой

друг. Но и сам свирепый Рахметов должен был признать, что в последней половине дела Дмитрий Сергеич поступал отлично. Рахметов винил его только за первую половину, в которой он имеет охоту оправдываться. Я буду оправдываться во второй половине, хотя никто не говорил мне, что я в ней виновата. Но у каждого из нас,— я говорю про нас и наших друзей, про весь наш кружок,— есть порицатель более строгий, чем сам Рахметов; это наш собственный ум.

Да, я понимаю, мой друг, что было бы гораздо легче для всех, если бы я смотрела на дело проще и не придавала ему слишком трагического значения. По взгляду Дмитрия Сергеича, должно сказать больше: тогда ему вовсе не было бы надобности прибегать к эффектной и очень тяжелой для него развязке, он был доведен до нее только излишнею пылкостью моей тревоги. Я понимаю, что ему должно так казаться, хоть он и не поручал вам передавать мне это. Тем больше я ценю его расположение ко мне, что оно не ослабело даже и от такого мнения. Но послушайте, мой друг, оно не совсем справедливо, оно вовсе несправедливо: не от моей ошибки, не от излишней моей тревоги произошла для Дмитрия Сергеича необходимость испытать то, что он сам называет очень тяжелым. Правда, если бы я не придавала чрезмерной важности перемене отношений, можно было бы обойтись без поездки в Рязань; но он говорит, что она не была тяжела для него; итак, тут еще не было большой беды от моего экзальтированного взгляда. Тяжела была для Дмитрия Сергеича только необходимость погибнуть. Он объясняет неизбежность этого своего решения двумя причинами: я страдала от чрезмерной признательности к нему, я страдала оттого, что не могла стать в такие отношения к Александру, какие требуются общественными условиями. Действительно, я не была совершенно спокойна, я тяготилась своим положением, пока он не погиб, но он не отгадывает настоящей причины. Он думает, что вид его тяготил меня чрезмерным бременем признательности,— это не совсем так. Человек очень расположен отыскивать мысли, которыми может облегчить себя; и в то время, когда Дмитрий Сергеич видел надобность погибели, эта причина уже давно не существовала: моя признательность к нему давно получила ту умеренность, при которой она составляет приятное чувство. А ведь только эта причина и имела связь с моим прежним экзальтированным взглядом на дело. Другая причина, которую приводит Дмитрий Сергеич,— желание придать моим отношениям к Александру характер, признаваемый обществом,— ведь она уже нисколько не зависела от

моего взгляда на дело, она проистекала из понятий общества. Над нею я была бы бессильна. Но Дмитрий Сергеич совершенно ошибается, думая, что его присутствие было тяжело для меня по этой причине. Нет. И без его погибели было бы легко устранить ее, если б это было нужно и если б этого было достаточно для меня. Если муж живет вместе с женою, этого довольно, чтобы общество не делало скандала жене, в каких бы отношениях ни была она к другому. Это уж большой успех. Мы видим много примеров тому, что благодаря благородству мужа дело устраивается таким образом; и во всех этих случаях общество оставляет жену в покое. Теперь я нахожу, что это самый лучший и легкий для всех способ устраивать дела, подобные нашему. Дмитрий Сергеич прежде предлагал мне этот способ. Я тогда отвергла его по своей экзальтированности. Не знаю, как было бы, если б я тогда приняла его. Если б я могла быть довольна тем, что общество оставило бы меня в покое, не делало бы мне скандала, не хотело бы видеть моих отношений к Александру,— тогда, конечно, способ, который предлагал мне Дмитрий Сергеич, был бы достаточен, и ему не нужно было бы решаться на погибель. Тогда, конечно, у меня не было бы никакой причины желать, чтобы мои отношения к Александру были определены формальным образом. Но мне кажется, что это устройство дела, удовлетворительное в большей части случаев, подобных нашему, не было бы удовлетворительно в нашем. Наше положение имело ту редкую случайность, что все три лица, которых оно касалось, были равносильны. Если бы Дмитрий Сергеич чувствовал превосходство Александра над собою по уму, развитию или характеру, если бы, уступая свое место Александру, он уступал бы превосходству нравственной силы, если бы его отказ не был доброволен, был бы только отступлением слабого перед сильным, о, тогда, конечно, мне нечем было бы тяготиться. Точно то же, если бы я по уму или характеру была гораздо сильнее Дмитрия Сергеича, если б он до развития моих отношений к Александру был тем, что очень хорошо характеризует анекдот, над которым, помнишь, мой друг, мы много смеялись,— анекдот, как встретились в фойе оперы два господина, разговорились, понравились друг другу, захотели познакомиться: «Я поручик такой-то»,— сказал один рекомендуясь. «А я муж г-жи Тедеско»,— отрекомендовался другой. Если бы Дмитрий Сергеич был «муж г-жи Тедеско», о, тогда, конечно, не было бы никакой надобности в его погибели, он покорялся бы, смирялся бы, и если бы был человек благородный, он не видел бы в своем смирении ничего обидного для

себя, и все было бы прекрасно. Но его отношение ко мне и к Александру было вовсе не таково. Он не был ни на волос слабее или ниже кого-нибудь из нас,— и мы это знали, и он это знал. Его уступка не была следствием бессилия — о, вовсе нет! Она была чисто делом его доброй воли. Так ли, мой друг? Вы не можете отрицать этого. Поэтому в каком же положении видела я себя? Вот в этом, мой друг, вся сущность дела. Я видела себя в положении зависимости от его доброй воли, вот почему мое положение было тяжело мне, вот почему он увидел надобность в своем благородном решении — погибнуть. Да, мой друг, причина моего чувства, принудившего его к этому, скрывалась гораздо глубже, нежели объясняет он в вашем письме. Обременительный размер признательности уже не существовал. Удовлетворить претензиям общества было бы легко тем способом, какой предлагал мне сам Дмитрий Сергеич; да претензии общества и не доходили до меня, живущей в своем маленьком кругу, который совершенно не имеет их. Но я оставалась в зависимости от Дмитрия Сергеича, мое положение имело своим основанием только его добрую волю, оно не было самостоятельно — вот причина того, что оно было тяжело. Судите же теперь, могла ли эта причина быть предотвращена тем или другим взглядом моим на перемену наших отношений. Тут важность была не в моем взгляде, а в том, что Дмитрий Сергеич человек самобытный, поступавший так или иначе только по своей доброй воле, по доброй воле! Да, мой друг, вы знаете и одобряете это мое чувство, я не хочу зависеть от доброй воли чьей бы то ни было, хотя бы самого преданного мне человека, хотя бы самого уважаемого мною человека, в котором я не менее уверена, чем в самой себе, о котором я положительно знаю, что он всегда с радостью будет делать все, что мне нужно, что он дорожит моим счастьем не меньше, нежели я сама. Да, мой друг, не хочу и знаю, что вы одобряете это.

И однако же к чему все это говорится, к чему этот анализ, раскрывающий самые тайные мотивы чувств, которых никто не мог бы доискаться? все-таки у меня, как у Дмитрия Сергеича, это саморазоблачение делается в свою же пользу, чтобы можно было сказать: я тут не виновата, дело зависело от такого факта, который не был в моей власти. Делаю эту заметку потому, что Дмитрий Сергеич любил такие замечания. Я хочу подольститься к вам, мой друг.

Но довольно об этом. Вы имели столько симпатии ко мне, что не пожалели потратить несколько часов времени на ваше

длинное (и о, какое драгоценное для меня) письмо; из этого я вижу, как я дипломатически пишу точно такие обороты, как у Дмитрия Сергеича или у вас,— да, *из этого,* только из этого я вижу, что вам интересно будет узнать, что было со мною после того, как Дмитрий Сергеич простился со мною, уезжая в Москву, чтобы вернуться и погибнуть. Возвратившись из Рязани, он видел, что я стеснена. Это сильно обнаружилось во мне только, когда он возвратился. Пока он жил в Рязани, я, скажу вам правду, не так много думала о нем, нет, не так много, как полагаете вы, судя по тому, что он видел, возвратившись. Но когда он уехал в Москву, я видела, что он задумал что-то особенное. Замечалось, что он развязывается с делами в Петербурге, видно было, что он с неделю уж только и ждал их окончания, чтобы уехать, и потом — как же не было бы этого? я в последние дни замечала иногда грусть на его лице, этом лице, которое довольно умеет не выдавать тайн. Я предчувствовала, что готовится что-то решительное, крутое. И когда он садился в вагон, мне было так грустно, так грустно. И следующий день я грустила и на третий день поутру встала еще грустнее, и вдруг Маша подает мне письмо,— какая это была мучительная минута, какой это мучительный час, мучительный день,— вы знаете. Поэтому, мой друг, я теперь лучше, чем прежде, знаю силу моей привязанности к Дмитрию Сергеичу. Я сама не думала, что она так сильна. Да, мой друг, я теперь знаю силу ее, знаете и вы, потому что вы, конечно, знаете, что я решилась тогда расстаться с Александром; весь день я чувствовала, что моя жизнь разбита, отравлена навсегда, вы знаете и мой детский восторг при виде записки моего доброго, доброго друга, записки, совершенно изменившей мои мысли (видите, как осторожны мои выражения, вы должны быть довольны мною, мой друг). Вы знаете все это, потому что Рахметов отправился провожать вас, посадивши меня в вагон; Дмитрий Сергеич и он были правы, говоря, что все-таки надобно было уехать из Петербурга для довершения того эффекта, ради которого Дмитрий Сергеич не пожалел оставлять меня на страшные мученья целый день,— как я благодарна ему за эту безжалостность! Он и Рахметов также были правы, посоветовав Александру не являться ко мне, не провожать меня. Но мне уже не было надобности ехать до Москвы, нужно было только удалиться из Петербурга, и я остановилась в Новгороде. Через несколько дней туда приехал Александр, привез документы о погибели Дмитрия Сергеича, мы повенчались через неделю после этой погибели и прожили с месяц на железной дороге, в

Чудове, чтобы Александру удобно было ездить три-четыре раза в неделю в свой госпиталь. Вчера мы возвратились в Петербург,— вот причина, по которой я так долго не отвечала на ваше письмо: оно лежало в ящике Маши, которая вовсе было и забыла о нем. А вы, вероятно, бог знает чего не придумали, так долго не получая ответа.

Обнимаю вас, милый друг, ваша

Вера Кирсанова».

«Жму твою руку, мой милый. Только, пожалуйста, уж хоть мне-то ты не пиши комплиментов, иначе я изолью перед тобою сердце мое целым потоком превознесений твоего благородства, тошнее чего, конечно, ничто не может быть для тебя. А знаешь ли что? не доказывается ли присутствие порядочной дозы тупоумия как во мне, так и в тебе, тем, что и ты мне, и я тебе пишем лишь по нескольку строк; кажется, доказывается, будто мы с тобою несколько стесняемся. Впрочем, мне-то, положим, это еще извинительно; а ты с какой стати? Но в следующий раз уже надеюсь рассуждать с тобою свободно и напишу тебе груду здешних новостей. Твой *Александр Кирсанов».*

III

Письма эти, совершенно искренние, действительно были несколько односторонни, как замечала сама Вера Павловна. Оба корреспондента, конечно, старались уменьшить друг перед другом силу тяжелых потрясений, которые были ими испытаны,— о, эти люди очень хитры! Я часто слыхивал от них, то есть от этих и подобных им, такие вещи, что тут же хохотал среди их патетических уверений, что, дескать, это для меня было совершенно ничего, очень легко: разумеется, хохотал, когда уверения делались передо мною человеком посторонним и при разговоре только вдвоем. А когда то же самое говорилось человеку, которому нужно это слушать, то я поддакивал, что это, дескать, точно, пустяки. Препотешное существо — порядочный человек: я всегда смеялся над каждым порядочным человеком, с которым знаком.

Препотешное существо, даже до нелепости. Вот хоть бы эти письма. Я к этим штукам отчасти уж попривык, водя дружбу с такими госпожами и господами; ну, а на свежего, неиспорченного человека как должны они действовать, например, на проницательного читателя?

Проницательный читатель уж успел опростать свой рот от салфетки и изрекает, качая головою:

— Безнравственно!

— Молодец! угадал! — похваляю я его.— Ну, порадуй еще словечком.

— Да и автор-то безнравственный человек,— изрекает проницательный читатель,— вишь, какие вещи одобряет.

— Нет, мой милашка, ты ошибаешься. Я тут многое не одобряю. Пожалуй, даже все не одобряю, если тебе сказать по правде. Все это слишком еще мудрено, восторженно; жизнь гораздо проще.

— Так ты, значит, еще безнравственнее? — спрашивает меня проницательный читатель, вылупив глаза от удивления тому, до какой непостижимой безнравственности упало человечество в моем персонаже.

— Гораздо безнравственнее,— говорю я, неизвестно, вправду ли, на смех ли над проницательным читателем.

Переписка продолжалась еще три-четыре месяца,— деятельно со стороны Кирсановых, небрежно и скудно со стороны их корреспондента. Потом он и вовсе перестал отвечать на их письма; по всему видно было, что он только хотел передать Вере Павловне и ее мужу те мысли Лопухова, из которых составилось такое длинное первое письмо его, а исполнив эту обязанность, почел дальнейшую переписку излишнею. Оставшись раза два-три без ответа, Кирсановы поняли это и перестали писать.

IV

Вера Павловна отдыхает на своей мягкой кушетке, дожидаясь мужа из его госпиталя к обеду. Ныне она мало хлопотала в кухне над сладкими прибавками к обеду, ей хотелось поскорее прилечь, отдохнуть, потому что она досыта наработалась в это утро, и уж давно так, и еще довольно долго будет так, что она будет иметь досыта работы по утрам: ведь она устраивает другую швейную в другом конце города. Вера Павловна Лопухова жила на Васильевском. Вера Павловна Кирсанова живет в Сергиевской улице, потому что мужу нужно иметь квартиру ближе к Выборгской стороне. Мерцалова очень хорошо пришлась по той швейной, которая была устроена на Васильевском,— да и натурально: ведь она и мастерская были уж очень хорошо знакомы между собою. Вера Павловна, возвратившись в Петербург, увидела, что если и нужно ей бывать

в этой швейной, то разве изредка, ненадолго; что если она продолжает бывать там почти каждый день, то, собственно, потому только, что ее влечет туда ее привязанность и что там встречает ее привязанность; может быть, на несколько времени еще и не вовсе бесполезны ее посещения, все-таки Мерцалова еще находит иногда нужным советоваться с нею; но это берет так мало времени и бывает все реже; а скоро Мерцалова приобретет столько опытности, что вовсе перестанет нуждаться в Вере Павловне. Да уж и в первое время по возвращении в Петербург Вера Павловна бывала в швейной на Васильевском больше как любимая гостья, чем как необходимое лицо. Чем же заняться? — Ясно чем: надобно основать другую швейную, в своем новом соседстве, в другом конце города.

И вот основывается новая мастерская, в одном из переулков, идущих между Бассейною и Сергиевской. С нею гораздо меньше хлопот, чем с прежнею: пять девушек, составившие основной штат, перешли сюда из прежней мастерской, где места их были заняты новыми; остальной штат набрался из хороших знакомых тех швей, которые работали в прежней мастерской. А это значит, что все было уже приготовлено более чем наполовину: цель и порядок швейной были хорошо известны всем членам компании, новые девушки прямо и поступали с тем желанием, чтобы с первого же раза было введено то устройство, которого так медленно достигала первая мастерская. О, теперь дело устройства идет в десять раз быстрее, чем тогда, и хлопот с ним втрое меньше. Но все-таки много работы, и Вера Павловна устала ныне, как уставала и вчера, и третьего дня, как уставала уж месяца два, только еще два месяца, хотя уже больше полгода прошло со времени второго замужества; что ж, надобно же было сделать себе свадебный праздник, и она праздновала долго. Но теперь она уж принялась за работу.

Да, ныне она наработалась и отдыхает, и думает о многом, о многом, все больше о настоящем: оно так хорошо и полно! оно так полно жизни, что редко остается время воспоминаньям; воспоминания будут после, о, гораздо после, и даже не через десять лет, не через двадцать лет, а после; теперь еще не их время, и очень еще долго будет не их время. Но все-таки бывают они и теперь, изредка, вот, например, и ныне ей вспомнилось то, что чаще всего вспоминается в этих нечастых воспоминаниях. Вот что ей вспоминается:

V

— Миленький! я еду с тобою!

— Да ведь с тобою нет твоих вещей.

— Миленький мой, завтра же поеду вслед за тобою, когда ты не хотел взять меня с собою ныне.

— Подумай. Посмотри. Подожди моего письма. Оно будет завтра же.

Вот она возвращается домой; что она чувствовала, когда ехала с Машею домой, что чувствовалось и думалось ей во всю эту длинную дорогу с Московской станции за Средний проспект? Она сама не знает, так она потрясена была быстрым оборотом дела: еще не прошло суток, да, только через два часа будут сутки после того, как он нашел ее письмо у себя в комнате, и вот он уж удалился — как это скоро, как это внезапно! в два часа ночи она еще ничего не предвидела, он выждал, когда она, истомленная тревогою того утра, уж не могла долго противиться сну, вошел, сказал несколько слов, и в этих немногих словах почти все было только непонятное предисловие к тому, что он хотел сказать, а что он хотел сказать, в каких коротких словах сказал он: «Я давно не видел своих стариков, съезжу к ним; они будут рады»,— только, и тотчас же ушел. Она бросилась вслед за ним, хоть он, вошедши, и брал с нее слово не делать этого, бросилась за ним — где ж он? «Маша, где ж он, где ж он?» Маша, еще убирающая чайные принадлежности после недавних гостей, говорит: «Дмитрий Сергеич ушел; сказал, когда проходил: «Я иду гулять». И она должна была лечь спать; и странно, как могла она уснуть? Но ведь она не знала же, что это будет в то же утро, которое уже светало; он говорил, что они еще успеют переговорить обо всем. И едва она успела проснуться, уж пора ехать на железную дорогу. Да, все это только мелькнуло перед ее глазами, как будто не было это с нею, будто ей кто-то торопливо рассказывал, что это было с кем-то. Только теперь, возвратившись домой с железной дороги, она очнулась и стала думать: что же теперь с нею, что же с ней будет?

Да, она поедет в Рязань. Поедет. Иначе нельзя ей. Но это письмо? что будет в этом письме? Нет, что же ждать этого письма для того, чтобы решиться? Она знает, что будет в нем. Но все-таки надобно отложить решение до письма. К чему же отлагать? Она поедет. Да, она поедет. Это думается час, это думается два, это думается три, четыре часа. Но Маша проголодалась и уж в третий раз зовет ее обедать, и в этот раз

больше велит ей, чем зовет. Что ж, и это рассеяние. «Бедная Маша, как я заставила ее проголодаться».— «Да что же вы ждали меня, Маша,— вы бы давно обедали, не дожидаясь меня».— «Как это можно, Вера Павловна». И опять думается час, два. «Я поеду. Да, завтра же поеду. Только дождусь письма, потому что он просил об этом. Но, что бы ни было написано в нем,— да ведь я и знаю, что будет в нем, все равно, что бы ни было написано в нем, я поеду». Это думается час и два; да, час думается это; но два думается ли это? Нет, хоть и думается все это же, но думаются еще четыре слова, такие маленькие четыре слова: «он не хочет этого», и все больше и больше думаются эти четыре маленькие слова, и вот уже солнце заходит, а все думается прежнее и эти четыре маленькие слова; и вдруг перед самым тем временем, как опять входит неотвязная Маша и требует, чтобы Вера Павловна пила чай — перед самым этим временем из этих четырех маленьких слов вырастают пять других маленьких слов: «и мне не хочется этого». Как хорошо сделала неотвязная Маша, что вошла! — она прогнала эти новые пять маленьких слов.

Но и благодетельная Маша ненадолго прогнала эти пять маленьких слов. Сначала они сами не смели явиться, они вместо себя прислали опровержение себе: «но я должна ехать», и только затем прислали, чтобы самим вернуться под прикрытием этого опровержения: в один миг с ним опять явились их носители, четыре маленькие слова: «он не хочет этого», и в тот же миг эти четыре маленькие слова опять превратились в пять маленьких слов: «и мне не хочется этого». И думается это полчаса, а через полчаса эти четыре маленькие слова, эти пять маленьких слов уже начинают переделывать по своей воле даже прежние слова, самые главные прежние слова: и из двух самых главных слов «я поеду» вырастают три слова: уж вовсе не такие, хоть и те же самые: «поеду ли я?» — вот как растут и превращаются слова! Но вот опять Маша: «Я ему, Вера Павловна, уж отдала целковый, тут надписано: если до девяти часов принесет, так целковый, позже — так полтинник. Это принес кондуктор, Вера Павловна, приехал с вечерним поездом: говорит, как обещался, так и сделал, для скорости взял извозчика». Письмо от него! да! Она знает, что в этом письме: «не езди», но она все-таки поедет, она не хочет слушать этого письма, не послушает его, она все-таки поедет, поедет. Нет, в письме не то,— вот что в нем и чего нельзя не слушать: «Я еду в Рязань; но не прямо в Рязань. У меня много заводских дел по дороге. Кроме Москвы, где по множеству дел мне надобно прожить с

неделю, я должен побывать в двух городах перед Москвою, в трех местах за Москвою, прежде чем попаду в Рязань. Сколько времени где я проживу, когда буду где,— этого нельзя определить уж и по одному тому, что в числе других дел мне надобно получать деньги с наших торговых корреспондентов; а ты знаешь, милый друг мой» — да, это было в письме: «милый мой друг», несколько раз было, чтоб я видела, что он все попрежнему расположен ко мне, что в нем нет никакого неудовольствия на меня, вспоминает Вера Павловна: я тогда целовала эти слова «милый мой друг»,— да, было так: — «милый мой друг, ты знаешь, что, когда надобно получить деньги, часто приходится ждать несколько дней там, где рассчитывал пробыть лишь несколько часов. Поэтому я решительно не знаю, когда доберусь до Рязани; но только, наверное, не очень скоро». Она почти слово в слово помнит это письмо. Что ж это? Да, он совершенно отнял у нее возможность схватиться за него, чтоб удержаться подле него. Что ж ей теперь делать? и прежние слова: «я должна ехать к нему» превращаются в слова: «все-таки я не должна видеться с ним», и этот «он» уж не тот, о котором думалось прежде. Эти слова заменяют все прежние слова, и думается час, и думается два: «я не должна видеться с ним»; и как, когда они успели измениться, только уже изменились в слова: «неужели я захочу увидеться с ним? — нет»; и когда она засыпает, эти слова сделались уже словами: «неужели же я увижусь с ним?» — только где ж ответ? когда он исчез? И едва ли уж не выросли они, да, они выросли в слова: «неужели ж я не увижусь с ним?» И когда она засыпает на заре, она засыпает уж с этими словами: «неужели ж я не увижусь с ним?»

И когда она просыпается поздно поутру, уж вместо всех прежних слов всё только борются два слова с одним словом: «не увижусь» — «увижусь», и так идет все утро; забыто все, забыто все в этой борьбе, и то слово, которое побольше, все хочет удержать при себе маленькое слово, так и хватается за него, так и держит его: «не увижусь»; а маленькое слово все отбегает и пропадает, все отбегает и пропадает: «увижусь»; забыто все, забыто все в усилиях большего слова удержать при себе маленькое, да, и оно удерживает его, и зовет на помощь себе другое маленькое слово, чтобы некуда было отбежать этому прежнему маленькому слову: «нет, не увижусь»... «нет, не увижусь»,— да, теперь два слова крепко держат между собою изменчивое самое маленькое слово, некуда уйти ему от них, сжали они его между собою: «нет, не увижусь» — «нет, не уви-

жусь»... «Нет, не увижусь»,— только что ж это делает она? шляпа уж надета, и это она инстинктивно взглянула в зеркало: приглажены ли волоса, да, в зеркале она увидела, что на ней шляпа, и из этих трех слов, которые срослись было так твердо, осталось одно, и к нему прибавилось новое: «нет возврата». Нет возврата, нет возврата. «Маша, вы не ждите меня обедать; я не буду ныне обедать дома».

— Александр Матвеич еще не изволили возвращаться из госпиталя,— спокойно говорит Степан, да и как же не говорить ему спокойно, с флегмою? в ее появлении нет ничего особенного: прежде, еще недавно, она часто бывала здесь. «Я и думала так; все равно, я посижу. Вы не говорите ему, что я здесь». Она берет какой-то журнал — да, она может читать, она видит, что может читать; да, как только «нет возврата», как только принято решение, она чувствует себя очень спокойною. Конечно, она мало читала, она вовсе не читала, она осмотрела комнату, она стала прибирать ее, будто хозяйка; конечно, мало прибирала, вовсе не прибирала, но как она спокойна: и может читать, и может заниматься делом, заметила, что из пепельницы не выброшен пепел, да и суконную скатерть на столе надобно поправить, и этот стул остался сдвинут с места. Она сидит и думает: «Нет возврата, нет выбора; начинается новая жизнь»,— думает час, думает два: «Начинается новая жизнь. Как он удивится, как он будет счастлив. Начинается новая жизнь. Как мы счастливы». Звонок; она немного покраснела и улыбнулась; шаги, дверь отворяется. «Вера Павловна!» — он пошатнулся, да, он пошатнулся, он схватился за ручку двери; но она уж побежала к нему, обняла его: «Милый мой, милый мой! Как *он* благороден! как я люблю тебя! я не могла жить без тебя!» — и потом — что было потом? как они перешли через комнату? Она не помнит, она помнит только, что подбежала к нему, поцеловала его, но как они перешли через комнату, она не помнит, и он не помнит; они только помнят, когда они уже обходили мимо кресел, около стола, а как они отошли от двери... Да, на несколько секунд у обоих закружилась голова, потемнело в глазах от этого поцелуя... «Верочка, ангел мой!» — «Друг мой, я не могла жить без тебя. Как долго ты любил меня и молчал! Как ты благороден! Как он благороден, Саша!» — «Расскажи же, Верочка, как это было?» — «Я сказала ему, что не могу жить без тебя; на другой день, вчера, он уж уехал, я хотела ехать за ним, весь день вчера думала, что поеду за ним, а теперь, видишь, я уж давно сидела здесь».— «Но как ты похудела в эти две недели, Верочка, как

бледны твои руки!» Он целует ее руки. «Да, мой милый, это была тяжелая борьба! Теперь я могу ценить, как много страдал ты, чтобы не нарушать моего покоя! Как мог ты так владеть собою, что я ничего не видела? Как много ты должен был страдать!» — «Да, Верочка, это было нелегко»,— он все целует ее руки, все смотрит на них, и вдруг она хохочет: «Ах, какая ж я невнимательная к тебе. Ведь ты устал, Саша, ведь ты голоден!» Она вырывается от него и бежит. «Куда ты, Верочка?» Но она ничего не отвечает, она уж в кухне и торопливо, весело говорит Степану: «Скорее давайте обед, на два прибора, скорее! где тарелки и все, давайте я сама возьму и накрою стол, а вы несите кушанье. Александр так устал в своем госпитале, надобно скорее дать ему обедать». Она идет с тарелками, на тарелках звенят ножи, вилки, ложки. «Ха, ха, ха, мой милый! первая забота влюбленных при первом свиданье — поскорее пообедать! ха, ха, ха!» И он смеется, помогает ей накрывать стол, много помогает, но больше мешает, потому что все целует ей руки. «Ах, Верочка, как бледны эти руки!» — и все целует их. Они целуются и смеются. «Но, Саша, за столом сидеть смирно!» Степан подает суп. За обедом она рассказывает, как все это было. «Ха, ха, мой милый, как мы едим, влюбленные! Правда, я вчера ничего не ела». Входит Степан с последним блюдом. «Степан! кажется, вы останетесь без обеда от меня?» — «Да, Вера Павловна, придется прикупить для себя что-нибудь в лавочке».— «Ничего, Степан, вперед вы уж будете знать, что надобно готовить, кроме самих вас, на двоих. Саша, где ж твоя сигарочница? Дай мне». Она сама обрезывает для него сигару, сама закуривает. «Кури, мой милый, а я пока пойду готовить кофе, или ты хочешь чаю? Нет, мой милый, наш обед должен быть лучше, вы с Степаном слишком мало заботились об этом». Она возвращается через пять минут, Степан несет за нею чайный прибор, и, возвратившись, она видит, что сигара Александра погасла. «Ха, ха, мой милый, как ты замечтался без меня!» — и он смеется. «Кури же»,— она опять закуривает ему сигару.

И, припоминая все это, Вера Павловна смеется и теперь: «Как же прозаичен наш роман! Первое свидание — и суп, головы закружились от первого поцелуя — и хороший аппетит, вот так сцена любви! Это презабавно! Да, как сияли его глаза! Что ж, впрочем, они и теперь так же сияют. И сколько его слез упало на мои руки, которые были тогда так бледны,— вот этого теперь уж, конечно, нет; в самом деле, руки у меня хороши, он говорит правду». И Вера Павловна, взгля-

нув на свои руки, опускает их на колено, так что оно обрисовывается под легким пеньюаром, и она думает опять: «он говорит правду», и улыбается, ее рука медленно скользит на грудь и плотно прилегает к груди, и Вера Павловна думает: «правда».

«Ах, что ж это я вспоминаю,— продолжает думать Вера Павловна и смеется,— что ж это я делаю? — будто это соединено с этими воспоминаниями! о нет, это первое свидание, состоявшее из обеданья, целованья рук, моего и его смеха, слез о моих бледных руках, оно было совершенно оригинальное. Я сажусь разливать чай: «Степан, у вас нет сливок? можно где-нибудь достать хороших? Да нет, некогда, и наверное нельзя достать. Так и быть; но завтра мы устроим это. Кури же, мой милый: ты все забываешь курить».

Еще не допит чай, раздается страшный звон колокольчика, и в комнату влетают два студента и, в своей торопливости, даже не видят ее. «Александр Матвеич, интересный субъект! — говорят они запыхавшись.— Сейчас привезли, чрезвычайно редкое осложнение». Бог знает, какой латинский термин, обозначающий болезнь интересного субъекта. «Очень любопытно, Александр Матвеич, и нужна немедленная помощь, каждые полчаса дороги, мы даже ехали на извозчике».— «Скорее же, мой милый, спеши»,— говорит она. Только тут студенты замечают ее, и раскланиваются, и в тот же миг уводят с собою своего профессора; его сборы были слишком недолги, он все еще оставался в своем военном сюртуке, и она гонит его. «Оттуда ты ко мне?» — говорит она прощаясь. «Да». Долго ждет она вечером: вот и десять часов, его все нет, вот и одиннадцать,— теперь уж нечего и ждать. Однако что это такое? Она, конечно, нисколько не беспокоится, не могло же ничего случиться с ним; но, значит, как же он долго был задержан интересным субъектом! и что этот бедный интересный субъект, жив ли он теперь, удалось ли Саше спасти его? Да, Саша был очень долго задержан. Он приехал на другое утро в девять часов, он до четырех часов оставался в госпитале: «Случай был очень трудный и интересный, Верочка».— «Спасен?» — «Да».— «Как же ты встал так рано?» — «Я не ложился».— «Не ложился? Чтобы не опоздать сюда, не спал ночь! Безбожник! Изволь отправиться домой и спи до самого обеда, непременно, чтоб я застала тебя еще не проснувшимся». В две минуты он был уже выпровожен.

Вот какие были два первые свиданья. Но этот второй обед идет уже как следует; они теперь уже с толком рассказывают

друг другу свои истории, а вчера бог знает что говорили; они и смеются, и задумываются, и жалеют друг друга; каждому из них кажется, что другой страдал еще больше... Через полторы недели нанята маленькая дача на Каменном острове, и они поселяются на ней.

VI

Не очень часто вспоминает Вера Павловна прошлое своей нынешней любви; да, в настоящем так много жизни, что остается мало времени для воспоминаний. Но когда вспоминает она прошлое, то иногда,— сначала, точно, только иногда, а потом все постояннее,— при каждом воспоминании она чувствует недовольство, сначала слабое, мимолетное, неопределенное,— кем? чем? — вот уж ей становится видно, кем: она недовольна собою, за что же? Вот она уже видит, из какой черты ее характера выходит недовольство,— да, она очень горда. Но в одном ли прошедшем она недовольна собою? — сначала да; но вот она уж замечает, что недовольство собою относится в ней и к настоящему. И какой странный характер стал заметен в этом чувстве, когда стал выясняться его характер; будто это не она, Вера Павловна Кирсанова, лично чувствует недовольство, а будто в ней отражается недовольство тысяч и миллионов; и будто не лично собою она недовольна, а будто недовольны в ней собою эти тысячи и миллионы. Кто ж эти тысячи и миллионы? за что они недовольны собою? Если бы она попрежнему жила больше одна, думала одна, вероятно, не так скоро прояснилось бы это; но ведь теперь она постоянно с мужем, они всё думают вместе, и мысль о нем примешана ко всем ее мыслям. Это много помогло ей разгадать свое чувство. Прямо он сам нисколько не мог разъяснить эту загадку: пока чувство было темно для нее, для него оно было еще темнее; ему трудно было даже понять, как это возможно иметь недовольство, нисколько не омрачающее личного довольства, нисколько не относящееся ни к чему личному. Это было для него странностью, во сто раз более темною, чем для нее. Но все-таки ей очень помогло то, что она постоянно думала о муже, постоянно была с ним, смотрела на него, думала с ним. Она стала замечать, что, когда приходит ей недовольство, оно всегда сопровождается сравниванием, оно в том и состоит, что она сравнивает себя и мужа,— и вот блеснуло перед ее мыслью настоящее слово: «Разница, обидная разница». Теперь ей понятно.

VII

— Саша, какой милый этот NN (Вера Павловна назвала фамилию того офицера, через которого хотела познакомиться с Тамберликом в своем страшном сне),— он мне привез одну новую поэму, которая еще не скоро будет напечатана,— говорила Вера Павловна за обедом.— Мы сейчас же после обеда примемся читать,— да? Я ждала тебя,— все с тобою вместе, Саша. А очень хотелось прочесть.

— Что ж это за поэма?

— А вот услышишь. Посмотрим, удалась ли ему эта вещь. NN говорит, что сам он — я говорю про автора — отчасти доволен ею.

Вот они располагаются в ее комнате, и она начинает читать:

Ой, полна, полна коробушка,
Есть и ситцы и парча.
Пожалей, моя зазнобушка,
Молодецкого плеча...

— Теперь я вижу,— сказал Кирсанов, прослушав несколько десятков стихов,— это у него в новом роде. Но видно, что это его, Некрасова, да? Очень благодарен тебе, что ты подождала меня.

— Еще бы! — сказала Вера Павловна. Они прочли два раза маленькую поэму, которая благодаря их знакомству с одним из знакомых автора попала им в руки года за три раньше, чем была напечатана.

— Но знаешь, какие стихи всего больше подействовали на меня? — сказала Вера Павловна, когда они с мужем перечитали еще по нескольку раз иные места поэмы,— эти стихи не из главных мест в самой поэме, но они чрезвычайно влекут к себе мои мысли. Когда Катя ждала возвращения жениха, она очень тосковала:

Извелась бы, неутешная,
Кабы время горевать;
Да пора страдная, спешная —
Надо десять дел кончать.
Как ни часто приходилося
Молодице невтерпеж,
Под косой трава валилася,
Под серпом горела рожь.
Изо всей-то силы-моченьки
Молотила по утрам,
Лен стлала до темной ноченьки
По росистым по лугам...

Эти стихи не главные в своем эпизоде, они только предисловие к тому, как эта славная Катя мечтает о своей жизни с Ваней; но мои мысли привязались именно к ним.

— Да, вся эта картина — одна из самых хороших в поэме, но они занимают в ней не самое видное место. Значит, они слишком подошли к мыслям, которые тебя занимали. Какие ж это мысли?

— Вот какие, Саша. Мы с тобою часто говорили, что организация женщины едва ли не выше, чем мужчины, что поэтому женщина едва ли не оттеснит мужчину на второй план в умственной жизни, когда пройдет господство грубого насилия, мы оба с тобою выводили эту вероятность из наблюдения над жизнью; в жизни больше встречается женщин, чем мужчин, умных от природы; так нам обоим кажется. Ты подтверждал это разными подробностями из анатомии, физиологии.

— Какие оскорбительные вещи для мужчин ты говоришь, и ведь это больше ты говоришь, Верочка, чем я: мне это обидно. Хорошо, что время, которое мы с тобою предсказываем, еще так далеко. А то бы я совершенно отказался от своего мнения, чтобы не отходить на второй план. Впрочем, Верочка, ведь это только вероятность, наука еще не собрала столько сведений, чтобы решить вопрос положительным образом.

— Конечно, мой милый. Мы говорили, отчего до сих пор факты истории так противоречат выводу, который слишком вероятен по наблюдениям над частною жизнью и над устройством организма. Женщина играла до сих пор такую ничтожную роль в умственной жизни потому, что господство насилия отнимало у ней и средства к развитию, и мотивы стремиться к развитию. Это объяснение достаточное. Но вот другой такой же случай. По размеру физической силы организм женщины гораздо слабее; но ведь организм ее крепче,— да?

— Это уж гораздо несомненнее, чем вопрос о природном размере умственных сил. Да, организм женщины крепче противится материальным разрушительным силам,— климату, погоде, неудовлетворительной пище. Медицина и физиология еще мало занимались подробным разбором этого; но статистика уже дала бесспорный общий ответ: средняя продолжительность жизни женщин больше, чем мужчин. Из этого видно, что женский организм крепче.

— Это тем резче видно, что образ жизни женщин вообще еще гораздо менее здоров, чем у мужчин.

— Есть еще усиливающее соображение, которым увеличивается ясность вывода,— его дает физиология. Полное совершеннолетие достигается женщиною несколько раньше, чем мужчиною. Положим, возрастание женщины оканчивается в двадцать лет, мужчины в двадцать пять,— приблизительно, в нашем климате, в нашем племени. Положим, тоже приблизительно, что до семидесяти лет доживает такая же пропорция женщин, какая из мужчин доживает до шестидесяти пяти; если мы сообразим разность сроков развития, перевес крепости организма женщины выставится гораздо сильнее, чем предполагает статистик, не бравший в расчет разности лет совершеннолетия. Семьдесят лет — это три с половиною раза двадцать лет. Шестьдесят пять лет надобно делить на двадцать пять лет, сколько это будет? — да, в частном немного больше двух с половиною — так, две целых и шесть десятых. Значит, женщина проживает три с половиною срока своего полного развития так же легко, как мужчина почти только два с половиною срока. А этою пропорциею измеряется крепость организма.

— В самом деле, разница выходит больше, чем я читала о ней.

— Да, но ведь я говорил только для примера, я брал круглые цифры, на память. Однако же характер заключения тот самый, как я говорю. Статистика уже показала, что женский организм крепче,— ты читала выводы только из таблицы продолжительности жизни. Но если к статистическим фактам прибавить физиологические, разница выйдет еще гораздо больше.

— Так, Саша; смотри же, что я думала, а теперь это обнаруживается для меня еще резче. Я думала: если женский организм крепче выдерживает разрушительные материальные впечатления, то слишком вероятно, что женщина должна была бы легче, тверже выносить и нравственные потрясения. А на деле мы видим не то.

— Да, это очень вероятно. Конечно, это будет пока только предположение, этим еще не занимались, специальных фактов не собирали. Но точно, заключение твое так близко выходит из факта, уже бесспорного, что сомневаться трудно. Крепость организма слишком тесно связана с крепостью нерв. Вероятно, у женщины нервы эластичнее, имеют более прочную структуру, а если так, они должны легче и тверже выдерживать потрясения и тяжелые чувства. На деле мы видим слишком много примеров противного. Женщина слишком часто мучится тем, что мужчина выносит легко. Еще не занимались хорошенько раз-

бором причин, по которым, при данном нашем историческом положении, мы видим такие явления, противоречащие тому, чего следует ожидать от самого устройства организма. Но одна из этих причин очевидна, она проходит через все исторические явления и через все стороны нашего нынешнего быта. Это — сила предубеждения, дурная привычка, фальшивое ожидание, фальшивая боязнь. Если человек думает «не могу»,— то и действительно не может. Женщинам натолковано: «вы слабы»,— вот они и чувствуют себя слабыми, и действительно оказываются слабы. Ты знаешь примеры, что люди, совершенно здоровые, расслабевали до смерти и действительно умирали от одной мысли, что должны ослабевать и умереть. Но есть примеры, касающиеся целых масс, народов, всего человечества. Один из самых замечательных представляет военная история. В средние века пехота воображала себе, что не может устоять против конницы,— и действительно никак не могла устоять. Целые армии пехоты разгонялись, как стада овец, несколькими сотнями всадников; до той поры, когда явились на континент английские пехотинцы из гордых, самостоятельных мелких землевладельцев, у которых не было этой боязни, которые привыкли никому не уступать без боя, как только пришли во Францию эти люди, у которых не было предубеждения, что они должны бежать перед конницею,— конница, даже далеко превосходившая их числом, была разбиваема ими при каждой встрече; знаешь, знаменитые поражения французских конных армий малочисленными английскими пехотинцами и при Кресси, и при Пуатье, и при Азенкуре. Та же самая история повторилась, когда швейцарцы-пехотинцы вздумали, что вовсе не для чего им считать себя слабее феодальной конницы. Австрийская, потом бургундская конница, более многочисленная, стала терпеть от них поражения при каждой встрече; потом перепробовали биться с ними все другие конницы, и все были постоянно разбиваемы. Тогда все увидели: «А ведь пехота крепче конницы»,— разумеется, крепче; но шли же целые века, когда пехота была очень слаба сравнительно с конницею только потому, что считала себя слабою.

— Да, Саша, это так. Мы слабы потому, что считаем себя слабыми. Но мне кажется, что есть еще другая причина. Я хочу говорить о себе и о тебе. Скажи, мой милый: я очень много переменилась тогда в две недели, которые ты меня не видел? Ты тогда был слишком взволнован. Тебе могло показаться больше, нежели было, или в самом деле перемена была сильна,— как ты теперь вспоминаешь?

— Да, ты в самом деле тогда очень похудела и стала бледна.

— Вот видишь, мой милый, я теперь поняла, что именно это возмущает мою гордость. Ведь ты любил же меня очень сильно. Отчего же борьба не отразилась на тебе такими явными признаками? Ведь никто не видел, чтобы ты бледнел, худел в те месяцы, когда расходился со мною. Отчего же ты выносил это так легко?

— Вот почему тебя так заняли стихи о том, как Катя избавлялась от тоски работою. Ты хочешь знать, испытал ли я верность этого замечания на себе? Да, оно совершенно справедливо. Я довольно легко выдерживал борьбу потому, что мне некогда было много заниматься ею. Все время, когда я обращал внимание на нее, я страдал очень сильно; но ежедневная необходимость заставляла меня на бóльшую часть времени забывать об этом. Надобно было заниматься больными, готовиться к лекциям. В это время я поневоле отдыхал от своих мыслей. В те редкие дни, когда у меня оставалось много свободных часов, я чувствовал, что силы изменяют мне. Мне кажется, что если бы я неделю остался на волю своих мыслей, я сошел бы с ума.

— Так, мой милый; и я в последнее время поняла, что в этом был весь секрет разницы между мною и тобою. Нужно иметь такое дело, от которого нельзя отказаться, которого нельзя отложить,— тогда человек несравненно тверже.

— Но ведь у тебя было тогда много дела, и теперь точно так же.

— Ах, Саша, разве это неотступные дела? Я занимаюсь ими, когда хочу, сколько хочу. Когда мне вздумается, я могу или очень сократить, или вовсе отложить их. Чтобы заниматься ими в такое время, когда мысли расстроены, нужно особое усилие воли, только оно заставит заниматься ими. Нет опоры в необходимости. Например, я занимаюсь хозяйством, трачу на это очень много времени; но девять десятых частей этого времени я употребляю на него лишь по своей охоте. При порядочной прислуге разве не пошло бы все почти так же, хотя бы я гораздо меньше занималась сама? И кому это нужно, чтобы с большою тратою времени шло несколько, немножко получше того, чем шло бы при гораздо меньшей трате моего времени? То же, надобность этого только в моей охоте. Когда мысли спокойны, занимаешься этими вещами; когда мысли расстроены, бросаешь их, потому что без них можно обойтись. Для важного всегда бросаешь менее важное. Лишь только чувства сильно

разыгрываются, они вытесняют мысли о таких делах. У меня есть уроки; это уж несколько важнее: их я не могу отбрасывать по произволу; но это все не то. Я внимательна к ним, только когда хочу; если я во время урока и мало буду думать о нем, он пойдет лишь немного хуже, потому что это преподавание слишком легко, оно не имеет силы поглощать мысль. И потом: разве я в самом деле живу уроками? Разве от них зависит мое положение, разве они доставляют мне главные средства к образу жизни, какой я веду? Нет, эти средства доставляла мне работа Дмитрия, теперь — твоя. Уроки приятны моему чувству независимости и на самом деле небесполезны. Но все-таки в них нет для меня жизненной необходимости. Я пробовала тогда прогонять мучившие меня мысли, занявшись мастерскою гораздо более обыкновенного. Но опять я делала это только по усилию своей воли. Ведь я понимала, что мое присутствие в мастерской нужно только на час, на полтора, что, если я остаюсь в ней дольше, я уж беру на себя искусственное занятие, что оно полезно, но вовсе не необходимо для дела. И потом, самое дело это — разве оно может служить важною опорою для обыкновенных людей, как я? Рахметовы — это другая порода; они сливаются с общим делом так, что оно для них необходимость, наполняющая их жизнь; для них оно даже заменяет личную жизнь. А нам, Саша, недоступно это. Мы не орлы, как он. Нам необходима только личная жизнь. Мастерская — разве это моя личная жизнь? Это дело — не мое дело, чужое. Я занимаюсь им не для себя, а для других; пожалуй, и для моих убеждений. Но разве человеку,— такому, как мы, не орлу,— разве ему до других, когда ему самому очень тяжело? Разве его занимают убеждения, когда его мучат его чувства? Нет, нужно личное дело, необходимое дело, от которого зависела бы собственная жизнь, такое дело, которое лично для меня, для моего образа жизни, для моих средств к жизни, для всего моего положения в жизни, для всей моей судьбы было бы важнее всех моих увлечений страстью; только такое дело может служить опорою в борьбе со страстью, только оно не вытесняется из жизни страстью, а само заглушает страсть, только оно дает силу и отдых. Я хочу такого дела.

— Так, мой друг, так,— горячо говорил Кирсанов, целуя жену, у которой горели глаза от одушевления.— Так, и до сих пор я не думал об этом, когда это так просто; я не замечал этого! Да, Верочка, никто другой не может думать за самого человека. Кто хочет, чтоб ему было хорошо, думай сам за себя, заботься сам о себе,— другой никто не заменит. Так любить,

как я, и не понимать, пока ты сама не растолковала! Но,— продолжал он, уже смеясь и все целуя жену,— почему ж ты видишь в этом надобность теперь? собираешься влюбиться в кого, Верочка,— да?

Вера Павловна расхохоталась, и долго они оба не могли сказать ни слова от смеха.

— Да, теперь мы оба можем это чувствовать,— заговорила наконец она,— я теперь могу, так же как и ты, наверное знать, что ни с тобою, ни со мною не может случиться ничего подобного. Но, серьезно, знаешь ли, что мне кажется теперь, мой милый: если моя любовь к Дмитрию не была любовью женщины, уж развившейся, то и он не любил меня в том смысле, как мы с тобою понимаем это. Его чувство ко мне было соединение очень сильной привязанности ко мне как другу с минутными порывами страсти ко мне как женщине; дружбу он имел лично ко мне, собственно ко мне, а эти порывы искали только женщины: ко мне, лично ко мне, они имели мало отношения. Нет, это не была любовь. Разве он много занимался мыслями обо мне? Нет, они не были для него занимательны. Да, и с его стороны, как с моей, не было настоящей любви.

— Ты несправедлива к нему, Верочка.

— Нет, Саша, это так. В разговоре между мною и тобою напрасно хвалить его. Мы оба знаем, как высоко мы думаем о нем; знаем также, что, сколько бы он ни говорил, будто ему было легко, на самом деле было нелегко; ведь и ты, пожалуй, говоришь, что тебе было легко бороться с твоею страстью,— все это прекрасно, и не притворство; но ведь не в буквальном же смысле надобно понимать такие резкие уверения,— о мой друг, я понимаю, сколько ты страдал... Вот как сильно понимаю это...

— Верочка, ты меня задушишь; и согласись, что, кроме силы чувства, тебе хотелось показать и просто силу? Да, ты очень сильна, да и как не быть сильною с такой грудью...

— Милый мой Саша!

VIII

— Саша, а ведь ты не дал мне договорить о деле,— начала Вера Павловна, когда они часа через два сидели за чаем.

— Я тебе не дал договорить? Я виноват?

— Конечно, ты.

— Кто начал дурачиться?

— И не совестно тебе это?

— Что?

— Что я начала дурачиться. Фи, так компрометировать скромную женщину своей флегматичностью!

— Будто? А я верил тому, что ты толкуешь о равенстве; если равенство, то и равенство инициативы.

— Ха, ха, ха! какое ученое слово! Но неужели ты меня обвинишь в непоследовательности? Разве я не стараюсь иметь равенства в инициативе? Но, Саша, я теперь беру инициативу продолжать серьезный разговор, о котором мы забыли.

— Бери, но я отказываюсь следовать за тобою. Я теперь возьму инициативу продолжать забывать. Дай руку.

— Саша, но надобно же договорить.

— Завтра успеем. Теперь меня, ты видишь, слишком заинтересовало исследование этой руки.

IX

— Саша, договорим же то, о чем не договорили вчера. Это надобно, потому что я собираюсь ехать с тобою; надобно же тебе знать зачем,— говорила Вера Павловна поутру.

— Со мною? Ты едешь со мною?

— Конечно. Ты спрашивал меня, Саша, зачем мне нужно дело, от которого серьезно зависела бы моя жизнь, которым бы я так же дорожила, как ты своим, которое было бы так же неотступно, которое так же требовало бы от меня всего внимания, как твое от тебя. Мой милый, мне надобно такое дело потому, что я очень горда. Меня давно тяготит и стыдит воспоминание, что борьба с чувством тогда отразилась на мне так заметно, была так невыносима для меня. Ты знаешь, я говорю не о том, что она была тяжела,— ведь и твоя была для тебя также нелегка,— это зависит от силы чувства, и не мне теперь жалеть, что она была тяжела, это значило бы жалеть, что чувство было сильно,— нет! но зачем у меня против этой силы не было такой же твердой опоры, как у тебя? Я хочу иметь такую же опору. Но это только навело меня на мою мысль, а настоящая потребность, конечно, в настоящем. Вот она: я хочу быть равна тебе во всем — это главное. Я нашла себе дело. Когда мы с тобою простились вчера, я долго думала об этом, я вздумала это вчера поутру, без тебя, вчера я хотела посоветоваться с тобою, как с добрым человеком, а ты изменил моей надежде на твою солидность. Теперь уж поздно советоваться: я ре-

шилась. Да, Саша, тебе придется много хлопотать со мною; милый мой, как мы будем рады, если я увижу себя способной к этому!

Да, теперь Вера Павловна нашла себе дело, о котором не могла бы она думать прежде: рука ее Александра была постоянно в ее руке, и потому идти было легко. Лопухов ни в чем не стеснял ее, как и она его, и только. Нет, было и больше, конечно, гораздо больше. Она всегда была уверена, что, в каком бы случае ни понадобилось ей опереться на его руку, его рука, вместе с его головою, в ее распоряжении. Но только вместе с головою, своей головы он не пожалел бы для нее, точно так же не поленился бы и протянуть руку; то есть в важных случаях, в критические моменты, его рука так же готова и так же надежна, как рука Кирсанова,— и он слишком хорошо доказал это своею женитьбою, когда пожертвовал для нее всеми любимыми тогдашними мыслями о своей ученой карьере и не побоялся рискнуть на голод. Да, когда было важное дело, рука подавалась. Но вообще рука эта была далеко от нее. Вера Павловна устраивала свою мастерскую; если бы в чем была необходима его помощь, он помогал бы с радостью. Но почему ж он почти ничего не делал? Он только не мешал, одобрял, радовался. У него была своя жизнь, у нее — своя. Теперь не то. Кирсанов не ждал ее требования, чтобы участвовать во всем, что она делала; он был заинтересован столько же, как она сама, во всей ее обыденной жизни, как и она во всей его жизни. Это было уже совершенно не то отношение, как с первым мужем, и потому она чувствовала у себя новые средства для деятельности, и потому стали в ней серьезно являться, получать для нее практическую требовательность такие мысли, которые прежде были только теоретически известны ей и, в сущности, не затрогивали ее внутреннюю жизнь: чего нельзя делать, о том и не думаешь серьезно.

Вот какого рода были эти мысли, которые теперь стали живо чувствоваться Верою Павловною и служить мотивами для деятельности.

X

«Нам формально закрыты почти все пути гражданской жизни. Нам практически закрыты очень многие,— почти все,— даже из тех путей общественной деятельности, которые не загорожены для нас формальными препятствиями. Из всех сфер жизни нам оставлено тесниться только в одной сфере

семейной жизни,— быть членами семьи, и только. Кроме этого, какие же занятия открыты нам? Почти только одно, быть гувернантками; да еще разве — давать какие-нибудь уроки, которых не захотят отнять у нас мужчины. Нам тесно на этой единственной дороге; мы мешаем друг другу, потому что слишком толпимся на ней; она почти не может давать нам самостоятельности, потому что нас, предлагающих свои услуги, слишком много. Ни одна из нас никому не нужна все потому же, что нас слишком много. Кто станет дорожить гувернанткою? Только скажите слово, что вы хотите иметь гувернантку, сбегаются десятки и сотни нас перебивать одна у другой место.

Нет, пока женщины не будут стараться о том, чтобы разойтись на много дорог, женщины не будут иметь самостоятельности. Конечно, пробивать новую дорогу тяжело. Но мое положение в этом деле особенно выгодно. Мне стыдно было бы не воспользоваться им. Мы не приготовлены к серьезным занятиям. Я не знаю, до какой степени нужно иметь руководителя, чтобы готовиться к ним. Но я знаю, что, до какой бы степени ни понадобилась мне его ежедневная помощь,— он тут, со мной. И это не будет ему обременением, это будет так же приятно ему, как мне.

Нам закрыты обычаем пути независимой деятельности, которые не закрыты законом. Но из этих путей, закрытых только обычаем, я могу вступить на какой хочу, если только решусь выдержать первое противоречие обычая. Один из них слишком много ближе других для меня. Мой муж медик. Он отдает мне все время, которое у него свободно. С таким мужем мне легко попытаться, не могу ли я сделаться медиком.

Это было бы очень важно, если бы явились наконец женщины-медики. Они были бы очень полезны для всех женщин. Женщине гораздо легче говорить с женщиною, чем с мужчиною. Сколько предотвращалось бы тогда страданий, смертей, сколько несчастий! Надобно попытаться».

XI

Вера Павловна кончила разговор с мужем тем, что надела шляпу и поехала с ним в госпиталь испытать свои нервы,— может ли она видеть кровь, в состоянии ли будет заниматься анатомиею. При положении Кирсанова в госпитале, конечно, не было никаких препятствий этому испытанию.

Я, нисколько не совестясь, уж очень много компрометировал Веру Павловну со стороны поэтичности; например, не скрывал того, что она каждый день обедала, и вообще с аппетитом, а кроме того, по два раза в день пила чай. Но теперь я дошел до такого обстоятельства, что, при всей бесстыдной низости моих понятий, на меня нападает робость, и думаю я: «Не лучше ли было бы скрыть эту вещь? Что подумают о женщине, которая в состоянии заниматься медициною?» Какие грубые нервы должны быть у нее, какая черствая душа! Это не женщина, а мясник! Но, сообразивши, что ведь я и не выставляю своих действующих лиц за идеалы совершенства, я успокоиваюсь: пусть судят, как хотят, о грубости натуры Веры Павловны, мне какое дело? Груба так груба.

Поэтому я хладнокровно говорю, что она нашла очень большую разницу между праздным смотрением на вещи и деятельною работою над ними на пользу себе и другим.

Я помню, как испугался я, двенадцатилетний ребенок, когда меня, никогда еще не видавшего пожаров, разбудил слишком сильный шум пожарной тревоги. Все небо пламенело, раскаленное; по всему городу, большому провинциальному городу, летели головни, по всему городу страшный гвалт, беготня, крик. Я дрожал, как в лихорадке. По счастью, я успел убежать на пожар, пользуясь тем, что все домашние были в суматохе. Пожар был вдоль набережной (то есть просто берега, потому что какая же набережная?). Берег был уставлен дровами, лубочным товаром. Такие же мальчишки, как я, разбирали и оттаскивали все это подальше от горевших домов; принялся и я,— куда девался весь мой страх! Я работал очень усердно, пока сказали нам: «Довольно, опасность прошла». С той поры я уж и знал, что если страшно от сильного пожара, то надобно бежать туда и работать, и вовсе не будет страшно.

Кто работает, тому некогда ни пугаться, ни чувствовать отвращение или брезгливость.

Итак, Вера Павловна занялась медициною; и в этом, новом у нас, деле она была одною из первых женщин, которых я знал. После этого она действительно стала чувствовать себя другим человеком. У ней была мысль: «Через несколько лет я уж буду в самом деле стоять на своих ногах». Это великая мысль. Полного счастья нет без полной независимости. Бедные женщины, как немногие из вас имеют это счастие!

XII

И вот проходит год; и пройдет еще год, и еще год после свадьбы с Кирсановым, и все так же будут идти дни Веры Павловны, как идут теперь, через год после свадьбы, как шли с самой свадьбы; и много лет пройдет, они будут идти все так же, если не случится ничего особенного; кто знает, что принесет будущее? но до той поры, как я пишу это, ничего такого не случилось, и дни Веры Павловны идут все так же, как шли они тогда, через год, через два после свадьбы с Кирсановым.

После той страшно компрометирующей вещи, что Вера Павловна вздумала и нашла себя способною заниматься медициною, мне уж легко говорить обо всем: все остальное уж не может так ужасно повредить ей во мнении публики. И я должен сказать, что и теперь в Сергиевской, как прежде на Васильевском, три грани дня Веры Павловны составляют: чай утром, обед и вечерний чай; да, она сохранила непоэтическое свойство каждый день обедать и два раза пить чай и находить это приятным, и вообще она сохранила все свои непоэтические, и неизящные, и нехорошего тона свойства.

И многое другое осталось по-прежнему в это новое спокойное время, как было в прежнее спокойное время. Осталось и разделение комнат на нейтральные и ненейтральные; осталось и правило не входить в ненейтральные комнаты друг к другу без разрешения, осталось и правило не повторять вопроса, если на первый вопрос отвечают «не спрашивай»; осталось и то, что такой ответ заставляет совершенно ничего не думать о сделанном вопросе, забыть его: осталось это потому, что осталась уверенность, что если бы стоило отвечать, то и не понадобилось бы спрашивать, давно все было бы сказано без всякого вопроса, а в том, о чем молчат, наверное нет ничего любопытного. Все это осталось по-прежнему в новое спокойное время, как было в прежнее спокойное время; только в нынешнее новое спокойное время все это несколько изменилось, или, пожалуй, не изменилось, но все-таки выходит не совсем то, что в прежнее время, и жизнь выходит вовсе не та.

Например, нейтральные и ненейтральные комнаты строго различаются; но разрешение на допуск в ненейтральные комнаты установлено раз навсегда для известного времени дня: это потому, что две из трех граней дня перенесены в ненейтральные комнаты; установился обычай пить утренний чай в ее комнате, вечерний чай в его комнате; вечерний чай устраивает-

ся без особенных процедур; слуга, все тот же Степан, вносит в комнату Александра самовар и прибор, и только; но с утренним чаем особая манера: Степан ставит самовар и прибор на стол в той нейтральной комнате, которая ближе к комнате Веры Павловны, и говорит Александру Матвеичу, что самовар подан, то есть говорит, если находит Александра Матвеича в его кабинете; но если не застает? Тогда Степану уж нет дела извещать, пусть сами помнят, что пора пить чай. И вот по этому заведению уж установлено правило, что поутру Вера Павловна ждет мужа без доклада, разрешается ли ему войти; без Саши тут нельзя обойтись ей, это всякий рассудит, когда сказать, как она встает.

Просыпаясь, она нежится в своей теплой постельке, ей лень вставать, она и думает и не думает, и полудремлет и не дремлет; думает — это, значит, думает о чем-нибудь таком, что относится именно к этому дню, к этим дням, что-нибудь по хозяйству, по мастерской, по знакомствам, по планам, как расположить этот день,— это, конечно, не дремота; но, кроме того, есть еще два предмета, года через три после свадьбы явился и третий, который тут в руках у ней, Митя: он «Митя», конечно, в честь друга Дмитрия; а два другие предмета, один — сладкая мысль о занятии, которое дает ей полную самостоятельность в жизни, другая мысль — Саша; этой мысли даже и нельзя назвать особою мыслью, она прибавляется ко всему, о чем думается, потому что он участвует во всей ее жизни; а когда эта мысль, эта не особая мысль, а всегдашняя мысль, остается одна в ее думе,— она очень, очень много времени бывает одна в ее думе,— тогда как это назвать? дума ли это или дремота, спится ли ей или не спится? глаза полузакрыты, на щеках легкий румянец, будто румянец сна... да, это дремота. Теперь, видите сами, часто должно пролетать время так, что Вера Павловна еще не успеет подняться, чтобы взять ванну (это устроено удобно, стоило порядочных хлопот: надобно было провести в ее комнату кран от крана и от котла в кухне; и правду сказать, довольно много дров выходит на эту роскошь, но что ж, это теперь можно было позволить себе), да, очень часто Вера Павловна успевает взять ванну и опять прилечь отдохнуть, понежиться после нее до появления Саши, а часто, даже не чаще ли, так задумывается и заполудремлется, что еще не соберется взять ванну, как Саша уж входит.

Но как хорошо каждый день поутру брать ванну; сначала вода самая теплая, потом теплый кран завертывается, откры-

вается кран, по которому стекает вода, а кран с холодной водой остается открыт, и вода в ванне незаметно свежеет, свежеет, как это хорошо! полчаса, иногда больше, иногда целый час не хочется расставаться с ванною.

И все сама, без служанки, и одевается сама — это гораздо лучше. Сама, то есть когда не продремлет срока, а если пропустит? тогда уж нельзя отделаться — да к чему ж и отделываться? — от того, чтобы Саша не исполнял должность горничной! Саша ужасно смешной! и может быть, даже прикосновение руки шепчущей гостьи-певицы не заставит появиться в воображаемом дневнике слова: «А ведь это даже обидно!» А во всяком случае, милый взял на себя неизменную обязанность хозяйничать за утренним чаем.

Да и нельзя было бы иначе, Саша совершенно прав, что этому так следовало устроиться, потому что пить утренний чай, то есть почти только сливки, разгоряченные не очень большою прибавкою очень густого чаю, что пить его в постели чрезвычайно приятно. Саша уходит за прибором,— да, это чаще, чем то, что он прямо входит с чайным прибором,— и хозяйничает, а она все нежится и, напившись чаю, все еще полулежит уж не в постельке, а на диванчике, таком широком, но, главное достоинство его, таком мягком, будто пуховик, полулежит до десяти, до одиннадцати часов, пока Саше пора отправляться в госпиталь, или в клиники, или в академическую аудиторию, но с последнею чашкою Саша уже взял сигару, и кто-нибудь из них напоминает другому — «принимаемся за дело» или «довольно, довольно, теперь за дело» — за какое дело? а как же, урок или репетиция по студенчеству Веры Павловны: Саша ее репетитор по занятиям медициною, но еще больше нужна его помощь по приготовлению из тех предметов гимназического курса для экзамена, заниматься которыми ей одной было бы уж слишком скучно; особенно ужасная вещь — это математика; едва ли не еще скучнее латинский язык, но нельзя, надобно поскучать над ними, впрочем, не очень же много: для экзамена, заменяющего гимназический аттестат, в Медицинской академии требуется очень, очень немного; например, я не поручусь, что Вера Павловна когда-нибудь достигнет такого совершенства в латинском языке, чтобы перевести хотя две строки из Корнелия Непота, но она уж умеет разбирать латинские фразы, попадающиеся в медицинских книгах, потому что это знание — надобное ей, да и очень немудреное. Нет, однако ж, довольно об этом, я уж вижу, что до невозможности компрометирую Веру Павловну: вероятно, проница...

XIII

ОТСТУПЛЕНИЕ О СИНИХ ЧУЛКАХ

— Синий чулок! даже до крайности синий чулок! Терпеть не могу синего чулка! Глуп и скучен синий чулок! — с азартом, но не без солидности произносит проницательный читатель.

Однако же как мы с проницательным читателем привязаны друг к другу. Он раз обругал меня, я два раза выгнал его в шею, а все-таки мы с ним не можем не обмениваться нашими задушевными словами; тайное влечение сердец, что вы прикажете делать!

— О проницательный читатель,— говорю я ему,— ты прав, синий чулок подлинно глуп и скучен, и нет возможности выносить его. Ты отгадал это. Да не отгадал ты, *кто* синий чулок. Вот ты сейчас увидишь это, как в зеркале. Синий чулок с бессмысленною аффектациею самодовольно толкует о литературных или ученых вещах, в которых ни бельмеса не смыслит, и толкует не потому, что в самом деле заинтересован ими, а для того, чтобы пощеголять своим умом (которого ему не случилось получить от природы), своими возвышенными стремлениями (которых в нем столько же, как в стуле, на котором он сидит) и своею образованностью (которой в нем столько же, как в попугае). Видишь, чья это грубая образина или прилизанная фигура в зеркале? твоя, приятель. Да, какую длинную бороду ты ни отпускай или как тщательно ни выбривай ее, все-таки ты, несомненно и неоспоримо, подлиннейший синий чулок, поэтому-то ведь я гонял тебя в шею два раза, единственно поэтому, что терпеть не могу синих чулков, которых между нашим братом, мужчинами, в десять раз больше, нежели между женщинами.

А кто с дельною целью занимается каким-нибудь делом, тот, какое бы ни было это дело и в каком бы платье ни ходил этот человек, в мужском или в женском, этот человек просто человек, занимающийся своим делом, и больше ничего.

XIV

Полезная для проницательного читателя беседа о синем чулке, то есть о нем, оторвала меня от рассказа о том, как теперь проходит день Веры Павловны. «Теперь»,— это, значит, когда ж? да когда угодно с той поры, как она поселилась в Сергиевской улице, и вот до сих пор. А впрочем, что ж и продолжать это описание. Разве только вообще сказать, что та

перемена, которая началась в характере вечера Веры Павловны от возобновления знакомства с Кирсановым на Васильевском острове, совершенно развилась теперь, что теперь Кирсановы составляют центр уже довольно большого числа семейств, все молодых семейств, живущих так же ладно и счастливо, как они, и точно таких же по своим понятиям, как они, и что музыка и пенье, опера и поэзия, всякие гулянья и танцы наполняют все свободные вечера каждого из этих семейств, потому что каждый вечер есть какое-нибудь сборище у того или другого семейства или какое-нибудь другое устройство вечера для разных желающих. Вообще на этих сборищах и всяких других препровождениях времени бывает в наличности наполовину всего кружка, и Кирсановы, как другие, наполовину вечеров проводят в этом шуме. Но и об этом нечего говорить, это понятно само собою. Но есть одна вещь, о которой, к несчастию, слишком многим надобно толковать слишком подробно, чтобы они поняли ее. Каждый если не сам испытал, то хоть начитался, какая разница для девушки или юноши между тем вечером, который просто вечер, и тем вечером, на котором с нею ее милый или с ним его милая, между оперою, которую слушаешь, и только, и тою оперою, которую слушаешь, сидя рядом с тем или с тою, в кого влюблен. Очень большая разница. Это известно. Но вот что слишком немногими испытано, что очаровательность, которую всему дает любовь, вовсе не должна, по-настоящему, быть мимолетным явлением в жизни человека, что этот яркий свет жизни не должен озарять только эпоху искания, стремления, назовем хотя так: ухаживания или сватания, нет, что эта эпоха по-настоящему должна быть только зарею, милою, прекрасною, но предшественницею дня, в котором несравненно больше и света и теплоты, чем в его предшественнице, свет и теплота которого долго, очень долго растут, всё растут, и особенно теплота очень долго растет, далеко за полдень все еще растет. Прежде было не так: когда соединялись любящие, быстро исчезала поэзия любви. Теперь у тех людей, которые называются нынешними людьми, вовсе не так. Они, когда соединяет их любовь, чем дольше живут вместе, тем больше и больше озаряются и согреваются ее поэзиею, до той самой поры, позднего вечера, когда заботы о вырастающих детях будут уже слишком сильно поглощать их мысли. Тогда забота более сладкая, чем личное наслаждение, становится выше его, но до той поры оно все растет. То, что прежние люди знали только на мимолетные месяцы, нынешние люди сохраняют в себе на долгие, долгие годы.

Отчего это так? А это уж секрет; я вам, пожалуй, выдам его. Хороший секрет, славно им пользоваться, и не мудрено, только надобно иметь для этого чистое сердце и честную душу да нынешнее понятие о правах человека, уважение к свободе того, с кем живешь. Только — больше и секрета нет никакого. Смотри на жену, как смотрел на невесту, знай, что она каждую минуту имеет право сказать: «Я недовольна тобою, прочь от меня»; смотри на нее так, и она через девять лет после твоей свадьбы будет внушать тебе такое же поэтическое чувство, как невеста, нет, более поэтическое, более идеальное в хорошем смысле слова. Признавай ее свободу так же открыто и формально и без всяких оговорок, как признаешь свободу твоих друзей чувствовать или не чувствовать дружбу к тебе, и тогда, через десять лет, через двадцать лет после свадьбы, ты будешь ей так же мил, как был женихом. Так живут мужья и жены из нынешних людей. Очень завидно. Но зато же ведь они и честны друг перед другом, они любят друг друга через десять лет после свадьбы сильнее и поэтичнее, чем в день свадьбы, но зато же ведь в эти десять лет ни он, ни она не дали друг другу притворного поцелуя, не сказали ни одного притворного слова. «Ложь не выходила из уст его»,— сказано про кого-то в какой-то книге. «Нет притворства в сердце его»,— сказано про кого-то в какой-то, может быть, в той же, книге. Читают книгу и думают: «Какая изумительная нравственная высота приписывается ему!» Писали книгу и думали: «Это мы описываем такого человека, которому все должны удивляться». Не предвидели, кто писал книгу, не понимают, кто читает ее, что нынешние люди не принимают в число своих знакомых никого, не имеющего такой души, и не имеют недостатка в знакомых и не считают своих знакомых ничем больше, как просто-напросто нынешними людьми, хорошими, но очень обыкновенными людьми.

Одного жаль: в нынешнее время на одного нынешнего человека все еще приходится целый десяток, коли не больше, допотопных людей. Оно, впрочем, натурально — допотопному миру иметь допотопное население.

XV

— Вот мы живем с тобою три года (прежде говорилось: год, потом: два; потом будет говориться: четыре года и так дальше), а все еще мы как будто любовники, которые видятся изредка,

тайком. Откуда это взяли, Саша, что любовь ослабевает, когда ничто не мешает людям вполне принадлежать друг другу? Эти люди не знали истинной любви. Они знали только эротическое самолюбие или эротическую фантазию. Настоящая любовь именно с той поры и начинается, как люди начинают жить вместе.

— Уж не на мне ли ты это замечаешь?

— На тебе я замечаю вещь гораздо более любопытную: еще года через три ты забудешь свою медицину, а еще года через три разучишься читать, и из всех способностей к умственной жизни у тебя останется одна — зрение, да и то разучится видеть что-нибудь, кроме меня.

Такие разговоры не длинны и не часты, но всё у них бывают такие разговоры.

«Да, с каждым годом сильнее».

«Знаешь эти сказки про людей, которые едят опиум: с каждым годом их страсть растет. Кто раз узнал наслаждение, которое дает она, в том она уж никогда не ослабеет, а все только усиливается».

«Да и все сильные страсти такие же, всё развиваются чем дальше, тем сильнее».

«Пресыщение! — Страсть не знает пресыщения, она знает лишь насыщение на несколько часов».

«Пресыщение знает только пустая фантазия, а не сердце, не живой действительный человек, а испорченный мечтатель, ушедший из жизни в мечту».

«Будто мой аппетит ослабевает, будто мой вкус тупеет оттого, что я не голодаю, а каждый день обедаю без помехи и хорошо. Напротив, мой вкус развивается оттого, что мой стол хорош. А аппетит я потеряю только вместе с жизнью, без него нельзя жить» (это уж грубый материализм, замечаю я вместе с проницательным читателем).

«Разве по натуре человека привязанность ослабевает, а не развивается временем? Когда дружба крепче и милее: через неделю, или через год, или через двадцать лет после того, как началась? Надобно только, чтобы друзья сошлись между собою удачно, чтобы в самом деле они годились быть друзьями между собою».

Эти разговоры постоянны, но вовсе не часты. Коротки и очень не часты. В самом деле, что об этом много и часто говорить?

А вот эти и чаще и длиннее.

— Саша, как много поддерживает меня твоя любовь. Через нее я делаюсь самостоятельна, я выхожу из всякой зави-

симости и от тебя,— даже от тебя. А для тебя что принесла моя любовь?

— Для меня? Не менее, чем для тебя. Это постоянное, сильное, здоровое возбуждение нерв, оно необходимо развивает нервную систему (грубый материализм, замечаем опять мы с проницательным читателем); поэтому умственные и нравственные силы растут во мне от моей любви.

— Да, Саша, я слышу от всех,— сама я плохая свидетельница в этом, мои глаза подкуплены, но все видят то же: твои глаза яснеют, твой взгляд становится сильнее и зорче.

— Верочка, что хвалиться или не хвалиться мне перед тобою? мы один человек; но это должно в самом деле отражаться и в глазах. Моя мысль стала много сильнее. Когда я делаю вывод из наблюдений, общий обзор фактов, я теперь в час кончаю то, над чем прежде должен был думать несколько часов. И я могу теперь обнимать мыслью гораздо больше фактов, чем прежде, выводы у меня выходят и шире и полнее. Если бы, Верочка, во мне был какой-нибудь зародыш гениальности, я с этим чувством стал бы великим гением. Если бы от природы была во мне сила создать что-нибудь маленькое новое в науке, я от этого чувства приобрел бы силу пересоздать науку. Но я родился быть только чернорабочим, темным мелким тружеником, который разрабатывает мелкие частные вопросы. Таким я и был без тебя. Теперь, ты знаешь, я уж не то: от меня начинают ждать больше, думают, что я переработаю целую большую отрасль науки, все учение об отправлениях нервной системы. И я чувствую, что исполню это ожидание. В двадцать четыре года у человека шире и смелее новизна взглядов, чем в двадцать девять лет (потом говорится: в тридцать лет, в тридцать два года и так дальше), но тогда у меня не было этого в таком размере, как теперь. И я чувствую, что я все еще расту, когда без тебя я давно бы уже перестал расти. Да я уж и не рос последние два-три года перед тем, как мы стали жить вместе. Ты возвратила мне свежесть первой молодости, силу идти гораздо дальше того, на чем я остановился бы, на чем я уж и остановился было без тебя.

А энергия работы, Верочка, разве мало значит? Страстное возбуждение сил вносится и в труд, когда вся жизнь так настроена. Ты знаешь, как действует на энергию умственного труда кофе, стакан вина; то, что дают они другим на час, за которым следует расслабление, соразмерное этому внешнему и мимолетному возбуждению, то имею я теперь постоянно в

себе,— мои нервы сами так настроены постоянно, сильно, живо. (Опять грубый материализм, замечаем, и проч.)

Эти разговоры чаще и длиннее.

«Кто не испытывал, как возбуждает любовь все силы человека, тот не знает настоящей любви».

«Любовь в том, чтобы помогать возвышению и возвышаться».

«У кого без нее не было бы средств к деятельности, тому она дает их. У кого они есть, тому она дает силы пользоваться ими».

«Только тот любит, кто помогает любимой женщине возвышаться до независимости».

«Только тот любит, у кого светлеет мысль и укрепляются руки от любви».

И вот эти разговоры очень часты:

— Мой милый, я читаю теперь Боккаччио (какая безнравственность! — замечаем мы с проницательным читателем,— женщина читает Боккаччио! это только мы с ним можем читать. Но я, кроме того, замечаю еще вот что: женщина в пять минут услышит от проницательного читателя больше сальностей, очень благоприличных, чем найдет во всем Боккаччио, и, уж конечно, не услышит от него ни одной светлой, свежей, чистой мысли, которых у Боккаччио так много); ты правду говорил, мой милый, что у него громадный талант. Некоторые его рассказы надобно, по-моему, поставить рядом с лучшими шекспировскими драмами по глубине и тонкости психологического анализа.

— А как тебя забавляют его комические рассказы, в которых он так бесцеремонен?

— Некоторые забавны, но вообще эти рассказы скучны, как всякий слишком грубый фарс.

— Но это надобно извинить ему,— ведь он жил за пятьсот лет до нас; то, что нам кажется слишком сальным, слишком площадным, тогда не считалось неприличием.

— Как и многие наши обычаи и весь наш тон будут казаться грубы и грязны гораздо меньше, чем через пятьсот лет. Но это не занимательно; я говорю о тех его рассказах, превосходных, в которых серьезно изображается страстная, высокая любовь. В них всего виднее его великий талант. Но вот что я хотела сказать, Саша: он изображает очень хорошо и сильно; судя по этому, можно сказать, что тогда не знали той

неги любви, как теперь, любовь тогда не чувствовалась так сильно, хоть и говорят, что это была эпоха самого полного наслажденья любовью. Нет, как можно, они не наслаждались ею и вполовину так сильно. Их чувства были слишком поверхностны, их упоение еще слишком слабо и слишком мимолетно.

«Сила ощущения соразмерна тому, из какой глубины организма оно поднимается. Если оно возбуждается исключительно внешним предметом, внешним поводом, оно мимолетно и охватывает только одну свою частную сторону жизни. Кто пьет только потому, что ему подносят стакан, тот мало смыслит вкус в вине, оно слишком мало доставляет ему удовольствия. Наслаждение уже гораздо сильнее, когда корень его в воображении, когда воображение ищет предмета и повода к наслаждению. Тут кровь волнуется уже гораздо сильнее, и уже заметна некоторая теплота в ней, дающая впечатлению гораздо больше неги. Но это еще очень слабо сравнительно с тем, когда корень отношений, соединенных с наслаждением, находится в самой глубине нравственной жизни. Тут возбуждение проникает всю первную систему, волнует ее долго и чрезвычайно сильно. Тут теплота проникает всю грудь: это уж не одно биение сердца, которое возбуждается фантазиею, нет, вся грудь чувствует чрезвычайную свежесть и легкость; это похоже на то, как будто изменяется атмосфера, которою дышит человек, будто воздух стал гораздо чище и богаче кислородом, это ощущение вроде того, какое доставляется теплым солнечным днем, это похоже на то, что чувствуешь, греясь на солнце, но разница огромная в том, что свежесть и теплота развиваются в самых первах, прямо воспринимаются ими, без всякого ослабления своей ласкающей силы посредствующими элементами».

«Я очень довольна, что еще вовремя бросила эту невыгодную манеру. Это правда: надобно, чтобы обращение крови не задерживалось никакими стеснениями. Но зачем после этого так восхищаться, что цвет кожи стал нежнее? это так должно быть. И от каких пустяков! пустяки, но как это портит ногу! чулок должен держаться сам, весь, и слегка; линия стала правильна, этот перерез исчезает.

Это не так скоро проходит. А ведь я только три года носила корсет, я бросила его еще до нынешней нашей жизни. Но правда, что наши платья все-таки теснят талью и без

корсета. Но правда ли, что и это пройдет, как исправилась нога? Правда, несколько проходит,— пройдет; как я довольна. Какой несносный покрой платья! Давно бы пора понять, что гречанки были умнее, платье должно быть широко от самых плеч, как одевались они. Как наш покрой платья портит наш стан! Но у меня эта линия восстановляется, как я рада этому!»

— Как ты хороша, Верочка!
— Как я счастлива, Саша!

И сладкие речи,
Как говор струй;
Его улыбка
И поцелуй.

Милый друг, погаси
Поцелуи твои:
И без них при тебе
Огнь пылает в крови,
И без них при тебе
Жжет румянец лицо,
И волнуется грудь,
И блистают глаза,
Словно в ночи звезда.

XVI

ЧЕТВЕРТЫЙ СОН ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ

И снится Вере Павловне сон, будто:

Доносится до нее знакомый,— о, какой знакомый теперь! — голос издали, ближе, ближе,—

Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur! [1]

И видит Вера Павловна, что это так, все так...

[1] Как мне природа
Блестит вокруг,
Как рдеет солнце,
Смеется луг.— *Перевод С. Заяицкого.*

Золотистым отливом сияет нива; покрыто цветами поле, развертываются сотни, тысячи цветов на кустарнике, опоясывающем поле, зеленеет и шепчет подымающийся за кустарником лес, и он весь пестреет цветами; аромат несется с нивы, с луга, из кустарника, от наполняющих лес цветов; порхают по веткам птицы, и тысячи голосов несутся от ветвей вместе с ароматом; и за нивою, за лугом, за кустарником, лесом опять виднеются такие же сияющие золотом нивы, покрытые цветами луга, покрытые цветами кустарники до дальних гор, покрытых лесом, озаренным солнцем, и над их вершинами там и здесь, там и здесь, светлые, серебристые, золотистые, пурпуровые, прозрачные облака своими переливами слегка оттеняют по горизонту яркую лазурь; взошло солнце, радуется и радует природа, льет свет и теплоту, аромат и песню, любовь и негу в грудь, льется песня радости и неги, любви и добра из груди — «О земля! о нега! о любовь! о любовь, золотая, прекрасная, как утренние облака над вершинами тех гор!»

O Erd'! O Sonne!
O Glück! O Lust!
O Lieb', o Liebe,
So goldenschön
Wie Morgenwolken
Auf jenen Höh'n! [1]

— Теперь ты знаешь меня? Ты знаешь, что я хороша? Но ты не знаешь, никто из вас еще не знает меня во всей моей красоте. Смотри, что было, что теперь, что будет. Слушай и смотри:

Wohl perlet im Glase der purpurne Wein,
Wohl glänzen die Augen der Gäste...[2]

У подошвы горы, на окраине леса, среди цветущих кустарников высоких густых аллей воздвигся дворец.

— Идем туда.

---

[1] О мир, о солнце,
О свет, о смех!
Любви, любови
О блеск златой,
Как зорний облак
Над высью той! — *Перевод С. Заяицкого.*

[2] Как весело кубок бежит по рукам,
Как взоры пирующих ясны! — *Перевод С. Шевырева.*

Они идут, летят.

Роскошный пир. Пенится в стаканах вино; сияют глаза пирующих. Шум и шепот под шум, смех и тайком пожатие руки, и порою украдкой неслышный поцелуй.— «Песню! Песню! Без песни не полно веселие!» И встает поэт. Чело и мысль его озарены вдохновением, ему говорит свои тайны природа, ему раскрывает свой смысл история, и жизнь тысячелетий проносится в его песне рядом картин.

1

Звучат слова поэта, и возникает картина.

Шатры номадов. Вокруг шатров пасутся овцы, лошади, верблюды. Вдали лес олив и смоковниц. Еще дальше, дальше, на краю горизонта к северо-западу, двойной хребет высоких гор. Вершины гор покрыты снегом, склоны их покрыты кедрами. Но стройнее кедров эти пастухи, стройнее пальм их жены, и беззаботна их жизнь в ленивой неге: у них одно дело — любовь, все дни их проходят, день за днем, в ласках и песнях любви.

— Нет,—говорит светлая красавица,— это не обо мне. Тогда меня не было. Эта женщина была рабыня. Где нет равенства, там нет меня. Ту царицу звали Астарта. Вот она.

Роскошная женщина. На руках и на ногах ее тяжелые золотые браслеты; тяжелое ожерелье из перлов и кораллов, оправленных золотом, на ее шее. Ее волоса увлажнены мирром. Сладострастие и раболепство в ее лице, сладострастие и бессмыслие в ее глазах.

«Повинуйся твоему господину; услаждай лень его в промежутки набегов; ты должна любить его, потому что он купил тебя, и если ты не будешь любить его, он убьет тебя»,— говорит она женщине, лежащей перед нею во прахе.

— Ты видишь, что это не я,— говорит красавица.

2

Опять звучат вдохновенные слова поэта. Возникает новая картина.

Город. Вдали на севере и востоке горы; вдали на востоке и юге, подле на западе — море. Дивный город. Не велики в в нем домы и не роскошны снаружи. Но сколько в нем чудных храмов! Особенно на холме, куда ведет лестница с воротами удивительного величия и красоты: весь холм занят хра-

мами и общественными зданиями, из которых каждого одного было бы довольно ныне, чтобы увеличить красоту и славу великолепнейшей из столиц. Тысячи статуй в этих храмах и повсюду в городе — статуи, из которых одной было бы довольно, чтобы сделать музей, где стояла бы она, первым музеем целого мира. И как прекрасен народ, толпящийся на площадях, на улицах: каждый из этих юношей, каждая из этих молодых женщин и девушек могли бы служить моделью для статуи. Деятельный, живой, веселый народ, народ, вся жизнь которого светла и изящна. Эти домы, не роскошные снаружи,— какое богатство изящества и высокого уменья наслаждаться показывают они внутри: на каждую вещь из мебели и посуды можно залюбоваться. И все эти люди, такие прекрасные, так умеющие понимать красоту, живут для любви, для служения красоте. Вот изгнанник возвращается в город, свергнувший его власть: он возвращается затем, чтобы повелевать,— все это знают. Что ж ни одна рука не поднимается против него? На колеснице с ним едет, показывая его народу, прося народ принять его, говоря народу, что она покровительствует ему, женщина чудной красоты даже среди этих красавиц,— и, преклоняясь перед ее красотою, народ отдает власть над собою Пизистрату, ее любимцу. Вот суд; судьи — угрюмые старики: народ может увлекаться, они не знают увлеченья. Ареопаг славится беспощадною строгостью, неумолимым нелицеприятием: боги и богини приходили отдавать свои дела на его решение. И вот должна явиться перед ним женщина, которую все считают виновной в страшных преступлениях: она должна умереть, губительница Афин, каждый из судей уже решил это в душе; является перед ними Аспазия, эта обвиненная, и они все падают перед нею на землю и говорят: «Ты не можешь быть судима, ты слишком прекрасна!» Это ли не царство красоты? Это ли не царство любви?

— Нет,— говорит светлая красавица,— меня тогда не было. Они поклонялись женщине, но не признавали ее равною себе. Они поклонялись ей, но только как источнику наслаждений; человеческого достоинства они еще не признавали в ней! Где нет уважения к женщине, как к человеку, там нет меня. Ту царицу звали Афродита. Вот она.

На этой царице нет никаких украшений,— она так прекрасна, что ее поклонники не хотели, чтоб она имела одежду, ее дивные формы не должны быть скрыты от их восхищенных глаз.

Что говорит она женщине, почти такой же прекрасной, как сама она, бросающей фимиам на ее алтарь?

«Будь источником наслаждения для мужчины. Он господин твой. Ты живешь не для себя, а для него».

И в ее глазах только нега физического наслаждения. Ее осанка горда, в ее лице гордость, но гордость только своею физическою красотою. И на какую жизнь обречена была женщина во время царства ее? Мужчина запирал женщину в гинекей, чтобы никто, кроме его, господина, не мог наслаждаться красотою, ему принадлежащею. У ней не было свободы. Были у них другие женщины, которые называли себя свободными, но они продавали наслаждение своею красотою, они продавали свою свободу. Нет, и у них не было свободы. Эта царица была полурабыня. Где нет свободы, там нет счастия, там нет меня.

3

Опять звучат слова поэта. Возникает новая картина.

Арена перед замком. Кругом амфитеатр с блистательной толпою зрителей. На арене рыцари. Над ареною, на балконе замка сидит девушка. В ее руке шарф. Кто победит, тому шарф и поцелуй руки ее. Рыцари бьются насмерть. Тоггенбург победил. «Рыцарь, я люблю вас, как сестра. Другой любви не требуйте. Не бьется мое сердце, когда вы приходите,— не бьется оно, когда вы удаляетесь».— «Судьба моя решена»,— говорит он и плывет в Палестину. По всему христианству разносится слава его подвигов. Но он не может жить, не видя царицу души своей. Он возвращается, он не нашел забвенья в битвах. «Не стучитесь, рыцарь: она в монастыре». Он строит себе хижину, из окон которой, невидимый ей, может видеть ее, когда она поутру раскрывает окно своей кельи. И вся жизнь его — ждать, пока явится она у окна, прекрасная, как солнце; нет у него другой жизни, как видеть царицу души своей, и не было у него другой жизни, пока не иссякла в нем жизнь; и когда погасла в нем жизнь, он сидел у окна своей хижины и думал только одно: увижу ли ее еще?

— Это уж вовсе, вовсе не обо мне,— говорит светлая красавица.— Он любил ее, пока не касался к ней. Когда она становилась его женою, она становилась его подданною; она должна была трепетать его; он запирал ее; он переставал любить ее.

Он охотился, он уезжал на войну, он пировал с своими товарищами, он насиловал своих вассалок,— жена была брошена, заперта, презрена. Ту женщину, которой касался мужчина, этот мужчина уж не любил тогда. Нет, тогда меня не было. Ту царицу звали «Непорочностью». Вот она.

Скромная, кроткая, нежная, прекрасная,— прекраснее Астарты, прекраснее самой Афродиты, но задумчивая, грустная, скорбящая. Перед нею преклоняют колена, ей подносят венки роз. Она говорит: «Печальная до смертной скорби душа моя. Меч пронзил сердце мое. Скорбите и вы. Вы несчастны. Земля — долина плача».

— Нет, нет, меня тогда не было,— говорит светлая красавица.

4

Нет, те царицы были непохожи на меня. Все они еще продолжают царствовать, но царства всех их падают. С рождением каждой из них начинало падать царство прежней. И я родилась только тогда, когда стало падать царство последней из них. И с тех пор как я родилась, царства их стали падать быстро, быстро, и они вовсе падут,— из них следующая не могла заменить прежних, и они оставались при ней. Я заменяю всех, они исчезнут, я одна останусь царствовать над всем миром. Но они должны были царствовать прежде меня; без их царств не могло прийти мое.

Люди были как животные. Они перестали быть животными, когда мужчина стал ценить в женщине красоту. Но женщина слабее мужчины силою; а мужчина был груб. Все тогда решалось силою. Мужчина присвоил себе женщину, красоту которой стал ценить. Она стала собственностью его, вещью его. Это царство Астарты.

Когда он стал более развит, он стал больше прежнего ценить ее красоту, преклонился перед ее красотою. Но ее сознание было еще не развито. Он ценил только в ней красоту. Она умела думать еще только то, что слышала от него. Он говорил, что только он человек, она не человек, и она еще видела в себе только прекрасную драгоценность, принадлежащую ему,— человеком она не считала себя. Это царство Афродиты.

Но вот начало в ней пробуждаться сознание, что и она человек. Какая скорбь должна была обнять ее и при самом слабом появлении в ней мысли о своем человеческом

достоинстве! Ведь она еще не была признаваема за человека. Мужчина еще не хотел иметь ее иною подругою себе, как своею рабынею. И она говорила: я не хочу быть твоею подругою! Тогда страсть к ней заставляла его умолять и смиряться, и он забывал, что не считает ее человеком, и он любил ее, недоступную, неприкосновенную, непорочную деву. Но лишь только верила она его мольбе, лишь только он касался ее — горе ей! Она была в руках его, эти руки были сильнее ее рук, а он был груб, и он обращал ее в свою рабыню и презирал ее. Горе ей! Это скорбное царство девы.

Но шли века; моя сестра,— ты знаешь ее? — та, которая раньше меня стала являться тебе, делала свое дело. Она была всегда, она была прежде всех, она уж была, как были люди, и всегда работала неутомимо. Тяжел был ее труд, медлен успех, но она работала, работала, и рос успех. Мужчина становился разумнее, женщина тверже и тверже сознавала себя равным ему человеком — и пришло время, родилась я.

Это было недавно, о, это было очень недавно. Ты знаешь ли, кто первый почувствовал, что я родилась, и сказал это другим? Это сказал Руссо в «Новой Элоизе». В ней, от него люди в первый раз услышали обо мне.

И с той поры мое царство растет. Еще не над многими я царица. Но оно быстро растет, и ты уже предвидишь время, когда я буду царствовать над всею землею. Только тогда вполне почувствуют люди, как я хороша. Теперь те, кто признают мою власть, еще не могут повиноваться всей моей воле. Они окружены массою, неприязненною всей моей воле. Масса истерзала бы их, отравила бы их жизнь, если б они знали и исполняли всю мою волю. А мне нужно счастье, я не хочу никаких страданий, и я говорю им: не делайте того, за что вас стали бы мучить; знайте мою волю теперь лишь настолько, насколько можете знать ее без вреда себе.

— Но я могу знать всю тебя?

— Да, ты можешь. Твое положение очень счастливое. Тебе нечего бояться. Ты можешь делать все, что захочешь. И если ты будешь знать всю мою волю, от тебя моя воля не захочет ничего вредного тебе: тебе не нужно желать, ты не будешь желать ничего, за что стали бы мучить тебя не знающие меня. Ты теперь вполне довольна тем, что имеешь; ни о чем другом, ни о ком другом ты не думаешь и не будешь думать. Я могу открыться тебе вся.

— Назови же мне себя, ты назвала мне прежних цариц, себя ты еще никогда не называла мне.

— Ты хочешь, чтобы я назвала себя? Смотри на меня, слушай меня.

5

— Смотри на меня, слушай меня. Ты узнаешь ли мой голос? Ты узнаешь ли лицо мое? Ты видела ли лицо мое?

Да, она еще не видела лица ее, вовсе не видела ее. Как же ей казалось, что она видит ее? Вот уж год, с тех пор как она говорит с ним, с тех пор как он смотрит на нее, целует ее, она так часто видит ее, эту светлую красавицу, и красавица не прячется от нее, как она не прячется от него, она вся является ей.

— Нет, я не видела тебя, я не видела лица твоего; ты являлась мне, я видела тебя, но ты окружена сиянием, я не могла видеть тебя, я видела только, что ты прекраснее всех. Твой голос, я слышу его, но я слышу только, что твой голос прекраснее всех.

— Смотри же, для тебя, на эту минуту, я уменьшаю сиянье моего ореола, и мой голос звучит тебе на эту минуту без очаровательности, которую я всегда даю ему; на минуту я для тебя перестаю быть царицею. Ты видела, ты слышала? Ты узнала? Довольно, я опять царица, и уже навсегда царица.

Она опять окружена всем блеском своего сияния, и опять голос ее невыразимо упоителен. Но на минуту, когда она переставала быть царицею, чтобы дать узнать себя, неужели это так? Неужели это лицо видела, неужели этот голос слышала Вера Павловна?

— Да,— говорит царица,— ты хотела знать, кто я, ты узнала. Ты хотела узнать мое имя, у меня нет имени, отдельного от той, которой являюсь я, мое имя — ее имя; ты видела, кто я. Нет ничего выше человека, нет ничего выше женщины. Я та, которой являюсь я, которая любит, которая любима.

Да, Вера Павловна видела: это она сама, это она сама, но богиня. Лицо богини ее самой лицо, это ее живое лицо, черты которого так далеки от совершенства, прекраснее которого видит она каждый день не одно лицо; это ее лицо, озаренное сиянием любви, прекраснее всех идеалов, завещанных

нам скульпторами древности и великими живописцами великого века живописи, да, это она сама, но озаренная сиянием любви, она, прекраснее которой есть сотни лиц в Петербурге, таком бедном красотою, она прекраснее Афродиты Луврской, прекраснее доселе известных красавиц.

— Ты видишь себя в зеркале такою, какая ты сама по себе, без меня. Во мне ты видишь себя такою, какою видит тебя тот, кто любит тебя. Для него я сливаюсь с тобою. Для него нет никого прекраснее тебя; для него все идеалы меркнут перед тобою. Так ли?

Так, о, так!

6

Теперь ты знаешь, кто я; узнай, что я...

Во мне наслаждение чувства, которое было в Астарте: она родоначальница всех нас, других цариц, сменявших ее. Во мне упоение созерцанием красоты, которое было в Афродите. Во мне благоговение перед чистотою, которое было в «Непорочности».

Но во мне все это не так, как было в них, а полнее, выше, сильнее. То, что было в «Непорочности», соединяется во мне с тем, что было в Астарте, и с тем, что было в Афродите. И, соединяясь во мне с другими силами, каждая из этих сил становится могущественнее и лучше от союза. Но больше, еще гораздо больше могущества и прелести дается каждой из этих сил во мне тем новым, что есть во мне, чего не было ни в одной из прежних цариц. Это новое во мне то, чем я отличаюсь от них,— равноправность любящих, равное отношение между ними, как людьми, и от этого одного нового все во мне много, о, много прекраснее, чем было в них.

Когда мужчина признает равноправность женщины с собою, он отказывается от взгляда на нее, как на свою принадлежность. Тогда она любит его, как он любит ее, только потому, что хочет любить, если же она не хочет, он не имеет никаких прав над нею, как и она над ним. Поэтому во мне свобода.

От равноправности и свободы и то мое, что было в прежних царицах, получает новый характер, высшую прелесть, прелесть, какой не знали до меня, перед которой ничто всё, что знали до меня.

До меня не знали полного наслаждения чувства, потому что без свободного влечения обоих любящих ни один из них не имеет светлого упоения. До меня не знали полного наслаждения созерцанием красоты, потому что, если красота открывается не по свободному влечению, нет светлого упоения ее созерцанием. Без свободного влечения и наслаждение и восхищение мрачны перед тем, каковы они во мне.

Моя непорочность чище той «Непорочности», которая говорила только о чистоте тела: во мне чистота сердца. Я свободна, потому во мне нет обмана, нет притворства: я не скажу слова, которого не чувствую, я не дам поцелуя, в котором нет симпатии.

Но то, что во мне новое, что дает высшую прелесть тому, что было в прежних царицах, оно само по себе составляет во мне прелесть, которая выше всего. Господин стеснен при слуге, слуга стеснен перед господином; только с равным себе вполне свободен человек. С низшим скучно, только с равным полное веселье. Вот почему до меня и мужчина не знал полного счастья любви; того, что он чувствовал до меня, не стоило называть счастьем, это было только минутное опьянение. А женщина, как жалка была до меня женщина! она была тогда подвластным, рабствующим лицом; она была в боязни, она до меня слишком мало знала, что такое любовь: где боязнь, там нет любви...

Поэтому, если ты хочешь одним словом выразить, что такое я, это слово — равноправность. Без него наслаждение телом, восхищение красотою скучны, мрачны, гадки; без него нет чистоты сердца, есть только обман чистотою тела. Из него, из равенства, и свобода во мне, без которой нет меня.

Я все сказала тебе, что ты можешь сказать другим, все, что я теперь. Но теперь царство мое еще мало, я еще должна беречь своих от клеветы не знающих меня, я еще не могу высказывать всю мою волю всем. Я скажу ее всем, когда мое царство будет над всеми людьми, когда все люди будут прекрасны телом и чисты сердцем, тогда я открою им всю мою красоту. Но ты, твоя судьба, особенно счастлива; тебя я не смущу, тебе я не повредю, сказавши, чем буду я, когда не немногие, как теперь, а все будут достойны признавать меня своею царицею. Тебе одной я скажу тайны моего будущего. Клянись молчать и слушай.

7

. . . . . .
. . . . . .

8

— О любовь моя, теперь я знаю всю твою волю; я знаю, что она будет; но как же она будет? Как тогда будут жить люди?

— Я одна не могу рассказать тебе этого, для этого мне нужна помощь моей старшей сестры,— той, которая давно являлась тебе. Она моя владычица и слуга моя. Я могу быть только тем, чем она делает меня; но она работает для меня. Сестра, приди на помощь.

Является сестра своих сестер, невеста своих женихов.

— Здравствуй, сестра,— говорит она царице,— здесь и ты, сестра? — говорит она Вере Павловне.— Ты хочешь видеть, как будут жить люди, когда царица, моя воспитанница, будет царствовать над всеми? Смотри.

Здание, громадное, громадное здание, каких теперь лишь по нескольку в самых больших столицах,— или нет, теперь ни одного такого! Оно стоит среди нив и лугов, садов и рощ. Нивы — это наши хлеба, только не такие, как у нас, а густые, густые, изобильные, изобильные. Неужели это пшеница? Кто ж видел такие колосья? Кто ж видел такие зерна? Только в оранжерее можно бы теперь вырастить такие колосья с такими зернами. Поля — это наши поля; но такие цветы теперь только в цветниках у нас. Сады, лимонные и апельсинные деревья, персики и абрикосы,— как же они растут на открытом воздухе? О, да это колонны вокруг них, это они открыты на лето; да, это оранжереи, раскрывающиеся на лето. Рощи — это наши рощи: дуб и липа, клен и вяз,— да, рощи те же, как теперь; за ними очень заботливый уход, нет в них ни одного больного дерева, но рощи те же,— только они и остались те же, как теперь. Но это здание,— что ж это, какой оно архитектуры? теперь нет такой; нет, уж есть один намек на нее,— дворец, который стоит на Сайденгамском холме: чугун и стекло, чугун и стекло — только. Нет, не только: это лишь оболочка здания, это его наружные стены; а там, внутри, уж настоящий дом, громаднейший дом: он покрыт этим чугунно-хрустальным зда-

нием, как футляром; оно образует вокруг него широкие галереи по всем этажам. Какая легкая архитектура этого внутреннего дома, какие маленькие простенки между окнами, а окна огромные, широкие, во всю вышину этажей! его каменные стены — будто ряд пилястров, составляющих раму для окон, которые выходят на галерею. Но какие это полы и потолки? Из чего эти двери и рамы окон? Что это такое? серебро? платина? да и мебель почти вся такая же,— мебель из дерева тут лишь каприз, она только для разнообразия, но из чего ж вся остальная мебель, потолки и полы? «Попробуй подвинуть это кресло»,— говорит старшая царица. Эта металлическая мебель легче нашей ореховой. Но что ж это за металл? Ах, знаю теперь, Саша показывал мне такую дощечку, она была легка, как стекло, и теперь уж есть такие серьги, брошки; да, Саша говорил, что, рано или поздно, алюминий заменит собою дерево, может быть, и камень. Но как же все это богато! Везде алюминий и алюминий, и все промежутки окон одеты огромными зеркалами. И какие ковры на полу! Вот в этом зале половина пола открыта, тут и видно, что он из алюминия. «Ты видишь, тут он матовый, чтобы не был слишком скользок,— тут играют дети, а вместе с ними и большие; вот и в том зале пол тоже без ковров,— для танцев». И повсюду южные деревья и цветы; весь дом — громадный зимний сад.

Но кто же живет в этом доме, который великолепнее дворцов? «Здесь живет много, очень много; иди, мы увидим их». Они идут на балкон, выступающий из верхнего этажа галереи. Как же Вера Павловна не заметила прежде? «По этим нивам рассеяны группы людей; везде мужчины и женщины, старики, молодые и дети вместе. Но больше молодых; стариков мало, старух еще меньше, детей больше, чем стариков, но все-таки не очень много. Больше половины детей осталось дома заниматься хозяйством: они делают почти все по хозяйству, они очень любят это; с ними несколько старух. А стариков и старух очень мало потому, что здесь очень поздно становятся ими, здесь здоровая и спокойная жизнь; она сохраняет свежесть». Группы, работающие на нивах, почти все поют; но какой работою они заняты? Ах, это они убирают хлеб. Как быстро идет у них работа! Но еще бы не идти ей быстро, и еще бы не петь им! Почти все делают за них машины — и жнут, и вяжут снопы, и отвозят их,— люди почти только ходят, ездят, управляют машинами; и как они удобно устроили себе; день зноен, но им, конечно, ничего: над тою частью нивы, где они рабо-

тают, раскинут огромный полог; как подвигается работа, подвигается и он,— как они устроили себе прохладу! Еще бы им не быстро и не весело работать, еще бы им не петь! Этак и я стала бы жать! И всё песни, всё песни,— незнакомые, новые; а вот припомнили и нашу; знаю ее:

Будем жить с тобой по-пански;
Эти люди — нам друзья,
Что душе твоей угодно,
Все добуду с ними я...

Но вот работа кончена, все идут к зданию. «Войдем опять в зал, посмотрим, как они будут обедать»,— говорит старшая сестра. Они входят в самый большой из огромных зал. Половина его занята столами,— столы уж накрыты,— сколько их! Сколько же тут будет обедающих? Да человек тысяча или больше: «Здесь не все; кому угодно, обедают особо, у себя»; те старухи, старики, дети, которые не выходили в поле, приготовили все это: «готовить кушанье, заниматься хозяйством, прибирать в комнатах — это слишком легкая работа для других рук,— говорит старшая сестра,— ею следует заниматься тем, кто еще не может или уже не может делать ничего другого». Великолепная сервировка. Все алюминий и хрусталь; по средней полосе широких столов расставлены вазы с цветами; блюда уж на столе, вошли работающие, все садятся за обед, и они, и готовившие обед. «А кто ж будет прислуживать?» — «Когда? во время стола? зачем? Ведь всего пять-шесть блюд: те, которые должны быть горячие, поставлены на таких местах, что не остынут; видишь, в углублениях — это ящики с кипятком,— говорит старшая сестра.— Ты хорошо живешь, ты любишь хороший стол, часто у тебя бывает такой обед?» — «Несколько раз в год».— «У них это обыкновенный: кому угодно, тот имеет лучше, какой угодно, но тогда особый расчет; а кто не требует себе особенного против того, что делается для всех, с тем нет никакого расчета. И все так: то, что могут по средствам своей компании все, за то нет расчетов; за каждую особую вещь или прихоть — расчет».

«Неужели ж это мы? неужели это наша земля? Я слышала нашу песню, они говорят по-русски».— «Да, ты видишь невдалеке реку — это Ока; эти люди мы, ведь с тобою я, русская!» — «И ты все это сделала?» — «Это все сделано для меня, и я одушевляла делать это, я одушевляю совершенствовать это, но делает это вот она, моя старшая сестра, она работница, а я только наслаждаюсь».— «И все так будут жить?» — «Все,— говорит

старшая сестра,— для всех вечная весна и лето, вечная радость. Но мы показали тебе только конец моей половины дня, работы, и начало ее половины; — мы еще посмотрим на них вечером, через два месяца».

9

Цветы завяли; листья начинают падать с деревьев; картина становится уныла. «Видишь, на это скучно было бы смотреть, тут было бы скучно жить,— говорит младшая сестра,— я так не хочу».— «Залы пусты, на полях и в садах тоже нет никого,— говорит старшая сестра,— я это устроила по воле своей сестры царицы».— «Неужели дворец в самом деле опустел?» — «Да, ведь здесь холодно и сыро, зачем же быть здесь? Здесь из двух тысяч человек осталось теперь десять — двадцать человек оригиналов, которым на этот раз показалось приятным разнообразием остаться здесь, в глуши, в уединении, посмотреть на северную осень. Через несколько времени, зимою, здесь будут беспрестанные смены, будут приезжать маленькими партиями любители зимних прогулок провести здесь несколько дней по-зимнему».

«Но где ж они теперь?» — «Да везде, где тепло и хорошо,— говорит старшая сестра,— на лето, когда здесь много работы и хорошо, приезжает сюда множество всяких гостей с юга; мы были в доме, где вся компания из одних вас; но множество домов построено для гостей, в других и разноплеменные гости и хозяева поселяются вместе, кому как нравится, такую компанию и выбирает. Но, принимая летом множество гостей, помощников в работе, вы сами на семь-восемь плохих месяцев вашего года уезжаете на юг,— кому куда приятнее. Но есть у вас на юге и особая сторона, куда уезжает главная масса ваша. Эта сторона так и называется Новая Россия».— «Это где Одесса и Херсон?» — «Это в твое время, а теперь, смотри, вот где Новая Россия».

Горы, одетые садами; между гор узкие долины, широкие равнины. «Эти горы были прежде голые скалы,— говорит старшая сестра.— Теперь они покрыты толстым слоем земли, и на них среди садов растут рощи самых высоких деревьев: внизу во влажных ложбинах плантации кофейного дерева; выше финиковые пальмы, смоковницы; виноградники перемешаны с плантациями сахарного тростника; на нивах есть и пшеница, но больше рис».— «Что ж это за земля?» — «Поднимемся на минуту повыше, ты увидишь ее границы». На далеком северо-

востоке две реки, которые сливаются вместе прямо на востоке от того места, с которого смотрит Вера Павловна; дальше к югу, все в том же юго-восточном направлении, длинный и широкий залив; на юге далеко идет земля, расширяясь все больше к югу между этим заливом и длинным узким заливом, составляющим ее западную границу. Между западным узким заливом и морем, которое очень далеко на северо-западе, узкий перешеек. «Но мы в центре пустыни?» — говорит изумленная Вера Павловна. «Да, в центре бывшей пустыни; а теперь, как видишь, все пространство с севера, от той большой реки на северо-востоке, уже обращено в благодатнейшую землю, в землю такую же, какою была когда-то и опять стала теперь та полоса по морю на север от нее, про которую говорилось в старину, что она «кипит молоком и медом». Мы не очень далеко, ты видишь, от южной границы возделанного пространства, горная часть полуострова еще остается песчаною, бесплодною степью, какою был в твое время весь полуостров; с каждым годом люди, вы, русские, все дальше отодвигаете границу пустыни на юг. Другие работают в других странах: всем и много места, и довольно работы, и просторно, и обильно. Да, от большой северо-восточной реки все пространство на юг до половины полуострова зеленеет и цветет, по всему пространству стоят, как на севере, громадные здания, в трех, в четырех верстах друг от друга, будто бесчисленные громадные шахматы на исполинской шахматнице».— «Спустимся к одному из них»,— говорит старшая сестра.

Такой же хрустальный громадный дом, но колонны его белые. «Они потому из алюминия,— говорит старшая сестра,— что здесь ведь очень тепло, белое меньше разгорячается на солнце, это несколько дороже чугуна, но по-здешнему удобнее». Но вот что они еще придумали: на дальнее расстояние кругом хрустального дворца идут ряды тонких, чрезвычайно высоких столбов, и на них, высоко над дворцом, над всем дворцом и на полверсты вокруг него, растянут белый полог. «Он постоянно обрызгивается водою,— говорит старшая сестра,— видишь, из каждой колонны подымается выше полога маленький фонтан, разлетающийся дождем вокруг, поэтому жить здесь прохладно: ты видишь, они изменяют температуру, как хотят».— «А кому нравится зной и яркое здешнее солнце?» — «Ты видишь, вдали есть павильоны и шатры. Каждый может жить, как ему угодно; я к тому веду, я все для этого только и работаю».— «Значит, остались и города для тех, кому нравится в городах?» — «Не очень много таких людей; городов осталось меньше прежнего,—

почти только для того, чтобы быть центрами сношений и перевозки товаров, у лучших гаваней, в других центрах сообщений, но эти города больше и великолепнее прежних; все туда ездят на несколько дней для разнообразия; большая часть их жителей беспрестанно сменяется, бывает там для труда, на недолгое время».— «Но кто хочет постоянно жить в них?» — «Живут, как вы живете в своих Петербургах, Парижах, Лондонах,— кому ж какое дело? кто станет мешать? Каждый живи, как хочешь; только огромнейшее большинство, девяносто девять человек из ста живут так, как мы с сестрою показываем тебе, потому что это им приятнее и выгоднее. Но иди же во дворец, уж довольно поздний вечер, пора смотреть на них».

«Но нет, прежде я хочу же знать, как это сделалось?» — «Что?» — «То, что бесплодная пустыня обратилась в плодороднейшую землю, где почти все мы проводим две трети нашего года».— «Как это сделалось? да что ж тут мудреного? Ведь это сделалось не в один год и не в десять лет, я постепенно подвигала дело. С северо-востока, от берегов большой реки, с северо-запада, от прибрежья большого моря,— у них так много таких сильных машин,— возили глину, она связывала песок, проводили каналы, устраивали орошение, явилась зелень, явилось и больше влаги в воздухе; шли вперед шаг за шагом, по нескольку верст, иногда по одной версте в год, как и теперь всё идут больше на юг, что ж тут особенного? Они только стали умны, стали обращать на пользу себе громадное количество сил и средств, которые прежде тратили без пользы или и прямо во вред себе. Недаром же я работаю и учу. Трудно было людям только понять, что полезно, они были в твое время еще такими дикарями, такими грубыми, жестокими, безрассудными, но я учила и учила их; а когда они стали понимать, исполнять было уже нетрудно. Я не требую ничего трудного, ты знаешь. Ты кое-что делаешь по-моему, для меня,— разве это дурно?» — «Нет».— «Конечно, нет. Вспомни же свою мастерскую, разве у вас было много средств? разве больше, чем у других?» — «Нет, какие ж у нас были средства?» — «А ведь твои швеи имеют в десять раз больше удобств, в двадцать раз больше радостей жизни, во сто раз меньше испытывают неприятного, чем другие, с такими же средствами, какие были у вас. Ты сама доказала, что и в твое время люди могут жить очень привольно. Нужно только быть рассудительными, уметь хорошо устроиться, узнать, как выгоднее употреблять средства».— «Так, так; я это знаю».— «Иди же еще посмотреть немножко, как живут люди через несколько времени после того, как стали понимать то, что давно понимала ты».

Они входят в дом. Опять такой же громаднейший, великолепный зал. Вечер в полном своем просторе и веселье, прошло уж три часа после заката солнца: самая пора веселья. Как ярко освещен зал, чем же? — нигде не видно ни канделябров, ни люстр; ах, вот что! — в куполе зала большая площадка из матового стекла, через нее льется свет,— конечно, такой он и должен быть: совершенно, как солнечный, белый, яркий и мягкий,— ну да, это электрическое освещение. В зале около тысячи человек народа, но в ней могло бы свободно быть втрое больше. «И бывает, когда приезжают гости,— говорит светлая красавица,— бывает и больше».— «Так что ж это? разве не бал? Это разве простой будничный вечер?» — «Конечно».— «А понынешнему, это был бы придворный бал, так роскошна одежда женщин; да, другие времена, это видно и по покрою платьев. Есть несколько дам и в нашем платье, но видно, что они оделись так для разнообразия, для шутки; да, они дурачатся, шутят над своим костюмом; на других другие, самые разнообразные костюмы, разных восточных и южных покроев, все они грациознее нашего; но преобладает костюм, похожий на тот, какой носили гречанки в изящнейшее время Афин,— очень легкий и свободный, и на мужчинах тоже широкое, длинное платье без талии, что-то вроде мантий и матиев, видно, что это обыкновенный домашний костюм их, как это платье скромно и прекрасно! Как мягко и изящно обрисовывает оно формы, как возвышает оно грациозность движений! И какой оркестр, более ста артистов и артисток, но, особенно, какой хор!» — «Да, у вас в целой Европе не было десяти таких голосов, каких ты в одном этом зале найдешь целую сотню, и в каждом другом столько же: образ жизни не тот, очень здоровый и вместе изящный, потому и грудь лучше, и голос лучше»,— говорит светлая царица. Но люди в оркестре и в хоре беспрестанно меняются: одни уходят, другие становятся на их место,— они уходят танцевать, они приходят из танцующих.

У них вечер, будничный, обыкновенный вечер, они каждый вечер так веселятся и танцуют; но когда же я видела такую энергию веселья? но как и не иметь их веселью энергии, неизвестной нам? — Они поутру наработались. Кто не наработался вдоволь, тот не приготовил нерв, чтобы чувствовать полноту веселья. И теперь веселье простых людей, когда им удается ве-

селиться, более радостно, живо и свежо, чем наше; но у наших простых людей скудны средства для веселья, а здесь средства богаче, нежели у нас; и веселье наших простых людей смущается воспоминанием неудобств и лишений, бед и страданий, смущается предчувствием того же впереди,— это мимолетный час забытья нужды и горя,— а разве нужда и горе могут быть забыты вполне? разве песок пустыни не заносит? разве миазмы болота не заражают и небольшого клочка хорошей земли с хорошим воздухом, лежащего между пустынею и болотом? А здесь нет ни воспоминаний, ни опасений нужды или горя; здесь только воспоминания вольного труда в охоту, довольства, добра и наслаждения, здесь и ожидания только все того же впереди. Какое же сравнение! И опять: у наших рабочих людей нервы только крепки, потому способны выдерживать много веселья, но они у них грубы, не восприимчивы. А здесь: нервы и крепки, как у наших рабочих людей, и развиты, впечатлительны, как у нас; приготовленность к веселью, здоровая, сильная жажда его, какой нет у нас, какая дается только могучим здоровьем и физическим трудом, в этих людях соединяется со всею тонкостью ощущений, какая есть в нас; они имеют все наше нравственное развитие вместе с физическим развитием крепких наших рабочих людей: понятно, что их веселье, что их наслаждение, их страсть — все живее и сильнее, шире и сладостнее, чем у нас. Счастливые люди!

Нет, теперь еще не знают, что такое настоящее веселье, потому что еще нет такой жизни, какая нужна для него, и нет таких людей. Только такие люди могут вполне веселиться и знать весь восторг наслажденья! Как они цветут здоровьем и силою, как стройны и грациозны они, как энергичны и выразительны их черты! Все они — счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь труда и наслаждения,— счастливцы, счастливцы!

Шумно веселится в громадном зале половина их, а где ж другая половина? «Где другие? — говорит светлая царица.— Они везде; многие в театре, одни актерами, другие музыкантами, третьи зрителями, как нравится кому; иные рассеялись по аудиториям, музеям, сидят в библиотеке; иные в аллеях сада, иные в своих комнатах, или чтобы отдохнуть наедине, или с своими детьми, но больше, больше всего — это моя тайна. Ты видела в зале, как горят щеки, как блистают глаза; ты видела — они уходили, они приходили; они уходили — это я увлекла их, здесь комната каждого и каждой — мой приют, в них мои тайны ненарушимы, занавесы дверей, роскошные ковры,

поглощающие звук, там тишина, там тайна; они возвращались — это я возвращала их из царства моих тайн на легкое веселье. Здесь царствую я.

Я царствую здесь. Здесь всё для меня! Труд — заготовление свежести чувств и сил для меня, веселье — приготовления ко мне, отдых после меня. Здесь я — цель жизни, здесь я — вся жизнь».

11

«В моей сестре, царице, высшее счастие жизни,— говорит старшая сестра,— но ты видишь, здесь всякое счастье, какое кому надобно. Здесь все живут, как лучше кому жить, здесь всем и каждому — полная воля, вольная воля.

То, что мы показали тебе, не скоро будет в полном своем развитии, какое видела теперь ты. Сменится много поколений, прежде чем вполне осуществится то, что ты предощущаешь. Нет, не много поколений: моя работа идет теперь быстро, все быстрее с каждым годом, но все-таки ты еще не войдешь в это полное царство моей сестры; по крайней мере, ты видела его, ты знаешь будущее. Оно светло, оно прекрасно. Говори же всем: вот что в будущем, будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести».

XVII

Через год новая мастерская уж совершенно устроилась, установилась. Обе мастерские были тесно связаны между собою, передавали одна другой заказы, когда одна была завалена ими, а другая имела время исполнить их. Между ними был текущий счет. Размер их средств был уже достаточен, чтобы они могли открыть магазин на Невском, если сблизятся между собою еще больше. Устроить это стоило довольно много хлопот Вере Павловне и Мерцаловой. Хотя их компании были дружны, хотя часто одна компания принимала у себя в гостях другую, хотя часто они соединялись для поездок за город, но

все-таки мысль о солидарности счетов двух разных предприятий была мысль новая, которую надобно было долго и много разъяснять. Однако же выгода иметь на Невском свой магазин была очевидна, и после нескольких месяцев забот о слиянии двух счетоводств прихода в одно Вере Павловне и Мерцаловой удалось достичь этого. На Невском явилась новая вывеска: «Au bon travail. Magasin des Nouveautés». С открытием магазина дела стали развиваться быстрее прежнего и становились все выгоднее. Мерцалова и Вера Павловна уже мечтали в своих разговорах, что года через два вместо двух швейных будет четыре, пять, а там скоро и десять и двадцать.

Месяца через три по открытии магазина приехал к Кирсанову один отчасти знакомый, а больше незнакомый собрат его по медицине, много рассказывал о разных медицинских казусах, всего больше об удивительных успехах своей методы врачевания, состоявшей в том, чтобы класть вдоль по груди и по животу два узенькие и длинные мешочка, наполненные толченым льдом и завернутые каждый в четыре салфетки, а в заключение всего сказал, что один из его знакомых желает познакомиться с Кирсановым.

Кирсанов исполнил желание; знакомство было приятное, был разговор о многом, между прочим о магазине. Объяснил, что магазин открыт, собственно, с торговою целью; долго говорили о вывеске магазина, хорошо ли, что на вывеске написано travail. Кирсанов говорил, что travail значит труд, Au bon travail — магазин, хорошо исполняющий заказы; рассуждали о том, не лучше ли было бы заменить такой девиз фамилиею. Кирсанов стал говорить, что русская фамилия его жены наделает коммерческого убытка; наконец придумал такое средство: его жену зовут «Вера» — по-французски вера — foi; если бы на вывеске можно было написать вместо Au bon travail — A la bonne foi, то не было ли бы достаточно этого? — Это бы имело самый невинный смысл — «добросовестный магазин», и имя хозяйки было бы на вывеске; рассудивши, увидели, что это можно. Кирсанов с особенным усердием обращал разговор на такие вопросы и вообще успевал в этом, так что возвратился домой очень довольный.

Но, во всяком случае, Мерцалова и Вера Павловна значительно поурезали крылья своим мечтам и стали заботиться о том, чтобы хотя удержаться на месте, а уж не о том, чтоб идти вперед.

Таким образом, по охлаждении лишнего жара в Вере Павловне и Мерцаловой, швейные и магазин продолжали существо-

вать, не развиваясь, но радуясь уже и тому, что продолжают существовать. Новое знакомство Кирсанова продолжалось и приносило ему много удовольствия. Так прошло еще года два или больше, без всяких особенных происшествий.

XVIII

ПИСЬМО КАТЕРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ПОЛОЗОВОЙ

С.-Петербург, 17 августа 1860 г.

«Милая Полина, мне так понравилась совершенно новая вещь, которую я недавно узнала и которой теперь сама занимаюсь с большим усердием, что я хочу описать ее тебе. Я уверена, что ты также заинтересуешься ею. Но главное, ты сама, быть может, найдешь возможность заняться чем-нибудь подобным. Это так приятно, мой друг.

Вещь, которую я хочу описать для тебя,— швейная; собственно говоря, две швейные, обе устроенные по одному принципу женщиною, с которою познакомилась я всего только две недели тому назад, но уж успела очень подружиться. Я теперь помогаю ей, с тем условием, чтобы она потом помогла мне устроить еще такую же швейную. Эта дама, Вера Павловна Кирсанова, еще молодая, добрая, веселая, совершенно в моем вкусе, то есть больше похожа на тебя, Полина, чем на твою Катю, такую смирную: она бойкая и живая госпожа. Случайно услышав о ее мастерской,— мне сказывали только об одной,— я прямо приехала к ней и без всяких рекомендаций и предлогов, просто сказала, что я заинтересовалась ее швейною. Мы сошлись с первого же раза, тем больше, что в Кирсанове, ее муже, я нашла того самого доктора Кирсанова, который пять лет тому назад оказал мне, помнишь, такую важную услугу.

Поговоривши со мною с полчаса и увидев, что я действительно сочувствую таким вещам, Вера Павловна повела меня в свою мастерскую, ту, которою она сама занимается (другую, которая была устроена прежде, взяла на себя одна из ее близких знакомых, тоже очень хорошая молодая дама), и я перескажу тебе впечатления моего первого посещения; они были так новы и поразительны, что я тогда же внесла их в свой

дневник, который был давно брошен, но теперь возобновился по особенному обстоятельству, о котором, быть может, я расскажу тебе через несколько времени. Я очень довольна, что эти впечатления были тогда записаны мною: теперь я и забыла бы упомянуть о многом, что поразило меня тогда, а нынче, только через две недели, уже кажется самым обыкновенным делом, которое иначе и не должно быть. Но чем обыкновеннее становится эта вещь, тем больше я привязываюсь к ней, потому что она очень хороша. Итак, Полина, я начинаю выписку из моего дневника, дополняя подробностями, которые узнала после.

Швейная мастерская,— что же такое увидела я, как ты думаешь? Мы остановились у подъезда, Вера Павловна повела меня по очень хорошей лестнице, знаешь, одной из тех лестниц, на которых нередко встречаются швейцары. Мы вошли на третий этаж, Вера Павловна позвонила, и я увидела себя в большом зале, с роялем, с порядочною мебелью,— словом, зал имел такой вид, как будто мы вошли в квартиру семейства, проживающего четыре или пять тысяч рублей в год. «Это мастерская? И это одна из комнат, занимаемых швеями?» — «Да; это приемная комната и зал для вечерних собраний; пойдемте по тем комнатам, в которых, собственно, живут швеи, они теперь в рабочих комнатах, и мы никому не помешаем». Вот что увидела я, обходя комнаты, и что пояснила мне Вера Павловна.

Помещение мастерской составилось из трех квартир, выходящих на одну площадку и обратившихся в одну квартиру, когда пробили двери из одной в другую. Квартиры эти прежде отдавались за 700, 550 и 425 руб. в год, всего за 1675 руб. Но, отдавая все вместе по контракту на 5 лет, хозяин дома согласился уступить их за 1250 руб. Всего в мастерской 21 комната, из них 2 очень большие, по 4 окна, одна служит приемною, другая — столовою; в двух других, тоже очень больших, работают; в остальных живут. Мы прошли 6 или 7 комнат, в которых живут девушки (я все говорю про первое мое посещение); меблировка этих комнат тоже очень порядочная, красного дерева или ореховая; в некоторых есть стоячие зеркала, в других — очень хорошие трюмо; много кресел, диванов хорошей работы. Мебель в разных комнатах разная, почти вся она постепенно покупалась по случаям, за дешевую цену. Эти комнаты, в которых живут, имеют такой вид, как в квартирах чиновничьих семейств средней руки, в семействах старых начальников отделения или молодых столоначальников, которые

скоро будут начальниками отделения. В комнатах, которые побольше, живут три девушки, в одной даже четыре, в других по две.

Мы вошли в рабочие комнаты, и девушки, занимавшиеся в них, тоже показались мне одеты, как дочери, сестры, молодые жены этих чиновников: на одних были шелковые платья из простеньких шелковых материй, на других барежевые, кисейные. Лица имели ту мягкость и нежность, которая развивается только от жизни в довольстве. Ты можешь представить, как это все удивляло меня. В рабочих комнатах мы оставались долго. Я тут же познакомилась с некоторыми из девушек; Вера Павловна сказала цель моего посещения; степень их развития была неодинакова; одни говорили уже совершенно языком образованного общества, были знакомы с литературою, как наши барышни, имели порядочные понятия и об истории, и о чужих землях, и обо всем, что составляет обыкновенный круг понятий барышень в нашем обществе; две были даже очень начитаны. Другие, не так давно поступившие в мастерскую, были менее развиты, но все-таки с каждою из них можно было говорить, как с девушкою, уже имеющею некоторое образование. Вообще степень развития соразмерна тому, как давно которая из них живет в мастерской.

Вера Павловна занималась делами, иногда подходила ко мне, а я говорила с девушками, и таким образом мы дождались обеда. Он состоит по будням из трех блюд. В тот день был рисовый суп, разварная рыба и телятина. После обеда на столе явились чай и кофе. Обед был настолько хорош, что я поела со вкусом и не почла бы большим лишением жить на таком обеде.

А ты знаешь, что мой отец и теперь имеет хорошего повара.

Вот какое было общее впечатление моего первого посещения. Мне сказали, и я знала, что я буду в мастерской, в которой живут швеи, что мне покажут комнаты швей, что я буду видеть швей, что я буду сидеть за обедом швей; вместо того я видела квартиры людей не бедного состояния, соединенные в одно помещение, видела девушек среднего чиновничьего или бедного помещичьего круга, была за обедом, небогатым, но удовлетворительным для меня; что ж это такое? и как же это возможно?

Когда мы возвратились к Вере Павловне, она и ее муж объяснили мне, что это вовсе не удивительно. Между прочим, Кирсанов тогда написал мне для примера небольшой расчет на лоскутке бумаги, который уцелел между страниц моего дневника. Я перепишу тебе его; но прежде еще несколько слов.

Вместо бедности — довольство; вместо грязи — не только чистота, даже некоторая роскошь комнат; вместо грубости — порядочная образованность; все это происходит от двух причин; с одной стороны, увеличивается доход швей, с другой — достигается очень большая экономия в их расходах.

Ты понимаешь, отчего они получают больше дохода: они работают на свой собственный счет, они сами хозяйки; потому они получают ту долю, которая оставалась бы в прибыли у хозяйки магазина. Но это не все: работая в свою собственную пользу и на свой счет, они гораздо бережливее и на материал работы, и на время: работа идет быстрее, и расходов на нее меньше.

Понятно, что и в расходах на их жизнь много сбережений. Они покупают все большими количествами, расплачиваются наличными деньгами, поэтому вещи достаются им дешевле, чем при покупке в долг и по мелочи; вещи выбираются внимательно, с знанием толку в них, со справками, поэтому все покупается не только дешевле, но и лучше, нежели вообще приходится покупать бедным людям.

Кроме того, многие расходы или чрезвычайно уменьшаются, или становятся вовсе ненужны. Подумай, например: каждый день ходить в магазин за 2, за 3 версты — сколько изнашивается лишней обуви, лишнего платья от этого. Приведу тебе самый мелочный пример, но который применяется ко всему в этом отношении. Если не иметь дождевого зонтика, это значит много терять от порчи платья дождем. Теперь слушай слова, сказанные мне Верой Павловною. Простой холщовый зонтик стоит, положим, 2 рубля. В мастерской живет 25 швей. На зонтик для каждой вышло бы 50 руб., та, которая не имела бы зонтика, терпела бы потери в платье больше, чем на 2 руб. Но они живут вместе; каждая выходит из дому, только когда ей удобно, поэтому не бывает того, чтобы в дурную погоду многие выходили из дому. Они нашли, что 5 дождевых зонтиков совершенно довольно. Эти зонтики шелковые, хорошие; они стоят по 5 руб. Всего расхода на дождевые зонтики — 25 руб., или у каждой швеи — по 1 руб. Ты видишь, что каждая из них пользуется хорошею вещью вместо дрянной и все-таки имеет вдвое меньше расхода на эту вещь. Так с множеством мелочей, которые вместе составляют большую важность. То же с квартирою, со столом. Например, этот обед, который я тебе описала, обошелся в 5 руб. 50 коп., или 5 руб. 75 коп., с хлебом (но без чаю и кофе). А за столом было 37 человек (не считая меня, гостьи, и Веры Павловны), правда, в том числе несколько детей. 5 руб.

75 коп. на 37 человек, это составляет менее 16 коп. на человека, менее 5 руб. в месяц. А Вера Павловна говорит, что, если человек обедает один, он на эти деньги не может иметь почти ничего, кроме хлеба и той дряни, которая продается в мелочных лавочках. В кухмистерской такой обед (только менее чисто приготовленный) стоит, по словам Веры Павловны, 40 коп. сер.,— за 30 коп. гораздо хуже. Понятна эта разница: кухмистер, готовя обед на 20 человек или меньше, должен сам содержаться из этих денег, иметь квартиру, иметь прислугу. Здесь этих лишних расходов почти вовсе нет, или они гораздо меньше. Жалованье двум старушкам, родственницам двух швей,— вот и весь расход по содержанию их кухонного штата. Теперь тебе понятен будет расчет, который сделал мне для примера Кирсанов, когда я была у них в первый раз. Написавши его, он сказал мне:

— Конечно, я не могу сказать вам точных цифр, да и трудно было бы найти их, потому что, вы знаете, у каждого коммерческого дела, у каждого магазина, каждой мастерской свои собственные пропорции между разными статьями дохода и расхода, в каждом семействе также свои особенные степени экономности в делании расходов и особенно пропорции между разными статьями их. Я ставлю цифры только для примера; но чтобы счет был убедительнее, я ставлю цифры, которые менее действительной выгодности нашего порядка, сравнительно с настоящими расходами почти всякого коммерческого дела и почти всякого мелкого, бедного хозяйства.

— Доход коммерческого предприятия от продажи товаров,— продолжал Кирсанов,— распадается на три главные части: одна идет на жалованье рабочим; другая — на остальные расходы предприятия: наем помещения, освещение, материалы для работы; третья остается в прибыль хозяину. Положим, выручка разделяется между этими частями так: на жалованье рабочим — половина выручки, на другие расходы — четвертая часть; остальная четверть — прибыль. Это значит, что если рабочие получают 100 руб., то на другие расходы идет 50 руб., у хозяина остается также 50. Посмотрим, сколько получают рабочие при нашем порядке.— Кирсанов стал читать свой билетик с цифрами:

Они получают свою плату . . . . . 100 р.
Они сами хозяева, потому получают и хозяйскую прибыль . . . . . 50 р.
У них рабочие комнаты помещаются при их квартире, поэтому обходятся дешевле особой мастерской; они

бережливы на материал; в этом очень большая пропорция сбережения, я думаю, наполовину, но мы положим только на третью долю; из 50 руб., которые шли бы на эти расходы, они сберегают в прибыль себе еще . . . . . 16 р. 67 к.

166 р. 67 к.

— Вот мы уж набрали,— продолжал Кирсанов,— что наши рабочие получают 166 р. 67 к., когда при другом порядке они имеют только 100 руб. Но они получают еще больше: работая в свою пользу, они трудятся усерднее, потому успешнее, быстрее; положим, когда, при обыкновенном плохом усердии, они успели бы сделать 5 вещей, в нашем примере 5 платьев, они теперь успевают сделать 6,— эта пропорция слишком мала, но положим ее; значит, в то время когда другое предприятие зарабатывает 5 руб., наше зарабатывает 6 руб.

От быстроты, усердной работы выручка и доход увеличиваются на одну пятую долю: от 166 р. 67 к. пятая доля 33 р. 33 к.— итак, еще . . . 33 р. 33 к.
с прежним . . . . . 166 р. 67 к.

200 р.— к.

— Поэтому у наших вдвое больше дохода, чем у других,— продолжал Кирсанов.— Теперь, как употребляется этот доход. Имея вдвое больше средств, они употребляют их гораздо выгоднее. Тут выгода двойная, как вы знаете: во-первых, оттого, что все покупается оптом; положим, от этого выигрывается третья доля,— вещи, которые при мелочной покупке и долгах обошлись бы в 3 руб., обходятся в 2 руб. На самом деле выгода больше: возьмем в пример квартиру; если б эти комнаты отдавать в наем углами, тут жило бы: в 17 комнатах с 2 окнами по 3 и по 4 человека,— всего, положим, 55 человек; в 2 комнатах с 3 окнами по 6 человек и в 2 с 4 окнами по 9 человек, 12 и 18, всего 30 человек, и 55 в маленьких комнатах,— в целой квартире 85 человек; каждый платил бы по 3 р. 50 к. в месяц, это значит 42 руб. в год; итак, мелкие хозяева, промышляющие отдачею углов внаймы, берут за такое помещение — 42 руб. на 85,— 3570 руб. Наши имеют эту квартиру за 1250 рублей, почти втрое дешевле. Так в очень многом, почти так почти во всем. Вероятно, я еще не дошел бы до истинной пропорции, если бы положил сбережение наполовину; но я положу его тоже только в третью долю. Это еще не все. При таком устройстве жизни они не имеют нужды делать многих расходов, или нужно гораздо меньшее количество вещей,— Верочка

приводила вам в пример обувь, платье. Положим, что от этого количество покупаемых вещей сокращается на одну четвертую долю, вместо 4 пар башмаков достаточно 3, или 3 платья носятся столько времени, как носились бы 4,— эта пропорция опять слишком мала. Но посмотрите, что выходит из этих пропорций.

Дешевизна покупки делает, что вещи достаются на одну третью долю сходнее — то есть, положим, за три вещи платится вместо 3 руб. только 2 руб.; но при нашем порядке этими тремя вещами удовлетворяется столько надобностей, сколько при другом удовлетворялось бы не менее как 4 вещами; это значит, что за свои 200 руб. наши швеи имеют столько вещей, сколько при другом порядке имели бы не менее, как на 300 руб., и что эти вещи при нашем порядке доставляют их жизни столько удобств, сколько при другом доставлялось бы суммою не меньше, как	400 р.

— Сравните жизнь семейства, расходующего 1000 руб. в год, с жизнью такого же семейства, расходующего 4000 руб., не правда ли, вы найдете громадную разницу? — продолжал Кирсанов.— При нашем порядке точно такая же пропорция, если не больше: при нем получается вдвое больше дохода, и доход употребляется вдвое выгоднее. Удивительно ли, что вы нашли жизнь наших швей вовсе не похожею на ту, какую ведут швеи при обыкновенном порядке?

Вот какое чудо я увидела, друг мой Полина, и вот как просто оно объясняется. И я теперь так привыкла к нему, что мне уж кажется странно: как же я тогда удивлялась ему, как же не ожидала, что найду все именно таким, каким нашла. Напиши, имеешь ли ты возможность заняться тем, к чему я теперь готовлюсь: устройством швейной или другой мастерской по этому порядку. Это так приятно, Полина.

Твоя *К. Полозова.*

P. S. Я совсем забыла говорить о другой мастерской,— но уж так и быть, в другой раз. Теперь скажу только, что старшая швейная развилась больше и потому во всех отношениях выше той, которую я тебе описывала. В подробностях устройства между ними много разницы, потому что все применяется к обстоятельствам».

ГЛАВА ПЯТАЯ
НОВЫЕ ЛИЦА И РАЗВЯЗКА

I

Полозова говорила в письме к подруге, что много обязана была мужу Веры Павловны. Чтобы объяснить это, надобно сказать, что за человек был ее отец.

Полозов был отставной ротмистр или штаб-ротмистр; на службе, по обычаю старого тогдашнего века, кутил и прокутил довольно большое родовое имение. А когда прокутил, то остепенился и вышел в отставку, чтобы заняться устройством себе нового состояния. Собрав последние крохи, которые оставались, он увидел у себя тысяч десять,— по-тогдашнему на ассигнации,— пустился с ними в мелкую хлебную торговлю, стал брать всякие маленькие подряды, хватался за всякое выгодное дело, приходившееся по его средствам, и лет через десять имел изрядный капитал. С репутацией такого солидного и оборотливого человека, с чином своим и своею известною в тех местах фамилиею он мог теперь выбирать какую ему угодно невесту из купеческих дочерей в двух губерниях, в которых шли его торговые дела, и выбрал очень основательно,— с полумиллионом (все на ассигнации) приданого. Тогда ему было лет пятьдесят, и это было лет за двадцать с лишком до того времени, как мы видим его дочь, вошедшую в дружбу с Верой Павловною. Приложивши такой большой куш к своим прежним деньгам, он повел дела уже в широком размере и лет через десять после того был миллионером и на серебро, как тогда стали считать. Его жена умерла; она, привычная к провинциальной жизни, удерживала его от переселения в Петербург; теперь он переехал в Петербург, пошел в гору еще быстрее, и лет еще через десять его считали в трех-четырех миллионах. И девицы и вдовы, молодые и старые, строили ему куры, но он не захотел жениться во второй раз,— отчасти потому, что сохранял верную привязанность к памяти жены, а еще больше потому, что не хотел давать мачеху Кате, которую очень любил.

Полозов шел и шел в гору,— имел бы уж и не три-четыре миллиона, а десяток, если бы занялся откупами, но он имел к ним отвращение и считал честными делами только подряды и поставки. Собраты по миллионерству смеялись над такою

тонкостью подразличения и не были неправы; а он хоть и был неправ, но твердил свое: «Коммерциею занимаюсь, грабежом не хочу богатеть». Но вот, за год или за полтора перед тем, как дочь его познакомилась с Верой Павловною, явилось слишком ясное доказательство, что его коммерция мало чем отличалась от откупов по сущности дела, хоть и много отличалась по его понятию. У него был огромный подряд, на холст ли, на провиант ли, на сапожный ли товар, не знаю хорошенько, а он, становившийся с каждым годом упрямее и заносчивее и от лет, и от постоянной удачи, и от возрастающего уважения к нему, поссорился с одним нужным человеком, погорячился, обругал, и штука стала выходить скверная. Сказали ему через неделю: «покорись»,— «не хочу»,— «лопнешь»,— «а пусть, не хочу»; через месяц то же сказали, он отвечал то же, и точно: покориться — не покорился, а лопнуть — лопнул. Товар был забракован; кроме того, оказались какие-то провинности ли, злонамеренности ли, и все его три-четыре миллиона ухнули, и Полозов в шестьдесят лет остался нищий. То есть нищий перед недавним; но так, без сравнения с недавним, он жил хорошо: у него осталась доля в каком-то стеариновом заводе, и он, не вешая носа, сделался управляющим этого завода с хорошим жалованьем. Кроме того, уцелело какими-то судьбами несколько десятков тысяч. Если бы такие остатки остались у него лет пятнадцать или хоть десять тому назад, их было бы довольно, чтобы опять подняться в порядочную гору. Но, имея за шестьдесят лет, подниматься уж тяжело, и Полозов рассудил, что пробовать такую вещь поздно, не под силу. Он думал теперь только о том, чтобы поскорее устроить продажу завода, акции которого почти не давали дохода, кредита и дел которого нельзя было поправить: он рассудил умно и успел растолковать другим главным акционерам, что скорая продажа — одно средство спасти деньги, похороненные в акциях. Еще думал он о том, чтобы пристроить замуж дочь. Но главное — продать завод, обратить все деньги в пятипроцентные билеты, которые тогда пошли было в моду,— и доживать век поспокойнее, вспоминая о прошлом величии, потерю которого вынес он бодро, сохранив и веселость и твердость.

II

Отец любил Катю, не давал ультравеликосветским гувернанткам слишком муштровать девушку; «это глупости»,— говорил он про всякие выправки талии, выправки манер и все то-

му подобное; а когда Кате было 15 лет, он даже согласился с нею, что можно обойтись ей и без англичанки и без француженки. Тут Катя уже и вовсе отдохнула, ей стал полный простор в доме. А простор для нее значил тогда то, чтобы ей не мешали читать и мечтать. Подруг у ней было немного, две-три близких, искателей руки без числа: ведь одна дочь у Полозова, страшно сказать: четыре миллиона!

Но Катя читала и мечтала, а искатели руки оставались в отчаянии. А Кате уж было 17 лет. Так, читала и мечтала, и не влюблялась, но только стала она вдруг худеть, бледнеть и слегла.

III

Кирсанов не занимался практикою, но считал себя не вправе отказываться бывать на консилиумах. А в это время,— так через год после того, как он стал профессором, и за год перед тем, как повенчались они с Верою Павловною,— тузы петербургской практики стали уж очень много приглашать его на консилиумы. Причин было две. Первая: оказалось, что, точно, есть на свете Клод Бернар и живет в Париже. Один из тузов, ездивший неизвестно зачем с ученою целью в Париж, собственными глазами видел Клода Бернара, как есть живого Клода Бернара, настоящего; отрекомендовался ему по чину, званию, орденам и знатным своим больным, и Клод Бернар, послушавши его с полчаса, сказал: «Напрасно вы приезжали в Париж изучать успехи медицины, вам незачем было выезжать для этого из Петербурга»; туз принял это за аттестацию своих занятий и, возвратившись в Петербург, произносил имя Клода Бернара не менее десяти раз в сутки, прибавляя к нему не менее пяти раз: «мой ученый друг» или «мой знаменитый товарищ по науке». Как же после этого было не звать Кирсанова на консилиумы? Нельзя не звать. А вторая причина была еще важнее: все тузы видели, что Кирсанов не станет отбивать практику,— не только не отбивает, даже по просьбе с насильствованием не берет. Известно, что у многих практикующих тузов такое заведение: если приближается неизбежный, по мнению туза, карачун больному и по злонамеренному устроению судьбы нельзя сбыть больного с рук ни водами, ни какою другою заграницею, то следует сбыть его на руки другому медику — и туз готов тут, пожалуй, сам дать денег, только возьми. Кирсанов и по просьбе желающего бежать туза редко брал на себя леченье,— обыкно-

венно рекомендовал своих друзей, занимающихся практикою, а себе оставлял лишь немногие случаи, интересные в научном отношении. Как же не приглашать на консилиумы такого собрата, известного Клоду Бернару и не отбивающего практики?

У Полозова-миллионера медиком был один из самых козырных тузов, и когда Катерина Васильевна стала опасно больна, консилиумы долго составлялись всё из тузов. Наконец дело стало так плохо, что тузы решили: пригласить Кирсанова. Действительно, задача была трудная для тузов: нет никакой болезни в больной, а силы больной быстро падают. Надобно же отыскать болезнь; пользовавший врач придумал atrophia nervorum, «прекращение питания нервов»; бывает ли на свете такая болезнь или нет, мне неизвестно, но если бывает, то уж и я понимаю, что она должна быть неизлечима. А если, несмотря на неизлечимость, все-таки лечить ее, то пусть лечит Кирсанов или кто другой из его приятелей — наглецов-мальчишек.

Итак, новый консилиум, с Кирсановым. Исследовали, расспрашивали больную; больная отвечала с готовностию, очень спокойно; но Кирсанов после первых слов отстал от нее и только смотрел, как исследовали и расспрашивали тузы; а когда они намаялись и ее измучили, сколько требует приличие в таких случаях, и спросили Кирсанова: «Вы что находите, Александр Матвеич?», он сказал: «Я не довольно исследовал больную. Я останусь здесь. Это случай интересный. Если будет нужно снова сделать консилиум, я скажу Карлу Федорычу» — то есть пользовавшему врачу, который просиял восторгом спасения от своей atrophia nervorum.

Когда разошлись, Кирсанов сел у постели больной. Больная насмешливо улыбнулась.

— Жаль, что мы незнакомы с вами,— начал он,— медику нужно доверие; а может быть, мне и удастся заслужить ваше. Они не понимают вашей болезни, тут нужна некоторая догадливость. Слушать вашу грудь, давать вам микстуры — совершенно напрасно. Нужно только одно: знать ваше положение и подумать вместе, можно ли что-нибудь сделать. Вы будете помогать мне в этом?

Больная молчала.

— Вы не хотите говорить со мною?

Больная молчала.

— Вы, вероятно, даже хотите, чтоб я ушел. Я прошу у вас только десять минут. Если через десять минут вы будете,

как теперь, находить, что мое присутствие бесполезно, я уйду. Вам известно, что у вас нет никакого расстройства, кроме печали? Вам известно, что если это нравственное состояние ваше продлится, то через две-три недели, а может быть, и раньше, вас нельзя будет спасти? а быть может, вы и не проживете двух недель? У вас ныне еще нет чахотки, но она очень, очень близка, и в ваши лета при таких условиях она развивается необыкновенно быстро, может кончаться в несколько дней.

Больная молчала.

— Вы не отвечаете. Но вы остались равнодушны. Значит, мои слова не были для вас новостью. Тем, что вы молчите, вы отвечаете мне «да». Вы знаете, что сделал бы на моем месте почти всякий другой? Он пошел бы говорить с вашим батюшкою. Быть может, мой разговор с ним спас бы вас, но, если вам этого не угодно, я не сделаю этого. Почему? Я принимаю правило: против воли человека не следует делать ничего для него; свобода выше всего, даже и жизни. Поэтому, если вам не угодно, чтобы я узнал причину вашего очень опасного положения, я не буду узнавать. Если вы скажете, что вы желаете умереть,— я только попрошу вас объяснить мне причины этого желания; если они покажутся мне неосновательны, я все-таки не имею права мешать вам; если они покажутся мне основательны, я обязан помогать вам и готов. Я готов дать вам яд. На этих условиях, прошу вас, скажите мне причину вашей болезни.

Больная молчала.

— Вам не угодно отвечать. Я не имею права продолжать расспросов. Но я могу просить у вас дозволения рассказать вам о себе самом то, что может послужить к увеличению доверия между нами? Да? Благодарю вас. От чего бы то ни было, но вы страдаете? Я также. Я страстно люблю женщину, которая даже не знает и никогда не должна узнать, что я люблю ее. Жалеете ли вы меня?

Больная молчала, но слегка улыбнулась печально.

— Вы молчите, но вы не могли скрыть, что эти мои слова несколько больше замечены были вами, чем прежние. Этого уже довольно: я вижу, что у вас и у меня одна причина страдания. Вам угодно умереть? Мне очень понятно это. Но умирать от чахотки — это долго, это тяжело. Я готов помочь вам умереть, если нельзя помочь ни в чем другом,— я говорю, что готов дать вам яд — прекрасный, убивающий быстро, без всяких страданий. Угодно вам на этом условии дать мне средство

узнать, действительно ли ваше положение так безвыходно, как вам кажется?

— Вы не обманете? — проговорила больная.

— Посмотрите внимательно мне в глаза,— вы увидите, что не обману.

Больная несколько времени колебалась.

— Нет, все-таки я слишком мало знаю вас.

— Другой на моем месте стал бы уже говорить, что чувство, от которого вы страдаете, хорошо. Я еще не скажу этого. Ваш батюшка знает о нем? Прошу вас помнить, что я не буду говорить с ним без вашего разрешения.

— Не знает.

— Он любит вас?

— Да.

— Как вы думаете, что я скажу вам теперь? Вы говорите, он любит вас; я слышал, что он человек неглупый. Почему же вы думаете, что напрасно открывать ему ваше чувство, что он не согласится? Если бы препятствие было только в бедности любимого вами человека, это не удержало бы вас от попытки убедить вашего батюшку на согласие,— так я думаю. Значит, вы полагаете, что ваш батюшка слишком дурного мнения о нем,— другой причины вашего молчания перед батюшкою не может быть. Так?

Больная молчала.

— Видно, что я не ошибаюсь. Что я теперь думаю? Ваш батюшка — человек опытный в жизни, знающий людей; вы неопытны; если какой-нибудь человек ему кажется дурен, вам — хорош, то, по всей вероятности, ошибаетесь вы, а не он. Вы видите, что я должен так думать. Хотите знать, почему я говорю вам такую неприятную вещь? Я скажу. Вы можете рассердиться на мои слова, почувствовать нелюбовь ко мне за них, но все-таки вы скажете себе: он говорит то, что думает, не притворяется, не хочет меня обманывать. Я выигрываю в вашем доверии. Правда ли, я говорю с вами честно?

Больная колебалась, отвечать или нет.

— Вы странный человек, доктор,— проговорила она наконец.

— Нет, не странный, а только непохожий на обманщика. Я прямо сказал, как думаю. Но это лишь мое предположение. Может быть, я и ошибаюсь. Дайте мне возможность узнать это. Назовите мне человека, к которому вы чувствуете расположение. Тогда,— но опять, только если вы позволите,— я поговорю о нем с вашим батюшкою.

— Что же вы скажете ему?

— Он близко знает его?

— Да.

— В таком случае я скажу ему, чтобы он согласился на ваш брак, только с одним условием: назначить время свадьбы не сейчас, а через два-три месяца, чтобы вы имели время обдумать хладнокровно, не прав ли ваш батюшка.

— Он не согласится.

— Согласится, по всей вероятности. А если нет, я помогу вам, как сказал.

Кирсанов долго говорил в этом роде. Наконец добился того, что больная сказала ему имя и разрешила говорить с ее отцом. Но сладить со стариком было еще труднее, чем с нею. Полозов очень удивился, услышав, что упадок сил его дочери происходит от безнадежной любви; еще больше удивился, услышав имя человека, в которого она влюблена, и твердо сказал: «Пусть лучше умирает, чем выходит за него. Смерть ее и для нее и для меня будет меньшее горе». Дело было очень трудное, тем больше, что Кирсанов, выслушав резоны Полозова, увидел, что правда действительно на стороне старика, а не дочери.

IV

Женихи сотнями увивались за наследницею громадного состояния; но общество, толпившееся за обедами и на вечерах Полозова, было то общество слишком сомнительного типа, слишком сомнительного изящества, которое наполняет залы всех подобных Полозову богачей, возвысившихся над более или менее приличным, не великосветским, родным своим кругом и не имеющих ни родства, ни связей в настоящем великосветском обществе, также более или менее приличном; они становятся кормителями пройдох и фатов, совершенно неприличных уже и по внешности, не говоря о внутренних достоинствах. Поэтому Катерина Васильевна была заинтересована, когда в числе ее поклонников появился настоящий светский человек, совершенно хорошего тона: он держал себя так много изящнее всех других, говорил так много умнее и занимательнее их. Отец рано заметил, что она стала показывать ему предпочтение перед остальными и, человек дельный, решительный, твердый, тотчас же, как заметил, объяснился с дочерью: «Друг мой Катя, за тобою сильно ухаживает Соловцов; остерегайся его: он очень дурной человек, совершенно бездушный человек;

ты с ним была бы так несчастна, что я желал бы лучше видеть тебя умершею, чем его женою, это было бы легче и для меня, и для тебя». Катерина Васильевна любила отца, привыкла уважать его мнение; он никогда не стеснял ее; она знала, что он говорит единственно по любви к ней; а главное, у ней был такой характер больше думать о желании тех, кто любит ее, чем о своих прихотях, она была из тех, которые любят говорить своим близким: «Как вы думаете, так я и сделаю». Она отвечала отцу: «Соловцов мне нравится, но если вы находите, что для меня лучше удаляться от него, я так сделаю». Конечно, она не сделала бы и, по своему характеру — не лгать,— не сказала бы этого, если бы любила; но привязанность ее к Соловцову была еще очень слаба, почти еще вовсе не существовала тогда: он был только занимательнее других для нее. Она стала холодна с ним; и, может быть, все обошлось бы благополучно; но отец, по своей горячности, пересолил; и очень немного пересолил, но ловкому Соловцову было довольно и этого. Он видел, что ему надобно играть роль жертвы, как же найти предлог, чтобы стать жертвою? Полозов раз как-то сказал ему колкость, Соловцов с достоинством и печалью в лице простился с ним, перестал бывать. Через неделю Катерина Васильевна получила от него страстное и чрезвычайно смиренное письмо, в том смысле, что он никогда не надеялся ее взаимности, что для его счастия было довольно только видеть ее иногда, даже и не говорить с нею, только видеть; что он жертвует и этим счастьем и все-таки счастлив, и несчастлив, и тому подобное, и никаких ни просьб, ни желаний. Он даже не просил ответа. Такие письма продолжали приходить и наконец подействовали.

Но подействовали они не очень скоро; Катерина Васильевна в первое время по удалении Соловцова вовсе не была ни грустна, ни задумчива, а перед тем она уже была холодна с ним, да и так спокойно приняла совет отца остерегаться его. Поэтому, когда месяца через два она стала печальна, почему ж бы мог отец сообразить, что тут замешан Соловцов, о котором он уж и забыл? «Ты что-то грустна, Катя».— «Нет, я ничего; это так». Через неделю, через две старик уж спрашивает: «Да ты не больна ли, Катя?» — «Нет, ничего». Еще недели через две старик уж говорит: «Тебе надобно лечиться, Катя». Катя начинает лечиться, и старик совершенно успокоивается, потому что доктор не находит ничего опасного, а так только, слабость, некоторое изнурение, и очень основательно доказывает утомительность образа жизни, какой вела Катерина Ва-

сильевна в эту зиму,— каждый день вечер до двух, до трех часов, а часто и до пяти. Это изнурение пройдет. Но оно не проходит, а увеличивается.

Почему же Катерина Васильевна ничего не говорила отцу? — Она была уверена, что это было бы напрасно: отец тогда сказал ей так твердо, а он не говорит даром. Он не любит высказывать о людях мнения, которое не твердо в нем; и никогда не согласится на брак ее с человеком, которого считает дурным.

И вот Катерина Васильевна мечтала, мечтала, читая скромные, безнадежные письма Соловцова, и через полгода этого чтения была уж на шаг от чахотки. А отец ни из одного слова ее не мог заметить, что болезнь происходит от дела, в котором отчасти виноват и он: дочь была нежна с ним, как и прежде. «Ты недовольна чем-нибудь?» — «Ничем, папа».— «Ты не огорчена ли чем-нибудь?» — «Нет, папа». Да и видно, что нет; только уныла, но ведь это от слабости, от болезни. И доктор говорит: это от болезни. А отчего болезнь? Пока доктор считал болезнь пустою, он довольствовался порицаниями танцев и корсетов; а когда он заметил опасность, то явилось «прекращение питания нервов», atrophia nervorum.

V

Но если практикующие тузы согласились, что у m-lle Полозовой atrophia nervorum, развившаяся от изнурительного образа жизни при природной наклонности к мечтательности, задумчивости, то Кирсанову нечего было много исследовать больную, чтобы видеть, что упадок сил происходит от какой-нибудь нравственной причины. Перед консилиумом пользующий медик объяснял ему все отношения больной: семейных огорчений — никаких; отец и дочь очень хороши между собою. А между тем отец не знает причины расстройства, потому что пользующий медик не знает; что ж это такое? Но ясно, что у девушки сильный характер, если она так долго скрывала самое расстройство и если во все время не дала отцу ни одного случая отгадать его причину; виден сильный характер и в спокойном тоне ее ответов на консилиуме. Нет в ней никаких следов раздражения, она твердо переносит свою судьбу. Кирсанов увидел, что такая девушка заслуживает, чтобы заняться ею,— нельзя ли помочь? Вмешательство показалось ему необходимо: конечно, так или иначе, и без него когда-нибудь дело разъяснится, но не будет ли это

поздно? Чахотка очень близка, и тогда никакая заботливость уж не поможет.

Вот он бился с больною часа два и успел победить ее недоверчивость, узнал, в чем дело, и получил позволение говорить о нем с отцом.

Старик изумился, когда услышал от Кирсанова, что причина болезни его дочери любовь к Соловцову. Как же это? Катя тогда так холодно приняла совет удаляться от него, оставалась так равнодушна, как он перестал бывать у них. Как же она умирает от любви к нему? Да и вообще можно ли умирать от любви? Такие экзальтированности не могли казаться правдоподобны человеку, привыкшему вести исключительно практическую жизнь, смотреть на все с холодным благоразумием. Долго возился с ним Кирсанов, он все говорил: «Фантазия ребенка, который помучится и забудет». Кирсанов объяснял, объяснял, наконец растолковал ему, что именно потому и не забудет, а умирает, что ребенок. Полозов уломался, убедился, но вместо уступки ударил кулаком по столу и сказал с сосредоточенною решимостью: «Умрет так умрет,— пусть умирает; это лучше, чем чтобы была несчастна. И для меня легче, и для нее легче!» Те самые слова, какие были сказаны за полгода дочери. Катерина Васильевна не ошибалась, думая, что напрасно говорить с ним.

— Да почему ж вы так упорствуете? Я очень верю, что он нехороший человек; но неужели же уж такой дурной, что жизнь с ним хуже смерти?

— Такой. В нем души нет; она у меня добрая, деликатная, а он гадкий развратник.— И Полозов пустился описывать Соловцова, описал его так, что Кирсанов не нашел, как возражать. Да и точно, как было не согласиться с Полозовым? Соловцов был тот самый Жан, который тогда, перед сватовством Сторешникова, после оперы, ужинал с ним, Сержем и Жюли. Это совершенная правда, что порядочной девушке гораздо лучше умереть, чем сделаться женою такого человека. Он загрязнит, заморозит, изъест своею мерзостью порядочную женщину: гораздо лучше умереть ей.

Кирсанов задумался на несколько минут.

— Нет,— потом проговорил он,— что ж я в самом деле поддался вашему увлечению? Это дело безопасное именно потому, что он так дурен. Она не может этого не увидеть, только дайте ей время всмотреться спокойно.— Он стал настойчиво развивать Полозову свой план, который высказывал его дочери еще только как свое предположение, может быть, и неверное,

что она сама откажется от любимого человека, если он действительно дурен. Теперь он в этом был совершенно уверен, потому что любимый человек был очень дурен.

— Я не буду говорить вам, что брак не представляет такой страшной важности, если смотреть на него хладнокровно: когда жена несчастна, почему ж ей не разойтись с мужем? Вы считаете это недозволительным, ваша дочь воспитана в таких же понятиях, для вас и для нее это действительно безвозвратная потеря, и, прежде чем она перевоспитается, она с таким человеком измучится до смерти, которая хуже, чем от чахотки. Но надобно взять дело с другой стороны. Почему вы не надеетесь на рассудок вашей дочери? Ведь она не сумасшедшая? Всегда рассчитывайте на рассудок, только давайте ему действовать свободно, он никогда не изменит в справедливом деле. Вы сами виноваты, что связали его в вашей дочери, развяжите его, и он переведет ее на вашу сторону, когда правда на вашей стороне. Страсть ослепляет, когда встречает препятствия; отстраните их, и ваша дочь станет благоразумна. Дайте ей свободу любить или не любить, и она увидит, стоит ли этот человек ее любви. Пусть он будет ее женихом, и через несколько времени она откажет ему сама.

Такая манера смотреть на вещи была слишком нова для Полозова. Он резко отвечал, что в такие вздоры не верит, что слишком хорошо знает жизнь, что видал слишком много примеров безрассудства людей, чтобы полагаться на их рассудок; а тем смешнее полагаться на рассудок семнадцатилетней девочки. Напрасно Кирсанов возражал, что безрассудства делаются только в двух случаях: или сгоряча, в минутном порыве, или когда человек не имеет свободы, раздражается сопротивлением. Такие понятия были совершенною тарабарщиною для Полозова. «Она безумная; глупо вверять такому ребенку его судьбу; пусть лучше умрет»: с этих пунктов никак нельзя было сбить его.

Конечно, как ни тверды мысли человека, находящегося в заблуждении, но если другой человек, более развитый, более знающий, лучше понимающий дело, будет постоянно работать над тем, чтобы вывесть его из заблуждения, заблуждение не устоит. Так; но сколько времени возьмет логическая борьба с ним? Конечно, и нынешний разговор не останется без результата; хотя теперь и незаметно никакого влияния его на Полозова, старик все-таки начнет задумываться над словами Кирсанова — это неизбежно; и если продолжать с ним такие

разговоры, он одумается. Но он горд своею опытностью, считает себя неошибающимся, он тверд и упрям; урезонить его словами можно, без сомнения, но не скоро. А всякая отсрочка опасна; долгая отсрочка, наверное, гибельна; а долгая отсрочка неизбежна при методическом способе разумной борьбы с ним.

Надобно прибегнуть к радикальному средству. Оно рискованно, это правда; но при нем только риск, а без него верная гибель. И риск в нем вовсе не так велик на самом деле, как покажется человеку, менее твердому в своих понятиях о законах жизни, чем он, Кирсанов. Риск вовсе не велик. Но серьезен. Из всей лотереи только один билет проигрышный. Нет никакой вероятности, чтобы вынулся он, но если вынется? Кто идет на риск, должен быть готов не моргнуть, если вынется проигрыш. Кирсанов видел спокойную, молчаливую твердость девушки и был уверен в ней. Но вправе ли он подвергать ее риску? Конечно, да. Теперь из ста шансов только один, что она не погубит в этом деле своего здоровья, более половины шансов, что она погибнет быстро; а тут из тысячи шансов один будет против нее. Пусть же она рискует в лотерею, по-видимому более страшную, потому что более быструю, но, в сущности, несравненно менее опасную.

— Хорошо,— сказал Кирсанов,— вы не хотите вылечить ее теми средствами, которые в вашей власти; я буду лечить ее своими. Завтра я соберу опять консилиум.

Возвратившись к больной, он сказал ей, что отец упрям,— упрямее, чем ждал он, что надобно будет действовать против него крутым образом.

— Нет, ничто не поможет,— грустно сказала больная.

— Вы уверены в этом?

— Да.

— Вы готовы к смерти?

— Да.

— Что, если я решусь подвергнуть вас риску умереть? Я говорил вам об этом вскользь, чтобы выиграть ваше доверие, показать, что я на все согласен, что будет нужно для вас; теперь говорю положительно. Что, если придется дать вам яд?

— Я давно вижу, что моя смерть неизбежна, что мне осталось жить немного дней.

— А если за́втра поутру?

— Тем лучше.— Она говорила совершенно спокойно.

— Когда остается одно спасение — призвать себе в опору

решимость на смерть, эта опора почти всегда выручит. Если скажешь: «Уступай, или я умру»,— почти всегда уступят; но, знаете, шутить таким великим принципом не следует; да и нельзя унижать своего достоинства,— если не уступят, то уж и надобно умереть.— Он объяснил ей план, очень понятный уж и из этих рассуждений.

VI

Конечно, в других таких случаях Кирсанов и не подумал бы прибегать к подобному риску. Гораздо проще: увезти девушку из дому, и пусть она венчается, с кем хочет. Но тут дело запутывалось понятиями девушки и свойствами человека, которого она любила. При своих понятиях о неразрывности жены с мужем она стала бы держаться за дрянного человека, когда бы уж и увидела, что жизнь с ним — мучение. Соединить ее с ним — хуже, чем убить. Потому и оставалось одно средство — убить или дать возможность образумиться.

На другой день собрался консилиум из самых высоких знаменитостей великосветской медицинской практики, было целых пять человек, самых важнейших: нельзя, чем же действовать на Полозова? Нужно, чтобы приговор был безапелляционный в его глазах. Кирсанов говорил,— они важно слушали, что он говорил, тому все важно поддакнули,— иначе нельзя, потому что, помните, есть на свете Клод Бернар и живет в Париже, да и, кроме того, Кирсанов говорит такие вещи, которых — и черт бы побрал этих мальчишек! — и не поймешь: как же не поддакивать?

Кирсанов сказал, что он очень внимательно исследовал больную и совершенно согласен с Карлом Федорычем, что болезнь неизлечима; а агония в этой болезни — мучительна; да и вообще каждый лишний час, проживаемый больною,— лишний час страдания; поэтому он считает обязанностью консилиума составить определение, что, по человеколюбию, следует прекратить страдания больной приемом морфия, от которого она уж не проснулась бы. С таким напутствием он повел консилиум вновь исследовать больную, чтобы принять или отвергнуть это мнение. Консилиум исследовал, хлопая глазами под градом черт знает каких непонятных разъяснений Кирсанова, возвратился в прежний, далекий от комнаты больной, зал и положил: прекратить страдания больной смертельным приемом морфия.

Когда составили определение, Кирсанов позвонил слугу и попросил его позвать Полозова в зал консилиума. Полозов вошел. Важнейший из мудрецов приличным, грустно-торжественным языком и величественно-мрачным голосом объявил ему постановление консилиума.

Полозова хватило как обухом по лбу. Ждать смерти хоть скоро, но неизвестно, скоро ли, да и наверное ли? и услышать: через полчаса ее не будет в живых — две вещи совершенно разные. Кирсанов смотрел на Полозова с напряженным вниманием: он был совершенно уверен в эффекте, но все-таки дело было возбуждающее нервы; минуты две старик молчал, ошеломленный: «Не надо! Она умирает от моего упрямства! Я на все согласен! Выздоровеет ли она?» — «Конечно»,— сказал Кирсанов.

Знаменитости сильно рассердились бы, если б имели время рассердиться, то есть, переглянувшись, увидеть, что, дескать, моим товарищам тоже, как и мне, понятно, что я был куклою в руках этого мальчишки, но Кирсанов не дал никому заняться этим наблюдением того, «как другие на меня смотрят». Кирсанов, сказав слуге, чтобы вывести осевшего Полозова, уже благодарил их за проницательность, с какою они отгадали его намерение, поняли, что причина болезни нравственное страдание, что нужно запугать упрямца, который иначе действительно погубил бы дочь. Знаменитости разъехались, каждая довольная тем, что ученость и проницательность ее засвидетельствована перед всеми остальными.

Наскоро дав им аттестацию, Кирсанов пошел сказать больной, что дело удалось. Она при первых его словах схватила его руку, и он едва успел вырвать, чтоб она не поцеловала ее. «Но я не скоро пущу к вам вашего батюшку объявить вам то же самое,— сказал он,— он у меня прежде прослушает лекцию о том, как ему держать себя». Он сказал ей, что́ он будет внушать ее отцу и что не отстанет от него, пока не внушит ему этого основательно.

Потрясенный эффектом консилиума, старик много оселся и смотрел на Кирсанова уже не теми глазами, как вчера, а такими, как некогда Марья Алексевна на Лопухова, когда Лопухов снился ей в виде пошедшего по откупной части. Вчера Полозову все представлялась натуральная мысль: «Я постарше тебя и поопытней, да и нет никого на свете умнее меня; а тебя, молокосос и голыш, мне и подавно не приходится слушать, когда я своим умом нажил два миллиона (точно, в сущности, было только два, а не четыре),— наживи-ка ты, тогда и

говори», а теперь он думал: «Экой медведь, как поворотил; умеет ломать»,— и чем дальше говорил он с Кирсановым, тем живее рисовалась ему, в прибавок к медведю, другая картина, старое забытое воспоминание из гусарской жизни: берейтор Захарченко сидит на Громобое (тогда еще были в ходу у барышень, а от них отчасти и между господами кавалерами, военными и статскими, баллады Жуковского), и Громобой хорошо вытанцовывает под Захарченкой, только губы у Громобоя сильно порваны, в кровь. Полозову было отчасти страшновато слышать, как отвечает Кирсанов на его первый вопрос:

— Неужели вы в самом деле дали бы ей смертельный прием?

— Еще бы! разумеется,— совершенно холодно отвечал Кирсанов.

«Что за разбойник! говорит, как повар о зарезанной курице».

— И у вас достало бы духа?

— Еще бы на это не достало,— что ж бы я за тряпка был!

— Вы страшный человек! — повторял Полозов.

— Это значит, что вы еще не видывали страшных людей,— с снисходительной улыбкой отвечал Кирсанов, думая про себя: «Показать бы тебе Рахметова».

— Но как же вы повертывали всех этих медиков!

— Будто трудно повертывать таких людей! — с легкою гримасою отвечал Кирсанов.

Полозову вспомнился Захарченко, говорящий штаб-ротмистру Волынову: «Этого-то вислоухого привели мне объезжать, ваше благородие? Зазорно мне на него садиться-то».

Прекратив бесконечные все те же вопросы Полозова, Кирсанов начал внушение, как ему следует держать себя.

— Помните, что человек может рассуждать только тогда, когда ему совершенно не мешают, что он не горячится только тогда, когда его не раздражают; что он не дорожит своими фантазиями только тогда, когда их у него не отнимают, дают ему самому рассмотреть, хороши ли они. Если Соловцов так дурен, как вы описываете,— и я этому совершенно верю,— ваша дочь сама рассмотрит это; но только когда вы не станете мешать, не будете возбуждать в ней мысли, что вы как-нибудь интригуете против него, стараетесь расстроить их. Одно ваше слово, враждебное ему, испортит дело на две недели, несколько слов — навсегда. Вы должны держаться совершенно в стороне.— Направление было приправляемо такими доводами: «Лег-

ко заставить вас сделать то, чего вы не хотите? а вот я заставил же; значит, понимаю, как надобно браться за дело; так уж поверьте, как я говорю, так и надо делать. Что я говорю, то знаю, вы только слушайтесь». С такими людьми, как тогдашний Полозов, нельзя иначе действовать, как нахрапом, наступая на горло. Полозов вымуштровался, обещал держать себя, как ему говорят. Но, убедившись, что Кирсанов говорит дело и что надо его слушаться, Полозов все еще не мог взять в толк, что ж это за человек: он на его стороне, и вместе на стороне дочери; он заставляет его покориться дочери и хочет, чтобы дочь изменила свою волю: как примирить это?

— Очень просто, я хочу, чтобы вы не мешали ей стать рассудительною, только.

Полозов написал к Соловцову записку, в которой просил его пожаловать к себе по очень важному делу; вечером Соловцов явился, произвел нежное, но полное достоинства объяснение со стариком, был объявлен женихом, с тем что свадьба через три месяца.

VII

Кирсанов не мог бросить дела: надобно было и помогать Катерине Васильевне поскорее выйти из ослепления, а еще больше надобно было наблюдать за ее отцом, поддерживать его в верности принятому методу невмешательства. Но он почел неудобным быть у Полозовых в первые дни после кризиса: Катерина Васильевна, конечно, еще находится в экзальтации; если он увидит (чего и следует непременно ждать), что жених — дрянь, то уж и его молчаливое недовольство женихом, не только прямой отзыв, принесет вред, подновит экзальтацию. Кирсанов заехал недели через полторы и поутру, чтобы не прямо самому искать встречи с женихом, а получить на это согласие Катерины Васильевны. Катерина Васильевна уж очень поправилась, была еще очень худа и бледна, но совершенно здорова, хоть и хлопотал над прописываньем лекарств знаменитый прежний медик, которому Кирсанов опять сдал ее, сказав: «Лечитесь у него; теперь никакие его снадобья не повредят вам, хоть бы вы и стали принимать их». Катерина Васильевна встретила Кирсанова с восторгом, но удивленными глазами посмотрела на него, когда он сказал, зачем приехал.

— Вы спасли мне жизнь — и вам нужно мое разрешение, чтобы бывать у нас!

— Но мое посещение при нем могло бы вам показаться попыткою вмешательства в ваши отношения без вашего согласия. Вы знаете мое правило: не делать ничего без воли человека, в пользу которого я хотел бы действовать.

Приехав на другой или третий день вечером, Кирсанов нашел жениха точно таким, каким описывал Полозов, а Полозова нашел удовлетворительным: вышколенный старик не мешал дочери. Кирсанов просидел вечер, ничем не показывая своего мнения о женихе, и, прощаясь с Катериною Васильевною, не сделал никакого намека на то, как он понравился ему.

Этого было уже довольно, чтобы возбудить ее любопытство и сомнение. На другой день в ней беспрестанно возобновлялась мысль: «Кирсанов не сказал мне ни слова о нем. Если б он произвел хорошее впечатление на Кирсанова, Кирсанов сказал бы мне это. Неужели он ему не понравился? Что ж могло не понравиться Кирсанову в нем?» Когда вечером приехал жених, она всматривалась в его обращение, вдумывалась в его слова. Она говорила себе, зачем делает это: чтобы доказать себе, что Кирсанов не должен был, не мог найти никаких недостатков в нем. Это и было так. Но надобность доказывать себе, что в любимом человеке нет недостатков, уже ведет к тому, что они скоро будут замечены.

Через несколько дней Кирсанов был опять и опять не сказал ей ни слова о том, как понравился ему жених. На этот раз она уже не выдержала и в конце вечера сказала:

— Ваше мнение? что же вы молчите?

— Я не знаю, угодно ли будет вам выслушать мое мнение, и не знаю, будет ли оно сочтено вами за беспристрастное.

— Он вам не нравится?

Кирсанов промолчал.

— Он вам не нравится?

— Я этого не говорил.

— Это видно. Почему ж он вам не нравится?

— Я буду ждать, когда будет видно и то, почему он мне не нравится.

На следующий вечер Катерина Васильевна еще внимательнее всматривалась в Соловцова. «В нем все хорошо; Кирсанов несправедлив; но почему ж я не могу заметить, что в нем не нравится Кирсанову?» Она досадовала на свое неуменье наблюдать, думала: «Неужели ж я так проста?» В ней

было возбуждено самолюбие в направлении, самом опасном жениху.

Когда Кирсанов опять приехал через несколько дней, он уже заметил возможность действовать сильнее. До сих пор он избегал разговоров с Соловцовым, чтобы не встревожить Катерину Васильевну преждевременным вмешательством. Теперь он сел в группе, которая была около нее и Соловцова, стал заводить разговор о вещах, по которым выказывался бы характер Соловцова, вовлекал его в разговор. Шел разговор о богатстве, и Катерине Васильевне показалось, что Соловцов слишком занят мыслями о богатстве; шел разговор о женщинах — ей показалось, что Соловцов говорит о них слишком легко; шел разговор о семейной жизни — она напрасно усиливалась выгнать из мысли впечатление, что, может быть, жене было бы холодно и тяжело жить с таким мужем.

Кризис произошел. Катерина Васильевна долго не могла заснуть, все плакала — от досады на себя за то, что обижает Соловцова такими мыслями о нем. «Нет, он не холодный человек; он не презирает женщин; он любит меня, а не мое богатство». Если б эти возражения были ответом на слова другого, они упрямо держались бы в ее уме. Но она возражала самой себе; а против той истины, которую сам нашел, долго не устоишь,— она своя, родная; в ней нельзя заподозрить никакой хитрости. На следующий вечер Катерина Васильевна уже сама испытывала Соловцова, как вчера испытывал его Кирсанов. Она говорила себе, что только хочет убедиться, что напрасно обижает его, но сама же чувствовала, что в ней уже недоверие к нему. И опять долго не могла заснуть, но досадовала уже на него: зачем он говорил так, что не успокоил ее сомнений, а только подкрепил их? Досадовала и на себя; но в этой досаде уже ясно проглядывал мотив: «Как я могла быть так слепа?»

Понятно, что через день, через два она исключительно была занята страхом от мысли: «Скоро я потеряю возможность поправить свою ошибку, если ошибалась в нем».

Когда Кирсанов приехал в следующий раз, он увидел, что может говорить с нею.

— Вы доспрашивались моего мнения о нем,— сказал он,— оно не так важно, как ваше. Что *вы* думаете о нем?

Теперь она молчала.

— Я не смею допытываться,— сказал он, заговорил о другом и скоро отошел.

Но через полчаса она сама подошла к нему:

— Дайте же мне совет: вы видите, мои мысли колеблются.

— Зачем же вам нужен чужой совет, когда вы сами знаете, что надобно делать, если мысли колеблются.

— Ждать, пока они перестанут колебаться?

— Как вы сами знаете.

— Я отложу свадьбу.

— Почему ж не отложить, когда вы находите это лучшим.

— Но как он примет это?

— Когда вы увидите, как он примет это, тогда опять подумайте, что будет лучше.

— Но мне тяжело сказать ему это.

— Если так, поручите вашему батюшке, чтоб он сказал ему это.

— Я не хочу прятаться за другого. Я скажу сама.

— Если чувствуете силу сказать сама, то это, конечно, гораздо лучше.

Разумеется, с другими, например, с Верою Павловною, не годилось вести дело так медленно. Но каждый темперамент имеет свои особые требования: если горячий человек раздражается медленною систематичностью, то тихий человек возмущается крутою резкостью.

Успех объяснения Катерины Васильевны с женихом превзошел надежды Кирсанова, который думал, что Соловцов сумеет соблюсти расчет, протянет дело покорностью и кроткими мольбами. Нет, при всей своей выдержанности Соловцов не сдержал себя, увидев, что огромное богатство ускользает из его рук, и сам упустил слабые шансы, остававшиеся ему. Он рассыпался резкими жалобами на Полозова, которого назвал интригующим против него; говорил Катерине Васильевне, что она дает отцу слишком много власти над собою, боится его, действует теперь по его приказанию. А Полозов еще и не знал о решении дочери отложить свадьбу; дочь постоянно чувствовала, что он оставляет ей полную свободу. Упреки отцу и огорчили ее своею несправедливостью, и оскорбили тем, что в них выказывался взгляд Соловцова на нее, как на существо, лишенное воли и характера.

— Вы, кажется, считаете меня игрушкою в руках других?

— Да,— сказал он в раздражении.

— Я готовилась умереть, не думая об отце, и вы не понимаете этого! С этой минуты все кончено между нами,— сказала она и быстро ушла из комнаты.

VIII

После этой истории Катерина Васильевна долго была грустна; но грусть ее, развившаяся по этому случаю, относилась уже не к этому частному случаю. Есть такие характеры, для которых частный факт сам по себе мало интересен, служит только возбуждением к общим мыслям, которые действуют на них гораздо сильнее. Если у таких людей ум замечательно силен, они становятся преобразователями общих идей, а в старину делались великими философами: Кант, Фихте, Гегель не разработали никакого частного вопроса, им было это скучно. Это, конечно, только о мужчинах: у женщин ведь и не бывает сильного ума, по-нынешнему,— им, видите ли, природа отказала в этом, как отказала кузнецам в нежном цвете лица, портным — в стройности стана, сапожникам — в тонком обонянии,— это все природа. Потому и между женщинами не бывает людей великого ума. Люди очень слабого ума с таким направлением характера бывают флегматичны до бесчувственности. Люди обыкновенного ума бывают расположены к задумчивости, к тихой жизни и вообще наклонны мечтать. Это еще не значит, что они фантазеры: у многих воображение слабо, и они люди очень положительные, они просто любят тихую задумчивость.

Катерина Васильевна влюбилась в Соловцова за его письма; она умирала от любви, основывавшейся только на ее мечтах. Уж из этого видно, что она была тогда настроена очень романически. А шумная жизнь пошлого общества, наполнявшего дом Полозовых, вовсе не располагала к экзальтированной идеальности. Значит, эта черта происходила из собственной ее натуры. Ее давно тяготил шум; она любила читать и мечтать. Теперь ее стало тяготить и самое богатство, не только шум его. Не нужно считать ее за это чувство необыкновенною натурою: оно знакомо всем богатым женщинам скромного и тихого характера. В ней оно только развилось раньше обыкновенного, потому что рано получила она сильный урок.

«Кому я могу верить? чему я могу верить?» — спрашивала она себя после истории с Соловцовым и видела: никому, ничему. Богатство ее отца притягивало из всего города жадность к деньгам, хитрость, обман. Она была окружена корыстолюбцами, лжецами, льстецами; каждое слово, которое говорилось ей, было рассчитано по миллионам ее отца.

Ее мысли становились все серьезнее. Ее стали занимать общие вопросы о богатстве, которое так мешало ей, о бедности, которая так мучит других. Отец давал ей довольно много денег на булавки, она, как и всякая добрая женщина, помогала бедным. Но она читала и думала, и стала замечать, что такая помощь, которую оказывает она, приносит гораздо меньше пользы, чем следовало бы. Она стала видеть, что слишком много ее обманывают притворные или дрянные бедняки; что и людям, достойным помощи, умеющим пользоваться данными деньгами, эти деньги почти никогда не приносят прочной пользы: на время выведут их из беды, а через полгода, через год эти люди опять в такой же беде. Она стала думать: «Зачем это богатство, которое так портит людей? и отчего эта неотступность бедности от бедных? и отчего видит она так много бедных, которые так же безрассудны и дурны, как богатые?»

Она была мечтательница, но мечты ее были тихи, как ее характер, и в них было так же мало блеска, как в ней самой. Ее любимым поэтом был Жорж Занд; но она не воображала себя ни Лелиею, ни Индианою, ни Кавальканти, ни даже Консуэло, она в своих мечтах была Жанною, но чаще всего Женевьевою. Женевьева была ее любимая героиня. Вот она ходит по полю и собирает цветы, которые будут служить образцами для ее работы, вот она встречает Андре,— такие тихие свидания! вот они замечают, что любят друг друга; это были ее мечты, о которых она сама знала, что они только мечты. Но она любила мечтать о том, как завидна судьба мисс Найтингель, этой тихой, скромной девушки, о которой никто не знает ничего, о которой нечего знать, кроме того, за что она любимица всей Англии: молода ли она? богата ли она или бедна? счастлива ли она сама или несчастна? об этом никто не говорит, об этом никто не думает, все только благословляют девушку, которая была ангелом-утешителем в английских госпиталях Крыма и Скутари и по окончании войны, вернувшись на родину с сотнями спасенных ею, продолжает заботиться о больных... Это были мечты, исполнения которых желала бы Катерина Васильевна. Дальше мыслей о Женевьеве и мисс Найтингель не уносила ее фантазия. Можно ли сказать, что у ней была фантазия? и можно ли назвать ее мечтательницею?

Женевьева в шумном, пошлом обществе пройдох и плохих фатов, мисс Найтингель в праздной роскоши, могла ли она

не скучать и не грустить? Потому Катерина Васильевна была едва ли не больше обрадована, чем огорчена, когда отец ее разорился. Ей было жалко видеть его, ставшего стариком из крепкого, еще не старого человека; было жалко и того, что средства ее помогать другим слишком уменьшились; было на первый раз обидно увидеть пренебрежение толпы, извивавшейся и изгибавшейся перед ее отцом и ею. Но было и отрадно, что пошлая, скучная, гадкая толпа покинула их, перестала стеснять ее жизнь, возмущать ее своею фальшивостью и низостью; ей стало так свободно теперь. Явилась и надежда на счастье: «Теперь, если в ком я найду привязанность, то будет привязанность ко мне, а не к миллионам моего отца».

IX

Полозову хотелось устроить продажу стеаринового завода, в котором он имел пай и которым управлял. Через полгода или больше усердных поисков он нашел покупщика. На визитных карточках покупщика было написано Charles Beaumont, но произносилось это не Шарль Бомон, как прочли бы незнающие, а Чарльз Бьюмонт; и натурально, что произносилось так: покупщик был агент лондонской фирмы Ходчсона, Лотера и К° по закупке сала и стеарина. Завод не мог идти при жалком финансовом и административном состоянии своего акционерного общества; но в руках сильной фирмы он должен был дать большие выгоды; затратив на него пятьсот — шестьсот тысяч, она могла рассчитывать на сто тысяч рублей дохода. Агент был человек добросовестный: внимательно осмотрел завод, подробно разобрал его книги, прежде чем посоветовал фирме покупку; потом начались переговоры с обществом о продаже завода и тянулись очень долго по натуре наших акционерных обществ, с которыми соскучились бы даже терпеливые греки, не скучавшие десять лет осаждать Трою. А Полозов все это время ухаживал за агентом, по старинной привычке обращения с нужными людьми, и все приглашал его к себе обедать. Агент сторонился от ухаживаний и долго отказывался от обедов; но однажды, слишком долго засидевшись в переговорах с правлением общества, уставши и проголодавшись, согласился пойти обедать к Полозову, жившему на той же лестнице.

X

Чарльз Бьюмонт, как и следует всякому Чарльзу, Джону, Джемсу, Вильяму, не был охотник пускаться в интимности и личные излияния; но когда его спрашивали, рассказывал свою историю не многословно, но очень отчетливо. Семейство его, говорил он, было родом из Канады; точно, в Канаде чуть ли не половину населения составляют потомки французских колонистов; его семейство из них-то и было, потому-то и фамилия у него была французского фасона, да и лицом он походил все-таки скорее на француза, чем на англичанина или янки. Но,. продолжал он, его дед переехал из окрестностей Квебека в Нью-Йорк; и это бывает. Во время этого переселения его отец был еще ребенком. Потом, разумеется, вырос и стал взрослым мужчиною; а в это время какому-то богачу и прогрессисту в сельском хозяйстве вздумалось устроить у себя на южном берегу Крыма вместо виноградников хлопчатобумажные плантации; он и поручил кому-то достать ему управляющего из Северной Америки; ему и достали Джемса Бьюмонта, канадского уроженца, нью-йоркского жителя, то есть настолько верст не видывавшего хлопчатобумажных плантаций, насколько мы с вами, читатель, не видывали из своего Петербурга или Курска гору Арарат; это уж всегда так бывает с подобными прогрессистами. Правда, дело нисколько не испортилось от совершенного незнакомства американского управляющего с хлопчатобумажным плантаторством, потому что разводить хлопчатобумажник в Крыму то же самое, что в Петербурге виноград. Но когда оказалось это, американский управляющий был отпущен с хлопчатобумажного ведомства и попал винокуром на завод в Тамбовской губернии, дожил тут почти весь свой век, тут прижил сына Чарльза, а вскоре после того похоронил жену. Годам к шестидесяти пяти, накопивши несколько денег на дряхлые годы, он вздумал вернуться в Америку и вернулся. Чарльзу было тогда лет двадцать. Когда отец умер, Чарльз захотел возвратиться в Россию, потому что, родившись и прожив до двадцати лет в деревне Тамбовской губернии, чувствовал себя русским. Он с отцом жил в Нью-Йорке и служил клерком в одной купеческой конторе. Когда отец умер, он перешел в нью-йоркскую контору лондонской фирмы Ходчсона, Лотера и К°, зная, что она имеет дела с Петербургом, и когда успел хорошо зарекомендовать себя, то и выразил желание получить место в России, объяснивши, что он Россию знает как свою родину. Иметь такого служащего в России, разумеется,

было выгодно для фирмы, его перевели в лондонскую контору на испытание, испытали, и вот, с полгода времени до обеда у Полозова, он приехал в Петербург агентом фирмы по сальной и стеариновой части с жалованьем в пятьсот фунтов. Совершенно сообразно этой истории Бьюмонт, родившийся и до двадцати лет живший в Тамбовской губернии с одним только американцем или англичанином на двадцать, или пятьдесят, или сто верст кругом, с своим отцом, который целый день был на заводе,— сообразно этой истории Чарльз Бьюмонт говорил по-русски, как чистый русский, а по-английски — бойко, хорошо, но все-таки не совершенно чисто, как следует человеку, уже только в зрелые годы прожившему несколько лет в стране английского языка.

XI

Бьюмонт увидел себя за обедом только втроем со стариком и очень милою, несколько задумчивою блондинкою, его дочерью.

— Думал ли я когда-нибудь,— сказал за обедом Полозов,— что эти акции завода будут иметь для меня важность! Тяжело на старости лет подвергаться такому удару. Еще хорошо, что Катя так равнодушно перенесла, что я погубил ее состояние, оно и при моей-то жизни было больше ее, чем мое: у ее матери был капитал, у меня мало; конечно, я из каждого рубля сделал было двадцать, значит, оно, с другой стороны, было больше от моего труда, чем по наследству; и много же я трудился! и уменье какое нужно было,— старик долго рассуждал в этом самопохвальном тоне,— по́том и кровью, а главное, умом было нажито,— заключил он и повторил в заключение предисловие, что такой удар тяжело перенести и что если б еще да Катя этим убивалась, то он бы, кажется, с ума сошел, но что Катя не только сама не жалеет, а еще и его, старика, поддерживает.

По американской привычке не видеть ничего необыкновенного ни в быстром обогащении, ни в разорении или по своему личному характеру Бьюмонт не имел охоты ни восхититься величием ума, нажившего было три-четыре миллиона, ни скорбеть о таком разорении, после которого еще остались средства держать порядочного повара; а между тем надобно же было что-нибудь заметить в знак сочувствия чему-нибудь из длинной речи; потому он сказал:

— Да, это большое облегчение, когда семейство дружно переносит неприятности.

— Да вы как будто сомнительно говорите, Карл Яковлич. Вы думаете, что Катя задумчива, так это оттого, что она жалеет о богатстве? Нет, Карл Яковлич, нет, вы ее напрасно обижаете. У нас с ней другое горе: мы с ней изверились в людей,— сказал Полозов полушутливым, полусерьезным тоном, каким говорят о добрых, но неопытных мыслях детей опытные старики.

Катерина Васильевна покраснела. Ей было неприятно, что отец завел разговор о ее чувствах. Но, кроме отцовской любви, было и другое известное обстоятельство, по которому отец не был виноват: если не о чем говорить, но есть в комнате кошка или собака, заводится разговор о ней; если ни кошки, ни собаки нет, то о детях. Погода уж только третья, крайняя степень безресурсности.

— Нет, папа, вы напрасно объясняете мою задумчивость таким высоким мотивом: вы знаете, у меня просто невеселый характер, и я скучаю.

— Быть невеселым, это как кому угодно,— сказал Бьюмонт,— но скучать, по моему мнению, неизвинительно. Скука в моде у наших братьев, англичан; но мы, американцы, не знаем ее. Нам некогда скучать: у нас слишком много дела. Я считаю, мне кажется (поправил он свой американизм), что и русский народ должен бы видеть себя в таком положении: по-моему, у него тоже слишком много дела на руках. Но действительно, я вижу в русских совершенно противное: они очень расположены хандрить. Сами англичане далеко не выдерживают сравнения с ними в этом. Английское общество, ославленное на всю Европу, и в том числе на всю Россию, скучнейшим в мире, настолько же разговорчивее, живее, веселее русского, насколько уступает в этом французскому. И ваши путешественники говорят вам о скуке английского общества! Я не понимаю, где ж у этих людей глаза на свое домашнее!

— И русские правы, что хандрят,— сказала Катерина Васильевна,— какое ж у них дело? им нечего делать; они должны сидеть сложа руки. Укажите мне дело, и я, вероятно, не буду скучать.

— Вы хотите найти себе дело? О, за этим не должно быть остановки; вы видите вокруг себя такое невежество, извините, что я так отзываюсь о вашей стране, о вашей родине,— поправил он свой англицизм,— но я сам в ней родился и вырос, счи-

таю ее своею, потому не церемонюсь,— вы видите в ней турецкое невежество, японскую беспомощность. Я ненавижу вашу родину, потому что люблю ее, как свою, скажу я вам, подражая вашему поэту. Но в ней много дела.

— Да; но один, а еще более одна, что может сделать?

— Но ведь ты же делаешь, Катя,— сказал Полозов,— я вам выдам ее секрет, Карл Яковлич. Она от скуки учит девочек. У нее каждый день бывают ее ученицы, и она возится с ними от десяти часов до часу, иногда больше.

Бьюмонт посмотрел на Катерину Васильевну с уважением:

— Вот это по-нашему, по-американски,— конечно, под американцами я понимаю только северные, свободные штаты; южные хуже всякой Мехики, почти так же гадки, как Бразилия (Бьюмонт был яростный аболиционист),— это по-нашему; но в таком случае зачем же скучать?

— Разве это серьезное дело, m-r Бьюмонт? это не более как развлечение, так я думаю; может быть, я ошибаюсь; может быть, вы назовете меня материалисткою...

— Вы ждете такого упрека от человека из нации, про которую все утверждают, что единственная цель и мысль ее — доллары?

— Вы шутите, но я серьезно боюсь, опасаюсь высказать вам мое мнение,— оно может казаться сходно с тем, что проповедуют обскуранты о бесполезности просвещения.

«Вот как! — подумал Бьюмонт,— неужели она дошла до этого? это становится интересно».

— Я сам обскурант,— сказал он,— я за безграмотных черных против цивилизованных владельцев их в южных штатах,— извините, я отвлекся моей американской ненавистью. Но мне очень любопытно услышать ваше мнение.

— Оно очень прозаично, m-r Бьюмонт, но меня привела к нему жизнь. Мне кажется, дело, которым я занимаюсь, слишком одностороннее дело, и та сторона, на которую обращено оно, не первая сторона, на которую должны быть обращены заботы людей, желающих принести пользу народу. Я думаю так: давайте людям хлеб, читать они выучатся и сами. Начинать надобно с хлеба, иначе мы попусту истратим время.

— Почему ж вы не начинаете с того, с чего надобно начинать? — сказал Бьюмонт уже с некоторым одушевлением.— Это можно, я знаю примеры, у нас, в Америке,— прибавил он.

— Я вам сказала: одна, что я могу начать? Я не знаю, как приняться; и если б знала, где у меня возможность? Де-

вушка так связана во всем. Я независима у себя в комнате. Но что я могу сделать у себя в комнате? Положить на стол книжку и учить читать. Куда я могу идти одна? С кем я могу видеться одна? какое дело я могу делать одна?

— Ты, кажется, выставляешь меня деспотом, Катя? — сказал отец.— Уж в этом-то я не повинен с тех пор, как ты меня так проучила.

— Папá, ведь я краснею этого, я тогда была ребенок. Нет, папá, вы хороши, вы не стесняете. Стесняет общество. Правда, m-r Бьюмонт, что девушка в Америке не так связана?

— Да, мы можем этим гордиться; конечно, и у нас далеко не то, чему следует быть; но все-таки какое сравнение с вами, европейцами. Все, что рассказывают вам о свободе женщины у нас, правда.

— Папá, поедем в Америку, когда m-r Бьюмонт купит у тебя завод,— сказала шутя Катерина Васильевна,— я там буду что-нибудь делать. Ах, как бы я была рада!

— Можно найти дело и в Петербурге,— сказал Бьюмонт.

— Укажите.

Бьюмонт две-три секунды колебался. «Но зачем же я и приехал сюда? И через кого же лучше узнать?» — подумал он.

— Вы не слышали? — есть опыт применения к делу тех принципов, которые выработаны в последнее время экономическою наукою: вы знаете их?

— Да, я читала; это, должно быть, очень интересно и полезно. И я могу принять в этом участие? где же это найти?

— Это основано госпожою Кирсановою.

— Кто она? ее муж медик?

— Вы его знаете? И он не сказал вам об этом деле?

— Это было давно, он тогда еще не был женат; я была очень больна,— он приезжал несколько раз и спас меня. Ах, какой это человек! Похожа на него она?

Но как же познакомиться с Кирсановою? Бьюмонт рекомендует Катерину Васильевну Кирсановой? — Нет, Кирсановы даже не слышали его фамилии; но никакой рекомендации не надобно: Кирсанова, наверное, будет рада встретить такое сочувствие. Адрес надобно узнать там, где служит Кирсанов.

XII

Вот каким образом произошло то, что Полозова познакомилась с Верой Павловною; она отправилась к ней на другой же день поутру; и Бьюмонт был так заинтересован, что вечером приехал узнать, как понравилось Катерине Васильевне новое знакомство и новое дело.

Катерина Васильевна была очень одушевлена. Грусти — никаких следов; задумчивость заменилась восторгом. Она с энтузиазмом рассказывала Бьюмонту,— а ведь уж рассказывала отцу, но от одного раза не унялась,— о том, что видела поутру, и не было конца ее рассказу; да, теперь ее сердце было полно: живое дело найдено! Бьюмонт слушал внимательно; но разве можно слушать так? и она чуть не с гневом сказала:

— M-r Бьюмонт, я разочаровываюсь в вас: неужели это так мало действует на вас, что вам только интересно,— не больше?

— Катерина Васильевна, вы забываете, что я все это видел у нас, в Америке; для меня занимательны некоторые подробности; но само дело слишком знакомо мне. Интерес новизны тут могут иметь для меня только личности, которым обязано своим успехом это дело, новое у вас. Например, что вы можете рассказать мне о m-me Кирсановой?

— Ах, боже мой: разумеется, она мне чрезвычайно понравилась; она с такою любовью объясняла мне все.

— Это вы уж говорили.

— Чего ж вам больше? Что я могу сказать вам больше? Неужели ж мне было до того, чтобы думать о ней, когда у меня перед глазами было такое дело?

— Так,— сказал Бьюмонт,— я понимаю, что совершенно забываешь о лицах, когда заинтересован делом; однако что ж вы можете сказать мне еще о m-me Кирсановой?

Катерина Васильевна стала собирать все свои воспоминания о Вере Павловне, но в них только и нашлось первое впечатление, которое сделала на нее Вера Павловна; она очень живо описала ее наружность, манеру говорить, все, что бросается в глаза в минуту встречи с новым человеком; но дальше, дальше у нее в воспоминаниях уже действительно не было почти ничего, относящегося к Вере Павловне: мастерская, мастерская, мастерская — и объяснения Веры Павловны о мастерской; эти объяснения она все понимала, но самой Веры Павловны во все

следующее время, после первых слов встречи, она уж не понимала.

— Итак, на этот раз я обманулся в ожидании много узнать от вас о m-me Кирсановой; но я не отстану от вас: через несколько дней я опять стану расспрашивать вас о ней.

— Но почему ж вам самому не познакомиться с нею, если она так интересует вас?

— Мне хочется сделать это; может быть, я и сделаю когда-нибудь. Но прежде я должен узнать о ней больше.— Бьюмонт остановился на минуту.— Я думал, лучше ли просить вас или не просить; кажется, лучше попросить: когда вам случится упоминать мою фамилию в разговорах с ними, не говорите, что я расспрашивал вас о ней или хочу когда-нибудь познакомиться с ними.

— Но это начинает походить на загадку, m-r Бьюмонт,— серьезным тоном сказала Катерина Васильевна.— Вы хотите через меня разузнать о них, а сам хотите скрываться.

— Да, Катерина Васильевна; как вам объяснить это? — я опасаюсь знакомиться с ними.

— Все это странно, m-r Бьюмонт.

— Правда. Скажу прямее: я опасаюсь, что им будет это неприятно. Они не слышали моей фамилии. Но у меня могли быть какие-нибудь столкновения с кем-нибудь из людей, близких к ним, или с ними, это все равно. Словом, я должен удостовериться, приятно ли было бы им познакомиться со мною.

— Все это странно, m-r Бьюмонт.

— Я честный человек, Катерина Васильевна; смею вас уверить, что я никогда не захотел бы компрометировать вас; мы с вами видимся только во второй раз, но я уж очень уважаю вас.

— Я также вижу, m-r Бьюмонт, что вы порядочный человек, но...

— Если вы считаете меня порядочным человеком, вы позволите мне бывать у вас, чтобы тогда, когда вы достаточно уверитесь во мне, я мог опять спросить вас о Кирсановых. Или лучше вы сами заговорите о них, когда вам покажется, что вы можете исполнить эту мою просьбу, которую я сделаю теперь и не буду возобновлять. Вы позволяете?

— Извольте, m-r Бьюмонт,— сказала Катерина Васильевна, слегка пожав плечами.— Но согласитесь, что...

Она опять не хотела договорить.

— ...что я теперь должен внушать вам некоторое недоверие? Правда. Но я буду ждать, пока оно пройдет.

XIII

Бьюмонт стал очень часто бывать у Полозовых. «Почему ж? — думал старик,— подходящая партия. Конечно, Катя прежде могла бы иметь не такого жениха. Но ведь она и тогда была не интересантка и не честолюбивая. А теперь лучше и желать нельзя».

Действительно, Бьюмонт был подходящая партия. Он говорил, что думает навсегда остаться в России, потому что считает ее своею родиною. Он человек основательный: в тридцать лет, вышедши из ничего, имеет хорошее место. Если б он был русский, Полозову было бы приятно, чтоб он был дворянин, но к иностранцам это не прилагается, особенно к французам; а к американцам еще меньше: у них в Америке человек — ныне работник у сапожника или пахарь, завтра генерал, послезавтра президент, а там опять конторщик или адвокат. Это совсем особый народ, у них спрашивают о человеке только по деньгам и по уму. «Это и правильнее,— продолжал думать Полозов,— я сам такой человек. Занялся торговлею, женился на купчихе. Деньги — главное; и ум, потому что без ума не наживешь денег. А он может нажить: стал на такую дорогу. Купит завод, станет управляющим; потом фирма возьмет его в долю. А у них фирмы не такие, как у нас. Тоже и он будет ворочать миллионами...»

Очень возможно, что не суждено сбыться мечтам Полозова о том, что его зять будет миллионером по коммерческой части, как не суждено было сбыться мечтам Марьи Алексевны о том, что ее первый зять пойдет по откупной части. Но все-таки Бьюмонт был хорошая партия для Катерины Васильевны.

Однако ж не ошибался ли Полозов, предусматривая себе зятя в Бьюмонте? Если у старика было еще какое-нибудь сомнение в этом, оно исчезло, когда Бьюмонт, недели через две после того как начал бывать у них, сказал ему, что, может быть, покупка завода задержится на несколько дней; впрочем, едва ли от этого будет задержка: вероятно, они, и не дожидаясь мистера Лотера, не составили бы окончательных условий раньше недели, а мистер Лотер будет в Петербурге через четыре дня.

— Прежде, когда я не был в личном знакомстве с вами,— сказал Бьюмонт,— я хотел кончить дело сам. Теперь это

неловко, потому что мы так хорошо знакомы. Чтобы не могло возникнуть потом никаких недоразумений, я писал об этом фирме, то есть о том, что я во время торговых переговоров познакомился с управляющим, у которого почти весь капитал в акциях завода, я требовал, чтобы фирма прислала кого-нибудь заключить вместо меня это дело, и вот, как видите, приедет мистер Лотер.

Осторожно и умно. А с тем вместе ясно показывает в Бьюмонте намерение жениться на Кате: простое знакомство не было бы достаточною причиною принимать такую предосторожность.

XIV

Два-три следующие посещения Бьюмонта начинались довольно холодным приемом со стороны Катерины Васильевны. Она стала действительно несколько не доверять этому малознакомому человеку, высказавшему загадочное желание разузнавать о семействе, с которым, по словам, он не был знаком и, однако же, опасался познакомиться по какой-то неуверенности, что знакомство с ним будет приятно этому семейству. Но и в эти первые посещения, если Катерина Васильевна недоверчиво встречала его, то скоро вовлеклась в живой разговор с ним. В прежней ее жизни, до знакомства с ним и с Кирсановым, ей не встречались такие люди. Он так сочувствовал всему, что ее интересовало, он так хорошо понимал ее; даже с любимыми подругами,— впрочем, у ней, собственно, и была только одна подруга, Полина, которая уж давно переселилась в Москву, вышедши замуж за московского фабриканта,— даже с Полиною она не говорила так легко, как с ним.

И он,— он сначала приезжал, очевидно, не для нее, а для того, чтобы узнать через нее о Кирсановой; но с самого же начала знакомства, с той минуты, как заговорили они о скуке и о средствах избегать скуки, видно было, что он уважает ее, симпатизирует ей. При втором свидании он был очень привлечен к ней ее восторгом оттого, что она нашла себе дело. Теперь с каждым новым свиданием его расположение к ней было все виднее для нее. Очень скоро между ними установилась самая простая и теплая приязнь, и через неделю Катерина Васильевна уже рассказывала ему о Кирсановых: она была уверена, что у этого человека не может быть никакой неблагородной мысли.

Правда и то, что, когда она заговорила о Кирсановых, он остановил ее:

— Зачем так скоро? Вы слишком мало меня знаете.

— Нет, достаточно, m-r Бьюмонт; я вижу, что если вы не хотели объяснить мне того, что мне казалось странно в вашем желании, то, вероятно, вы не имели права говорить, мало ли бывает тайн.

А он сказал:

— У меня, вы видите, уж нет прежнего нетерпения знать то, что мне хочется знать о них.

XV

Одушевление Катерины Васильевны продолжалось не ослабевая, а только переходя в постоянное, уж обычное настроение духа, бодрое и живое, светлое. И, сколько ей казалось, именно это одушевление всего больше привлекало к ней Бьюмонта. А он уж очень много думал о ней,— это было слишком видно. Послушав два-три раза ее рассказы о Кирсановых, он в четвертый раз уже сказал:

— Я теперь знаю все, что мне было нужно знать. Благодарю вас.

— Да что ж вы знаете? Я вам только еще и говорила, что они очень любят друг друга и совершенно счастливы своими отношениями.

— Больше мне и не нужно было ничего знать. Впрочем, это я всегда знал сам.

И разговор перешел к чему-то другому.

Конечно, первая мысль Катерины Васильевны была тогда, при первом его вопросе о Кирсановой, что он влюблен в Веру Павловну. Но теперь было слишком видно, что этого вовсе нет. Сколько теперь знала его Катерина Васильевна, она даже думала, что Бьюмонт и не способен быть влюбленным. Любить он может, это так. Но если теперь он любит кого-нибудь, то «меня», думала Катерина Васильевна.

XVI

А впрочем, любили ль они друг друга? Начать хотя с нее. Был один случай, в котором выказалась с ее стороны заботливость о Бьюмонте, но как же и кончился этот случай! вовсе не

так, как следовало бы ожидать по началу. Бьюмонт заезжал к Полозовым решительно каждый день, иногда надолго, иногда ненадолго, но все-таки каждый день; на этом-то и была основана уверенность Полозова, что он хочет сватать Катерину Васильевну; других оснований для такой надежды не было. Но вот однажды прошел вечер, Бьюмонта нет.

— Вы не знаете, папа́, что с ним?

— Не слышал; вероятно, ничего, некогда было, только.

Прошел и этот вечер, Бьюмонт опять не приезжал. На третье утро Катерина Васильевна собралась куда-то ехать.

— Куда ты, Катя?

— Так, папа́, по своим делам.

Она поехала к Бьюмонту. Он сидел в пальто с широкими рукавами и читал; поднял глаза от книги, когда отворилась дверь.

— Катерина Васильевна, это вы? очень рад и благодарен вам,— тем самым тоном, каким бы встретил ее отца; впрочем, нет, гораздо приветливее.

— Что с вами, m-r Бьюмонт, что вы так давно не были? вы заставили меня тревожиться за вас и, кроме того, заставили соскучиться.

— Ничего особенного, Катерина Васильевна, как видите, здоров. Да вы не выкушаете чаю? — видите, я пью.

— Пожалуй; да что ж вы столько дней не были?

— Петр, дайте стакан. Вы видите, что здоров; следовательно, пустяки. Вот что: был на заводе с мистером Лотером да, объясняя ему что-то, не остерегся, положил руку на винт, а он повернулся и оцарапал руку сквозь рукав. И нельзя было ни третьего дня, ни вчера надеть сюртука.

— Покажите, иначе я буду тревожиться, что это не царапина, а большое повреждение.

— Да какое же большое (входит Петр со стаканом для Катерины Васильевны), когда я владею обеими руками? А впрочем, извольте (отодвигает рукав до локтя). Петр, выбросьте из этой пепельницы и дайте сигарочницу, она в кабинете на столе. Видите, пустяки: кроме английского пластыря, ничего не понадобилось.

— Да, но все-таки есть опухоль и краснота.

— Вчера было гораздо больше, а к завтрему ничего не будет. (Петр, высыпав пепел и подав сигарочницу, уходит.) Не хотел являться перед вами раненым героем.

— Да написали бы, как же можно?

— Да ведь я тогда думал, что надену сюртук на другой

день, то есть третьего дня; а третьего дня думал, что надену, вчера, вчера — что ныне. Думал, не стоит тревожить вас.

— Да, а больше встревожили. Это нехорошо, m-r Бьюмонт. А когда вы кончите дело с этою покупкою?

— Да, вероятно, на днях, но все, знаете, проволочка не от нас с мистером Лотером, а от самого общества.

— А что это вы читали?

— Новый роман Теккерея. При таком таланте, и как исписался! оттого, что запас мыслей скуден.

— Я уж читала; действительно...— и так далее; пожалели о падении Теккерея, поговорили с полчаса о других вещах в том же роде.

— Однако мне пора к Вере Павловне, да когда же вы с ними познакомитесь? очень хорошие люди.

— А вот как-нибудь соберусь, попрошу вас. Очень вам благодарен, что навестили меня. А это ваша лошадь?

— Да, это моя.

— То-то ваш батюшка никогда на ней не ездит. А порядочная лошадь.

— Кажется; я не знаю в них толку.

— Хорошая лошадь, сударь, рублей триста пятьдесят стоит,— сказал кучер.

— А сколько лет?

— Шесть лет, сударь.

— Поедем, Захар; я уселась. До свиданья, m-r Бьюмонт. Ныне приедете?

— Едва ли; нет; завтра, наверное.

XVII

Так ли делаются, такие ли бывают посещения влюбленных девушек? Не говоря уж о том, что ничего подобного никогда не позволит себе благовоспитанная девушка, но если позволит, то, уж конечно, выйдет из этого совсем не то. Если противен нравственности поступок, сделанный Катериною Васильевною, то еще противнее всяким общепринятым понятиям об отношениях между мужчинами и девушками содержание, так сказать, этого безнравственного поступка. Не ясно ли, что Катерина Васильевна и Бьюмонт были не люди, а рыбы, или если люди, то с рыбьею кровью? Совершенно соответствовало этому свиданью и то, как она вообще обращалась с ним, видя его у себя.

— Устала говорить, m-r Бьюмонт,— говорила она, когда он долго засиживался,— оставайтесь с папá, а я уйду к себе,— и уходила.

Он иногда отвечал на это:

— Посидите еще с четверть часа, Катерина Васильевна.

— Пожалуй,— отвечала она в таких случаях; а чаще он отвечал:

— Так до свиданья, Катерина Васильевна.

Что это за люди такие? желал бы я знать, и желал бы я знать, не просто ли они хорошие люди, которым никто не мешает видеться, когда и сколько им угодно, которым никто не мешает повенчаться, как только им вздумается, и которым поэтому не из-за чего бесноваться. Но все-таки меня смущает их холодное обращение между собою, и не столько за них я стыжусь, сколько за себя: неужели судьба моя как романиста состоит в том, чтобы компрометировать перед благовоспитанными людьми всех моих героинь и героев? Одни из них едят и пьют; другие не бесятся без причины: какие неинтересные люди!

XVIII

А между тем, по убеждению старика Полозова, дело шло к свадьбе,— при таком обращении предполагаемой невесты с предполагаемым женихом шло к свадьбе! И неужели он не слышал разговоров? Правда, не вечно же вертелись у него перед глазами дочь с предполагаемым женихом; чаще, чем в одной комнате с ним, они сидели или ходили в другой комнате или других комнатах; но от этого не было никакой разницы в их разговорах. Эти разговоры могли бы в ком угодно из тонких знатоков человеческого сердца (такого, какого не бывает у людей на самом деле) отнять всякую надежду увидеть Катерину Васильевну и Бьюмонта повенчавшимися. Не то чтобы они вовсе не говорили между собою о чувствах, нет, говорили, как и обо всем на свете, но мало, и это бы еще ничего, что очень мало, но главное, что́ говорили и каким тоном! Тон был возмутителен своим спокойствием, а содержание — ужасно своею крайнею несообразностью ни с чем на свете. Вот, например, это было через неделю после визита, за который «очень благодарил» Бьюмонт Катерину Васильевну, месяца через два после начала их знакомства; продажа завода была покончена, мистер Лотер собирался уехать на другой

день (и уехал; не ждите, что он произведет какую-нибудь катастрофу; он, как следует негоцианту, сделал коммерческую операцию, объявил Бьюмонту, что фирма назначает его управляющим завода с жалованьем в тысячу фунтов, чего и следовало ожидать, и больше ничего: какая ж ему надобность вмешиваться во что-нибудь, кроме коммерции, сами рассудите), акционеры, в том числе и Полозов, завтра же должны были получить (и получили, опять не ждите никакой катастрофы: фирма Ходчсона, Лотера и К° очень солидная) половину денег наличными, а другую половину — векселями на трехмесячный срок. Полозов, в удовольствии от этого, сидел за столом в гостиной и пересматривал денежные бумаги, отчасти слушал и разговор дочери с Бьюмонтом, когда они проходили через гостиную: они ходили вдоль через все четыре комнаты квартиры, бывшие на улицу.

— Если женщина, девушка затруднена предрассудками,— говорил Бьюмонт (не делая уже никаких ни англицизмов, ни американизмов),— то и мужчина,— я говорю о порядочном человеке,— подвергается от этого большим неудобствам. Скажите, как жениться на девушке, которая не испытала простых житейских отношений в смысле отношений, которые возникнут от ее согласия на предложение? Она не может судить, будет ли ей нравиться будничная жизнь с человеком такого характера, как ее жених.

— Но если, m-r Бьюмонт, ее отношения к этому человеку и до его предложения имели будничный характер, это все-таки представляет ей и ему некоторую гарантию, что они останутся довольны друг другом.

— Некоторую — да; но все-таки было бы гораздо вернее, если б испытание было полнее и многостороннее. Она все-таки не знает по опыту характера отношений, в которые вступает: от этого свадьба для нее все-таки страшный риск. Так для нее; но от этого и для порядочного человека, за которого она выходит, то же. Он вообще может судить, будет ли он доволен: он близко знает женщин разного характера, он испытал, какой характер лучше для него. Она — нет.

— Но она могла наблюдать жизнь и характеры в своем семействе, в знакомых семействах; она могла много думать.

— Все это прекрасно, но недостаточно. Ничто не может заменить личного опыта.

— Вы хотите, чтобы замуж выходили только вдовы? — смеясь сказала Катерина Васильевна.

— Вы выразились очень удачно. Только вдовы. Девушкам должно быть запрещено выходить замуж.

— Это правда,— серьезно сказала Катерина Васильевна.

Полозову сначала было дико слышать такие разговоры или доли разговоров, выпадавшие на его слух. Но теперь он уже попривык и думал: «Что ж, я сам человек без предрассудков. Я занялся торговлей, женился на купчихе».

На другой день эта часть разговора,— ведь это был лишь небольшой эпизод в разговоре, шедшем вообще вовсе не о том, а обо всяких других предметах,— эта часть вчерашнего разговора продолжалась таким образом:

— Вы рассказывали мне историю вашей любви к Соловцову. Но что это такое? Это было...

— Сядем, если для вас все равно. Я устала ходить.

— Хорошо... ребяческое чувство, которое не дает никакой гарантии. Это годится для того, чтобы шутить, вспоминая, и грустить, если хотите, потому что здесь есть очень прискорбная сторона. Вы спаслись только благодаря особенному, редкому случаю, что дело попало в руки такого человека, как Александр.

— Кто?

— Матвеич Кирсанов,— дополнил он, будто не останавливался на одном имени «Александр»,— без Кирсанова вы погибали от чахотки или от негодяя. Можно было вывести из этого основательные мысли о вреде положения, которое занимали вы в обществе. Вы их и вывели. Все это прекрасно, но все это только сделало вас более рассудительным и хорошим человеком, а еще нисколько не дало вам опытности в различении того, какого характера муж годится для вас. Не негодяй, а честный человек — вот только, что могли вы узнать. Прекрасно. Но разве всякая порядочная женщина может остаться довольна, какого бы характера ни был выбранный ею человек, лишь бы только был честный? Нужно более точное знание характеров и отношений, то есть нужна совершенно другая опытность. Мы вчера решили, что, по вашему выражению, замуж должны выходить только вдовы. Какая ж вы вдова?

Все это было говорено Бьюмонтом с каким-то неудовольствием, а последние слова отзывались прямо досадою.

— Это правда,— сказала несколько уныло Катерина Васильевна,— но все-таки я не могла же обманывать.

— И не сумели бы, потому что нельзя подделаться под опытность, когда не имеешь ее.

— Вы всё говорите о недостаточности средств у нас, девушек, делать основательный выбор. Вообще это совершенная правда. Но бывают исключительные случаи, когда для основательности выбора и не нужно такой опытности. Если девушка не так молода, она уж может хорошо знать свой характер. Например, я свой характер знаю, и видно, что он уже не изменится. Мне двадцать два года. Я знаю, что нужно для моего счастия: жить спокойно, чтобы мне не мешали жить тихо, больше ничего.

— Это правда. Это видно.

— И будто так трудно видеть, есть или нет необходимые для этого черты в характере того или другого человека? Это видно из нескольких разговоров..

— Это правда. Но вы сами сказали, что это исключительный случай. Правило не то.

— Конечно, правило не то. Но, m-r Бьюмонт, при условиях нашей жизни, при наших понятиях и нравах нельзя желать для девушки того знания будничных отношений, о котором мы говорим, что без него, в большей части случаев, девушка рискует сделать неосновательный выбор. Ее положение безвыходно при нынешних условиях. При них, пусть она будет входить в какие угодно отношения, это тоже почти ни в коем случае не может дать ей опытности; пользы от этого ждать нельзя, а опасность огромная. Девушка легко может в самом деле унизиться, научиться дурному обману. Ведь она должна будет обманывать родных и общество, скрываться от них; а от этого недалек переход до обманов, действительно роняющих ее характер. Очень возможно даже то, что она в самом деле станет слишком легко смотреть на жизнь. А если этого не будет, если она останется хороша, то ее сердце будет разбито. А между тем она все-таки почти ничего не выиграет в будничной опытности, потому что эти отношения, такие опасные для ее характера или такие мучительные для ее сердца, все-таки эффектные, праздничные, а не будничные. Вы видите, что этого никак нельзя советовать при нашей жизни.

— Конечно, Катерина Васильевна; но именно потому и дурна наша жизнь.

— Разумеется, мы в этом согласны.

Что это такое? Не говоря уж о том, что это черт знает что такое со стороны общих понятий, но какой смысл это имело в личных отношениях? Мужчина говорит: «Я сомневаюсь, будете ли вы хорошею женою мне». А девушка отве-

чает: «Нет, пожалуйста, сделайте мне предложение». Удивительная наглость! или, может быть, это не то? Может быть, мужчина говорит: «О том, что я с вами буду счастлив, нечего мне рассуждать; но будьте осторожны, даже выбирая меня. Вы выбрали,— но я прошу вас: думайте, думайте еще. Это дело слишком важное. Даже и мне, хоть я вас очень люблю, не доверяйтесь без очень строгого и внимательного разбора». И, может быть, девушка отвечает: «Друг мой, я вижу, что вы думаете не о себе, а обо мне. Ваша правда, мы жалкие, нас обманывают, нас водят с завязанными глазами, чтобы мы обманывались. Но за меня вы не бойтесь: *меня вы* не обманываете. Мое счастье верно. Как вы спокойны за себя, так и я за себя».

— Я одному удивляюсь,— продолжал Бьюмонт на следующий день (они опять ходили вдоль по комнатам, из которых в одной сидел Полозов),— я одному удивляюсь, что при таких условиях еще бывают счастливые браки.

— Вы говорите таким тоном, будто досадуете на то, что бывают счастливые браки,— смеясь, отвечала Катерина Васильевна; она теперь, как заметно, часто смеется, таким тихим, но веселым смехом.

— А в самом деле, они могут наводить на грустные мысли, вот какие: если при таких ничтожных средствах судить о своих потребностях и о характерах мужчин, девушки все-таки довольно часто умеют делать удачный выбор, то какую же светлость и здравость женского ума показывает это! Каким верным, сильным, проницательным умом одарена женщина от природы! И этот ум остается без пользы для общества, оно отвергает его, оно подавляет его, оно задушает его, а история человечества пошла бы в десять раз быстрее, если бы этот ум не был опровергаем и убиваем, а действовал бы.

— Вы панегирист женщин, m-r Бьюмонт; нельзя ли объяснять это проще,— случаем?

— Случай! Сколько хотите случаев объясняйте случаем; но когда случаи многочисленны, вы знаете, кроме случайности, которая производит часть их, должна быть и какая-нибудь общая причина, от которой происходит другая часть. Здесь нельзя предположить никакой другой общей причины, кроме моего объяснения: здравость выбора от силы и проницательности ума.

— Вы решительно мистрис Бичер-Стоу по женскому вопросу, m-r Бьюмонт. Та доказывает, что негры — самое даро-

витое из всех племен, что они выше белой расы по умственным способностям.

— Вы шутите, а я вовсе нет.

— Вы, кажется, сердитесь на меня за то, что я не преклоняюсь перед женщиной? Но примите в извинение хотя трудность стать на колени перед самой собою.

— Вы шутите, а я серьезно досадую.

— Но не на меня же? Я нисколько не виновата в том, что женщины и девушки не могут делать того, что нужно по вашему мнению. Впрочем, если хотите, и я скажу вам свое серьезное мнение,— только не о женском вопросе, я не хочу быть судьею в своем деле, а собственно о вас, m-r Бьюмонт. Вы человек очень сдержанного характера, и вы горячитесь, когда говорите об этом. Что из этого следует? То, что у вас должны быть какие-нибудь личные отношения к этому вопросу. Вероятно, вы пострадали от какой-нибудь ошибки в выборе, сделанной девушкою, как вы называете, неопытною.

— Может быть, я, может быть, кто-нибудь другой, близкий ко мне. Однако подумайте, Катерина Васильевна. А это я скажу, когда получу от вас ответ. Я через три дня попрошу у вас ответ.

— На вопрос, который не был предложен? Но разве я так мало знаю вас, чтобы мне нужно было думать три дня? — Катерина Васильевна остановилась, положила руку на шею Бьюмонту, нагнула его голову к себе и поцеловала его в лоб.

По всем бывшим примерам, и даже по требованию самой вежливости, Бьюмонту следовало бы обнять ее и поцеловать уже в губы; но он не сделал этого, а только пожал ее руку, спускавшуюся с его головы.

— Так, Катерина Васильевна; но все-таки подумайте.

И они опять пошли.

— Но кто ж вам сказал, Чарли, что я не думала об этом гораздо больше трех дней? — отвечала она, не выпуская его руки.

— Так, конечно, я это видел; но все-таки, я вам скажу теперь,— это уже секрет; пойдем в ту комнату и сядем там, чтоб он не слышал.

Конец этого начала происходил, когда они шли мимо старика; старик видел, что они идут под руку, чего никогда не бывало, и подумал: «Просил руки, и она дала слово. Хорошо».

— Говорите ваш секрет, Чарли; отсюда папá не будет слышно.

— Это кажется смешно, Катерина Васильевна, что я будто все боюсь за вас; конечно, бояться нечего. Но вы поймете, почему я так предостерегаю вас, когда я вам скажу, что у меня был пример. Конечно, вы увидите, что мы с вами можем жить. Но ее мне было жаль. Столько страдала и столько лет была лишена жизни, какая ей была нужна. Это жалко. Я видел своими глазами. Где это было, все равно, положим в Нью-Йорке, в Бостоне, Филадельфии,— вы знаете, все равно; она была очень хорошая женщина и считала мужа очень хорошим человеком. Они были чрезвычайно привязаны друг к другу. И однако ж ей пришлось много страдать. Он был готов отдать голову за малейшее увеличение ее счастья. И все-таки она не могла быть счастлива с ним. Хорошо, что это так кончилось. Но это было тяжело для нее. Вы этого не знали, потому я еще не имею вашего ответа.

— Я могла от кого-нибудь слышать этот рассказ?

— Может быть.

— Может быть, от нее самой?

— Может быть.

— Я еще не давала тебе ответа?

— Нет.

— Ты знаешь его?

— Знаю,— сказал Бьюмонт, и началась обыкновенная сцена, какой следует быть между женихом и невестою, с объятиями.

XIX

На другой день, часа в три, Катерина Васильевна приехала к Вере Павловне.

— Я венчаюсь послезавтра, Вера Павловна,— сказала она, входя,— и нынче вечером привезу к вам своего жениха.

— Конечно, Бьюмонта, от которого вы так давно сошли с ума?

— Я? сходила с ума? Когда все это было так тихо и благоразумно.

— Очень верю, что с ним вы говорили тихо и благоразумно; но со мною — вовсе нет.

— Будто? это любопытно. Но вот что еще любопытнее: он очень любит вас, вас обоих, но вас, Вера Павловна, еще гораздо больше, чем Александра Матвеича.

— Что ж тут любопытного? если вы говорили ему обо мне хоть с тысячною долею того восторга, как мне о нем, то конечно...

— Вы думаете, он знает вас через меня? Вот в том и дело, что не через меня, а сам, и гораздо больше, чем я.

— Вот новость! как же это?

— Как? Я вам сейчас скажу. Он с самого первого дня, как приехал в Петербург, очень сильно желал увидеться с вами; но ему казалось, что лучше будет, если он отложит знакомство до той поры, когда приедет к вам не один, а с невестою или женою. Ему казалось, что вам приятнее будет видеть его с нею, нежели одного. Вы видите, что наша свадьба произошла из его желания познакомиться с вами.

— Жениться на вас, чтобы познакомиться со мною!

— На мне! кто ж говорил, что на мне он женится для вас? О нет, мы с ним венчаемся, конечно, не из любви к вам. Но разве мы с ним знали друг о друге, что мы существуем на свете, когда он ехал в Петербург? А если б он не приехал, как же мы с ним познакомились бы? А в Петербург он ехал для вас. Какая ж вы смешная!

— Он лучше говорит по-русски, нежели по-английски, говорили вы? — с волнением спросила Вера Павловна.

— По-русски, как я; и по-английски, как я.

— Друг мой, Катенька, как же я рада! — Вера Павловна бросилась обнимать свою гостью.— Саша, иди сюда! Скорее, скорее!

— Что, Верочка? Здравствуйте, Катерина Ва...

Он не успел договорить ее имени,— гостья уж целовала его.

— Ныне пасха, Саша; говори же Катеньке: воистину воскресе.

— Да что ж это?

— Садись, она расскажет, я и сама еще ничего не знаю порядком. Довольно, нацеловались — и при мне! Рассказывай, Катенька.

XX

Вечером, конечно, было еще больше гвалта. Но когда восстановился порядок, Бьюмонт, по требованию своих новых знакомых рассказывая свою жизнь, начал прямо с приезда

в Соединенные Штаты. «Как только я приехал,— говорил он,— я стал заботиться о том, чтобы поскорее получить натурализацию. Для этого надобно было сойтись с кем-нибудь,— с кем же? — конечно, с аболиционистами. Я написал несколько статей в «Tribune» о влиянии крепостного права на все общественное устройство России. Это был недурной новый аргумент аболиционистам против невольничества в южных штатах, и я сделался гражданином Массачусетса. Вскоре по приезде я все через них же получил место в конторе одного из немногих больших торговых домов их партии в Нью-Йорке». Далее шла та самая история, которую мы уж знаем. Значит, по крайней мере, эта часть биографии Бьюмонта не подлежит сомнению.

XXI

В тот же вечер условились: обоим семействам искать квартир, которые были бы рядом. В ожидании того, пока удобные квартиры отыскались и устроились, Бьюмонты прожили на заводе, где, по распоряжению фирмы, была отделана квартира для управляющего. Это удаление за город могло считаться соответствующим путешествию, в которое отправляются молодые по прекрасному английскому обычаю, распространяющемуся теперь во всей Европе.

Когда месяца через полтора две удобные квартиры рядом нашлись и Кирсановы поселились на одной, Бьюмонты на другой, старик Полозов предпочел остаться на заводской квартире, простор которой напоминает ему, хотя в слабой степени, прежнее его величие. Приятно было остаться ему там и потому, что он там был почетнейшим лицом на три-четыре версты кругом: нет числа признакам уважения, которыми он пользовался у своих и окрестных приказчиков, артельщиков и прочей подгородной братии, менее высокой и несколько более высокой заводских и фабричных приказчиков по положению в обществе; и почти нет меры удовольствию, с каким он патриархально принимал эти признаки общего признавания его первым лицом того околотка. Зять почти каждый день поутру приезжал на завод, почти каждый день приезжала с мужем дочь. На лето они и вовсе переселялись (и переселяются) жить на заводе, заменяющем дачу. А в остальное время года старик, кроме того что принимает по утрам дочь и зятя (который так и остается североамерикан-

цем), часто, каждую неделю и чаще, имеет наслаждение принимать у себя гостей, приезжающих на вечер с Катериною Васильевною и ее мужем,— иногда только Кирсановых с несколькими молодыми людьми,— иногда общество более многочисленное: завод служит обыкновенною целью частых загородных прогулок кирсановского и бьюмонтского кружка. Полозов очень доволен каждым таким нашествием гостей, да и как же иначе? ему принадлежит роль хозяина, не лишенная патриархальной почтенности.

XXII

Каждое из двух семейств живет по-своему, как больше нравится которому. В обыкновенные дни на одной половине больше шума, на другой больше тишины. Видятся, как родные, иной день и по десять раз, но каждый раз на одну, на две минуты; иной день почти целый день одна из половин пуста, ее население на другой половине. Это все как случится. И когда бывают сборища гостей, опять тоже как случится: иногда двери между квартирами остаются заперты, потому что двери, соединяющие зал одной с гостиною другой, вообще заперты, а постоянно отперта только дверь между комнатою Веры Павловны и Катерины Васильевны,— итак, иногда двери, которыми соединяются приемные комнаты, остаются заперты; это, когда компания невелика. А когда вечер многолюден, эти двери отворяются, и тогда уж гостям неизвестно, у кого они в гостях,— у Веры Павловны или у Катерины Васильевны; да и хозяйки плохо разбирают это. Можно разве сделать такое различие: молодежь, когда сидит, то сидит более на половине Катерины Васильевны, когда не сидит, то более на половине Веры Павловны. Но ведь молодежь нельзя считать за гостей,— это свои люди, и Вера Павловна без церемоний гоняет их к Катерине Васильевне: «Мне вы надоели, господа; ступайте к Катеньке, ей вы никогда не надоедите. И отчего вы с ней смирнее, чем со мной? Кажется, я постарше».— «И не беспокойтесь, мы больше любим ее, чем вас».— «Катенька, за что они больше любят тебя, чем меня?» — «От меня меньше достается им, чем от тебя».— «Да, Катерина Васильевна обращается с нами, как с людьми солидными, и мы сами зато солидны с ней». Недурен был эффект выдумки, которая повторялась довольно часто в прошлую зиму в домашнем кругу, когда собиралась только одна молодежь и самые близкие знакомые: оба рояля с обеих

половин сдвигались вместе; молодежь бросала жребий и разделялась на два хора, заставляла своих покровительниц сесть одну за один, другую за другой рояль, лицом одна прямо против другой; каждый хор становился за своею примадонною, и в одно время пели: Вера Павловна с своим хором «La donna é mobile», а Катерина Васильевна со своим хором «Давно отвергнутый тобою», или Вера Павловна с своим хором какую-нибудь песню Лизетты из Беранже, а Катерина Васильевна с своим хором «Песню Еремушке». В нынешнюю зиму вошло в моду другое: бывшие примадонны общими силами переделали на свои нравы «Спор двух греческих философов об изящном»; начинается так: Катерина Васильевна, возводя глаза к небу и томно вздыхая, говорит: «Божественный Шиллер, упоение души моей!» Вера Павловна с достоинством возражает: «Но прюнелевые ботинки магазина Королева также прекрасны»,— и подвигает вперед ногу. Кто из молодежи засмеется при этом состязании, ставится в угол; под конец состязания из десяти — двенадцати человек остаются только двое-трое, слушающие не из углов. Но непомерный восторг производится тем, когда обманом приведут к этой сцене Бьюмонта и отправляют его в угол.

Что еще? Швейные, продолжая сживаться, продолжают существовать; их теперь уже три; Катерина Васильевна давно устроила свою, теперь много заменяет Веру Павловну в ее швейной, а скоро и вовсе должна будет заменить, потому что в нынешнем году Вера Павловна — простите ее — действительно будет держать экзамен на медика, и тогда ей уж вовсе некогда будет заниматься швейною. «Жаль, что нет возможности развиваться этим швейным: как они стали бы развиваться»,— говорит иногда Вера Павловна. Катерина Васильевна ничего не отвечает на это, только в глазах ее сверкает злое выражение. «Какая ты горячая, Катя; ты хуже меня,— говорит Вера Павловна.— А хорошо, что у твоего отца все-таки что-нибудь есть; это очень хорошо».— «Да, Верочка, это хорошо; все-таки спокойнее за сына» (следовательно, у нее есть сын).— «Впрочем, Катя, ты меня заставила не знаю о чем думать. Мы проживем тихо и спокойно». Катерина Васильевна молчит. «Да, Катя, ну, для меня скажи: да...» Катерина Васильевна смеется. «Это не зависит от моего «да» или «нет», а потому в удовольствие тебе скажу: да, мы проживем спокойно».

И в самом деле они все живут спокойно. Живут ладно и дружно, и тихо и шумно, и весело и дельно. Но из этого

еще не следует, чтобы мой рассказ о них был кончен, нет. Они все четверо еще люди молодые, деятельные; и если их жизнь устроилась ладно и дружно, хорошо и прочно, то от этого она нимало не перестала быть интересною, далеко нет, и я еще имею рассказать о них много, и ручаюсь, что продолжение моего рассказа о них будет гораздо любопытнее того, что я рассказывал о них до сих пор.

XXIII

Они живут весело и дружно, работают и отдыхают, и наслаждаются жизнью, и смотрят на будущее если не без забот, то с твердою и совершенно основательной уверенностью, что чем дальше, тем лучше будет. Так прошло у них время третьего года и прошлого года, так идет у них и нынешний год, и зима нынешнего года уж почти проходила, снег начинал таять, и Вера Павловна спрашивала: «Да будет ли еще хоть один морозный день, чтобы хоть еще раз устроить зимний пикник?» — и никто не мог отвечать на ее вопрос, только день проходил за днем, все с оттепелью, и с каждым днем вероятность зимнего пикника уменьшалась. Но вот, наконец! когда уж была потеряна надежда, выпал снег, совершенно зимний, и не с оттепелью, а с хорошеньким, легким морозом; небо светлое, вечер будет отличный — пикник! пикник! наскоро, собирать других некогда,— маленький, без приглашений.

Вечером покатились двое саней. Одни сани катились с болтовней и шутками; но другие сани были уж из рук вон: только выехали за город, запели во весь голос, и что запели!

. . . . . .

Выходила молода
За новые ворота,
За новые, кленовые,
За решетчатые:
— Родной батюшка грозен
И немилостив ко мне:
Не велит поздно гулять,
С холостым парнем играть.
Я не слушаю отца,
Распотешу молодца...
. . . . . .

Нечего сказать, отыскали песню! Да это ли только? то едут шагом, отстают на четверть версты и вдруг пускаются вскачь, обгоняют с криком и гиканьем, и когда обгоняют, бросают снежками в веселые, но небуйные сани. Небуйные сани после двух-

трех таких обид решились защищаться. Пропустивши вперед буйные сани, нахватали сами пригоршни молодого снега, осторожно нахватали, так что буйные сани не заметили. Вот буйные сани опять поехали шагом, отстали, а небуйные сани едут коварно, не показали, обгоняя, никакого вида, что запаслись оружием; вот буйные сани опять несутся на них с гвалтом и гиканьем, небуйные сани приготовились дать отличный отпор сюрпризом, но что это? буйные сани берут вправо, через канаву,— им все нипочем,— проносятся мимо в пяти саженях: «Да, это она догадалась, схватила вожжи сама, стоит и правит»,— говорят небуйные сани,— «нет, нет, догоним! отомстим!» Отчаянная скачка. Догонят или не догонят? «Догоним!» — с восторгом говорят небуйные сани,— «нет»,— с отчаянием говорят они,— «догоним»,— с новым восторгом. «Догонят!» — с отчаянием говорят буйные сани,— «не догонят!» — с восторгом говорят они.— Догонят или не догонят?

На небуйных санях сидели Кирсановы и Бьюмонты; на буйных — четыре человека молодежи и одна дама, и от нее-то все буйство буйных саней.

— Здравствуйте, mesdames и messieurs, мы очень, очень рады снова видеть вас,— говорит она с площадки заводского подъезда.— Господа, помогите же дамам выйти из саней,— прибавляет она, обращаясь к своим спутникам.

Скорее, скорее в комнаты! мороз нарумянил всех!

— Здравствуйте, старикашка! Да он у вас вовсе еще не старик! Катерина Васильевна, что это вы наговорили мне про него, будто он старик? он еще будет волочиться за мною. Будете, милый старикашка? — говорит дама буйных саней.

— Буду,— говорит Полозов, уже очарованный тем, что она ласково погладила его седые бакенбарды.

— Дети, позволяете ему волочиться за мною?

— Позволяем,— говорит один из молодежи.

— Нет, нет! — говорят трое других.

Но что ж это дама буйных саней вся в черном? Траур это или каприз?

— Однако я устала,— говорит она и бросается на турецкий диван, идущий во всю длину одной стены зала.— Дети, больше подушек! да не мне одной! и другие дамы, я думаю, устали.

— Да, вы и нас измучили,— говорит Катерина Васильевна.

— Как меня разбила скачка за вами по ухабам!— говорит Вера Павловна.

— Хорошо, что до завода оставалась только одна верста! — говорит Катерина Васильевна.

Обе опускаются на диван и подушки в изнеможении.

— Вы недогадливы! да вы, верно, мало ездили вскачь? Вы бы встали, как я; тогда ухабы — ничего.

— Даже и мы порядочно устали,— говорит за себя и за Бьюмонта Кирсанов. Они садятся подле своих жен. Кирсанов обнял Веру Павловну; Бьюмонт взял руку Катерины Васильевны. Идиллическая картина. Приятно видеть счастливые браки. Но по лицу дамы в трауре пробежала тень, на один миг, так что никто не заметил, кроме одного из ее молодых спутников; он отошел к окну и стал всматриваться в арабески, слегка набросанные морозом на стекле.

— Mesdames, ваши истории очень любопытны, но я ничего хорошенько не слышала, знаю только, что они и трогательны и забавны, и кончаются счастливо, я люблю это. А где же старикашка?

— Он хозяйничает, приготовляет закуску; это его всегда занимает,— сказала Катерина Васильевна.

— Ну, бог с ним в таком случае. Расскажите же, пожалуйста. Только коротко; я люблю, чтобы рассказывали коротко.

— Я буду рассказывать очень коротко,— сказала Вера Павловна,— начинается с меня; когда дойдет очередь до других, пусть они рассказывают. Но я предупреждаю вас, в конце моей истории есть секреты.

— Что ж, тогда мы прогоним этих господ. Или не прогнать ли их теперь же?

— Нет, теперь они могут слушать.

Вера Павловна начала свою историю.

. . . . . .

— Ха, ха, ха! Эта милая Жюли! Я ее очень люблю! И бросается на колена, и бранится, и держит себя без всякого приличия! Милая!

. . . . . .

— Браво, Вера Павловна! «брошусь в окно!» — браво, господа! — Дама в трауре захлопала в ладоши. По этой команде молодежь оглушительно зааплодировала и закричала «браво» и «ура».

. . . . . .

— Что с вами? Что с вами? — с испугом сказала Катерина Васильевна через две-три минуты.

— Нет, ничего, это так; дайте воды, не беспокойтесь, Мо-

солов уже несет. Благодарю, Мосолов,— она взяла воду, принесенную тем молодым ее спутником, который прежде отходил к окну,— видите, как я его выучила, все вперед знает. Теперь совершенно прошло. Продолжайте, пожалуйста; я слушаю.

— Нет, я устала,— сказала она минут через пять, спокойно вставая с дивана.— Мне надобно отдохнуть, уснуть час-полтора. Видите, я без церемонии, ухожу. Пойдем же, Мосолов, искать старикашку, он нас уложит.

— Позвольте, отчего ж мне не заняться этим? — сказала Катерина Васильевна.

— Стоит ли беспокоиться?

— Вы нас покидаете? — сказал один из молодежи, принимая трагическую позу.— Если бы мы предвидели это, мы взяли бы с собой кинжалы. А теперь нам нечем заколоться.

— Подадут закуску, заколемся вилками! — с восторгом неожиданного спасения произнес другой.

— О нет, я не хочу, чтобы преждевременно погибала надежда отечества,— с такою же торжественностью произнесла дама в трауре,— утешьтесь, дети мои. Мосолов, подушку, которая поменьше, на стол!

Мосолов положил подушку на стол. Дама в трауре стала у стола в величественной позе и медленно опустила руку на подушку.

Молодежь приложилась к руке.

Катерина Васильевна пошла укладывать уставшую гостью.

— Бедная! — проговорили в один голос, когда они ушли из зала, все трое остальные, бывшие в небуйных санях.

— Молодец она! — проговорили трое молодых людей.

— То-то ж! — самодовольно сказал Мосолов.

— Ты давно с нею знаком?

— Года три.

— А его хорошо знаешь?

— Хорошо. Вы не беспокойтесь, пожалуйста,— прибавил он, обращаясь к ехавшим на небуйных санях,— это только оттого, что она устала.

Вера Павловна сомнительно переглянулась с мужем и Бьюмонтом и покачала головой.

— Рассказывайте! устала! — сказал Кирсанов.

— Уверяю вас. Устала, только. Уснет, и все пройдет,— равнодушно-успокоительным тоном повторил Мосолов.

Минут через десять Катерина Васильевна возвратилась.

— Что? — спросили шесть голосов. Мосолов не спрашивал.

— Легла спать и уж задремала, теперь, вероятно, уже спит.

— Ведь я ж вам говорил,— сказал Мосолов.— Пустяки.

— Все-таки бедная! — сказала Катерина Васильевна.— Будем при ней врознь. Мы с тобою, Верочка, а Чарли с Сашею.

— Но все-таки это нисколько не должно стеснять нас,— сказал Мосолов,— мы можем петь, танцевать, кричать; она спит очень крепко.

Если спит, если пустяки, то что ж в самом деле? Расстраивающее впечатление, на четверть часа произведенное дамою в трауре, прошло, исчезло, забылось,— не совсем, но почти. Вечер без нее понемножку направлялся, направлялся на путь всех прежних вечеров в этом роде и вовсе направился, пошел весело.

Весело, но не вполне. По крайней мере, дамы раз пять-шесть переглядывались между собою с тяжелою встревоженностью. Раза два Вера Павловна украдкою шепнула мужу: «Саша, что, если это случится со мною?» Кирсанов в первый раз не нашелся, что сказать; во второй нашелся: «Нет, Верочка, с тобою этого не может случиться».— «Не может? Ты уверен?» — «Да». И Катерина Васильевна раза два шепнула украдкою мужу: «Со мною этого не может быть, Чарли?» В первый раз Бьюмонт только улыбнулся, не весело и не успокоительно; во второй тоже нашелся: «По всей вероятности, не может, по всей вероятности».

Но это были только мимолетные отголоски, да и то лишь сначала. А вообще вечер шел весело, через полчаса уж и вовсе весело. Болтали, играли, пели. Она спит крепко, уверяет Мосолов, и подает пример. Да и нельзя помешать в самом деле: комната, в которой она улеглась, очень далеко от зала, через три комнаты, коридор, лестницу и потом опять комнату, на совершенно другой половине квартиры.

Итак, вечер совершенно поправился.

Молодежь, по обыкновению, то присоединялась к остальным, то отделялась, то вся, то не вся; раза два отделялся к ней Бьюмонт; раза два отбивала ее всю от него и от серьезного разговора Вера Павловна.

Болтали много, очень много; и рассуждали всей компаниею, но не очень много.

Сидели все вместе.

— Ну что ж, однако, в результате: хорошо или дурно? — спросил тот из молодежи, который принимал трагическую позу.

— Более дурно, чем хорошо,— сказала Вера Павловна.

— Почему ж, Верочка? — сказала Катерина Васильевна.

— Во всяком случае, без этого жизнь не обходится,— сказал Бьюмонт.

— Вещь неизбежная,— подтвердил Кирсанов.

— Отлично дурно, следовательно, отлично,— решил спрашивавший.

Остальные трое его товарищей кивнули головами и сказали: «Браво, Никитин».

Молодежь сидела в стороне.

— Я его не знал, Никитин; а ты, кажется, знал? — спросил Мосолов.

— Я тогда был мальчишкою. Видал.

— А как теперь тебе кажется, по воспоминанью, правду они говорят? не прикрашивают по дружбе?

— Нет.

— И после того его не видели?

— Нет. Впрочем, ведь Бьюмонт тогда был в Америке.

— В самом деле! Карл Яковлич, пожалуйста, на минуту. Вы не встречались в Америке с тем русским, о котором они говорили?

— Нет.

— Пора бы ему вернуться.

— Да.

— Какая фантазия пришла мне в голову,— сказал Никитин,— вот бы пара с нею.

— Господа, идите кто-нибудь петь со мною,— сказала Вера Павловна,— даже двое охотников? Тем лучше.

Остались Мосолов и Никитин.

— Я тебе могу показать любопытную вещь, Никитин,— сказал Мосолов.— Как ты думаешь, она спит?

— Нет.

— Только не говори. Ей можешь потом сказать, когда познакомишься побольше. Другим — никому. Она не любит.

Окна квартиры были низко.

— Вот, конечно, это окно, где огонь? — Мосолов посмотрел.— Оно. Видишь?

Дама в трауре сидела, пододвинув кресла к столу. Левою рукою она облокотилась на стол; кисть руки поддерживала несколько наклоненную голову, закрывая висок и часть волос. Правая рука лежала на столе, и пальцы ее приподымались и опускались машинально, будто наигрывая какой-то мотив. Лицо дамы имело неподвижное выражение задумчивости, печальной, но больше суровой. Брови слегка сдвигались и раздвигались, сдвигались и раздвигались.

— И все время так, Мосолов?

— Видишь. Однако иди, а то простудимся. И то уж четверть часа стоим.

— Какой ты бесчувственный! — сказал Никитин, пристально посмотрев на глаза товарища, когда проходили мимо ревербера через переднюю.

— Причувствовался, братец. Это тебе впервой.

Подавали закуску.

— А славная должна быть водка,— сказал Никитин,— да какая же крепкая! Дух захватывает!

— Эх, девчонка! и глаза покраснели! — сказал Мосолов.

Все принялись стыдить Никитина. «Это только оттого, что я поперхнулся, а то я могу пить»,— оправдывался он. Стали справляться, сколько часов. Только еще одиннадцать, с полчаса можно еще поболтать, успеем.

Через полчаса Катерина Васильевна пошла будить даму в трауре. Дама встретила ее на пороге, потягиваясь после сна.

— Хорошо вздремнули?

— Отлично.

— И как чувствуете себя?

— Превосходно. Я ж вам говорила, что пустяки: устала, потому что много дурачилась. Теперь буду солиднее.

Но нет, не удалось ей быть солидною. Через пять минут она уж очаровывала Полозова, и командовала молодежью, и барабанила марш или что-то в этом роде черенками двух вилок по столу. Но торопила ехать, а другие, которым уж стало вовсе весело от ее возобновлявшегося буйства, не спешили.

— Готовы лошади? — спросила она, вставая из-за закуски.

— Нет еще, только велели запрягать.

— Несносные! Но если так, Вера Павловна, спойте мне что-нибудь: мне говорили, у вас хороший голос.

Вера Павловна пропела что-то.

— Я вас буду часто просить петь,— сказала дама в трауре.

— Теперь вы, теперь вы! — пристали к ней все.

Но не успели пристать, как она уже села за рояль.

— Пожалуй, только ведь я не умею петь, но это мне не остановка, мне ничто не остановка! Но, mesdames и messieurs, я пою вовсе не для вас, я пою только для детей. Дети мои, не смейтесь над матерью! — а сама брала аккорды, подбирая аккомпанемент.— Дети, не сметь смеяться, потому что я буду петь с чувством.— И, стараясь выводить ноты как можно визгливее, она запела:

Стонет сизый...

Молодежь фыркнула при такой неожиданности, и остальная компания засмеялась, и сама певица не удержалась от взрыва смеха, но, подавив его, с удвоенною визгливостью продолжала:

...голубочек,
Стонет он и день и ночь:
Его миленький дружо...—

но на этом слове голос ее в самом деле задрожал и оборвался. «Не выходит — и прекрасно, что не выходит, это не должно выходить — выйдет другое, получше; слушайте, дети мои, наставление матери: не влюбляйтесь и знайте, что вы не должны жениться». Она запела сильным, полным контральто:

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз;
Сладко любить их — завидная доля!
Но,—

это «но» глупо, дети,—

Но веселей молодецкая воля,—

не в том возражение,— это возражение глупо,— но вы знаете, почему:

Не женися, молодец!
Слушайся меня!

Дальше, дети, глупость; и это, пожалуй, глупость; можно, дети, и влюбляться можно, и жениться можно, только с разбором, и без обмана, без обмана, дети. Я вам спою про себя, как я выходила замуж, романс старый, но ведь и я старуха. Я сижу на бал-

коне, в нашем замке Дальтоне, ведь я шотландка, такая беленькая, белокурая; подле лес и река Брингал; к балкону, конечно, тайком, подходит мой жених; он бедный, а я богатая, дочь барона, лорда; но я его очень люблю, и я ему пою:

Красив Брингала брег крутой,
И зелен лес кругом;
Мне с другом там приют дневной,—

потому что я знаю, днем он прячется и каждый день меняет свой приют,—

Милей, чем отчий дом,—

впрочем, отчий-то дом был не слишком мил и в самом деле. Так я пою ему: я уйду с тобою. Как вы думаете, что он мне отвечает?

Ты хочешь, дева, быть моей,
Забыть свой род и сан,—

потому что ведь я знатная,—

Но прежде отгадать сумей,
Какой мне жребий дан.

«Ты охотник?» — говорю я. «Нет».— «Ты браконьер?» — «Почти угадала»,— говорит он,—

Как мы сберемся, дети тьмы,—

потому что ведь мы с вами, дети, mesdames и messieurs, очень дурные люди,—

То должно нам, поверь,
Забыть, кто прежде были мы,
Забыть, кто мы теперь,—

поет он. «Давно отгадала,— говорю я,— ты разбойник»; что ж, это правда, он разбойник, да? он разбойник. Что ж отвечает он, господа? «Видишь, говорит, я плохой жених тебе»:

О дева, друг недобрый я;
Глухих лесов жилец,—

совершенная правда, глухих лесов, потому, говорит, не ходи со мною,

Опасна будет жизнь моя,—

потому что ведь в глухих лесах звери,—

Печален мой конец,—

это неправда, дети, не будет печален, но тогда я думала и он думал; но все-таки я отвечаю свое:

Красив Брингала брег крутой,
И зелен лес кругом;
Мне с другом там приют дневной
Милей, чем отчий дом.

В самом деле, так было. Значит, мне и нельзя жалеть: мне было сказано, на что я иду. *Так* можно жениться и любить, дети: без обмана; и умейте выбирать.

Месяц встает
И тих и спокоен;
А юноша-воин на битву идет.
Ружье заряжает джигит;
И дева ему говорит:
«Мой милый, смелее
Вверяйся ты року»,—

в таких можно влюбляться, на таких можно жениться.

(«Забудь, что я тебе говорила, Саша, слушай ее!» — шепчет одна и жмет руку. «Зачем я не говорила тебе этого? Теперь буду говорить»,— шепчет другая.)

— Таких любить разрешаю и благословляю, дети:

Мой милый, смелее
Вверяйся ты року!

Совсем развеселилась я с вами,— а где веселье, там надобно пить,

Гей, шинкарочка моя,
Насыпь меду й вина,—

~~мед~~ только потому, что из песни слова не выкинешь,— шампанское осталось? — да? — отлично! — откупоривайте.

Гей, шинкарочка моя,
Насыпь меду й вина,
Та щоб моя головонька
Веселонька була!

Кто шинкарка? я шинкарка:

А у шинкарки чорни бривки,
Ковани пидкивки!

Она вскочила, провела рукой по бровям и притопнула каблуками.

— Налила, готово! — mesdames и messieurs, и старикашка, и дети,— берите, щоб головоньки веселоньки були!

— За шинкарку! за шинкарку!

— Благодарю! пью свое здоровье,— и она опять была за роялем и пела:

Да разлетится горе в прах! —

и разлетится,—

И в обновленные сердца
Да снидет радость без конца,—

так и будет,— это видно:

Черный страх бежит, как тень
От лучей, несущих день;
Свет, тепло и аромат
Быстро гонят тьму и хлад;
Запах тленья все слабей,
Запах розы все слышней...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПЕРЕМЕНА ДЕКОРАЦИЙ

— В Пассаж! — сказала дама в трауре, только теперь она была уже не в трауре: яркое розовое платье, розовая шляпа, белая мантилья, в руке букет. Ехала она не одна — с Мосоловым; Мосолов с Никитиным сидели на передней лавочке коляски, на козлах торчал еще третий юноша; а рядом с дамою сидел мужчина лет тридцати. Сколько лет было даме? неужели двадцать пять, как она говорила, а не двадцать? Но это дело ее совести, если прибавляет.

— Да, мой милый, я два года ждала этого дня, больше двух лет; в то время как познакомилась вот с ним (она указала глазами на Никитина), я еще только предчувствовала, но нельзя сказать, чтоб ждала; тогда была еще только надежда, но скоро явилась и уверенность.

— Позвольте, позвольте! — говорит читатель,— и не один проницательный, а всякий читатель, приходя в остолбенение по мере того, как соображает,— с лишком через два года после того, как познакомилась с Никитиным?

— Так,— отвечаю я.

— Да ведь она познакомилась с Никитиным тогда же, как с Кирсановыми и Бьюмонтами, на этом пикнике, бывшем в конце нынешней зимы?

— Совершенная правда,— отвечаю я.

— Так что ж это такое? вы начинаете рассказывать о 1865 годе?

— Так.

— Да можно ли это, помилуйте!

— Почему ж нельзя, если я знаю?

— Полноте, кто же станет вас слушать!

— Неужели вам не угодно?

— За кого вы меня принимаете? — Конечно, нет.

— Если вам теперь не угодно слушать, я, разумеется, должен отложить продолжение моего рассказа до того времени, когда вам угодно будет его слушать. Надеюсь дождаться этого довольно скоро.

4 апреля 1863.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАРИАНТЫ ИЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ РОМАНА, НЕ ВОШЕДШИЕ В ТЕКСТ ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННИК», ВИДИМО, ПО ЦЕНЗУРНЫМ СООБРАЖЕНИЯМ.

К стр. 362.

Через год новая мастерская уже совершенно устроилась, установилась, пришла в порядок; [обе] мастерские были тесно связаны между собою, передавали друг другу заказы; одна исполняла часть работы другой, когда той случалось быть заваленной заказами; между ними был постоянный текущий счет. Размер их средств вместе был уж настолько обширен, что, если бы они сблизились еще больше, можно было бы открыть магазин на Невском. Это опять стоило довольно долгих хлопот Вере Павловне и Мерцаловой. Хотя отношения между девушками той и другой компании были тесные, хотя все они были между собою знакомы, хотя часто одна компания принимала у себя в гостях другую, хотя часто они соединялись для поездок за город летом, но все-таки мысль о слиянии счетов двух различных предприятий была мысль новая, которую долго надобно было разъяснять. Однако же выгода иметь на Невском свой магазин была очевидна, и после нескольких месяцев хлопот о слиянии двух предприятий в одно Вере Павловне и Мерцаловой удалось достичь этого. На Невском явилась новая вывеска: «Au bon travail. Magasin des Nouveautés».

С открытием магазина на Невском дела начали довольно заметно становиться еще выгоднее прежнего. Магазин входил в моду,— не в высшем кругу, до этого куда ж бы! — но все-таки в кругах довольно богатых, то есть дающих выгодные заказы.

Через два-три месяца стали замечаться в магазине посетители, отличавшиеся любознательностью, несколько неловкою, которой как будто конфузились сами, которая как будто сопровождалась в них не тою мыслью, какою сопровождается обыкновенная любознательность в любознательных людях: «Ведь если я интересуюсь тем, чем интересуешься ты, то, вероятно, ты смотришь на меня с расположением и постараешься,

как можешь, сам просветить меня»,— нет, а как будто другою мыслью: «Конечно, ты на меня смотришь косо и стараешься спрятать хвост от меня, но меня все-таки не проведешь». Таких посетителей было два-три человека, и бывали они каждый раза по три, по четыре. В их «любознательности» прошло еще месяца полтора. А месяца через полтора приехал к Кирсанову один отчасти знакомый, а больше незнакомый ему собрат по медицине и после различного разговора о различных медицинских казусах, главным образом после рассказов гостя об удивительных успехах того метода врачевания, которого он тогда держался и который состоял в том, чтобы больному несколько дней не давали ничего пить: «потому что все болезни состоят в худосочии, а соки постоянно выделяются из организма, следовательно, если не давать нового источника для этих отделений, то худые соки по необходимости истощатся, и через то болезнь пройдет» [1], сказал, что, между прочим, имеет [сообщить] Кирсанову приглашение: один просвещенный человек, много наслышавшийся о Кирсанове, желает познакомиться с ним. Кирсанов отвечал, что отправится к просвещенному человеку завтра же.

Просвещенный человек,— которого точнее следует называть даже просвещенным мужем, хотя у него и не было жены,— итак, просвещенный муж был действительно просвещенный муж, потому что тогда, в 1858—1859 гг., было уж очень просвещенное время. Некоторые непросвещенные люди еще были, да и то уж были большой редкостью, но эта редкость попадалась тогда только между существами, которых нельзя с точностью называть мужами, хотя б у них и были жены, а между мужами в собственном смысле слова, то есть такими мужами, которые мужи собственно сами по себе,— мужи, потому что мужи, а не потому, что имеют жен,— между такими мужами непросвещенных не было: мужи все до одного были тогда просвещенными.

Итак, [просвещенный] муж принял Кирсанова, как, конечно, следует просвещенному мужу принимать гостей, с которыми ему самому захотелось познакомиться,— очень любезно; усадил, сам несколько пододвинул стул, предложил сигару и сказал несколько очень хороших слов о том, что он очень рад случаю познакомиться «с вами, Александр Матвеевич», потому, что он очень много наслышался «о вас, Александр Матвеевич», «как об одном из лучших украшений нашей медицинской науки, которая так необходима для государства», и проч. Все это было действительно очень любезно, особенно то, что называл Кирсанова по

---

[1] Это положительный факт. Один из моих лучших знакомых говорил, что один медик лечил по такому методу. Теперь этот медик держится уж другого метода — кажется, пятого с тех [пор], как лечил высушиванием, что было лет пятнадцать назад. *(Прим. Н. Г. Чернышевского.)*

имени и отчеству,— вот что значит просвещение! Прекрасная вещь! После этого несколько времени шел просвещенный разговор о медицине, а напоследок дошел до цели знакомства, до приятного случая.

— У меня к вам есть просьба,— сказал просвещенный муж, когда достаточно доказал свою просвещенность и любезность.— Сделайте одолжение, объясните мне, что за магазин открыла ваша супруга на Невском?

— Модный магазин,— сказал Кирсанов.

— Но с какою целью открыт он, это важно.

— С обыкновенною целью всех модных магазинов, торгующих дамскими нарядами.

Просвещенный муж посмотрел на своего гостя с внимательной мыслью; Кирсанов посмотрел на просвещенного мужа тоже с внимательной мыслью; просвещенный [муж], смотря с внимательной мыслью, увидел, что гость, с которым ему приятно было познакомиться,— человек прижимистый, на которого надобно напирать плотнее.

— Я должен вам сказать, господин Кирсанов (почему просвещенный муж вдруг забыл имя и отчество своего гостя?), что о магазине вашей супруги ходят невыгодные слухи.

— Это очень может быть: у нас любят сплетни; магазин моей жены имеет некоторый успех, может быть, есть в ком зависть к нему — вот вам и объяснение. Но любопытно бы знать, какие ж это невыгодные [слухи]? Сплетни о модных магазинах чаще всего состоят в том, что они служат местами любовных свиданий. Не это ли уж? Но это была бы чистая нелепость.

Просвещенный муж снова посмотрел на Кирсанова с внимательной мыслью и убедился, что его гость — человек не только прижимистый, но и очень прижимистый.

— Помилуйте, Александр Матвеевич, кто же смеет оскорблять такою клеветою вашу супругу? Она и вы, конечно, слишком много выше подобных подозрений. И притом, если бы слухи, о которых я говорю, относились к этому, мне не было бы причины искать вашего знакомства, потому что подобными вещами нет надобности заниматься людям серьезным. Но я желал с вами познакомиться потому, что, высоко уважая пользу, приносимую государству вашей ученой деятельностью, я бы желал быть вам полезен, и потому позвольте мне просить вас, Александр Матвеевич, будьте осторожнее. Обществу и, можно сказать, государству драгоценны такие ученые деятели, как вы, потому что процветание науки — первая потребность благоустроенного государства, и потому они должны, Александр Матвеевич,— можно сказать более,— обязаны беречь себя.

— Насколько я сам о себе знаю, я не делаю ничего такого, что противоречило бы моей обязанности перед обществом и государством беречь себя.

Просвещенный муж посмотрел на Кирсанова с внимательной

мыслью и увидел, что гость человек не только что прижимистый, но и закоснелый.

— Будем говорить прямо, Александр Матвеевич, к чему людям просвещенным не быть между собою вполне откровенными? Я сам [тоже] в душе социалист и читаю Прудона с наслаждением. Но...

— Позвольте сказать несколько слов, чтобы не оставалось между нами недоразумений. Вы сказали, [вы] «тоже социалист». Это «тоже», вероятно, относится ко мне. Почему я, вы думаете, социалист? Может быть, вовсе нет,— кроме социалистов, есть протекционисты, есть последователи Сэ, есть последователи исторических воззрений Рау, есть последователи множества различных других направлений в политической экономии. Для причисления человека к последователям одного из них надобно иметь какие-нибудь основания.

— Я имею те основания причислять вас, господин Кирсанов, к социалистам, что мне известно устройство магазина вашей супруги.

— Это устройство [одобряют] последователи всех направлений, когда они говорят серьезно. Некоторые из них — и теперь уж очень немногие — нападают на него, когда ведут полемику против последователей какого-нибудь другого направления, смотря по надобности. Но нападают только тогда, когда ведут полемику. В спокойном, чисто ученом изложении не отваживается не признавать его безопасность и полезность для общества решительно никто из пишущих о политической экономии. Если я говорю неправильно, прошу вас указать мне хоть один пример противного.

— Господин Кирсанов, мы здесь не для ученых споров. Вы согласитесь, что мне некогда ими заниматься. Магазин госпожи Кирсановой имеет вредное направление, и я бы советовал ей, и в особенности вам, быть осторожнее.

— Если он вреден, то его надобно закрыть, а нас отдать под суд. Но мне любопытно было бы знать, в чем же состоит его вред?

— Да во всем. Начнем хотя с вывески. Что это такое «Au bon travail»? — это прямо революционный лозунг.

— В переводе это будет означать: «магазин хорошей работы»; какой тут революционный смысл, что модный магазин обещает хорошо исполнять заказы, я не понимаю.

— Смысл этих слов не тот. Они означают, что надобно все магазины так устроить, тогда только будет хорошо рабочему сословию. И само слово travail [1] — это ясно, взято из социалистов, это революционный лозунг.

— Мне кажется, что с тех пор как французы стали пахать землю, а раньше того — охотиться за зверями, они уж занимались какою-нибудь работою и не могли обходиться в своих разговорах без этого сло-

---

[1] Труд *(франц.)*.

ва; а оно очень давнишнее, лет на тысячу старше всех социалистов, уверяю.

— Но к чему вообще какие-нибудь слова на вывеске? «Модный магазин такой-то» — и довольно.

— Вывесок с разными девизами очень много на Невском. «Au pauvre Diable», «А l'Élégance»,— мало ли? Потрудитесь проехать по Невскому, вы увидите.

— Мне с вами некогда спорить. Я вас прошу заменить эту вывеску другою, на которой было бы просто написано: «модный магазин такой-то». Вот [это] вообще прямое выражение воли, которая должна быть исполнена.

— Теперь я не спорю, я говорю: это будет сделано. Но, принимая перед вами за мою жену обязательство исполнить это, я должен сказать, что эта перемена сильно вредит денежным интересам предприятия. Она вредит им вдвойне: во-первых, всякая перемена фирмы отнимает значительную часть торговой известности, возвращает коммерческое предприятие далеко назад в отношении торгового успеха; во-вторых, моя жена носит мою фамилию, моя фамилия русская, русская фамилия на модном магазине уже подрывает его. Денежные интересы моей жены сильно пострадают. Но она покорится необходимости.

Просвещенный муж задумался с искренним участием.

— Ваш магазин есть коммерческое предприятие? Эта точка зрения заслуживает внимания. Администрация должна охранять денежные интересы и покровительствовать развитию торговли. Но можете ли вы уверить меня честным словом, что магазин вашей супруги есть коммерческое предприятие?

— Даю вам честное слово, да. Он — коммерческое предприятие.

— Скажите, что можно сделать в облегчение денежной потери, которой, к сожалению, необходимо должна подвергнуться ваша супруга? Все возможные средства для смягчения этого неизбежного удара будут допущены мною с готовностью, могу сказать больше: с удовольствием. Но вы понимаете, эта вывеска не может остаться.

— Мне приходит в голову вот что. В вывеске представляется неудобным слово travail, оно должно быть заменено именем моей жены. В этом состоит требование общественной пользы?

— Да.

— Я нахожу возможным исполнить это требование, важность оснований которого я вполне ценю, избегнув № 2 из двух невыгод страшного удара, который нанесло бы магазину выставленное на нем имя с окончанием — off. Имя моей жены Вера. Можно передать это на французский язык словом Foi. Если оставить слово bon, ограничив эту перемену только размером необходимости, относящейся собственно к слову travail, то новая вывеска была бы: «А la bonne foi» — собственно «доб-

росовестный магазин», но во французской надписи будет даже оттенок консерватизма, соответственно смыслу foi — вера, как бы в противоположность тенденциям отрицательного характера.

Просвещенный муж задумался.

— Это вопрос важный. На первый взгляд ваше желание, Александр Матвеевич, представляется возможным. Но я в настоящую минуту не хотел бы давать вам решительного ответа, надобно зрело обдумать это.

— Я позволю себе высказать прямо мою мысль: конечно, в людях обыкновенных быстрота решения и зрелость его — условия не легко соединимые, но я никогда не сомневался, что встречал в жизни людей со взглядом, с одного раза обнимающим все стороны вопросов, формулирующим совершенно верный и зрелый окончательный вывод,— это талант по преимуществу административный.

— Я требовал у вас только несколько минут,— глубокомысленно сказал просвещенный муж,— и несколько минут мне действительно необходимы.

Несколько минут прошло в глубоком молчании.

— Да, я теперь обдумал все стороны вопроса: ваш компромисс может быть принят. Вы поймете грустную необходимость более или менее нарушить ваши интересы для интересов общества,— могу сказать больше: для интересов общественного благоустройства; но точно так же я жду от вашего беспристрастия, Александр Матвеевич, и признания готовности [моей] сделать все возможное для возможного смягчения необходимой меры.

— Будьте уверены, что я ценю одинаково и важность принимаемой вами меры, и вашу заботливость о возможном охранении наших частных интересов.

— Итак, мы расстаемся дружелюбно, Александр Матвеевич, это очень меня радует как вообще по моей готовности служить смягчающим посредником между государственной необходимостью и частными интересами, так и в особенности по моему уважению к вам как к одному из наших достойнейших ученых, которыми так должно дорожить общество,— могу сказать более: которых так уважает правительство.

Просвещенный муж и ученый, им уважаемый, с чувством пожали друг другу руки.

Довольно долго Вера Павловна и [ее] муж находили себе источник частого удовольствия в размышлениях о том, как общество,— можно сказать, общественное благоустройство,— было спасено от опасности заменою слова travail словом foi и соответственно тому переменою вроде прилагательного имени на одной из многих тысяч вывесок Невского проспекта. Но, в сущности, дело было вовсе не шуточное. Магазин отделался на этот раз очень легко; конечно, так; а все-таки ясно было, что надобно поприжаться и поприжаться, заставить забыть о себе; что

теперь — по крайней мере, надолго — нечего уж думать о развитии предприятия, которое так и просилось идти вперед; что высшее возможное счастье надолго должно будет состоять в том, чтобы продолжать существовать, отказавшись на многие месяцы, вероятно, не на один год, от расширения дела. Это было, конечно, тяжело. Но ведь и то сказать, разве это не предвиделось? Хорошо и то, что дело успело без помех развиться хоть настолько,— помехи могли явиться гораздо раньше; хорошо и то, что помехи проявились только в останавливающем, а не в разрушительном характере,— ведь можно было ждать и разрушения.

Само собою разумеется, что внимание, раз обращенное на магазин, не отвратилось. Но в магазине действительно не было ничего, кроме тишины и порядка, благонравия и благоустройства. Поэтому деятельность внимания ограничивалась собственно вниманием, действие внимания ограничивалось тем, что надобно неподвижно остановиться на том месте, где оно застало, и своей неподвижностью покупать продолжение своего существования.

Но от этих вещей нельзя отделаться никаким образом, если раз они вздумали прицепляться, а они вздумывают прицепляться всегда, ко всему: если б я вздумал, например, положим, гулять по Невскому, кому-нибудь непременно вздумалось бы думать о том, «зачем, дескать, он гуляет по Невскому? Что это значит?» Но я не гуляю по Невскому, потому кому-нибудь уж наверное вздумалось: «Его никогда не видели гуляющим по Невскому — что это значит?» Вы не подумайте, что я шучу,— нисколько; и не предположите, что я, может быть, ошибся в своем «наверное»,— нет, это я только для смягчения выразился «наверное», а я это положительно знаю, у меня на это есть доказательства, и я по чистой правде вам говорю, что вот уж три года ни одного дня не проводил я без тяжелых размышлений о том, как мне быть по вопросу о моем гулянии или негулянии по Невскому. Я б, пожалуй, и стал гулять, хоть этого вовсе мне не хочется, но по зрелом размышлении я убедился, что от этого дело выйдет еще хуже,— «раньше не гулял, теперь начал гулять,— что это значит?» Согласитесь, ведь это уж еще гораздо более компрометировало бы меня. И если человек, который ведет такую жизнь, что ни о чем вовсе нельзя задуматься, кроме того, что он не гуляет (или гуляет, что все равно относительно удобства взятия за тему для размышлений и вывода предположений), если такой человек все-таки вот уж несколько лет служит предметом размышления и предположений, то уж никак не избавиться от этой судьбы Кирсанову, у которого жена открыла на Невском магазин.

Таким образом, по временам стал заезжать к нему медик, лечивший тогда-то высушиванием, и выражал ему свое уважение и советовал ему быть спокойным, и советовал ему быть осторожным; и все это было очень любезно, и действительно было очень доброжелательно

как со стороны медика, лечившего высушиванием, так и вообще со стороны просвещенных мужей, которые действительно были и просвещенные, и добрые, и благожелательные, и доброжелательные люди, не желающие никому никогда вредить и никого стеснять.

И вправду сказать, ни вреда, ни стеснения Кирсанову не было.

На мастерской это отзывалось тем, что она продолжала существовать, конечно, не развиваясь, а стараясь по возможности сжиматься, но все-таки продолжала существовать, значит, и на ней доброжелательство отзывалось хорошим, а не дурным результатом, и на ней оно оказывалось действительно доброжелательством и, можно сказать, даже охранением ее от всякого вреда.

Однако если дело не могло теперь расширяться, то оно все-таки могло продолжать устраиваться лучше и лучше. Конечно, и [в] этом надобно было соблюдать осторожность, чтоб заметные успехи не пробуждали новой недоверчивости; конечно, и сама остановка расширения должна была много задержать внутреннее развитие, потому что в этих вещах увеличение внешнего размера и увеличение средств для внутреннего усовершенствования — стороны, очень тесно связанные между собой; но все-таки, хоть гораздо медленнее, чем могло быть при других условиях, дело успевало.

В каком положении было оно года через три-четыре после основания второй мастерской, лет через семь после основания первой,— это рассказывает письмо одной девушки, которая познакомилась около этого времени с Верой Павловной, к одной подруге, жившей тогда в Москве.

К стр. 420.

— ...А где он теперь?

— Говорят, в последний раз видели [его] между Веной и Мюнхеном, говорил, что через год уедет в Америку.

— Бьюмонт не встречал его там?

— Нет.

— Так и неизвестно, где он?

— Неизвестно.

— А пора б ему воротиться!

— Да, пора!

— Не беспокойтесь, не пропустит своего времени.

— Да, а если [не] возвратится?

— Так что ж? (Ты знаешь, свято место не бывает [пусто].) За людьми никогда не бывает остановки, если будет им дело — найдется другой,— был бы хлеб, а зубы будут.

— А мельница молет, сильно молет.— Готовит хлеб.

Роман «Что делать?» создавался, как указал сам Н. Г. Чернышевский (в дошедшем до нас черновом варианте рукописи), с 14 декабря 1862 г. по 4 апреля 1863 г., в период пребывания писателя в Петропавловской крепости. Начиная с января 1863 года рукопись романа по частям передавалась в следственную комиссию по делу Чернышевского, а затем в цензуру для решения вопроса о ее публикации. Окончание романа было сдано 6 апреля. Цензура, доверившись чиновникам следственной комиссии, увидевшим в романе лишь любовное повествование, не стала внимательно изучать рукопись и дала соответствующее разрешение.

Роман был сразу же напечатан в журнале «Современник» (в третьем, четвертом и пятом номерах за 1863 г.). Но оплошность цензуры была вскоре замечена, ответственный цензор Бекетов в том же году освобожден от должности, а на те номера «Современника», где публиковался роман Чернышевского, был наложен запрет.

Однако книжки журнала с текстом «Что делать?» уже разошлись по стране, и роман (переписанный также от руки) скоро стал достоянием широкого читателя. Книга всколыхнула мыслящую Россию. Вокруг романа разгорелась острая идейная борьба. Реакционеры не жалели слов для злобных нападок. Передовые люди эпохи зачитывались им. «...О романе Чернышевского,— писал Н. С. Лесков,— толковали не шепотом, не тишком,— во всю глотку в залах, на подъездах, за столом г-жи Мильбрет и в подвальной пивнице Штенбокова пассажа. Кричали: «гадость», «прелесть», «мерзость» и т. п.— всё на разные тоны» («Северная пчела», 1863, № 142).

П. А. Кропоткин вспоминал: «Для русской молодежи того времени она (книга «Что делать?».— *П. Н.*) была своего рода откровением и превратилась в программу... сделалась своего рода знаменем...» (П. Кропоткин, Идеалы и действительность в русской литературе, СПб. 1907, стр. 306—307).

Это влияние с годами не ослабевало, а усиливалось. Роман Чернышевского был любимой книгой Александра Ульянова и других народовольцев. В марксистских рабочих кружках 90-х годов в Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах ее читали переписанную от руки, как и произведения Маркса и Энгельса.

Новая публикация романа оказалась возможной только после революции 1905 года, снявшей запрет с имени Чернышевского. Роман вошел в Полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского в 10 томах (11 книг), осуществленное его сыном М. Н. Чернышевским (СПб. т. IX, 1906), а также был выпущен отдельным изданием (СПб. 1906; СПб. 1909).

Однако история публикаций знаменитой книги выглядит значительно богаче, если обратиться к зарубежным изданиям романа.

Впервые отдельное издание романа было осуществлено на русском языке в 1867 году в Женеве кружком русских эмигрантов (наиболее ответственную роль в нем играли М. К. Элпидин и Н. Я. Николадзе). Вскоре он стал публиковаться в переводах. Почти все крупные общественные деятели и писатели Украины той поры обратили внимание на роман и испытали его огромное воздействие. И. Франко, выдерживая яростные нападки украинских буржуазных националистов, в 70-е годы переводил и печатал «Что делать?». Кроме того, он переправлял в Киев заграничные издания книги. Под влиянием романа Панас Мирный создал поэму в прозе «Сон», где в соответствии с четвертым «сном» Веры Павловны нарисовал картину будущего социалистического общества.

Выдающийся осетинский писатель Коста Хетагуров в 1893 году, также под воздействием «Что делать?», пишет пьесу «Дуня».

Уже в 60-е годы роман Чернышевского, перешагнув границы России, начал завоевывать сердца зарубежных читателей. Влияние книги испытывают и писатели (можно указать, например, на повесть известного болгарского писателя и философа Л. Каравелова «Виновата ли судьба?», 1869).

Роман был переведен на польский, сербский, венгерский, французский, английский, немецкий, итальянский, шведский, голландский языки, хотя и за рубежом книга преследовалась реакцией.

Друзьями романа оказались лучшие представители революционной интеллигенции: во Франции — один из организаторов Рабочей партии Поль Лафарг, в Германии — выдающиеся социал-демократы Клара Цеткин и Август Бебель.

Большой успех выпал на долю книги в Америке. За один год — с 1886 по 1887 — роман был дважды издан в Нью-Йорке.

Великая Октябрьская революция дала новую жизнь роману. Теперь «Что делать?» — настольная книга миллионов читателей. В Совет-

ском Союзе роман издавался более семидесяти раз на русском языке и двадцати одном языке народов СССР. Общий тираж изданий — примерно четыре миллиона экземпляров.

В настоящем издании роман печатается по тексту: Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в пятнадцати томах, т. XI, Гослитиздат, М. 1939.

Стр. 25. *О. С. Ч.*— Роман посвящен Ольге Сократовне Чернышевской (1833—1918), жене писателя.

Стр. 29. *«Дело пойдет»* — французская народная песня, возникшая в 1790 г.; пользовалась популярностью среди участников Великой французской революции (1789—1794).

Стр. 50. *«Тройка»* — стихотворение Н. А. Некрасова (1846); было высоко оценено в кружке В. Г. Белинского и демократической молодежью 50—60-х годов.

Стр. 81. *...la donna é mobile* — ария герцога из оперы Д. Верди (1813—1901) «Риголетто» (1851).

Стр. 95. *...искусники были Луи-Филипп и Меттерних... а отлично вывели сами себя за нос из Парижа и Вены...*— Речь идет о бегстве французского короля Луи-Филиппа и австрийского канцлера Меттерниха в Англию во время французской революции 1848 г.

Видок Эжен-Франсуа (1775—1857) — знаменитый французский сыщик.

Стр. 97. *...ученая книга.*— Имеется в виду книга В. Консидерана (1808—1893) «Судьба общества», написанная в 1838 г. Ее автор, ученик великого французского социалиста-утописта Шарля Фурье (1772—1837), развивал учение о фаластерах — свободных трудовых объединениях как формах перехода к социалистическому обществу.

«О религии, сочинение Людвига»...— Речь идет о книге великого немецкого философа-материалиста Людвига Фейербаха (1804—1872) «Лекции о сущности религии», написанной в 1851 г. Цензурой в то время было запрещено упоминать имя мыслителя в печати.

Стр. 104. *Красноречивые партизаны... прекрасных идей.*— Имеются в виду русские либералы с их бесплодными и лицемерными рассуждениями о «прекрасных идеях», якобы необходимых народу.

Стр. 159. *Chronique de l'Oeil de Bœuf,— вещь, перед которою «Фоблаз» вял...*— Книга, которую читает Лопухов,— «Хроника увиденного сквозь надверный глазок»,— написана неизвестным автором в 30-е годы XIX века. Здесь она сравнивается с романом французского писателя Луве де Кувре (1760—1797) «Любовные похождения кавалера де Фобласа».

Стр. 163. *...междоусобная война в Канзасе, предвестница... великих событий не в одной Америке...*— Гражданская война в северо-западной

части Северной Америки в штате Канзас в 1854—1856 гг. и в 1861—1865 гг. между восставшими фермерами Севера и рабовладельцами Юга. Чернышевский еще раньше («Современник», 1861) писал о последствиях этой войны для революционной борьбы в Европе.

Либих Юстус (1803—1873) — выдающийся немецкий химик. Его мысль о повышении плодородия почв при помощи химии интересовала Чернышевского с социальной точки зрения (возможность распространения среди крестьянства, один из путей ликвидации противоположности между городом и деревней). В этом же плане рассматривал впоследствии теории Либиха и Энгельс в статье «К жилищному вопросу» (1872—1873).

Стр. 187. *...огюст-контизм* — по имени французского буржуазного философа и социолога Огюста Конта (1798—1857).

Стр. 192. *«Телемак»* — роман французского писателя Франсуа Фенелона (1651—1715) «Приключения Телемака» (1699).

Стр. 196. *Фирхов* (Вирхов) Рудольф (1821—1902) — немецкий патологоанатом; *Бернар* Клод (1813—1878) — выдающийся французский физиолог; *Бургаве* (1668—1738) — голландский врач и химик; *Гуфеланд* (1762—1836) — немецкий врач; *Гарвей* Уильям (1578—1657) — выдающийся английский врач, открывший кровообращение.

Стр. 214. *...не знаете... о жизни Бичер-Стоу, роман которой мы все знаем по вашим рассказам?* — Речь идет о романе американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1811—1896) «Хижина дяди Тома», написанном в 1852 г. Русский перевод был опубликован в 1858 г. как отдельное приложение к журналу «Современник».

Говард Джон (1726—1790) — английский общественный деятель, боровшийся за улучшение условий содержания заключенных.

Стр. 220. *Бозио* Анджолина (1830—1859) — итальянская певица, гастролировавшая в Петербурге в 50-х годах XIX в.

Стр. 221. *Тамберлик* Энрико (1820—1889) — итальянский оперный певец, много раз выступавший на русской сцене во второй половине XIX в.

Час наслажденья... — из стихотворения А. С. Пушкина «Адели» (1822); первая строка воспроизведена неточно: у Пушкина — «Час упоенья...»

Стр. 230. *Овэн* (Оуэн) Роберт (1771—1858) — великий английский социалист-утопист, один из предшественников марксизма.

Стр. 256. *Маколей* Томас (1800—1859), *Гизо* Франсуа (1787—1874), *Тьер* Адольф (1797—1877), *Ранке* Леопольд (1795—1886), *Гервинус* Георг (1805—1871) — буржуазные историки.

Стр. 258. *Шувалов* И. И. (1727—1797) — русский государственный деятель; *Миних* Б. (1683—1767) — русский государственный деятель, активный сторонник императрицы Анны Иоанновны; *Румянцев* (Румян-

цев-Задунайский) П. А. (1725—1796) — русский полководец и государственный деятель.

...убит был при Нови.— В сражении при Нови (1799) русские войска под командованием А. В. Суворова победили французскую армию.

...в Тильзит...— Тильзит — город (на реке Неман), где 26 июня 1807 г. был заключен союз между Россией и Францией. Тильзитский договор оставался в силе до нападения Наполеона на Россию в 1812 г.

Сперанский М. М. (1772—1839) — русский политический деятель, автор проекта умеренных государственных реформ; под давлением реакционного дворянства был отстранен в 1812 г. от государственной службы.

Стр. 272. *...отцу новой философии...*— Речь идет о Людвиге Фейербахе.

Стр. 274. *Капуанская роскошь...*— Это выражение Чернышевский употребил, имея в виду рассказ римского историка Тита Ливия о карфагенском войске, которое после победы при Каннах удалилось в Капую и предалось там «чрезмерным удовольствиям».

Стр. 322. *Извелась бы, неутешная...*— строки из поэмы Н. А. Некрасова «Коробейники» (1861).

Стр. 343. *И сладкие речи...*— из песни Маргариты в «Фаусте» Гете в переводе Э. Губера.

Милый друг, погаси...— из «Песни» А. В. Кольцова («Я любила его...») (1841).

Wie herrlich leuchtet...— из «Майской песни» Гете (1771).

Стр. 344. *O Erd'! O Sonne!* — из «Майской песни» Гете.

Wohl perlet im Glase der purpurne Wein...— из стихотворения Шиллера «Четыре века» (1802).

Стр. 345. *Номады* — кочевники.

Астарта — богиня любви и земного плодородия в древней Сирии.

Стр. 346. *Писистрат* (Писистрат) (600—527 гг. до н. э.) — государственный деятель в Древней Греции.

Ареопаг — высший судебный орган в Древних Афинах.

Аспазия (Аспасия) — красавица гречанка, по сведениям некоторых историков, явилась причиной Пелопонесских войн (V в. до н. э.).

Стр. 347. *На арене рыцари... увижу ли ее еще?* — Прозаический пересказ сюжета баллады Шиллера «Рыцарь Тогенбург» (1797).

Стр. 349. *...сказал Руссо в «Новой Элоизе».*— Речь идет о романе Жан-Жака Руссо (1712—1778) «Новая Элоиза» (1761).

Стр. 353. *Сайденгам* — северная часть Лондона. Здесь в 1851 г. происходила Всемирная выставка, одной из ее достопримечательностей был хрустальный дво́рец из стекла и металла, с зимним садом. Во время своего пребывания в Лондоне в 1859 г. Чернышевский видел этот дворец.

Стр. 355. *Будем жить с тобой по-пански...*— из стихотворения А. В. Кольцова «Бегство» (1838).

Стр. 395. *Аболиционисты* — участники движения в Северной Америке в конце XVIII и первой половине XIX вв. за отмену рабства.

Стр. 412. *Натурализация* — здесь: в смысле принятия подданства страны.

Стр. 414. *«Давно отвергнутый тобою...»* (1855) и *«Песня Еремушке»* (1859) — стихотворения Н. А. Некрасова.

«Спор двух греческих философов об изящном»...— Речь идет о «драматической сцене» Козьмы Пруткова, где высмеиваются сторонники «искусства для искусства».

Стр. 421. *Ревербер* (от франц. réverbère) — фонарь.

Стр. 422. *Стонет сизый голубочек...*— из романса «Стонет сизый голубочек» (1792) на слова И. И. Дмитриева (1760—1837).

Много красавиц в аулах у нас...— песня Казбича из «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова (1840).

Не женися, молодец...— черкесская песня из поэмы М. Ю. Лермонтова «Измаил-Бей» (1832).

Стр. 423. *О дева, друг недобрый я...*— из поэмы Вальтера Скотта (1771—1832) «Рокби» в переводе Каролины Павловой.

Стр. 424. *Красив Брингала брег крутой...*— песня Селима из поэмы М. Ю. Лермонтова «Измаил-Бей».

Гей, шинкарочка моя...— украинская народная песня.

Стр. 425. *Да разлетится горе в прах...*— из стихотворения Н. А. Некрасова «Новый год» (1851).

Черный страх бежит, как тень...— Неточная цитата из стихотворения английского поэта Томаса Гуда (1799—1845) «Стансы» в переводе М. Михайлова («Современник», 1862, № 4).

П. Николаев

СОДЕРЖАНИЕ

П. Николаев. Революционный роман 5

ЧТО ДЕЛАТЬ?

I. Дурак 27
II. Первое следствие дурацкого дела 29
III. Предисловие 33
Глава первая. Жизнь Веры Павловны в родительском семействе 36
Глава вторая. Первая любовь и законный брак . . . 73
Глава третья. Замужество и вторая любовь 153
Глава четвертая. Второе замужество 294
Глава пятая. Новые лица и развязка 370
Глава шестая. Перемена декораций 425
Приложение 429

Примечания *П. Николаева* 439

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 122

Николай Гаврилович
Чернышевский
ЧТО ДЕЛАТЬ?

*

Редактор А. Краковская
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
М. Фридкина
Корректоры
А. Новикович и В. Фадеева

*

Сдано в набор 8/IV 1969 г. Подписано к печати 19/VI 1969 г. Бумага типографская № 1 $60\times84^{1}/_{16}$. 28 печ. л. 26,12 усл. печ. л. 26,56 уч.-изд. л.+1 вкл. и 6 нак.=27,34 л. Тираж 300 000 экз. Заказ 3731. Цена 1 р. 38 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28